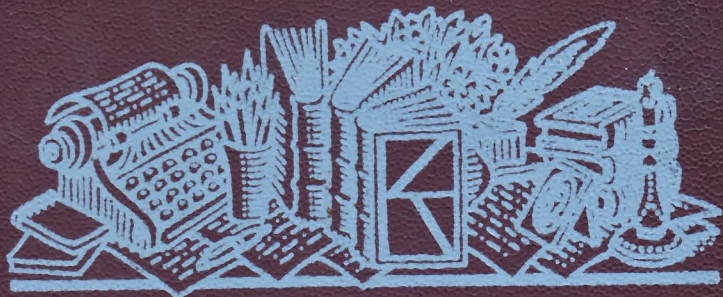
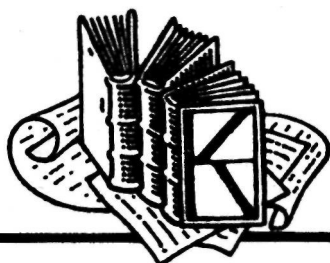


ХОДАСЕВИЧ ДЕРЖАВИН



ПИСАТЕЛИ О ПИСАТЕЛЯХ

В. ХОДАСЕВИЧ
ДЕРЖАВИН



ИЗДАТЕЛЬСТВО „КНИГА“

А Державин!

Но тут уж творится нечто вовсе несообразное. Тут под могильной плитой «лжеклассицизма» заживо погребен просто огромный поэт, которым всякая иная литература, более памятливая (а следственно, более развитая), гордилась бы по сей день. Не надо скрывать, что и у Державина имеются слабые вещи, хотя бы его трагедии. Но из написанного Державиным должно составить сборник, объемом в 70—100 стихотворений, и эта книга спокойно, уверенно станет в одном ряду с Пушкиным, Лермонтовым, Боратынским, Тютчевым.

В. Ходасевич

Из статьи «Слово о полку Игореве»

ПИСАТЕЛИ О ПИСАТЕЛЯХ

В. ХОДАСЕВИЧ
ДЕРЖАВИН

Москва „Книга“ 1988

ББК 84Р
Х 69

Вступительная статья,
составление приложения,
комментарии *А. Л. Зорина*

Рецензент — *Н. А. Богомолов*,
кандидат филологических наук

Владислав Фелицианович Ходасевич

ДЕРЖАВИН

Заведующая редакцией
Т. В. Громова
Редактор
Е. Л. Новицкая
Художественный редактор
В. В. Ситников
Технический редактор
В. Л. Юняев

ИБ 1802

Сдано в набор 16.10.87. Подписано в печать 18.03.88. А 01952.
Формат 84X108¹/₃₂. Бумага тип. № 2. Гарнитура Таймс. Печать
высокая. Усл. печ. л. 20,16. Усл. кр.-отт. 20,16. Уч.-изд. л. 22,27.
Тираж 200 000 экз. Изд. № 4702. Зак. № 7—3100. Цена 2 р. 00 к.

Издательство «Книга»
125047, Москва, ул. Горького, 50.

Головное предприятие республиканского производственного
объединения «Полиграфкнига». 252057, Киев-57, ул. Довженко, 3.

X 4702010100-053
002(01)-88 КБ-56-35-87

ISBN 5-212-00073-4

© Издательство «Книга», 1988

НАЧАЛО

Среди русских писателей первой половины XX века, чье творчество возвращается в последние два года к широкому читателю в нашей стране, Владислав Ходасевич, безусловно, один из крупнейших. Журнальные публикации уже познакомили многих с образцами его лирики и, в меньшей степени, мемуаристики, историко-литературной эссеистики и эпистолярного наследия. Вместе с тем эта книга — первая. Книжная судьба Ходасевича на родине после шести с лишним десятилетий перерыва продолжается не сборником стихов или воспоминаний, не книгой «О Пушкине», но биографией Державина. Само собой разумеется, это случайность, своего рода игра издательского дела, но при желании в ней можно увидеть и некоторый намек, ту ненавязчивую иронию истории, столь тонким ценителем которой был Ходасевич.

* * *

«Владислав Фелицианович Ходасевич родился в Москве 28 мая¹ 1886 г., окончил 3-ю классическую гимназию и Московский университет. Начал печататься с 1905 года в альманахах и журналах символистов — „Гриф“, „Золотое руно“ и др. Первую книгу стихов „Молодость“ выпустил в 1908 году.

С 1908 по 1914 г. Ходасевич печатался во многих московских изданиях, переводил польских поэтов, писал критические статьи о классической и современной русской поэзии, был сотрудником „Универсальной библиотеки“, а позже „Русских ведомостей“. В 1914 г. вышла его вторая книга стихов „Счастливый домик“. <...>

Во время первой мировой войны он переводил польских, армянских и еврейских поэтов. В 1920 г. выпустил третью книгу стихов „Путем зерна“. <...> В это же время он был

¹ Нового стиля.

московским представителем «Всемирной литературы». В 1922 г. перед отъездом из России он опубликовал свои „Статьи о русской поэзии“.

С 1922 года Ходасевич стал эмигрантом. В этом году была издана четвертая книга стихов „Тяжелая лира“ (первое издание в России, второе — в Берлине). С 1925 года он окончательно поселился в Париже, где сотрудничал сначала как литературный критик в газете „Дни“, затем как критик в газете „Последние новости“, и наконец, с 1927 г. — в газете „Возрождение“, где без перерыва, до самой своей смерти, 14 июня 1939 года, был редактором литературного отдела и видным литературным критиком зарубежья.

За 17 лет эмиграции Ходасевич был сотрудником очень многих эмигрантских периодических изданий: „Современных записок“, „Воли России“ и т. д. Постепенно он все меньше писал стихов и все более становился критиком. Им написано не менее 300 критических статей и рецензий, кроме того, он время от времени публиковал свои воспоминания, из которых позже составила книга „Некрополь“ (Брюссель, изд. „Петрополис“, 1939). Им была издана в Париже книга стихов (пятая и последняя), которая объединила три сборника „Путем зерна“, „Тяжелую лиру“ и „Европейскую ночь“, написанную уже в эмиграции („Собрание стихов“. Изд. «Возрождение», Париж, 1927). <...>

В те годы он, кроме того, занимался Пушкиным и Державиным. О последнем им написана книга („Державин“, Париж, изд. „Современные записки“, 1931). Он готовил биографию Пушкина, но осуществить этот замысел ему помешала смерть. Остались наброски первой главы. В 1937 году вышла его книга „Поэтическое хозяйство Пушкина“, содержащая ряд статей на пушкинские темы¹, — писала жена Ходасевича и издатель ряда его книг Нина Николаевна Берберова.

В этом кратком изложении судьбы писателя обращает на себя внимание многообразие его литературной деятельности. Ходасевич предстает перед нами, по крайней мере,

¹ Ходасевич В. Ф. Избранная проза. New York. 1982. С. 5—6. Исправим две мелкие неточности. Ходасевич учился в Московском университете, но не сумел закончить его, по его собственному свидетельству, «отчасти вследствие обстоятельств личной жизни, отчасти из-за болезни (туберкулез)» (Вопр. лит. 1987. № 9. С. 228). Кроме того, заглавие «Поэтическое хозяйство Пушкина» носила книга, вышедшая в 1924 году в Петрограде без участия Ходасевича. Парижское издание 1937 года называлось «О Пушкине».

в четырех ипостасях: поэта, мемуариста, критика и историка литературы. Конечно, сравнительная значимость этих сфер приложения своих сил была для него далеко не одинакова. «Из всех явлений мира я люблю только стихи, из всех людей — только поэтов» (ЦГАЛИ, ф. 1068, оп. 1, ед. хр. 169, л. 1), — сформулировал он свое кредо в анкете 1915 года. Поэтическое творчество он неизменно воспринимал как «Богово», а все остальное в большей или меньшей мере лежало для него в области «кесарева». Хроническое безденежье вынуждало его не покладать пера, начиная с молодости, когда он сообщал Г. И. Чулкову, что должен написать биографию Павла I «в месяц, иначе умрет с голоду» (ОР ГБЛ, ф. 371, оп. 5, ед. хр. 121, л. 7) и до последних лет жизни, когда ему приходилось каждый четверг заполнять своими статьями подвалы газеты «Возрождение», издателя которой ни человеческими качествами, ни литературными и политическими пристрастиями не вызывали у него ни малейшей симпатии.

В то же время было бы ошибочно заключать, что писание в прозе было для Ходасевича только средством заработка, тем, что в сегодняшнем языке обозначается выразительным термином «халтура». Чувство ответственности перед словом исключало для него возможность не только кривить душой, но и браться за чуждую себе работу. Все, что писал Ходасевич как мемуарист, критик или исследователь, было по существу построением единого здания литературы, в котором поэзия должна была занимать место высшего, но неотделимого от всех других, этажа.

Значение критической и историко-литературной работы особенно повышалось для Ходасевича тем, что сам он неизменно бил приверженцем творчества, основанного на знании и мастерстве. Одним из наиболее заметных событий литературной жизни русской эмиграции стала его полемика с Г. Адамовичем о так называемой «поэзии человеческого документа». Возражая оппоненту, отстаивавшему ценность безыскусных, но искренних поэтических признаний, Ходасевич утверждал, что истинной поэзии вне культуры и профессионализма не может существовать. Естественно, еще более высоким критериям такого рода должен был соответствовать человек, пишущий о литературе. «Начала интуитивные, — утверждал Ходасевич в статье „Еще о критике“ (Возрождение, 1928, 31 мая), — как то известное чутье, вкус и т. д. имеют свои права и свое значение в работе критической. Но интуиция должна быть поверена знанием, как

сложение вычитанием, а умножение — делением. Критик интуит слишком опасно похож на гадалку. Впрочем, ведь и гадалкины предсказания о будущем „повернутся" ее умением угадать прошлое. Отсюда: критик, не поработавший в истории литературы, всегда подозрителен в смысле его компетенции». Говоря об Ю. И. Айхенвальде, считавшемся видным представителем именно импрессионистической критики, Ходасевич считал нужным подчеркнуть, что тот в своих суждениях «опирался на известную систему художественных воззрений и на солидные познания, а не на какую-нибудь интуицию» (там же). В другом месте он жаловался на «снисхождение», а то и «сочувствие», которым «слишком Долго пользовались у нас», «бодрое делание без умения, суждения без познаний, зато по «вдохновению», дилетантщина во всех видах»¹.

Такая оценка интуиции и вдохновения может показаться неожиданной в устах поэта, да еще столь кровно связанного с символистской культурой, в которой «прозревание» разного рода «сине-розовых туманов» составляло едва ли не священную обязанность любого художника. Здесь, однако, таится своеобразие литературной, да и жизненной позиции Ходасевича, который, не отказываясь от представлений о высоком, пророческом назначении поэзии (см. его статью «Кровавая пища» — Возрождение, 1931, 21 апреля), «всегда, — по выражению Н. Берберовой, — предпочитал математику мистике»². Стремление к горькой безыллюзорности суждений, оценок и предсказаний, мучительное отдираание от себя самых дорогих пристрастий и верований ради обретения последней трезвости взгляда определяют и интонацию его стихов, начиная с первого зрелого сборника «Путем зерна», и ни с чем не сравнимый интерес его мемуаров, и его особое положение в среде русской литературной эмиграции, где он снискал репутацию демона скептицизма. «Это я, тот, кто каждым ответом / Желторотым внушает поэтам / Отвращенье и злобу, и страх», — писал Ходасевич в стихотворении «Перед зеркалом».

В вошедших в сборник «Некрополь» воспоминаниях об Андрее Белом Ходасевич сформулировал свой взгляд на обязанности мемуариста. Высказывание это хочется здесь привести не только потому, что по смежности предметов оно может служить и определением задач биографа, но и пото-

¹ Цит. по: Ходасевич В. Ф. Избранная проза. С. 9.

² Там же. С. 8.

му, что оно как нельзя лучше характеризует личность автора:

«Я долгом своим (не легким) считаю — исключить из рассказа лицемерие мысли и боязнь слова. Не должно ждать от меня изображения иконописного, хрестоматийного. Такие изображения вредны для истории. Я уверен, что они и безнравственны, потому что только правдивое и целостное изображение замечательного человека способно открыть то лучшее, что в нем было. Истина не может быть низкой, потому что нет ничего выше истины. Пушкинскому «возвышающему обману» хочется противопоставить нас *возвышающую правду*: надо учиться чтить и любить замечательного человека со всеми его слабостями и порой даже за самые эти слабости. Такой человек не нуждается в прикрасах. Он от нас требует гораздо более трудного: полноты понимания»¹.

Надо сказать, что для русского поэта «серебряного века» серьезная исследовательская работа по истории культуры составляла скорее норму, чем исключение. Даже Блок, сравнительно немного сделавший в этой области, написал несколько квалифицированных филологических трудов. Научная же значимость работ Вяч. Иванова, Брюсова, А. Белого общеизвестна. В «Некрополе» Ходасевич рассказал, как волею судеб ему довелось стать первым слушателем одного из самых крупных литературоведческих открытий XX века — теории метра и ритма Андрея Белого. Престиж гуманитарного знания в этом кругу был необычайно высок, и Ходасевич несколько не лукавил, когда писал, как он был изумлен тем, что столь видный пушкинист, как Гершензон, «снизошел до переписки» с ним, «автором единственной статьи о Пушкине». Разумеется, в этих словах немало иронии в адрес «самодовольного величия, по которому за версту познаются „солидные ученые"», и которого, как оказалось, был начисто лишен Гершензон, но в них есть и признание сложившейся иерархии культурных ценностей.

Свою первую историко-литературную статью о Е. П. Ростопчиной Ходасевич написал еще в 1908 году. Затем последовало предисловие к изданию «Душеньки» И. Ф. Богдановича в «Универсальной библиотеке» (М. 1912), статьи об «Уединенном домике на Васильевском» (та самая «единственная» статья о Пушкине, с посылки оттиска которой из

¹ Ходасевич В. Ф. Некрополь. Брюссель. 1939. С. 62.

мартовского номера «Аполлона» за 1915 год началась дружба Ходасевича и Гершензона) и «Гаврилиаде» Пушкина, о Державине и несколько «мелких заметок о Пушкине, Лермонтове, Ростопчиной, Апухтине и др.»¹. В этот ряд вклинивается и едва ли не единственный замысел Ходасевича, не связанный прямо или косвенно с литературной проблематикой, его незавершенная и никогда не публиковавшаяся книга о Павле I.

Время работы Ходасевича над жизнеописанием Павла легко устанавливается по его письмам. 2 мая 1913 года он рассказывал своему другу писателю Б. А. Садовскому: «Затеял я нечто: Оно может принести 1) удовольствие работы, 2) монеты, 3) печальную славу черносотенца, вроде Вашей. Сообщу Вам по секрету тему: принц Гамлет и император Павел. Я о Павле читал порядочно и он меня привлекает очень. О нем психологически наврано, хочется слегка оправдать его. Стал я читать, удивляясь, что никому не приходило в голову сравнить его с Гамлетом. И вдруг узнал, что в 1781 году в Вене какой-то актер отказался играть Гамлета в его присутствии. Нашел и еще одно косвенное подтверждение того, что кое-кто из современников догадывался о его „гамлетизме“. Потомки произвели его в идиоты и изверги. Если голод не помешает — летом переработаю. Если мысли мои подтвердятся осенью выступлю с „трудом“. Но, пожалуйста, никому об этом ни слова, у меня украли уже несколько тем»².

Как можно судить по этим словам, Ходасевич первоначально задумывал специальную статью, посвященную сопоставлению литературного героя и исторической личности. Однако затем его замысел резко сдвигается в сторону традиционного жизнеописания. «Начинаю писать книжечку (будет в ней листов 5), за которую историки съедят меня живьем, — писал он Г. И. Чулкову 20 июля 1913 года. — Она будет посвящена Павлу I. Хочу доказать, что на основании того же материала, которым пользовались разные профессора, можно и должно прийти к выводам совершенно противоположным их выводам. Но до сих пор я только читал. Теперь собираюсь взяться за перо и думаю, что в месяц или полтора напишу все» (ОР ГБЛ, ф. 371, к. 5, ед. хр. 12, л. 10—10 об.). Через 8 дней, 28 июля, он сообщал тому же Чулкову о своих успехах: «Если Бог даст, напишу кни-

¹ Вопр. лит. 1987. № 9. С. 228.

² Там же. С. 235.

жечку (будет в ней листов 6), — историки меня съедят. Я написал пятую часть и, говоря между нами, должен отмахать остальные четыре пятых в месяц» (там же, л. 6). Пятая часть от шести листов — это примерно лист с небольшим, то есть все, чем мы располагаем на сегодняшний день. Таким образом, дошедший до нас фрагмент книги о Павле был написан за неделю с 21 по 28 июля 1913 года, а обдумывался перед этим три или четыре месяца.

Нам неизвестно, материальные или творческие затруднения вынудили Ходасевича прервать работу над книгой. Он не успел пойти дальше раннего детства своего героя, но интонация жизнеописания, план книги, сохранившийся в его бумагах, и введение к ней позволяют с достаточной определенностью судить о концепции и характере работы.

Очевидно, что этот первый биографический опыт Ходасевича еще достаточно несовершенен. Так, автор явно отдает слишком много сил решению принципиально нерешаемого вопроса о том, был ли Павел сыном Петра III, причем опирается он в своих суждениях, прежде всего, на «Записки» Екатерины II, написанные едва ли не со специальной целью убедить лиц, приближенных ко двору, и самого Павла, что он не имеет наследственных прав на престол. Эти построения оказываются нужны Ходасевичу, чтобы доказать, что Павел не мог унаследовать душевной болезни Петра III. Между тем такого рода аргументы для сегодняшнего читателя бьют мимо цели, поскольку во-первых, совершенно неясно, в какой мере страдал и страдал ли вообще умственным расстройством сам Петр III, а, во-вторых, психиатрическая наука давно отвергла механистическую дихотомию здоровья и болезни, установив куда более сложную градацию душевных состояний человека. Надо сказать, что и для анализа гамлетизма Павла (как показывает план, рукопись обрывается непосредственно на переходе к этой теме) медицинский вопрос об установлении отцовства не имеет существенного значения. Куда важнее, что Павел считал себя сыном Петра III и это окрашивало столь специфическим образом его положение близ матери, погубившей отца и ближайшим образом связанной с его непосредственными убийцами, один из них, Алексей Орлов, был родным братом фаворита Екатерины. Можно указать и на другие погрешности книги, в частности, на перешедшую потом в «Державина» недооценку Паниных или на неточное освещение позиции княгини Дашковой в заговоре 1762 года, но не этими

мелкими промахами определяется характер предпринятого исследования.

Ранняя и незавершенная работа Ходасевича уже отчетливо обнаруживает его умение видеть сквозь источник и интерпретацию человека и событие. Резко и точно он выделил суть проблемы: обусловленность «антипавловской» направленности русской общественной мысли ее опорой на показания лиц, прямо или косвенно замешанных в заговоре, приведшем к устранению императора. Легенда об убитом, выросшая из самооправданий убийц, — вот традиция, которую оспаривает Ходасевич, за что историки и должны были, по его выражению, «съесть его живьем». Ходасевич верно (только теперь, после работ последних лет и, особенно, «Грани веков» Н. Я. Эйдельмана, мы можем оценить, насколько верно) почувствовал сословный дух «мартовской революции», вызванной целым рядом антидворянских мер Павла. При этом, что особенно важно для биографа, выстраивающего жизненный путь своего героя в единый сюжет, Ходасевич выявил связь между государственной философией Павла-императора, в своеобразной последовательности и внутренней противоречивости которой он, как показывает план книги, тоже отдавал себе ясный отчет, и драматическим положением Павла — наследника престола. Разумеется, Ходасевич не избежал идеализации «романтического императора», но полемические цели его труда легко объясняют этот недостаток объективности. Развитие исторической науки за три четверти века, отделяющие создание наброска о Павле от его публикации, показывает, насколько в некоторых отношениях проницательней многих своих коллег-профессионалов был поэт¹.

Как бы то ни было, прервав работу над «Павлом I», Ходасевич уже больше не возвращается к чисто историческим изысканиям. Между тем история литературы привлекала его все больше. Особенно напряженный характер приняли филологические труды Ходасевича в первые послереволюционные годы. 3 октября 1920 года, готовясь к переезду из Москвы в Петроград, Ходасевич пишет П. Е. Щеголеву, что давно мечтал о максимально академической и трудоемкой

¹ Подготовительные материалы Ходасевича (ЦГАЛИ, ф. 537, оп. 1, ед. хр. 30) и ход изложения в первых главах свидетельствуют, что активной всего использовалась им книга Д. Ф. Кебеко «Цесаревич Павел Петрович» (Спб. 1887). Отсутствие фамилии Кебеко в перечне ученых, причастных к утверждению тенденциозной легенды о Павле, ясно указывает на то, что Ходасевич заслуженно выделял его труд из общего ряда.

историко-литературной работе¹. 23 ноября того же года, уже в Петрограде, он приводит список исследований, которые им «вполне или отчасти подготовлены, но не могли быть напечатаны по условиям переживаемого момента»:

«1. Бар<он> А. А. Дельвиг. Биография с подробной канвой и примечания к стихам и письмам.

2. О некоторых автореминисценциях Пушкина. Статья.

3. О „Каменном госте“. Статья.

4. Фрагменты о Лермонтове. Статья.

5. О датировке пушкинского письма к Н. В. Путяте (В связи с неопубликованным автографом „Наперсника“). Заметка.

6. Популярная биография Пушкина. (Разм. от 4—5 листов)»².

Трудно сказать, какие пункты этого перечня представляли действительно осуществленные работы, а какие — своего рода заявки. Статья о пушкинских автореминисценциях, безусловно, составила основу «Поэтического хозяйства Пушкина». Над биографией Дельвига Ходасевич работал в 1918 году, как свидетельствует его письмо от 8 октября к его тогдашней жене Анне Ивановне (ЦГАЛИ, ф. 537, оп. 1, ед. хр. 48, л. 9)³. В 1921 году для первого и последнего номера «Литературной газеты», тираж которого был конфискован по распоряжению Г. Зиновьева, он написал статью о «Литературной газете» Дельвига—Пушкина. Однако все эти работы утрачены и их единственным следом остается поздняя и не слишком удачная заметка к столетию смерти поэта в «Возрождении» (1937, 27 января). Что же касается популярной биографии Пушкина, то, очевидно, она существовала только в проекте. 6 октября 1921 года Ходасевич сообщал Анне Ивановне, что «Гершензон от Сабашникова» (ед. хр. 48, л. 46) заказал ему такую книгу, но очень скоро он начал готовиться к отъезду за границу и едва ли успел приступить к этой работе. 26 января он еще собирался «сдать рукопись к 1 июля», но уже 18 мая просил жену быть «осторожной с деньгами», которые он «тащит с Сабашникова, хотя знает, что никакого Пушкина не видать ему» (ед. хр. 48, л. 7 об., 21). Еще в одной автобиблиографии

¹ Фрагмент из этого письма приведен в английском переводе: Beathea D. Vladislav Khodasevich. His Life and Art. New Jersey, Princeton. 1983. P. 128.

² Вопр. лит. 1987. № 9. С. 228—229.

³ В дальнейшем ссылки на фонд Ходасевича (ЦГАЛИ, ф. 537, оп. 1) даются без указания архива, номеров фонда и описи.

(ед. хр. 34, л. 1) Ходасевич указывает, что им были подготовлены к печати «Полное собрание стихотворений» Веневитинова и «Избранные стихотворения» Ростопчиной, но судьба этих изданий также неизвестна. В целом характер историко-литературных интересов Ходасевича вырисовывается из этих списков с полной определенностью — все они так или иначе сгруппированы вокруг Пушкина.

Сказать, что личность и творчество Пушкина занимали в душе Ходасевича особое место, значило бы сформулировать самоочевидную банальность, априорно вытекающую из того обстоятельства, что Ходасевич был русским поэтом. Однако его отношение к Пушкину имело свой специфический оттенок — в пушкинских строках он искал не только образцы художественного совершенства, не только точку отсчета для собственного нравственного и профессионального самоопределения, но и духовную отчизну.

Сын поляка и крещеной еврейки, католик по религиозному воспитанию, Ходасевич обретал чувство родины через российскую словесность, идеальным воплощением которой был, естественно, Пушкин. И даже столь много значивший в личной мифологии Ходасевича образ его кормилицы, тульской крестьянки Елены Кузиной («Не матерью, но тульской крестьянкой»), напитавшей его молоком и песнями отечества, явно строился в его сознании по аналогии с Ариной Родионовной.

«Я родился в Москве. Я дыма
Над польской кровлей не видал,
И ладанки с землей родимой
Мне мой отец не завещал.
России — пасынок, а Польше —
Не знаю сам, кто Польше я.
Но: восемь томиков, не больше, —
И в них вся родина моя <...>
А я с собой свою Россию
В дорожном уношумешке», —

писал Ходасевич в первый год эмиграции. Восемь томов ефремовского Пушкина составляли едва ли не единственную ценность его нищего скарба.

Понятно, что потрясения революции, принявшие в сознании Ходасевича своего рода эсхатологическую окраску, должны были побудить его к еще более активному поиску корней в золотом веке русской литературы. Выступая в 1921 году вместе с Блоком, читавшим свою знаменитую

«пушкинскую речь», на посвященных Пушкину вечерах в Петрограде, Ходасевич призвал людей уходящей культуры «аукаться <...>, перекликаться» именем Пушкина «в надвигающемся мраке». Все, что имело отношение к Пушкину, обретало в этих условиях особую ценность. Но по внутреннему чутью, по поэтическому слуху Ходасевича ближе всего, ближе современников и потомков, друзей и родных, к Пушкину стоял Державин.

Державин интересовал Ходасевича на протяжении всей жизни. В анкете 1915 года Ходасевич «из писателей, оказавших на него наибольшее влияние» назвал, «прежде всего, Пушкина и Державина» (ед. хр. 169, л. 1). А в 1939 году в некрологе Ходасевичу Н. Берберова писала: «Он сам вел свою генеалогию от прозаизмов Державина, от некоторых наиболее „жестких“ стихов Тютчева, через „очень страшные“ стихи Случевского о старухе и балалайке и „стариковскую интонацию“ Анненского»¹. В этом литературном генеалогическом древе, вычерченном со слов Ходасевича близким к нему человеком, Пушкина нет (это как бы само собой разумелось²), но место Державина как основателя рода неизменно и несомненно.

Заслуга нового прочтения и нового открытия Державина всецело принадлежит «серебряному веку». Читатели второй половины XIX столетия относились к его творчеству как к давно устаревшему преданию миновавших лет, имеющему в лучшем случае исторический интерес. На фоне всеобщего равнодушия заброшенным памятником высылось девяти томное собрание сочинений Державина, предпринятое академиком Гротом в обстановке снисходительного безразличия одной части публики и безразличного ожесточения другой.

Стоит отметить, что переоценка репутации Державина началась в ближайшем окружении Ходасевича. Авторами первых статей, рассматривавших державинскую поэзию не как музейную реликвию, а как живое художественное явление были его приятель и многолетний корреспондент Борис Садовской и Борис Грифцов, с которыми Ходасевич в 1911 году совершил путешествие по Италии. При этом оба они, хотя и совершенно по-разному, соотносили Державина с Пушкиным — если Садовскому Державин был

¹ Соврем. зап. 1939. № 69. С. 260.

² В том же номере журнала Набоков назвал Ходасевича «литературным потомком Пушкина по тютчевской линии» (с. 262).

дорог как предошущение Пушкина, которому «предстояло очистить алмаз русского стиха от державинской коры», то Грифцов подчеркивал необходимость «гораздо настойчивей и вне всякой связи с Пушкиным выяснить поэтический гений Державина, единственного достойного поэта-соперника Пушкину»¹.

Особенно должны были запомниться Ходасевичу слова Садовского о державинском ямбе, «ярком и сильном, но еще трепещущем и неровном, в котором явственно различимы и полдень Пушкина и брусковский закат». Ходасевич сам нередко прибегал к символике времени суток, и когда говорил в «пушкинской речи» о «надвигающемся мраке», и когда назвал свой последний, уже эмигрантский, поэтический сборник «Европейская ночь». И оттуда, из «ночи», в своего рода итоговом стихотворении «Не ямбом ли четырехстопным» он увидел в этом канонизированном Пушкиным размере то немногое, если не единственное, что оказалось жизнеспособным и уцелело в наследии минувшего дня:

С высот надзвездной Музики
К нам ангелами занесен,
Он крепче всех твердынь России,
Славнее всех ее знамен.

Естественно, в полном соответствии с историческими фактами, Ходасевич начинал историю русского ямба с «Оды на взятие Хотина» Ломоносова, а высшее воплощение возможностей этого размера видел в «Медном всаднике». Но символом четырехстопного ямба, а, следовательно, и всей отечественной поэзии предстает в стихотворении державинский «Водопад»:

С тех пор в разнообразьи строгом,
Как оный славный *Водопад*
По четырем его порогам
Стихи российские кипят.

Свою первую статью о Державине Ходасевич написал в 1916 году к столетию смерти поэта для газеты «Утро России». Работал он, как всегда, ради заработка и, как всегда, с предельным напряжением. «В статье пусть не смеют вымарывать ни единой буквы, а то все развалится» (ед. хр. 47, л. 20), — наставлял он жену, которая должна была наблюдать за печатанием. В статье этой Ходасевич пере-

¹ Рус. мысль. 1912. № 3. Отд. II. С. 88.

смотрел традиционную оценку позднего Державина, восхитившись «тяжеловатой грацией» его анакреонтики и ее «верным и тонким чутьем к античности». Однако, главным в Державине для Ходасевича оказывается его стихийный реализм, резкий и сокрушительный отказ от поэтических условностей и книжного этикета. «Первым художественным воплощением русского быта», «зародышем нашего романа» назвал Ходасевич державинскую оду. Нет смысла сейчас обсуждать, в какой мере убедительна такая трактовка — как и всякий поэт, Ходасевич искал в Державине близкого себе: напомним, что именно к державинским «прозаизмам» возводил он собственную поэтическую генеалогию.

С Державиным связан и первый эмигрантский замысел Ходасевича. В начале 1923 года по поручению издателя З. И. Гржебина он составил том избранных сочинений Державина. Несколько листов с «ремингтонированными» (т. е. перепечатанными на машинке) стихотворениями были взяты А. Белым для задуманной им антологии русской поэзии на немецком языке и безвозвратно утрачены. Небрежность Белого задержала издание, которое потом из-за коммерческого краха фирмы Гржебина не состоялось вообще¹.

В том же году Ходасевич предложил М. Горькому назвать журнал, который они вместе издавали, «Беседой». Как вспоминал Ходасевич, в этом заголовке отразилось воспоминание о литературных собраниях в доме Державина.

Почти полностью отойдя после 1927 года от поэтического творчества (стихотворения, написанные им за последние двенадцать лет жизни, можно буквально пересчитать по пальцам), Ходасевич вскоре взялся за большую биографию Державина. Работа над ней началась в январе 1929 года и продолжалась «то лихорадочно-торопливо, то мучительно медленно», по словам одного из современников², до января 1931, но уже по ходу писания небольшие фрагменты книги начали появляться в «Возрождении», а более крупные — в журнале «Современные записки», вызывая шумные, но бессодержательные восторги в эмигрантской прессе.

«В „Руле“ какой-то В. Савельев пишет о „Современных> Записках“. Обо мне чушь какая-то, но восторженная

¹ Современ. зап. 1934. № 55. С. 219.

² Дон-Аминадо. Поезд на третьем пути. Нью-Йорк. 1954. С. 155.

вдрызг. Дескать великое мастерство + биография + историческая ценность + разные взгляды. Как верх похвал — лучше чем Моруа и Мориак (?)», — писал Ходасевич Н. Берберовой 20 февраля 1930 года, а уже на следующий день делился новыми газетными впечатлениями: «Получил „За свободу“. Там о Держ<авине> 2¹/₂ столбца. Полные восторги. „Ценный, насущно-нужный вклад в культурную и научно-художественную работу эмиграции“ и т. п. Стиль не блестящий, но чувства пылкие. Кроме того, сказано, что современная жизнь в „Совр<еменных> Зап<исках>“ не в статьях Макл<акова>, Мил<юкова>, Вишняка о современности — а в биографии Державина. Это даже умно» (ед. хр. 130, л. 24—25)¹.

Уже после того как в начале 1931 года «Державин» вышел полностью отдельным изданием, Ходасевич писал П. М. Бицилли, поместившему свою рецензию в газете «Россия и славянство»: «Увы, кроме Вас и Вейдле, критики мои просто пересказывают книгу <...> О „Державине“ судят они, не имея понятия о Державине»². Он чувствовал, что его труд неотвратимо погружается в культурный вакуум, в котором немногочисленные отзывы понимающих читателей, вроде «компетентной и содержательной» рецензии Бицилли, казались исходящими едва ли не от вопиющих в пустыне. «Для критической и историко-литературной работы эмигрантские условия можно назвать исключительно неблагоприятными, как ввиду отсутствия необходимых источников, так и вследствие слишком немногочисленной аудитории», — сетовал Ходасевич на страницах «Возрождения» 13 января 1929 года, буквально приступая к «Державину». Между тем, задача, которую ему предстояло разрешить в этих «исключительно неблагоприятных» условиях, была в высшей степени сложна.

Очевидно, что рассказ о жизни деятеля прошлого, оставившего свою автобиографию, требует особого искусства, тем более, если она столь подробна и красочна, как державинские «Записки». Слишком покорное следование по уже вышитой канве неминуемо приведет здесь к пересказу, слишком резкий разрыв с нею — к необоснованному домыслам. Автор классического жизнеописания Державина Я. К. Грот, впервые столкнувшийся с этой проблемой, пошел

¹ Большие фрагменты этой переписки были опубликованы в мемуарах Н. Н. Берберовой «Курсив мой» (Мюнхен. 1972).

² Выписка из личного архива дочери ученого, М. П. Бицилли, предоставлена автору Р. Д. Тименчиком.

по линии колоссального расширения фактического материала. Его труд, потребовавший более двух десятилетий и занявший более тысячи страниц, густо насыщен данными, поверяющими, дополняющими и разъясняющими державинские свидетельства, данными, извлеченными ученым из многих сотен источников, как печатных, так и архивных.

Понятно, что этот путь был для Ходасевича закрыт. В краткой заметке, предваряющей книгу, он писал, что «не ставил себе неисполнимой задачи сообщить какие-либо новые, неопубликованные данные». Его «целью было лишь по-новому рассказать о Державине». Вопрос, однако, состоял в том, как рассказать.

Не в последнюю очередь необходимо было решить стилистическую проблему. Язык Державина и его эпохи обладал для читателей XX столетия слишком резкой исторической характерностью — попытка воспроизвести ее привела бы к стилизации, жанру эстетически неприемлемому для Ходасевича с его вкусом к прямой и неукрашенной речи. С другой стороны, претворять державинский язык в сугубо современную речь значило бы войти в слишком острый конфликт с материалом. Сущность найденного Ходасевичем решения тонко почувствовал еще один рецензент «Державина» — известный исторический романист М. Алданов.

«Это чисто пушкинская проза, — пишет Алданов, приведя небольшой отрывок <...> — одной звуковой своей формой вызывает в памяти читателя „Пиковую даму“». Как литератор, постоянно сталкивающийся с проблемами того же рода, Алданов не смог скрыть от читателей известных сомнений, которые вызвала у него такая тональность книги: «Об этом приеме, пожалуй, можно вести теоретический спор. Свои статьи о современных писателях В. Ф. Ходасевич пишет все же иначе — тогда есть ли основание пользоваться пушкинской фразой в книге о Державине? Но художественная прелесть приема вполне его оправдывает: победителей не судят»¹. Существенно, однако, что обращение к пушкинскому слогу было у Ходасевича не следствием артистического произвола, случайной, пусть и счастливой находкой, но выражением давно продуманной историко-культурной концепции.

Дело здесь не только в том, что «нагая» пушкинская проза в высокой мере обладала столь ценными Ходасе-

¹ Соврем. зап. 1931. № 46. С. 496.

вичем достоинствами точности и лаконизма. Важнее, что для него Пушкин был фокусом, в котором сходились исток и исход российской словесности. Слог «Повестей Белкина» и «Пиковой дамы» создавал необходимый баланс: не выглядя архаичным в глазах современного Ходасевичу читателя, он в то же время не диссонировал и со строем языка описываемой эпохи.

Разумеется, Ходасевич не мог не дать читателям почувствовать и колорита времени, о котором он рассказывал. Голос XVIII века отчетливо звучит на страницах книги в обильных выдержках из «Записок» и других документов, но каждый раз — это резко выделенный знак языковой экзотики, хорошо различимый на фоне авторского повествования. Особенно показательны те, так сказать, стилистические цитаты, к которым то и дело прибегает Ходасевич. Описывая любовное приключение, случившееся с поэтом на пути из Москвы в Казань, он пишет: «Державин пленился красавицей чрезвычайно. Дорогою курамшил, подлипал и махался как только мог». Любопытно, что именно этих трех глаголов, обозначавших в языке XVIII века разные формы ухаживания, нет в тексте «Записок», но читатель, никогда с ними не встречавшийся и, вероятно, только угадывающий их смысл, безошибочно чувствует их цитатный характер. В другом месте для обозначения бюрократических каверз, с которыми довелось столкнуться его герою, Ходасевич использует эффективное словосочетание «ерихонские крючки», подцепленное им в одном из писем Державина Капнисту, причем приводит его, как и многие другие цитатные выражения этого рода, курсивом. Стилиевая ткань книги оказывается сформирована напряженным диалогом между нейтральным «пушкинским» строем речи автора и резко окрашенными «державинскими» вкраплениями.

Но главная трудность, которую должен был преодолеть Ходасевич, лежала, разумеется, не в стилистической сфере. Ему предстояло определить, что можно сказать нового о Державине, не располагая свежими материалами и не прибегая ни к приемам романизованной биографии à la Моруа, ни, тем более, к беллетристическим украшениям типа sacramентального «поэт подошел к окну». «Биограф — не романист. Ему дано изъяснять и освещать, но отнюдь не выдумывать», — подчеркивал Ходасевич во вступительной заметке к книге. Избранный им принцип построения повествования можно с известной долей условности назвать принципом психологических расшифровок. Известные эпи-

зоды биографии Державина последовательно излагаются в книге в проекции на внутреннее состояние участвующих в них персонажей, их побуждения, переживания и реакции. Принципиальный апсихологизм державинских «Записок», в которых мемуарист рассказывает о себе в третьем лице, и академическая осторожность Грота, не позволявшего себе идти за документ, оставляли здесь большой простор для писательской интуиции.

Приведем один частный, но показательный пример. Как рассказывает Державин, в 1773 году он безо всякой рекомендации явился к А. И. Бибикову, только что назначенному главнокомандующим войском, действующим против Пугачева, просить о назначении в секретную комиссию, отправляющуюся в Казань. Бибиков отказал просителю, сославшись на то, что все места в комиссии уже заняты. «Но как Державин остался у него еще на несколько и не поехал скоро, то он, вступя с ним в разговор, был им доволен» и впоследствии изменил свое решение. История эта, никак не разъясненная Гротом, выглядит несколько загадочной. С какой целью молодой прапорщик, уже получив отказ, в нарушение всякой субординации остался у главнокомандующего и «не поехал скоро», и почему Бибиков вместо того, чтобы выгнать его вон, «вступил с ним в разговор»? Чрезвычайно краткими комментариями Ходасевич ставит все на свои места и одновременно проливает дополнительный свет на характеры обоих действующих лиц. «Бибиков его выслушал, но сказал, что взял уже из гвардии офицеров, лично ему известных. Державину ничего не оставалось, как откланяться. Но уйти — значило упустить случай безвозвратно. Он не двигался с места. Наконец, удивленный Бибиков разговорился со странным офицером, понемногу втянулся в беседу и остался ею доволен».

Еще интересней другое место, где Ходасевич строит свое истолкование вопреки традиции. В «Записках» Державин поведал о реакции Потемкина на составленное поэтом описание праздника, устроенного светлейшим князем, чтобы вернуть утраченный фавор императрицы. Прочитав «Описание», Потемкин «с фурией выскочил из своей спальни, приказал подать коляску и, несмотря на шедшую бурю, гром и молнию усакал Бог знает куды». Вскоре, правда, Потемкин смягчился к Державину, обещал «все сделать» для него, а при своем отъезде в армию позвал поэта «к себе в спальню, посадил наедине с собою на софу и, уверив в своем к нему благорасположении, с ним простился».

Державин долго гадал, что именно в его «Описании...» могло вызвать гнев светлейшего, и пришел к выводу, что причиной всему был недостаток похвал достоинствам князя. Свои предположения на этот счет, кстати говоря, отличные от державинских, выдвинул и Грот.

Ходасевич здесь предлагает совершенно неожиданное и, одновременно, неотразимо убедительное решение вопроса: «в державинском описании нет никаких неловкостей, ни тем паче обид Потемкину. Случись то или другое — на неловкости он указал бы автору, не приходя в бешенство, а прямых обид никогда не простил бы. Он же, напротив, спустя несколько дней, сам старался загладить обиду, нанесенную им Державину.

Причина вспышки была иная. Праздник не достиг цели и тем самым превратился для Потемкина в лишнее унижение. Державин невольно ему напомнил об этом. Разница между тем торжествующим и счастливым Потемкиным, представленным в описании, и тем несчастным, который его читал, была нестерпима. Он не вынес и не сдержался, потому что вообще давно отвык сдерживаться». Неистовство Потемкина было, оказывается, своеобразным подтверждением выразительности и силы, достигнутых Державиным в «Описании», но, озабоченный устройством своих и без того нелегких житейских обстоятельств, поэт не мог, конечно, понять и оценить подобного комплимента своему перу.

Не все расшифровки удались Ходасевичу в равной мере. Так, едва ли возможно согласиться с тем, что, включая в рукописный сборник, поднесенный Екатерине, несколько опасных стихотворений и давая потом по их поводу еще более обостряющие ситуацию объяснения, Державин затевал сознательную провокацию с целью добиться от императрицы отставки. Слишком упорный и долгий труд многих людей был вложен в этот роскошный том и слишком сильно было желание Державина увидеть его в печати (без санкции Екатерины это было для него совершенно невозможно), чтобы он мог позволить себе столь рискованную игру. Скорее здесь сыграли свою роль трепетное отношение к книге, делавшее Державина неспособным поступить даже самым малым, когда речь шла об издании его сочинений, и та культивируемая им в себе горячность, которая принесла ему столько неприятностей.

Впрочем, промахи такого рода в книге, где буквально каждая страница пестрит догадками и предположениями, можно пересчитать по пальцам. Удач и прозрений значи-

тельно, неизмеримо больше. Укажем хотя бы на рассказ Ходасевича об отношениях Державина с обеими его женами, на объяснение причин его конфликта с Тутолминым, которое куда глубже традиционных суждений о столкновении честного чиновника с казнокрадом, на интерпретацию болезненного пристрастия стареющего поэта к читкам его произведений С. Т. Аксаковым и т. д.

Перечень этот можно продолжать еще долго, но психологические расшифровки, о которых идет речь, составляют только внешний слой повествования, его, так сказать, фабульную основу. Сюжет же книги определяется более глубокоим пластом авторской мысли — концепцией личности Державина, которую предложил Ходасевич.

Предреволюционная критика, заново оценившая творчество Державина, оставалась совершенно равнодушна к его государственной деятельности. Для Б. Грифцова грубая практичность державинской карьеры служила лишь эффективным контрастом к его «конкретной и вместе с тем до полного эстетизма отвлеченной поэзии» чистых красок, как бы свидетельствуя о взаимной чуждости и несопоставимости двух этих сфер бытия. Ходасевич подошел к проблеме с другой стороны. «К началу восьмидесятых годов, — пишет он, — когда Державин достиг довольно заметного положения в службе и стал выдвигаться в литературе, поэзия и служба сделались для него как бы двумя поприщами единого гражданского подвига»¹.

В «Державине» совсем немного говорится о стихах. Ходасевич сколько-нибудь подробно разбирает всего пять-шесть произведений своего героя, и за единственным исключением, о котором речь ниже, не показывает его в работе. И все же книга в целом остается книгой о поэте, ибо автору удастся обнаружить поэтическую сторону державинской судьбы и служебной деятельности. (Возможно, именно вниманием к этой стороне его замысла и тронула Ходасевича рецензия П. Бицилли.) Но, чтобы сделать это, предстояло пересмотреть устоявшиеся представления о Державине как

¹ Ср. вывод современной исследовательницы: «Своеобразие позиции Державина состояло, видимо, в том, что он не принижал творчество до службы, но рассматривал оба эти рода деятельности как сферу высокого творческого вдохновения». (Фоменко И. Ю. Автобиографическая проза Г. Р. Державина и проблема профессионализации русского писателя // Русская литература XVIII — нач. XIX в. в общественно-культурном контексте. Л. 1983. С. 152 (XVIIII век; сб. 14)).

о ретивом, но ограниченном служаке, честном ретрограде, певце дворянской монархии. Важно отметить, что такой пересмотр Ходасевич провел по существу первым.

«Прислушиваясь к голосу совести, <...> приучился он (Державин. — А. З.) ощущать самодержавие как непомерную тяжесть, налегшую на жизнь, волю и самую мысль России», — парадоксально, что эти соображения высказывал писатель-эмигрант, тогда как почти одновременно советский критик писал, что Державин «воспел в своих произведениях полуграбительские войны организаторов и руководителей небольшой дворянской группы»¹. Время рассудило этот спор.

Исследования последних лет, в том числе основанные на архивных текстах Державина, неизвестных Ходасевичу, в основном подтвердили его мысли о преклонении поэта перед идеей Закона, об ощущении им «самодержавства» как неизбежного зла, призванного обуздывать произвол сильных по отношению к слабым и черпающего свое право на существование в «позлащающих» его «железный скипетр» «щедротях», т. е. милостях, оказываемых народу. Интересно, что все свои заключения Ходасевич делает на основе державинской лирики, к которой он, кажется, впервые всерьез подошел как к источнику для реконструкции политических взглядов поэта.

Последнее обстоятельство особенно многозначительно. Сколь бы проницателен ни был Ходасевич в анализе психологии своего героя и его современников и сколь бы количественно малое место ни занимал в биографии рассказ о творчестве Державина, смысловые узлы книги завязаны именно на нем. По сути дела, только стихи и интересовали Ходасевича по-настоящему, а остальное было лишь подготовительной работой, необходимой для их правильного понимания. «Поэт, пользуясь явлениями действительности как материалом, создает из них свой собственный мир. Так и критика делает то же самое лишь иными приемами, и творит свой мир, пользуясь как сырым материалом, явлениями мира поэтического. И как цель поэтического творчества — вскрыть правду о мире, показав его в новом виде, так цель критики — вскрыть правду о поэзии, посмотрев на нее с новой точки зрения. Опять же как художник, преобразующий действительность, не вправе ее *искажать*, так и критик,

¹ Виноградов И. Творчество Державина // Державин Г. Р. Стихотворения. Л. 1933. С. 43.

преобразующий поэзию, обязан оставаться в пределах поэтической данности; этому и служит предварительное изучение поэтического материала, — писал Ходасевич в рецензии на «Пушкина в жизни» В. Вересаева и добавлял, — когда речь идет о Пушкине, этот материал не вскрываем без изучения биографического» (Последние новости. 1927, 13 января).

Для «вскрытия правды о поэзии» Державина биография, естественно, требовалась еще в большей мере, и Ходасевич буквально продирался к кульминационным моментам своей книги сквозь пласты житейских хитросплетений и навороты личных и общественных отношений. «Наконец-то я кончил губернаторство и суд над Державиным, — писал он Н. Берберовой в феврале 1930 года. <...> — Теперь пойдет *интересное и легкое*. До сих пор было трудно разобраться в огромном, нудном и запутанном материале. Грот его весь добыл — да сам же и запутал так, что черт ногу сломит. А я не сломал, и то хорошо». Та же тема возникает в письме от 31 октября: «Я надеюсь к завтрашнему вечеру кончить проклятую VIII главу (министерство) и выехать на ровную дорогу. Надоели мне министры до черта, но надо через это проехать» (ед. хр. 130, л. 30, 42). Постигание законов судьбы всякого поэта и, в конечном счете, самопознание было главным творческим стимулом Ходасевича при всей неукоснительной добросовестности его биографических приемов.

Так, четкий и подробный, полностью основанный на исследовании Грота, рассказ о деятельности Державина во время пугачевщины оказывается у Ходасевича своего рода обозначением тех жизненных бурь, через которые неминуемо должен пройти большой писатель, чтобы обрести себя¹. Исторические потрясения становятся поэтическим крещением Державина, и в «Читалагайских одах», написанных по горячим следам пугачевской кампании, Ходасевич слышит первые, еще слабые звуки голоса рождающегося гения:

«В жизни каждого поэта (если только не суждено ему остаться вечным подражателем) бывает минута, когда полусознанием, полуощущением (но безошибочным) он вдруг постигает в себе строй образов, мыслей, чувств, звуков,

¹ Тот же подход к роли пугачевских событий в судьбе Державина, но, по-видимому, независимо от Ходасевича продемонстрировал Ю. О. Домбровский в романе «Державин» (Алма-Ата, 1939).

связанных так, как дотоле они не связывались ни в ком. Его будущая поэзия вдруг посылает ему сигнал. Он угадывает ее — не умом, скорей сердцем. Эта минута неизъяснима и трепетна, как зачатие. Если ее не было — нельзя притворяться, будто она была: поэт или начинается ею или не начинается вовсе». Д. Бетей приводит эти слова, говоря о работе Ходасевича над создававшимся в предреволюционные годы сборником «Путем зерна»¹. Так или иначе, их автобиографический характер несомненен.

Как уже говорилось, лишь однажды в книге мы видим Державина за работой. Это и понятно, биограф был связан документальным материалом, а сам поэт только один раз — в «объяснении» к оде «Бог» открыл дверь в свою мастерскую. «Не dokonчив последнего куплета сей оды, что было уже ночью, заснул перед светом, — писал Державин как всегда в третьем лице, — видит во сне, что блещет свет в глазах его, проснулся, и в самом деле воображение так было разгорячено, что казалось ему вокруг стен бегают свет, и с ним вместе полились потоки слез из глаз у него. Он встал и в ту же минуту, при освещающей лампаде, написал последнюю сию строфу, окончив тем, что в самом деле проливал он благодарные слезы за те понятия, которые ему вперены были».

У Ходасевича достало чутья почти не касаться этого одного из самых выразительных в мировой литературе описаний творческого вдохновения. Всего два-три удара резца мастера: цитаты из оды, краткие психологические пояснения, легкая, почти незаметная, модернизация слога, и заряд художественной энергии, дремавший в державинском рассказе, высвобождается, чтобы воздействовать на читателя XX века, рождаются страницы, которые, по словам М. Алданова, «должны были бы войти в классическую хрестоматию»².

«Тут охватило его такое упоение величайшею гордостью и сладчайшим смирением, открытыми человеку, такое невыразимое счастье пребывания в Боге, что далее уже писать он не мог. Было то уже ночью, незадолго до рассвета. Силы его покинули, он уснул и увидел во сне, что блещет свет в глазах его. Он проснулся, и в самом деле воображение так было разгорячено, что казалось ему — вокруг стен бегают свет. И он заплакал — от благодарности и любви к Бо-

¹ Beathea D. Op. cit. P. 102.

² Современ. зап. 1931. № 46. С. 497.

гу. Он зажег масляную лампу и написал последнюю строфу, окончив тем, что в самом деле проливал благодарные слезы за те понятия, которые были ему даны:

Неизъяснимый, Непостижный!
Я знаю, что души моей
Воображения бессильны
И тени начертать Твоей;
Но если славословить должно,
То слабым смертным невозможно
Тебя ничем иным почтить,
Как им к Тебе лишь возвышаться.
В безмерной разности теряться
И благодарны слезы лить.

Когда он кончил, был день».

Особенно пронзительной становится автобиографическая нота повествования в заключительных главах, когда речь идет о старом Державине времени работы над «Записками» и «Объяснениями». Конечно, в чисто житейском плане между сорокачетырехлетним нищим эмигрантом и семидесятилетним помещиком и экс-министром было мало общего, но, подобно своему герою, Ходасевич ощущал себя поэтом отошедшего времени. Он уже почти не писал стихов, вероятно, по сформулированному им «закону поэтической биологии» ощущая, что перестает «дышать воздухом своего века» и слышать его «музыку». В своих воспоминаниях и статьях он пытался воскресить ту славную эпоху российской словесности, свидетелем и деятелем которой ему довелось быть. На принадлежавшем Н. Берберовой экземпляре «Собрания стихотворений» 1927 года, мыслившегося как его итоговый сборник, Ходасевич собственноручно написал примечания ко многим своим стихотворениям — кто знает, не вспоминал ли он в эти минуты о Державине, диктующем свои «Объяснения» Лизе Львовой¹.

У критиков начала XX столетия державинские объяснения не пользовались кредитом. «Наихудшим и наименее достоверным комментарием к стихам» назвал их Б. Грифцов, а Б. Эйхенбаум в юбилейной статье о Державине даже вынес одно из них в эпиграф как образец интерпретационной бессмыслицы, в которую впадал не понимавший себя гений². Ходасевич не хуже своих собратьев по перу видел

¹ См. Malmstead John E. The Historical Sense and Hodasevic's Deržavin // Ходасевич В. Ф. Державин. Мюнхен. 1975. С. X.

² Аполлон. 1916. № 8. С. 23; см. также: Эйхенбаум Б. М. Сквозь литературу. 1924. С. 5.

несводимость великолепных державинских образов к их бытовой подоснове, он даже склонен был, и не без оснований, подозревать поэта в известном лукавстве, но в целом смысл и назначение «Объяснений» он понял, как это нередко бывает, и традиционнее и свежее других:

«Предметы реального мира некогда возносились его палящей поэзией на страшные высоты, где уж переставали быть только тем, чем были в действительности. Теперь Державину было любо возвращать их на землю, облекать прежней плотью. Для поэта былая действительность спит в его поэзии чудным сном — как бы в ледяном гробе. Державин будил ее грубовато и весело. Превращая поэзию в действительность (как некогда превращал он действительность в поэзию), он совершал прежний творческий путь лишь в обратном порядке и как бы сызнова переживал счастье творчества. Если взглянуть со стороны, это грустный путь и радости его горьковаты. Но он всегда греет сердце поэта, уже хладеющее».

Таковыми горьковатыми радостями была полна литературная деятельность Ходасевича этих лет. Пережив крушение миропорядка, он работал для истории российской словесности, работал, не будучи уверен, что такая история ей суждена. Тем больше волновало его поэтическое завещание Державина, знаменитая «Река времен», где «жерлом вечности пожираются» дела рук человеческих, причем происходит это в той самой мучившей Ходасевича последовательности: сначала исчезают «царства», а потом — то, что от них «остаётся чрез звуки лиры и трубы». Столкновение замысла «Реки времен», которым, по существу, завершается книга, может быть, и спорно с державиноведческой точки зрения, но оно бесспорно как автобиографическое свидетельство, как указание того духовного выхода, который искал для себя Ходасевич в «европейской ночи».

Читателю, который хотел бы познакомиться с судьбой Державина, трудно порекомендовать более ответственное чтение, чем книга Ходасевича. И в то же время это очень исповедальное произведение, вернее, начало той исповеди, которая должна была быть продолжена и увенчана давно задуманной биографией Пушкина.

То, что по окончании «Державина» Ходасевич собирался приступить к работе над «Пушкиным», было хорошо известно в эмигрантских кругах. Еще не написанную биографию анонсировали «Возрождение» и «Современные записки». Нетерпеливым ожиданием книги о Пушкине заканчивал

свою рецензию на «Державина» М. Алданов. Да и сам Ходасевич под впечатлением успеха своего первого опыта, благодаря П. Бицилли за его отзыв, сообщал, что «на днях садится писать „Пушкина“». Несколько фрагментов этого труда действительно появились в разные годы на страницах «Возрождения». Среди них отрывок о черных предках поэта, его раннем детстве, его жизни между окончанием лицея и южной ссылкой, наконец, о Пушкине-картежнике¹. Последняя глава под названием «Пушкин — известный банкомет» была написана еще до «Державина» и предназначалась не только для биографии, но и для другого неосуществленного замысла Ходасевича — книги «Русские писатели за карточным столом».

Однако очень быстро Ходасевичу стала ясна невыполнимость поставленной им перед собой задачи. Обилие посвященных Пушкину материалов и отсутствие обобщающего, сводного исследования, подобного монографии Грота о Державине, ставили биографа перед необходимостью подготовительной работы такого масштаба, которую Ходасевич просто не мог себе позволить. «Здоровье мое терпимо. Настроение весело-безнадежное. Думаю, что последняя вспышка болезни и отчаяния была вызвана прощанием с Пушкиным, — писал он Н. Берберовой уже 19 июля 1932 года. — Теперь и на Этом, как на стихах, я поставил Крест. Теперь нет у меня *ничего*. Значит пора и впрямь успокоиться и постараться выуживать из жизни те маленькие удовольствия, которые она еще может дать, а на гордых замыслах поставить общий крест». Четыре дня спустя, в следующем письме, он разъяснил свои слова: «„Крест“ на Пушкине значит очень простое: в нынешних условиях писать его у меня нет времени. Нечего тешить себя иллюзиями» (ед. хр. 131, л. 5—7).

Писать книгу жизни не было времени. «Гордые замыслы» разбивались о прозаическую необходимость добывать себе кусок хлеба газетной поденщиной. Литературные навыки Ходасевича не позволяют, конечно, о поденщине этой говорить пренебрежительно — над материалами для «Возрождения» и других изданий он неизменно работал с предельной отдачей. И все же бессмысленно было бы утверж-

¹ Эти фрагменты, вместе с «Колблемым треножником», статьями о «Гаврилади» и «Уединенном домике», другими публикациями и книгой «О Пушкине» 1937 года, должны составить том пушкинистики Ходасевича. Хочется надеяться, что он не замедлит своим появлением.

дать, что сотни и сотни его публикаций в эмигрантской периодике сплошь состоят из достижений. В историко-литературной сфере редким примером полного провала может служить статья «Щастливый Вяземский» (Возрождение. 1928, 27 ноября), где образцом литературного и житейского благополучия выведен один из самых безысходных и горьких русских лириков, подведший итог своей судьбе страшными строками:

Жизнь едкой горечью проникнута до дна,
Нет к ближнему любви, нет кротости в помине.
И душу мрачную обуревают ныне
Одно отчаянье и ненависть одна.

Стоит заметить, что Ходасевич не просто проявил здесь несвойственную ему критическую глухоту, но и не разглядел поэта чрезвычайно родственного ему самому и по безыллюзорному мироощущению, и по вкусу к обнаженному, «прозаическому» слову. (Американский стиховед Дж. Смит обнаружил и ритмическую близость поэтов. Четырехстопный ямб Ходасевича во всей русской поэзии XIX века более всего напоминает ямб Вяземского¹.) Между тем Ходасевич искал предшественников. Именно с этим поиском и связана одна из его крупнейших художественных удач 1930-х годов — повесть «Жизнь Василия Травникова».

В одной из позднейших статей Ходасевича «Канареечное счастье» (Возрождение. 1938, 11 марта) говорится: «В символическую эпоху приходится встречать писателей, которым улыбка незнакома во все, — и это рекомендует их не бог знает с какой хорошей стороны. Как ни примечателен писатель, как ни значительны его книги, на какие высоты ни взбирайся он в своих писаниях, — если ни разу в жизни он не пошутил, не написал ничего смешного или веселого, не блеснул эпиграммой или пародией, — каюсь, такого писателя в глубине души я всегда подозреваю в затаенной бездарности, на меня от такого пророка или мудреца разит величавой тупостью». Сам Ходасевич написал довольно много шуточных стихотворений, разительно уступающих, однако, по изощренности иронии его прозаической шутке, которую, впрочем, едва ли возможно назвать «смешной» или, тем более, «веселой».

¹ См. Смит Дж. Стихосложение Ходасевича // Russian Poetics. Columbus. 1983.

«Жизнь Василия Травникова» — биография неведомого поэта начала XIX века — была прочитана Ходасевичем на литературном вечере в Париже 8 февраля 1936 года. (На том же вечере со своими рассказами выступал В. Набоков.) Реакция публики была самой энтузиастической. 13 февраля некто М. выражал свои восторги на страницах «Возрождения»: «Читатели, знакомые с книгой Ходасевича о Державине, уже раньше знали, что ему принадлежит почетное место в ряду современных мастеров художественной биографии. В этом очень трудном жанре он удержался от излишнего романсирования и сумел сочетать умный, критический подход с чисто беллетристическим талантом построения и изобразительности. Все эти достоинства он проявил и в прочитанной на вечере „Жизни Василия Травникова“». В тот же день в «Последних новостях» своими впечатлениями от чтения делился постоянный литературный противник Ходасевича Г. Адамович: «В. Ходасевич прочел жизнеописание некоего Травникова, человека, жившего в начале прошлого века. Имя неизвестное. В первые 10—15 минут чтения можно было подумать, что речь идет о каком-то чуде, самодуре и оригинале, из рода тех, которых было так много в былые времена. Но чудак, оказывается, писал стихи, притом такие стихи, каких никто в России до Пушкина и Баратынского не писал: чистые, сухие, лишенные всякой сентиментальности, всяких стилистических украшений. Несомненно, Травников был одареннейшим поэтом, новатором, учителем: достаточно прослушать одно его стихотворение, чтобы в этом убедиться. К Ходасевичу архив Травникова, вернее, часть его архива попала случайно. Надо думать, что теперь историки нашей литературы приложат все усилия, чтобы разыскать, изучить и обнародовать рукописи этого необыкновенного человека».

Рецензенты, однако, попали впросак. Никакого Василия Травникова никогда не существовало, а его жизнеописание было мистификацией Ходасевича. Сейчас, задним числом, всеобщая доверчивость выглядит даже загадочной; не говоря уже о столь типичном для подделки объяснении находки и утраты автором травниковского архива, слишком очевидным кажется литературное и притом позднее происхождение самой истории семьи закоренелых безбожников и павшего на них родового проклятия. Любопытно, что единственное примечание, сделанное Ходасевичем к тексту повести, словно призвано дать внимательному глазу намек, указывающий на двойную историческую перспективу, в

которой должна была быть прочитана «Жизнь Василия Травникова».

«На сей земле, где учрежден один / Закон неумолимого страданья», — эти строки своего героя биограф находит нужным сопроводить текстологическим комментарием. «Рукопись не совсем разборчива, — замечает он с приличествующей случаю научной щепетильностью. — Может быть, следует читать „неумолимого“». Начертания букв «т» и «м» на письме, действительно, схожи, однако приведенные варианты выражают два совершенно различных мироощущения, принадлежащих различным эпохам. Словосочетание «неумолимое страданье» звучит в устах поэта начала XIX века вполне естественно, служа, по сути дела, синонимом таких поэтических клише как «безжалостная судьба» или «жестокий рок». Но «неумолимое страданье» — уже нечто совсем иное. За этой формулой встает та мера уязвленности личности глубинным неустройством бытия, когда душа ждет от мира лишь подтверждений обоснованности своего отчаяния и, не способная удовлетвориться никакими внешними ударами, выбирает для себя путь последовательного саморазрушения. Понятно, что эта концепция — плод мышления не только постромантического, но и вкусившего духовной пищи XX столетия.

Сюжет повести выстроен Ходасевичем с безукоризненной симметрией. Буйная, чувственная, попирающая божеские и человеческие установления страсть старшего Травникова к четырнадцатилетней Машеньке Зотовой¹, его сестре по церковным законам, отражается в духовном тяготении младшего к ее ровеснице — безулыбчивой немке, воспитанной доктором, работающим над научным доказательством «невозможности бытия Божьего». При этом, если участью отца становится пьянство, разврат, «деятельная жестокость» по отношению к крепостным и издевательства над единственным дорогим ему человеком, то сын проявляет «неумолимость» своего страдания, закопав собственный дар и добровольно изгнав себя из сообщества людей. «Надо

¹ Именно в этом влечении к девочке-подростку, «воспламененном» «воображением о невинности, страстью тревожимой», — источник трагедии Григория Травникова. Расплатой для него, как и для героя набоковской «Лолиты», становится одиночество и безумие. Если учесть, что Набоков выступал на вечере, на котором была прочитана «Жизнь Василия Травникова», сопоставление двух этих произведений едва ли покажется парадоксальным.

думать они встречались не часто, но этой высшей разобщенностью лишь подчеркивалось их главное и глубокое сходство: оба несли свой крест с сосредоточенным ожесточением», — разъясняет Ходасевич.

Вся эта смысловая конструкция, по всей вероятности, оказалась бы непомерно тяжела для столь небольшого по объему произведения, если бы Ходасевич расчетливо не сбалансировал ее тем сухо-бесстрастным тоном исследователя, восстанавливающего цепочку давних и представляющих чисто исторический интерес происшествий, который по самой своей природе исключает претензию на философскую многозначительность. Стоит обратить внимание на приводимые в повести цитаты из «документов» — вот где пошло в ход невостребованное в «Державине» мастерство стилизатора. На этот раз мистификаторские цели давали Ходасевичу достаточно убедительную внутреннюю мотивировку для использования такого рода приемов. Его ирония поистине, если воспользоваться метафорой, вложенной им в уста тишайшего Владимира Измайлова, подобна здесь «железу, раскаленному на морозе».

В то же время необходимо иметь в виду, что «Жизнь Василия Травникова» остается, прежде всего, повествованием о талантливом поэте, и это обстоятельство сообщает и без того емкой вещи дополнительные измерения. Повесть завершается утверждением, что «более других приближаются к Травникову Баратынский и те русские поэты, чье творчество связано с Баратынским». Несомненно, в первую очередь Ходасевич ведет речь о самом себе. Именно его лирику критика тех лет как эмигрантская, так до середины 1920-х годов и советская, чаще всего выводила из Баратынского, считавшегося родоначальником поэзии разочарования и анализа. Высказывая в последней фразе повести предположение, что «те, кого принято считать учениками Баратынского, в действительности учились у Травникова», Ходасевич как бы насмешливо корректировал свою родословную, дополняя ее предком, превзошедшим Баратынского остротой разочарования, поэтом, который, «отвергая надежду и утешение в жизни, <...> стремился к отказу от всяческой украшенности» в стихах.

Однако Василий Травников — это не только проекция в историю самого Ходасевича. Как установил Д. Б. Волчек¹, по крайней мере, одно из травниковских стихотворений

¹ Сообщено в письме автору в июле 1987 г.

«О сердце, колос пыльный») принадлежало другу юности Ходасевича, поэту Самуилу Викторовичу Киссину, известному в литературных кругах под именем Муни. Свой прочувствованный очерк о нем, вошедший в состав «Некрополя», Ходасевич построил на анализе того чувства эфемерности, призрачности собственного существования, которое неизменно владело Муни. «Меня, в сущности, нет», — нередко повторял он, а «эпиграфом к себе самому» хотел поставить строки: «Другие дым, я тень от дыма, / Я всем завидую, кто дым». Память о друге, тенью от дыма прошедшем по жизни и литературе, Ходасевич и воплотил в повествовании о поэте, чье существование оказалось столь же внешне бесследным.

По-видимому, сам замысел введения в историю словесности вымышленного писателя был также подсказан Ходасевичу биографией Муни. «В начале 1908 года, — рассказывает в „Некрополе“, — Муни вздумал довыплотиться в особого человека Александра Александровича Беклемишева <...> Месяца три Муни не был похож на себя, иначе ходил, говорил, одевался, изменил голос и самые мысли <...> Чтобы уплотнить реальность своего существования, Беклемишев писал стихи и рассказы; под строгой тайной посылал их в журналы». Желая прекратить эту утомительную для них обоих мистификацию, Ходасевич «написал и напечатал в одной газете <...> за подписью Елизавета Макшеева» стихи, которые «посвящались Александру Беклемишеву и содержали довольно прозрачное и насмешливое разоблачение беклемишевской тайны»¹.

Замечательно, что фамилии вымышленных поэтов были заимствованы из списка актеров, участвовавших в 1786 году в Тамбове в представлении «Аллегорического пролога на открытие театра и народного училища» Державина. (В воспоминаниях Ходасевич раскрыл источник собственного псевдонима, но умолчал об аналогичном происхождении псевдонима Муни. Исторического Беклемишева, правда, звали Яков Иванович.) Друзья творили своих мифических существ в смысловом поле державинской биографии. Для «Жизни Василия Травникова» это обстоятельство не лишено символического значения, вполне в духе отношений Ходасевича и Муни.

«Не Карамзин, не Жуковский, не Батюшков, а именно Травников начал сознательную борьбу с условностями

¹ Ходасевич В. Ф. Некрополь. С. 111.

книжного жеманства, которое было одним из наследий русского XVIII столетия», — пишет Ходасевич. Державин здесь не упомянут, но, если вспомнить, что именно он был для Ходасевича великим разрушителем условно-поэтической фразеологии, «родоначальником русского реализма», первым поэтом, «дерзнувшим видеть мир по-своему и изображать его таким, каким видел» (Возрождение. 1937, 29 октября), то смысл этой фигуры умолчания станет ясен. Василий Травников был в сознании автора как бы младшим Державиным, вернее, своего рода вариантом Державина, лишенным, впрочем, тех государственных и религиозных основ, на которых вырос его исторический прообраз.

И последнее. Как известно, высшим развитием державинских традиций был для Ходасевича Пушкин. В «Жизни Василия Травникова» пушкинская линия еле-еле намечена на самой периферии повествования. Первый раз эта тема вводится упоминанием о встреченных Травниковым родственниках «болтливого стихотворца» Василия Пушкина, «брате и жене брата, злой и красивой», — родителях уже появившегося на свет, как нетрудно убедиться сопоставившему даты читателю, Александра. Затем Ходасевич сообщает нам, что в 1814 году, в июльской книжке «Вестника Европы», где, несмотря на все уговоры, отказывался печататься Травников, его воспитатель В. Измайлов «впервые напечатал стихи юного лицеиста Александра Пушкина». И, наконец, последним свидетельством земного существования Травникова оказывается его язвительная надпись на экземпляре «Руслана и Людмилы». Заметим, что травниковский скепсис, по сути дела, оказывается ироническим отражением восторга Державина на лицейском экзамене, также венчающего жизненный путь старого поэта. С восходом нового светила поэты прежнего века, выполнив свое предназначение, уходят со сцены.

Таким образом, если в плане автобиографическом в центре повести оказываются ни разу не названные в ней Ходасевич и Муни, то в плане историко-литературном ее столь же тщательно замаскированными героями становятся Державин и Пушкин — два заветных имени биографической музыки автора.

* * *

Во мне конец, во мне начало,
Мной совершенное так мало!
И все ж я прочное звено.
Мне это счастье дано, —

писал Ходасевич. Сознание собственной прочности давалось ему ощущением опоры на русскую поэтическую традицию, хотя порой ему казалось, что в этой цепи он призван сыграть роль последнего звена. Но чем тяжелее давило на него ощущение конца, тем более настоятельной становилась в нем потребность взглянуть туда, где он видел начало, — в Державина. В Державине он постигал и себя и ту полуторавековую историю отечественной поэзии, которая и разделяла и связывала их.

«Друг друга отражают зеркала, / Взаимно умножая отраженья», — сказал современник и знакомый Ходасевича Георгий Иванов. «Взаимно умноженные» отражения двух больших поэтов и предлагает нам эта книга.

Андрей Зорин

ДЕРЖАВИН

38

<ПАВЕЛ I>

290

<ПЛАН КНИГИ О ПАВЛЕ I>

309

ДЕРЖАВИН

(К столетию со дня смерти)

312

ЖИЗНЬ ВАСИЛИЯ ТРАВНИКОВА

321

После колоссальной исследовательской работы, совершенной Я. К. Гротом, в течение пятидесяти лет новых известий о жизни Державина почти не являлось. Точно так же и автор предлагаемого сочинения не ставил себе неисполнимой задачи сообщить какие-либо новые, неопубликованные данные. Нашей целью было лишь по-новому рассказать о Державине и попытаться приблизить к сознанию современного читателя образ великого русского поэта, — образ отчасти забытый, отчасти затемненный широко распространенными, но неверными представлениями.

Биограф — не романист. Ему дано изъяснять и освещать, но отнюдь не выдумывать. Изображая жизнь Державина и его творчество (поскольку оно связано с жизнью), мы во всем, что касается событий и обстановки, остаемся в точности верны сведениям, почерпнутым и у Грота, и из многих иных источников. Мы, однако, не делаем сносок, так как иначе пришлось бы их делать едва ли не к каждой строке. Что касается дословных цитат, то мы приводим их только из воспоминаний самого Державина, из его переписки и из показаний его современников. Такие цитаты заключены в кавычки. Диалог, порою вводимый в повествование, всегда воспроизводит слова, произнесенные в действительности, и в том самом виде, как они были записаны Державиным или его современниками.

I

В XV веке, при великом князе Василии Васильевиче Темном, татарин мурза Багрим приехал из Большой Орды на Москву служить. Великий князь крестил его в православную веру, а впоследствии за честную службу пожаловал землями. От Багрима, по записи Бархатной книги русского дворянства, произошли Нарбековы, Акинфовы, Кеглевы (или Теглевы). Один из Нарбековых получил прозвище *Держава*. Начал он свою службу в Казани. От него произошел род Державиных. Были у них недурные поместья, от Казани верстах в 35—40, меж Волгой и Камою, на берегах речки Мёши.

Земли, однако же, дробились между наследниками, распродавались, закладывались и уже Роману Николаевичу Державину, который родился в 1706 году, досталось всего лишь несколько разрозненных клочков, на которых крестьяне числились не сотнями, не десятками, а единицами.

Еще в 1722 году, при Петре Великом, Роман Николаевич вступил в армию и служил попеременно в разных гарнизонных полках. Подобно достаткам и чины его были невелики, хотя от начальства он пользовался доверием, от сослуживцев — любовью. Но был человек неискательный, скромный, отчасти, может быть, неудачник. Тридцати шести лет он женился на дальней своей родственнице, бездетной вдове Фекле Андреевне Гориной, урожденной Козловой. Брак не прибавил ему достатка: Фекла Андреевна была почти так же бедна, как он сам, и ее деревеньки в таких же лежали клочьях. Впрочем, и из-за этих убогих поместий Державиным приходилось вести непрерывные тяжбы с соседями. Времена же были бессудные. Дело иной раз доходило до драки. Так, некий помещик Чемадуров однажды зазвал Романа Николаевича в гости, напоил крепким медом, а потом, не пощадив чина-звания, избил с помощью своих родственников и слуг. Роман Николаевич несколько месяцев прохворал, а после того Державины с Чемадуровыми враждовали из рода в род без малого полтора года: только

в восьмидесятих годах минувшего века их распри кончились.

Женившись, Роман Николаевич жил то в самой Казани то поблизости от нее, в одной из деревень своих, — неизвестно, в которой именно. Там и родился у него, в обрез через девять месяцев после свадьбы, первенец. Это событие произошло 3 июля 1743 года, в воскресенье. По празднуемому 13 числа того месяца собору Архангела *Гавриила* младенец и наречен.

От рождения был он весьма слаб, мал и сух. Лечение применялось суровое: по тогдашнему обычаю тех мест, запекали ребенка в хлеб. Он не умер. Было ему около года, когда явилась на небе большая комета с хвостом о шести лучах. В народе о ней шли зловещие слухи, ждали великих бедствий. Когда младенцу на нее указали, он вымолвил первое свое слово:

— Бог!

* * *

Вскоре Державина-отца перевели по службе в город Яранск, Вятской губернии, потом в Ставрополь, что на Волге, в ста верстах от Самары. Городишки были убогие: кучи деревянных домишек. Жизнь — тоже убогая, захолустная, гарнизонная. К тому же — достатки малые, а семья росла. Через год после первого родился второй сын, а потом и дочь, которая, впрочем, прожила недолго.

Державины были люди не больших познаний. Фекла Андреевна и вовсе была полуграмотна: кажется, только умела подписывать свое имя. Ни о каких науках, либо искусствах, в доме и речи не было. По трудности этого дела, детей, может быть, не учили бы ничему, если бы не дворянское звание.

В видах предстоящей службы некоторые познания в науках были тогда для дворянских детей обязательны. Объем этих познаний был весьма невелик, но приобрести их было чрезвычайно трудно. На всю Россию было два-три учебных заведения, в Москве да в Петербурге. Помещать туда детей удавалось немногим — по дальности расстояния, по недостатку вакансий и проч. Поэтому дворянским недорослям давались отсрочки для обучения наукам на дому. Обучение, однако же, проверялось правительством, для чего надо было в положенные сроки представлять детей губернским властям на экзамены, или, по-тогдашнему, на «смотри». Первый такой смотр полагался в семь лет, второй

в двенадцать, третий в шестнадцать. В двадцать лет надобно было начинать службу.

Столичные жители, при известном достатке, могли отдавать детей в пансионы (впрочем — плохие и немногочисленные), либо нанимать учителей. Для провинциалов, к тому же бедных, каковы были Державины, все это было недоступно. Поэтому вопрос об образовании мальчиков очень рано и очень надолго сделался для них своего рода терзанием. Уже по четвертому году Ганюшку стали приучать к грамоте. Это было еще не столь затруднительно: нашлись какие-то «церковники», то есть дьячки да пономари, которые были его первыми учителями. От них научился он читать и писать. Конечно, мать прибегала и к поощрениям: игрушками да конфетами старалась его приохотить к чтению книг духовных: то были — псалтырь, жития святых. Впрочем, для первого смотра этого было достаточно, и Державин благополучно отбыл его.

Дальше стало труднее. Познания «церковников» были уже исчерпаны, а мальчик рос. Ему минуло уже восемь лет, когда судьба занесла семью в Оренбург. Город в те поры перестраивался: его переносили на новое место. На работы были в большом количестве пригнаны каторжники. Один из них, немец Иосиф Розе, устроился, однако же, особым образом: он открыл в Оренбурге училище для дворянских детей обоего полу. В этом не было ничего удивительного: и в те времена, и много еще спустя, иностранцы-учителя чаще всего вербовались из разного сброда. Благороднейшие оренбургские семьи стали охотно отдавать ребят на выучку к Иосифу Розе. Другой школы не было. Попал туда и Державин.

В своем заведении Розе был и директором, и единственным преподавателем. Нравом и обычаем был он каторжник, а познаниями невежда. Детей подвергал мучительным и даже каким-то «неблагопристойным» карам. Обучал же всего одному предмету — немецкому языку, грамматики которого сам не знал. Учебников не было. Дети списывали и заучивали наизусть разговоры да вокабулы, написанные самим Розе, впрочем — с великим каллиграфическим искусством, которого он требовал и от учеников. Как бы то ни было, Державин все-таки у него научился говорить, читать и писать по-немецки. То было важное приобретение: немецкий язык тогда был началом и признаком всякой образованности. Французский вытеснил его лишь впоследствии.

Мальчик был даровит и смышлен от природы. Но и сама жизнь очень рано заставила его быть любознательным: хочешь, не хочешь — *надо* было приобретать познания, собирать их крохами, где только случится. Каллиграфические упражнения натолкнули его на рисование пером. Ни учителей, ни образчиков не было. Он стал срисовывать богатырей с лубочных картинок, действуя чернилами и охрой. Этому занятию предавался «денно и ночью», между уроков и дома. Стены его комнаты были увешаны и оклеены богатырями. Тогда же случайно приобрел он и некоторые познания в черчении и в геометрии — от геодезиста, состоявшего при его отце: тот по службе был занят какими-то межеваниями.

Прожив года два в Оренбурге, снова перебрались на казанские свои земли. Осенью 1753 года Роман Николаевич решился предпринять далекое путешествие, в Москву, а потом в Петербург. Было у него на то две причины. Первая: от полученного когда-то конского удара страдал он чахоткою и намеревался выйти в отставку; это дело надобно было уладить в Москве. Вторая причина заключалась в том, что хотел он устроить будущую судьбу сына, заранее, по тогдашним законам, записав его в Сухопутный кадетский корпус или в артиллерию. Это уже требовало поездки в Петербург, и Роман Николаевич взял мальчика с собою. Но в Москве хлопоты об отставке затянулись, Роман Николаевич поиздержался, и на поездку в Петербург у него уже не осталось денег. Так и пришлось ему возвращаться в родные места, не устроив сына. В начале 1754 года вышел указ об отставке Романа Николаевича, а в ноябре того же года он умер.

Вдову и детей он оставил в самом плачевном состоянии. Даже пятнадцати рублей долгу, за ним оставшегося, уплатить было нечем. Именья по-прежнему не давали дохода; самоуправцы-соседи то просто захватывали куски земли, то, понастроив мельниц, затопляли державинские луга. Теперь вся судебная волокита легла на плечи вдове. У нее не было ни денег ни покровителей. В казанских приказах сильная рука противников перемогала. С малыми сыновьями ходила Фекла Андреевна по судьям; держа сирот за руки, простаивала у дверей и в передних часах, — ее прогоняли, не выслушав. Она возвращалась домой лить слезы. Мальчик видел все это, и «таковое страдание матери от неправосудия вечно осталось запечатленным на его сердце».

Меж тем, приближалось время второго смотра. Как ни трудно было, Фекла Андреевна взяла двух учителей: сперва гарнизонного школьника Лебедева, а потом артиллерии штык-юнкера Полетаева. И тот, и другой сами были в науках не очень сведущи. В арифметике ограничивались первыми действиями, а в геометрии черчением фигур. Впрочем, для смотра этого было достаточно, и в 1757 году Фекла Андреевна повезла обоих сыновей в Петербург, намереваясь представить их там на смотр, а затем отдать в одно из учебных заведений.

В Москве остановились, чтобы оформить в герольдии дела с бумагами мальчиков. Но у Феклы Андреевны не оказалось нужных документов о дворянстве и службе покойного ее мужа. Пока тянулась волокита, подошла распутица, да и деньги иссякли. О Петербурге опять нечего было думать... Хорошо еще, что нашелся в Москве добрый родственник. С его помощью получили для недоросля Гавриила Державина новый отпуск, до шестнадцати лет, и вернулись в Казань, положив ехать в Петербург через год.

Но не судьба была Державину учиться в Петербурге. В следующем году открылась в Казани гимназия — как бы колония или выселки молодого Московского университета. Державин поступил в гимназию.

Обучали в ней многим предметам: языкам латинскому, французскому и немецкому, а также арифметике, геометрии (без алгебры), музыке, танцам и фехтованию. Но учителя были не лучше гарнизонного школьника Лебедева и штык-юнкера Полетаева. Учебников не было по-прежнему. Учили «вере — без катехизиса, языкам — без грамматики, числам и измерению — без доказательств, музыке — без нот, и тому подобное». Учителя ссорились и писали в Москву доносы друг на друга и на директора Веревкина. Веревкин же был воспитанник Московского университета, человек молодой, не слишком ученый, зато деятельный и умевший пустить пыль в глаза начальству. Недостатки преподавания старался он возместить торжественными актами, на которых ученики разыгрывали трагедии Сумарокова и комедии Мольера. Также произносили затверженные наизусть речи на четырех языках, сочиненные учителями. Служились молебны, палили из пушек. В аллегорических соображениях картонные фигуры Ломоносова и Сумарокова (оба тогда еще были живы) взбирались на скалистый Парнас, дабы

там, по указанию картонного Юпитера, воспевать императрицу Елизавету Петровну... Иногда лучших учеников, в том числе Державина, отправляли в странные командировки: то производить раскопки в Болгарах, древнем татарском городе, то перепланировывать город Чебоксары. Обо всем этом Веревкин писал велеречивые донесения в Москву, главному куратору, Ивану Ивановичу Шувалову. В 1760 году Державину объявили, что за успехи по геометрии зачислен он в инженерный корпус. Он облекся в мундир инженерного корпуса и с тех пор при гимназических торжествах состоял по артиллерийской части.

Через три года по поступлении в гимназию, неожиданно пришлось ее бросить, не приобретя особых познаний. Шувалов в Петербурге чего-то напугал с бумагами казанских гимназистов, и вместо инженерного корпуса Державин оказался записанным в лейб-гвардии Преображенский полк солдатом, с отпуском всего лишь по 1 января 1762 года. Когда из Преображенского полка пришел в казанскую гимназию «паспорт» Державина, тот срок уже миновал. Выхода не было: Державин из гимназиста очутился солдатом. Надо было немедленно отправляться в Петербург. Мать собрала денег на дорогу и еще сто рублей на предстоящую жизнь. Был февраль месяц 1762 года. До Петербурга Державин добрался только в марте.

II

— О, брат, просрочил! — с хохотом закричал дежурный по полку майор Текутьев, взглянув на паспорт.

И громовым голосом приказал отвести Державина на полковой двор.

Для начала грозил арест за просрочку и опоздание. Но в канцелярии Державин не растерялся и заставил пересмотреть все дело. Он вправе был требовать отчисления в инженерный корпус и отпуска до двадцати лет. Но для того нужны были деньги и покровители. Пришлось удовольствоваться тем, что не подвергнув наказанию, его зачислили рядовым в третью роту. По бедности он не мог снять квартиру, как пристало бы дворянину. Пришлось поселиться в казарме.

Его облачили в форму Преображенского полка. То был кургузый темно-зеленый, с золотыми петлицами, мундир голштинского образца: из-под мундира виднелся желтый

камзол; штаны тоже желтые; на голове — пудренный парик с толстой косой, загнутой кверху; над ушами торчали букли, склеенные густой сальной помадой.

Времена для военных были суровые. Император Петр III царствовал всего третий месяц, самодурствуя, круто преобразуя армию на голштинско-прусский манер и готовясь к бессмысленному походу в Данию.

Унтер-офицер (по-тогдашнему флигельман) с первого дня стал обучать Державина ружейным приемам и фрунтовой службе. Мысли Державина были направлены в иную сторону, солдатчина ему представлялась бедствием и обидою. Но по неизменному усердию своему и по упорству, с каким давно привык браться за все дела, он и в этой учебе захотел догнать ротных товарищей, начавших службу раньше него. Из ста рублей, данных матерью, вздумал он платить флигельману за добавочные уроки, и вскоре так преуспел в экзерцициях, что стали его в числе прочих отряжать на смотры, до которых Петр III был великий охотник.

Служба была не шуточная и отнимала весь день. Кроме строевых учений и смотров, приходилось нести караулы, то на полковом дворе, то при дворцовых погребах (во внутренние дворцовые караулы Державину поначалу попадать не случалось); солдат то и дело отряжали на работу, вроде уборки снега, очистки каналов, доставки провианта из магазинов; наконец, офицеры гоняли их по своим поручениям. Отпусков не было.

С работ и учений он возвращался вечером. Казарма, в которой стоял он, была невелика; дощатые перегородки делили ее на несколько каморок. Кроме Державина, жило здесь еще пятеро солдат: двое холостых и трое женатых; при женатых были солдатки и дети; у одной из солдаток Державин и столовался.

Еще в Казани он пристрастился к рисованию пером и к игре на скрипке, которой в гимназии обучал преподаватель по фамилии Орфеев. В казарме и то, и другое пришлось забросить: рисование — по причине темноты, а скрипку — чтобы не докучать сожителям. Зато по ночам, когда все улягутся, он читал книги, какие случалось достать, русские и немецкие.

Его литературные познания до сих пор были скудны. В гимназическую пору прочел он перевод фенелонова «Телемака» (неизвестно чей, прозаический; знаменитая «Тилемахида» Тредьяковского вышла позже); затем — политический роман Джона Баркляя «Аргенида» и «При-

ключения маркиза Глаголя», то есть «*Mémoires du marquis +++ ou Aventures d'un homme de qualité qui s'est retiré du monde*» — роман аббата Прево *. Из отечественных авторов знал оды Ломоносова да сумароковские трагедии.

Тогда же, еще в Казани, он стал сочинять и сам. Теперь, в ночной тишине казармы, порой продолжал свои упражнения: без правил, по слуху писал стихи, подражая сперва все тем же Ломоносову и Сумарокову, а потом — прочитанным в Петербурге немцам: Галлеру, Гогедорну. Выходило коряво и неуклюже; ни стих, ни слог не давались, — а показать было некому, спросить совета и руководства — не у кого. Впрочем, он вскоре закаялся следовать высокому ладу славных пиитов. Для торжественных од и важных предметов он не располагал ни ученостью, ни знанием жизни. Олимпийцев он путал, царя видывал разве что на разводах. Он решил впредь не гнаться за Пиндаром и петь попросту, в таком роде:

Чего же мне желать? Пишу я и целую
Анюту дорогую **.

Впрочем, никакой Анюты в действительности не было. Однако, солдатики почему-то проводили, что он грамотей, а за солдатками — вся компания. Державинской Музой, разумеется, не любопытствовали. Но стали просить его писать для них письма в деревню, и вскоре, умея потрафить крестьянскому вкусу, он сделался живым казарменным письмовником. Надо еще прибавить, что все из тех же неиссякаемых ста рублей материнских он порою ссужал товарищей по рублю, по два — и стал, таким образом, любимцем всей роты. Сама его Муза не чуждалась казармы: ради упражнения он предлагал стихами казарменные прибаски скромного содержания, то насчет разных полков гвардейских, то по случаю любопытных событий полковой и трактирной жизни. Стишки имели успех.

Но держался он все-таки себе на уме. В разговоры мешался мало: был занят службою да своими думами. Между тем, наступило лето.

* * *

Недаром явилась на небе 1744 года та шестихвостая комета, которую указали младенцу-Державину. Сулила она не бедствия, как в народе думали, но все же события величайшей важности. В тот самый год, девятого февраля, прибыла в Москву принцесса София-Фредерика Ангальт-Цербстская. Императрица Елизавета Петровна вызвала ее в

Россию и выдала замуж за своего племянника, великого князя Петра Федоровича. Принцесса стала великой княгиней Екатериной Алексеевной, женой наследника русского престола. 25 декабря 1761 года, за два месяца с небольшим до приезда Державина в Петербург, Елизавета Петровна скончалась, и Петр III стал императором. Будучи глуп и груб, он в первые же месяцы своего царствования сумел привить народу и войску то отвращение к своей особе, которое давно испытывала его супруга. Войска роптали на вводимую прусскую форму, на прусскую экзерцицию, на ежедневные вахтпарады. Но всего более раздражало то, что император привел в Россию полки из своей родной Голштинии, расквартировал их в своей резиденции Ораниенбауме и оказывал голштинцам явное предпочтение перед русской армией.

Державин, конечно, замечал этот ропот, но держался в стороне. Жгучая обида заглушила в нем многое. Его положение в гвардии было унижительно, и он не хотел разделять ее чувства. Мало того, что он был принужден служить рядовым, — его уже начали обходить чинами: некоторые молодые солдаты, начавшие службу позже него, были уже капралами, а он по-прежнему оставался рядовым. Причина была все та же: бедность. Наконец, дошло до того, что он встретил некоего пастора Гельтергофа, которого знал по Казани, и с его помощью вознамерился перейти в голштинские войска. Это дело для него облегчалось знанием немецкого языка. В любезных императору голштинских войсках Гельтергоф обещал Державину офицерский чин.

Тем временем подошел июнь месяц. Очередной дворцовый переворот назрел. Устранение императора имело подавляющее большинство сторонников при дворе и в войсках. Во главе заговора стояла императрица Екатерина.

27 июня, утром, с Державиным приключилось несчастье. Покуда он был в строю, украли у него все деньги: те самые, заветные сто рублей (или что от них оставалось), которые он хранил в подголовке. Украл слуга молодого солдата Лыкова, тоже дворянина, стоявшего в одной казарме с Державиным. Вор с добычею скрылся, а Державин весь день ходил сам не свой.

Между тем, кто-то из солдат, по пьяному делу, вышел на галерею и стал кричать, что как выведут полк из города (тут подразумевался ожидаемый поход в Данию) — «то мы спросим, зачем и куда нас ведут, оставя нашу матушку Государыню, которой мы рады служить».

Державин на эти речи не обратил внимания: пропaja денег сделала его ко всему безучастным. Он только и ждал, чтоб вернулись солдаты, которые, любя его, бросились по дорогам ловить вора. Наконец, к вечеру вор был пойман, деньги нашлись при нем почти полностью, Державин утешился и только теперь начал замечать, что в полку творится неладное.

В полночь разнесся слух, что гренaдерской роты капитан Пассек арестован и посажен под караул. Казармы всполошились. Солдаты, вооружась, выбежали на ротный плац. Однако, несколько пошумев, они разошлись, и все, казалось, утихло.

На самом деле события только теперь начались. Пассек был в числе заговорщиков. Императрица жила в Петергофе, Петр III — в Ораниенбауме. Арест Пассека заставил заговорщиков торопиться. В пять часов утра Алексей Орлов посадил Екатерину в одноколку и привез в Петербург, прямо в казармы Измайловского полка. Возмущение началось.

В восьмом часу утра в Преображенский полк прискакал верховой, который кричал, чтобы шли к государыне в каменный Зимний дворец. Рота выбежала на плац, Державин за нею. Из казарм Измайловского полка доносился барабанный бой. Поднялась тревога. Город уже всполошился.

Державин видел, как роты Преображенцев, на бегу заряжая ружья, помчались к Зимнему дворцу. Офицеры бездействовали. Только на Литейной улице майор Воейков, верхом на коне, пытался остановить свою гренaдерскую роту. Обнажив шпагу, он с бранью стал рубить гренaдер по шапкам. Рота вдруг зарычала и кинулась на него со штыками. Воейков поскакал прочь, гренaдеры за ним. Они загнали его вместе с конем в Фонтанку, а сами кинулись дальше.

Постепенно весь полк стянулся к Зимнему дворцу. Потом преображенцев разместили внутри здания.

Дворцовые революции XVIII столетия давно втянули гвардию в политику. Солдаты уже привыкли штыками решать династические вопросы и в этом смысле знали себе цену. Должно быть, среди преображенцев один Державин не разделял общего одушевления. Новичок в жизни и несмышлениш в делах государственных, вряд ли он даже понимал смысл и необходимость переворота. Ему было ясно лишь то, что переворот наносит сокрушительный удар последней его надежде: если Петр III будет низложен, — не станет голштинских войск, а Державин не будет в них офицером.

Он не кинулся с прочими, а не спеша пришел по следам полка во дворец, не спеша отыскал свою роту и стал по ранжиру в назначенное место. Вскоре прибыл Измайловский полк, и разнеслась весть, что императрица во дворце. Солдаты поочередно ей присягали, целуя крест. Полки прибывали один за другим, гвардейские и армейские. Их также приводили к присяге, а затем выстраивали: гвардейцев по берегу Мойки, армейцев вдоль по Морской и прочим улицам, до самой Коломны.

Так прошло время до самого вечера. Погода стояла ясная. Наконец, появились всадники. Впереди, на белом коне Бриллианте, сидя верхом по-мужски, в сапогах со шпорами, в Преображенском мундире, медленно ехала Екатерина. Опускаясь, вечернее летнее солнце, солнце Петербурга, светило ей прямо в лицо — ясное, благосклонное, с тонким носом, круглеющим подбородком и маленьким, нежным ртом. Распущенные волосы, лишь схваченные бантом у шеи, падали из-под треуголки до лошадиной спины. Ветер их шевелил. Маленькая ручка в белой перчатке поднимала вверх узкую серебристую шпагу. Полки кричали ура. Барабаны били. Такою впервые увидел ее Державин.

Она проехала. Скомандовали церемониальный марш, выстроились повзводно, и войска за ней двинулись.

Так маршировали до полуночи, когда, вместе с Екатериной, остановились на отдых у Красного Кабачка. Потом двинулись дальше. Было светло, белые ночи еще не кончились. Рано утром, опередив государыню, стали подходить к Петергофу. Голштинские войска, стянутые туда Петром III, но им покинутые, сдались без единого выстрела. В одиннадцать часов прибыла Екатерина, вновь встреченная кликами ура и пушечною пальбой.

В Петергофе полки были расположены по саду. Тут же и отобедали; были даны солдатам быки и хлеб; сварили кашу. Войска отдыхали. Часу в пятом увидел Державин большую четырехместную карету, запряженную в шесть лошадей, с опущенными гардинами. На запятках, на козлах и по подножкам стояли и сидели гренадеры; конный конвой ехал за каретой. Это везли в Ропшу только что отрешенного императора.

В седьмом часу двинулись в обратный путь. На сей раз шли медленно, и до Петербурга добрались только в полдень, а по квартирам распущены в два часа.

Это был самый Петров день, и день выдался самый жаркий. С непривычки Державин едва доплелся до казармы.

Теперь, на свободе, он мог призадуматься над превратностью Фортуны: как никак, он сам только что принял участие в свержении Петра III и тем самым — в разрушении своей мечты сделаться голштинским офицером. С другой стороны, хорошо было то, что все-таки не успел сделаться: иначе его положение было бы теперь не из легких.

Времени для таких размышлений у него оказалось довольно: строевые учения были отменены, кругом шло ликование. «Кабаки, погреба и трактиры для солдат растворены: пошел пир на весь мир; солдаты и солдатки, в неистовом восторге и радости, носили ушатами вино, водку, пиво, мед, шампанское и всякие другие дорогие вина и лили все вместе без всякого разбору в кадки и бочонки, что у кого случилось».

Так и продолжалось весь день, ночь и еще весь день. На второй день гульбы, к полуночи, Измайловский полк, возведший Екатерину на трон, окончательно потерял голову, будучи обуян пьянством, гордостью и «мечтательным превозношением». Разнесся слух, что Екатерина похищена. Солдаты требовали, чтоб она была им показана. Уговоры не действовали, потому что солдатам равно хотелось и проявить усердие к государыне, и над ней покуражиться. Они явились ко дворцу. Екатерина уже спала. Ее заставили встать, одеться в гвардейский мундир и проводить полк до казарм.

Ей вообще не легко было унять разгулявшихся своих сторонников. В подкрепление приказам, на мостах, площадях и перекрестках, а в особенности вокруг дворца, пришлось расставить пикеты с заряженными пушками и зажженными фитилями. Тревожное состояние длилось больше недели. Наконец, Алексей Орлов отправился в Ропшу — и 6 июля отрекшийся император скончался «обыкновенным и прежде часто случавшимся ему припадком геморроидическим» *. Это известие отрезвило всех. Тишина водворилась сама собою...

За три дня до того мушкатуру Державину исполнилось девятнадцать лет.

* * *

Минувя восьмилетнего своего сына, императрица торопилась закрепить престол за собой. На другой же день после убийства Петра III, когда тело его еще не было погребено, в манифесте было объявлено «о бытии коронации в сентябре». Затем началось переселение лиц, учреждений и гвардии из Петербурга в Москву.

В августе месяце Державину дан был отпуск, с тем, чтоб явиться к полку в Москве, в первых числах сентября, он отправился в путь своим коштом, «снабдясь кибитченкой и купя одну лошадь». В Москве слонялся без дела, вызывая насмешки голштинским своим нарядом. Такой же солдат из дворян, Петр Шишкин, дорогою перебрал у него почти все деньги взаймы (без отдачи). Так что пришлось бы и голодать, если б не поселился он у двоюродной тетушки, Феклы Савишны Блудовой. Жила тетушка на Арбате, в собственном доме, и была женщина по природе умная, но крайне непросвещенная. Зато отличалась прочностью возрений, благочестием и властным характером.

Наконец, Екатерина с двором приблизилась к Москве и остановилась невдалеке от нее, в селе Петровском, имении графа Разумовского. С этого дня начались коронационные торжества, а для Державина — новые тяготы. Тетушку пришлось покинуть и вернуться к житью солдатскому. Только и утешением было, что выдали новые мундиры, уж не такие смешные, каковы были прежние.

Пирами, празднествами, потешными огнями чествовал счастливый Кирила Григорьевич Разумовский высоких гостей в великолепном дворце, в обширных садах, на славных прудах своего поместья. Мушкатер Державин при сих событиях стоял на часах.

13 сентября, при звоне колоколов, при громе пушек, при кликах народа, среди пышного шествия вступила Екатерина в первопрестольную столицу. Державин терялся в несчетных рядах парадом построенных войск. 22 числа Екатерина короновалась в Успенском соборе, по обрядам благочестивых царей и императоров Российских. Она торжествовала, ее приближенные ликовали, на них сыпались ордена, чины, дома, з е м л и, — мушкатер Державин все так же стоял на часах. Потом на Красной площади гуляли народные толпы; для них были выставлены жареные быки, начиненные живностью, из ренского вина пущены были фонтаны; вечером город переливался иллюминацией; чадили плошки, по зданиям, по кремлевским стенам реяли черные тени флагов, гремела м у з ы к а, — Державин стоял на часах.

Схлынула первая волна празднеств, но Москва вся еще полна была шумом событий, балов, разговоров. Из внутренних покоев кремлевского дворца Екатерина хаживала в присутствия Сената: давать широкие предначертания, воскрешать память Петра Великого, закладывать первые основы великолепного царствования, привлекать сердца, восхищать

умом, чаровать улыбками. А Державин все был мушкатером и все стоял на часах. Раза два, впрочем, проходя мимо караула, его пожаловали к руке.

На зиму из неблагоустроенного кремлевского дворца императрица переехала в Головинский, в Немецкую слободу; Державин стаивал на часах и тут; однажды ночью, позади дворца, в поле, он чуть было не замерз в своей будке; подоспевшая смена его спасла.

На масленице опять пировала Москва народная. Были блины, гуляния, горы. По улицам разъезжал театр; под управлением славного актера Федора Григорьевича Волкова представляемы были разные комедии, пелись песни, осмеивались пороки и порочные люди: картежники, пьяницы, мздоимцы-подьячие, судьи-взяточники. Державин не веселился. Жилось ему трудно.

Опять стоял он с даточными солдатами, на Тверской, в доме Киселевых, во флигеле. Кроме караулов, отправлял и другие «низкие должности». Особенно часто случалось ему разносить по офицерским квартирам полковые приказы, с вечеру отданные. На ту беду офицеры порасселились по всей Москве: кто жил на Никитской, кто на Тверской, на Арбате, на Пресне, за Москвой-рекой на Ордынке... Чтоб раздать все пакеты к утру, приходилось отправляться в путь с самой полуночи. Зима же была многоснежная, вьюжная; улицы темны и непролазны; глубокою ночью, на глухой Пресне, как-то раз чуть было вовсе не утонул он в снегу, — а тут напали собаки, и он насилу отбился от них, рубя тесаком.

В другой раз, поздним вечером, принес он пакет прапорщику третьей роты кн. Козловскому, небезызвестному стихотворцу. У Козловского были гости — и неспроста: Василий Иванович Майков, будущий творец «Елисея», изволил читать учиненный им перевод «Меропы» вольтеровой *. При появлении вестового чтение прервалось, затем снова возобновилось. Вручив пакет, Державин не спешил выйти; стал у дверей и заслушался. Тогда, обернувшись к нему, хозяин дома сказал спокойно: — Поди, братец служивый, с Богом; чего тебе попусту зевать? ведь ты ничего не смыслишь...

Наконец, откуда-то он проведал, что Шувалов собирается за границу. Сочинил к вельможе письмо: напомнил об успехах своих в Казанской гимназии и просил взять в чужие края, «дабы чему-нибудь там научиться». С письмом явился в передней Шувалова, среди бедняков и челобитчиков. Шу-

валов, проходя мимо, принял письмо, остановился, прочел и велел побывать еще раз. Обрадованный Державин поспешил к тетушке Блудовой — поделиться надеждами. Но Фекле Савишне оказалось известно, что Шувалов — масон. Она же твердо знала, что масоны — вероотступники, еретики, богохульники, преданные антихристу, и что за несколько тысяч верст заочно неприятелей своих умерщвляют. Следственно, учинила она неопытному племяннику за знакомства такие ужаснейший нагоняй и накрепко запретила ходить к Шувалову, грозя, в случае послушания, обо всем отписать в Казань, матери. Для Державина это было «жестоким поражением», но, воспитанный в страхе Божиим и родительском, не дерзнул он послушаться тетушки и к Шувалову более не бывал.

Зима кончилась, прошла и весна. Только в июне, в годовщину петергофского похода, счастье впервые улыбнулось Державину слабой улыбкой: много раз обойденный при производствах, подал он челобитную самому Алексею Орлову и произведен был в капралы. От капральства до офицерства было еще весьма далеко, но он и тем был доволен. Захотел показаться матери в новом чине и отпросился в годовой отпуск в Казань.

Нашлись и попутчики: своего же полка такой же капрал Аристов и некая «прекрасная, молодая благородная девица», возвращавшаяся в Казань к родным. Впрочем, девица была снисходительных нравов и состояла любовницей того самого Веревкина, который некогда был директором Казанской гимназии, а теперь сделался товарищем губернатора. Аристов за нею ухаживал. Державин пленился красавицей чрезвычайно. Дорогою курамшил, подлипал и махался, как только мог. «Будучи непрестанно вместе и обходясь попросту, имел удачу живостью своею и разговорами ей понравиться так, что товарищ, сколь ни завидовал и из ревности сколь ни делал на всяком шагу и во всяком удобном случае возможные препятствия, но не мог воспретить соединению их пламени». После соединения пламени как-то так вышло, что Державин взял на себя путевые издержки благородной девицы. Сие было принято с благосклонностью, но оказалось не под силу тощему кошельку его. На реке Клязьме паромщики и извозчики отказались ехать по цене, предложенной Державиным. Оставив путников на пароме, они разбежались, а красавица, прождав полчаса, стала роптать и плакать. «Кого же слезы любимого предмета не тронут? Страстный капрал, обнажа тесак, бросился искать пе-

ревозчиков». Те упрямились и куражились. Вскоре дело дошло до нового, только что купленного в Москве ружья. К счастью, оно не выстрелило. Державин вновь взялся за тесак и стал носиться с ним по деревне. Все это могло кончиться кровопролитием, но Державина кое-как уняли.

Добравшись, наконец, до Казани, хотел он и там с красавицей своей чаще видеться. «Но, будучи небольшого чина и небогат, не мог иметь свободного хода к ней в покой». К тому же мать поспешила отправить его в город Шацк: то ли по наследственным делам, то ли чтобы убраться от греха подальше. Из Шацка проехал он прямо в оренбургскую деревню, где и мать находилась к тому времени. Словом, больше уж он никогда не видел «сего своего предмета».

Так кончились его первые любовные шашни, и так, в бою с паромщиками, он проявил впервые свой буйный нрав.

* * *

Через год в Петербурге возобновилась прежняя жизнь: та же все солдатня, служба, чтение и кропание стихов украдкою от товарищей. Державин прочитал Клопштока, Клейста (старшего), пробовал переводить стихами «Телемака», Клопштокову «Мессиаду». Сам довольно много писал в различных родах; сочинял мадригалы, идиллии, сатиры, эпиграммы, басни, в которых подражал Лафонтену через немца Геллерта. Отдал он также дань и распространенному тогда виду поэзии — конфетным билетцам. То были двустилиши, предназначенные для бумажек, в которые заворачивались конфеты. Державин, впрочем, писал их не ради прибыли, но для упражнения.

Старался он усвоить и правила ремесла стихотворного: тщательно изучал теоретические сочинения Тредьяковского, Ломоносова, Сумарокова. По сочинениям обидчика своего, кн. Козловского, наконец, научился правильно ставить цезуру в александрийском стихе. Этим размером написал он тогда же стансы к Наташе, «прекрасной солдатской дочери, в соседстве в казармах жившей» *. Завел и знакомство литературное: бывал иногда на пирушках у земляка своего, купеческого сына Осокина, любителя поэзии, издавшего, впрочем, одну только книгу: «Примечание для приведения в лучшую доброту разных российских шерстей». У Осокина он встретился с Тредьяковским. Тредьяковскому было уже за шестьдесят, жизнь его клонилась к концу, влиятельною литературною силой он уже не был. Но он мог быть прекрасным учителем для Державина, тем более, что тотчас

угадал его дарование *. Развить это знакомство Державин, однако же, не сумел или не посмел. При всей живости, был он солдатчиною по-прежнему как бы придавлен: все это время и жил, и работал, словно бы съезжившись, подобравшись. Его успехи в поэзии были невелики: все та же корявость и неумелость, скучные песни, тяжеловесные идиллии, беззубые эпиграммы.

Только скромные стишки по-прежнему вызывали веселость товарищей. Но одна пьеска обошлась ему на сей раз дорого. В ней шла речь о некоем капрале, жену которого любил полковой секретарь. Стишки пошли гулять по казарме, перекинулись к офицерам и попали в руки самому секретарю. После того полковой секретарь целых два с половиною года вычеркивал Державина из списка представляемых к повышению, и два с половиною года Державин ходил в капралах. Одно было облегчение: жил он теперь с дворянами. Те были почище и не столь грубы в обращении. Зато предавались всяческому шалостям, и Державин, глядя на них, стал понемногу «в нравах своих развращаться».

Наконец, враг его, полковой секретарь, был сменен другом, неким Неклюдовым, и в сентябре 1766 года Державин произведен в фурьеры, а вслед за тем в каптенармусы. В начале 1767 года императрица предприняла вторую поездку в Москву — для открытия Комиссии по составлению нового уложения. Державин, под началом двух офицеров, братьев Лутовиновых, командирован был на ямскую подставу — надзирать за приготовлением лошадей к проезду двора. Один Лутовинов был послан в Яжелбицы, другой — в Зимогорье. То были две станции, расположенные вблизи знаменитого Валдая, о котором Радищев писал: «Кто не бывал в Валдаях, кто не знает Валдайских баранок и Валдайских разруганных девок? Всякого проезжающего наглые Валдайские и стыд сотрясшие девки останавливают и стараются возжигать в путешественнике любострастие, воспользоваться его щедростью на счет своего целомудрия». Разумеется, Лутовиновы проводили все время в гостеприимном Валдае. Они либо играли в карты с проезжими, либо пьянствовали, иной раз на всю ночь запираясь в кабаке и никого, кроме девок, к себе не пуская. Державин волей или неволей делил забавы начальства. Правда, от вина он воздерживался, но карты мало-помалу его увлекли, он к ним пристрастился. Так жил он четыре месяца. Наконец, в конце марта, двор проехал, старший Лутовинов попал под суд за растраты и буйство, а Державин благополучно добрался до Москвы.

С началом теплой погоды императрица отправилась в путешествие по Волге, а гвардии было приказано возвратиться в Петербург. Державин этим воспользовался и вновь отпросился в отпуск в Казань, к матери и брату, которых не видел больше двух лет.

Неизвестно, случилось ли хоть отчасти Державину видеть историческое «шествие» императрицы по Волге. Неизвестно и то, кто кого обогнал на этом пути: Державин императрицу или императрица Державина. Во всяком случае, ему довелось быть свидетелем ее пребывания в Казани. Словно сама судьба так устраивала, что он вновь, уже в который раз, оказался незаметным спутником Екатерины. В те поры он нарушил обет, некогда данный самому себе — не гоняться за Пиндаром и не петь царей. Еще в Валдае, живя с Лутовиновыми, он отважился написать «ямбические экзаметры» на переезд царицы через речку Мохость, протекавшую в тех местах. Теперь же, в Казани, дал себе волю: явились стихи «На шествие Императрицы в Казань», «На маскарад, бывший перед Императрицей в Казани» и наконец — первая «Ода Екатерине II».

Но царица проехала, поэтический пыл Державина ослабел (потому, может быть, что и стихи опять вышли не так хороши, как хотелось бы), и Державин вновь погрузился в дела житейские. Мать по-прежнему билась, как рыба об лед, хозяйствуя в деревеньках, тягаясь с соседями и непрерывно что-то закладывая, покупая и продавая. Брат окончил гимназию, и уже давно пора было ему вступать в службу: Прожив лето и осень с родными в Оренбургской губернии, Державин собрался в Петербург: отпуск его кончался. Наконец, он тронулся в путь, приняв на себя два поручения: во-первых, довести брата до Петербурга и там определить его в полк; во-вторых, будучи проездом в Москве, купить у неких господ Таптыковых небольшую, душ в тридцать, деревушку, лежавшую на реке Вятке. На это мать дала ему денег.

В Москве случилось дело слишком обыкновенное: совершение купчей крепости с господами Таптыковыми замедлилось. Тогда Державин отправил брата в Петербург, к полковому секретарю Неклюдову, с просьбою зачислить молодого человека в тот же Преображенский полк, что и было исполнено. Себе же Державин просил двухмесячной отсрочки для устройства дел. Эта просьба тоже была уважена, и Державин даже был около того времени произведен в сержанты. Он остался в Москве, намереваясь довершить

покупку имения. Но внезапно дела приняли оборот совершенно невероятный.

Поселился Державин по-родственному, у двоюродного своего брата, майора Ивана Яковлевича Блудова, сына той самой тетушки Феклы Савишны, о которой выше говорено. Вместе с Блудовым жил его дальний родственник и закадычный друг, отставной подпоручик Максимов, человек забубенной жизни, друг-приятель не одному Блудову, но и всей Москве, особенно разным сенатским чиновникам. Можно было через него обделывать всевозможные дела, чистые и сомнительные, — сомнительные в особенности. Блудов находился под его влиянием. Дом с утра до вечера полон был всякого люда. Картеж и попойки не прекращались.

Карты занимали Державина сильно еще со времени пребывания в Валдае. Теперь, в обществе Блудова и Максимова, он стал иногда поигрывать. Сперва играл робко и понемногу, но потом, разумеется, втянулся. Новичкам обычно везет, но с Державиным случилось иначе. С каждой игрой дела его становились труднее, но был он упрям, горяч и не знал поговорки: играй, да не отыгрывайся. Лишившись собственных денег, он не бросил игры, а пустил в ход материнские, данные на покупку имения, — и в недолгое время проиграл их все, до последней копейки.

Двоюродный братец Блудов из этой беды как будто бы его выручил, но на самом деле забрал в сущую кабалу. А именно — он дал Державину денег на покупку имения, но в обеспечение долга взял с него закладную, да не только на эту деревню, но еще и на другую, тоже принадлежавшую матери. Совершать подобную сделку Державин не имел никакого права; следственно, ему теперь уже до зарезу надо было раздобыться деньгами, чтоб закладную у Блудова выкупить. Для этого был единственный способ — опять-таки отыграться.

И вот, располагая всего лишь грошами, он стал с отчаяния день и ночь ездить по трактирам — искать игры. Вскоре он сделался завсегдатаем таких мест и другом тамошних завсегдатаев. Иначе сказать — «спознался с игроками или, лучше, с прикрытыми благопристойными поступками и одеждою разбойниками; у них научился заговорам, как новичков заводить в игру, подборам карт, подделкам и всяким игрецким мошенничествам».

Надо сказать правду: и в этом обществе сохранил он известное благородство души, впрочем весьма нередко

свойственное и заправским шулерам. Конечно, он не гнушался «обыгрывать на хитрости» — иначе бы и не вступал в такую компанию. Но, помня, должно быть, собственную свою историю, новичкам и неопытным людям иногда покровительствовал. Так, однажды он спас от мошенников заезжего недоросля из Пензы, «слабого по уму, но довольно достаточного по имуществу». В отместку за это составлен был целый заговор, чтоб Державина поколотить, а, может быть, и убить вовсе. Но, по странному совпадению, тут его спас другой, тоже им облагодетельствованный человек: офицер Гасвицкий, которому как раз незадолго до того, в каком-то трактире, Державин успел шепнуть, что его обыгрывают на биллиарде при помощи поддельных шаров.

Однако, шулерство не принесло ему пользы. То ли он горячился и сам проигрывал еще более ловким игрокам, то ли существовали другие, неизвестные нам причины, — только сколотить нужную сумму и расплатиться с Блудовым Державин не мог. Хуже того: иногда проигрывался до нитки и принужден был бросать игру, пока не раздобывался какими-нибудь деньжонками. Случалось, не на что было не только играть, но и жить. Тогда, запершись дома, «ел хлеб с водою и марал стихи». Иногда на него находило отчаяние. Тогда затворял он ставни и сидел в темной комнате, при свете солнечных лучей, пробивавшихся в щели. Так проводить несчастливые дни осталось его привычкою на всю жизнь.

Прошло уже более полугода с тех пор, как отсрочка, ему данная, кончилась. До полка дошли слухи, что Державин в Москве «замотался», — а сам он не только не помышлял о возвращении в Петербург, но и не представлял никаких объяснений. Ему грозил суд и разжалование в армейские солдаты. Спас тот же благодетель, Неклюдов, который, не спросясь Державина, приписал его к московской команде. Пребывание в Москве было, таким образом, узаконено, и Державин одно время даже служил секретарем или, по тогдашнему, «сочинителем» в депутатской законодательной комиссии. Потом мать вызвала его в Казань, он ездил к ней, как я л с я, — а вернувшись, снова взялся за прежнее.

Шалая жизнь постепенно его засасывала. Самое в ней опасное было то, что Державин как-то нечаянно сблизился с Максимовым, которого проделки были отнюдь не невинного свойства. Впрочем, первая из историй, в которую попал Державин, была скорее забавна и ничем особенным не грозила. Произошла она из-за дьяконовой дочери. Максимов

и Блюдов умели обращаться с прекрасным полом. Дьяконова дочь по соседству к ним хаживала. Однажды вечером дьякон с женою уговорили будочников ее подстеречь. Блюдовские люди, однако, приметили, что будочники хоронятся за углами, и спросили, чего им тут надобно. Разговор быстро перешел в брань, а брань в драку. Будочников поколотили, пользуясь численным превосходством. Но будочники не сдались. Отступив с поля битвы, залегли они в крапиве, возле церковной ограды, где девица должна была проходить, — и поймали ее. Дьякон с дьяконицей, подхватив дочь, «мучили плетью и, по научению полицейских, велели ей сказать, что была у сержанта Державина». На другой день, когда Державин, возвращаясь из Вотчинной коллегии, в блудовской карете подъезжал к воротам, будочники с трещотками окружили карету, схватили лошадей под уздцы, «и не объявля ничего, повезли через всю Москву в полицию. Там посадили его с прочими арестантами под караул. В таком положении провел он сутки. На другой день поутру ввели в судейскую. Судьи зачали спрашивать и домогаться, чтоб он признался в зазорном с девкою обхождении и на ней женился; но как никаких доказательств, ни письменных, ни свидетельских, не могли представить на взводимое на него преступление, то, проволочив однако с неделю, должны были со стыдом выпустить».

Эта история кончилась смехом. Другая была не столь невинна, и хоть Державин не принимал в ней прямого участия, о ней все же следует рассказать, потому что она послужила как бы прологом к событиям более поздним. Кроме того, она сама по себе живописна и любопытна.

Еще в кратковременное царствование Петра III некий Серебряков, экономический крестьянин Пензенской губернии, Малыковской волости, в прошлом — монастырский слуга, представил правительству проект о расселении выходящих из Польши раскольников на пустопорожних землях, лежащих по реке Иргизу, притоку Волги. Уже при Екатерине проект удостоился одобрения, и раскольники были поручены ведению того же Серебрякова. Первое время все шло хорошо, но затем Серебряков стал к выходцам из Польши подмешивать просто беглых крестьян, которых за известную плату укрывал от господ, наделяя землей и снабжая документами. За это в конце концов он угодил в сыскной приказ, где и содержался под караулом до окончания о нем следствия.

В тюрьме сошелся он с человеком, которого биография была в своем роде блистательна. Это был запорожский атаман Черняй. Незадолго до того запорожские казаки, под предводительством Черняя и еще другого атамана, Максима Железняка, бывшего послушника, весьма отличившегося в так называемой *Уманьской резне* 1768 года *, разграбили польскую Украину и разорили за Днепром турецкую слободу Балту. Разорение Балты и послужило поводом к первой при Екатерине турецкой войне. Русским войскам велено было тех запорожцев с их атаманами переловить, что и было исполнено. Румянцев, командовавший войсками, отправил Железняка и Черняя через Москву в Сибирь, но в Москве Черняй заболел (или притворился больным). Поэтому впредь до выздоровления он был посажен в тот же сыскной приказ, где и познакомился с Серебряковым.

Тюремные дни коротали они в беседах, и Черняй поведал Серебрякову о несметных богатствах, награбленных его шайкою и зарытых на Украине. Речь шла о целых ямах, наполненных серебром, и о пушках, набитых жемчугом и червонцами (Черняй, может быть, и привирал).

Выпрашиваясь иногда из-под караула, Серебряков посещал Максимова, который был его земляком. Мысль о черняевом кладе не давала Серебрякову покоя, и он заразил ею Максимова. Стали они совещаться, как бы Черняя с Серебряковым выручить из тюрьмы, чтоб отправиться добывать богатства. С Серебряковым дело уладили быстро: Максимов просто взял его на поруки. Но как высвободить Черняя? Тут были привлечены юристы из сенатских чиновников, даже довольно видных, и способ найден.

По тогдашним законам, если у колодников оказывались долги, то, по требованию заимодавцев, разрешалось их посылать в магистрат, для уплаты долгов. Из магистрата их под конвоем отпускали по разным надобностям: в баню, в церковь и к родственникам. Поэтому на Черняя составили подложный вексель, произвели взыскание и затребовали ответчика в магистрат. Оттуда, под наблюдением одного гарнизонного солдата, Черняй был отпущен в баню, а по дороге отбит какими-то «неизвестными людьми». С той минуты он и с ч е з, — разумеется, от всех, кроме Серебрякова с Максимовым, которые не теряли его из виду. Дорога к кладу была, таким образом, открыта, но Серебряков и Максимов не торопились по ней отправиться. Державин отчасти был посвящен в их затеи, но к самому предприятию привлечен

не был: Серебряков и Максимов хотели обогатиться одни. Но встретиться с ними Державину еще предстояло впоследствии.

Побег Черняя сошел Максимова с рук легко: за Черняя он не ручался. Зато вскоре всплыла наружу проделка, в которой к тому же весьма замешан был и Державин. В конце 1769 года мать прапорщика Дмитриева подала в полицию жалобу на Максимова и Державина вместе. По словам жалобщицы, Максимов с Державиным обыграли ее сына в банк Фаро и выманили с него вексель в триста рублей, а также пятисотрублевую купчую на имение отца его. Максимова, Державина, двоих свидетелей и обыгранного прапорщика вызывали для допроса. Дмитриев подтвердил заявление матери, а Державин и Максимов уперлись. От всякой игры с Дмитриевым они отреклись, а происхождение векселя и купчей объясняли иными, вполне законными причинами. Делу этому дан был ход, оно поступило в Юстицколлегию и неизвестно, чем могло кончиться. Забегая вперед, мы скажем, что оно тянулось долго, запуталось (не благодаря ли связям Максимова?) и наконец, уже в 1782 году, было прекращено за нерозыском жалобщиков. Но тогда, в конце 1769 и в начале 1770 годов, оно должно было тревожить Державина в высшей степени. Оно грозило самыми страшными последствиями — но именно потому как-то внезапно и сразу его отрезвило.

Два с лишним года, прожитые в таком обществе и среди таких приключений, показались Державину ужасны. Друзей не было — душевное свое состояние он излил в стихах, написанных, надо думать, при сдвинутых ставнях. То были первые стихи Державина, в которых ни предмет, ни чувства не были позаимствованы. Можно сказать, он взвыл. Стихи назывались «Раскаяние»:

Ужель свирепства все ты, рок, на мя пустил?
Ужель ты злобу всю с несчастным совершил?
Престанешь ли меня теперь уж ты терзати?
Чем грудь мою тебе осталось поражати?
Лишил уж ты меня имения моего,
Лишил уж ты меня и счастья всего,
Лишил, я говорю, и — что всего дороже —
(Какая может быть сей злобы злота строже?)
Невинность разрушил! Я в роскошах забав
Испортил уже мой и непорочный нрав,
Испортил, развратил, в тьму скаредств погрузился,
Повеса, мот, буян, картежник очутился;

И вместо, чтоб талант мой в пользу обратил,
Порочной жизнью его я погубил;
Презрен теперь от всех и всеми презираем, —
От всех честных людей, от всех унижаем.
О, град ты роскошей, распутства и вреда!
Ты людям молодым и горесть, и беда!

.....

О, лабиринт страстей, никак неизбежных,
Борющихся разумом, но непреодолимых!
Доколе я в тебе свой буду век влечь?
Доколе мне, Москва, в тебе распутно жить?
Покинуть я тебя стократно намеряюсь
И, будучи готов, стократно возвращаюсь.
Против желания живу, живя в тебе;
Клянусь тебя — и в том противлюсь сам себе...

Наконец, уже в марте 1770 года, в самые те дни, когда в Москве начиналась чума, Державин решил: он занял пятьдесят рублей у приятеля своей матери, «бросился опрометью в сани и поскакал без оглядок в Петербург».

Впрочем, не совсем без оглядок. Московские страсти еще в нем жили. Раскаяние говорило душе одно, бес — другое. Началось с того, что, отъехав всего полтора верста, Державин встретил в Твери одного из московских приятелей и с ним прокутил все деньги. Что было делать? У такого же проезжего (у садовника, везшего ко двору виноградные лозы из Астрахани) он занял еще пятьдесят рублей, кое-как отделался от приятеля и поехал дальше.

Но благоразумия хватило у него только до Новгорода. В те времена, когда на станциях приходилось подолгу ждать лошадей, а иногда ночевать, станционные трактиры были рассадниками игры и мошенничества. Темные люди подстерегали в них проезжающих. В таком трактире, три года спустя, ротмистр Зурин обыграл Петрушу Гринева, ехавшего в Оренбург; еще гораздо позже, в таком же трактире, в Пензе, пехотный капитан, умевший удивительно срезать штоссы, сильно поддел коллежского регистратора Хлесткова. Словом, в Новгороде Державин не выдержал, еще раз попытал счастья — и остался у него всего-навсего один рубль-крестовик, некогда данный на счастье матерью.

Не тронув этого рубля (он сберег его во всю жизнь), Державин кое-как тронулся дальше. Но уже неподалеку от Петербурга, в Тосне, ждала его новая напасть, в которой на этот раз он был неповинен. В предотвращение занесения

чумы в столицу, здесь была устроена карантинная застава, на которой полагалось прожить две недели. На это у Державина не было денег. Стал он упрашивать карантинного начальника, чтобы тот пропустил его ранее; ссылался на бедность, на неимение лишнего платья, которое нужно окучивать и проветривать. Карантинный страж был готов согласиться с его доводами, но препятствием оказался сундук, наполненный бумагами и содержащий все, что за предыдущую жизнь, с самого детства, сочинил Державин в стихах и в прозе. Не оставалось иного выхода, как избавиться от сундука, и в присутствии караульного Державин его сжег вместе со всеми бумагами.

Пробыв почти три с половиною года в отсутствии, он теперь въезжал в Петербург налегке, без денег, без имущества, даже без стихов.

Но стихи он тотчас же начал восстанавливать по памяти.

* * *

Покуда старший Державин куролесил в Москве, младший скромно служил в том же Преображенском полку, в бомбардирской роте. Чины доставались Андрею Державину так же трудно, как Гавриилу. Та же была и причина — бедность. За два с половиною года дослужился он всего только до капральского чина.

Здоровья он был вообще не крепкого, а тут еще произошло с ним несчастье. Однажды на ученьи, поворачивая пушку, он сильно вспотел, простудился и придя домой слег. Начался жар, озноб. Чем он заболел — неизвестно: тогда все называли лихорадкой. Он обратился к знаменитому шарлатану Ерофеичу, тому самому, что на долгие времена передал свое имя целебной настойке, известной в России по сию пору. От ерофеичева лечения он стал кашлять кровью, и Гавриил Романович, приехав в Петербург, застал брата уже в чахотке. Самое лучшее было — выхлопотать ему отпуск и отправить домой, к матери. Так и сделано. Андрей уехал в Казань и там умер осенью того же года.

Проводив брата, Державин стал осматриваться. Петербургская жизнь сразу сложилась немного печально, буднично, тихо. Но это было как раз то, что нужно. После московских беспутств Державин искал покоя. Втягивался в полковые дела, в службу.

Приехав, как сказано, без гроша в кармане, он на первое время занял у однополчанина восемьдесят рублей. В будущем, однако же, не предвиделось никаких доходов; не

только что отдавать долги — не на что было жить. Тогда он решился еще раз прибегнуть к помощи карт, но теперь игра его была совсем уж не та, что московская, хотя в основе ее лежал опыт, в Москве добытый. Державин взял себя в руки и прежде всего раз навсегда отказался от игры нечестной, что обеспечило его от опасных столкновений с правосудием, а главное — дало спокойную совесть, в которой он так нуждался, и душевное равновесие — этот сильнейший козырь в азартных играх. Кроме того (что не менее важно), он перестал гоняться за крупным выигрышем. И тогда десятая муза, муза игры, которая, как все ее сестры, зараз требует и вдохновения — и умения, и смелости — и меры, улыбнулась ему благосклонно. Он стал выигрывать и прибегал к этому средству всякий раз, как бывала нужда в деньгах.

Подозрительных людей он научился избегать. Свел дружбу с несколькими офицерами, не принадлежавшими к числу шалунов гвардейских: с Петром Васильевичем Неклюдовым, давним своим покровителем, с капитаном 10-й роты Толстым, у которого служил под началом, с Александром Яковлевичем Протасовым, который порой не прочь был сразиться в банк. Люди были не Бог весть какого развития, но почтенные. Как бывало и прежде, еще в солдатской казарме, он больше всего им нравился «за некоторое искусство в составлении всякого рода писем. Писанные им к императрице для всякого рода людей притесненных, обиженных и бедных всегда имели желаемый успех и извлекали у нее щедроты. Случалось, обрабатывал он и приказные и полковые письма, и доклады иногда к престолу, и любовные письма для Неклюдова, когда он влюблен был в девицу Ивашеву, на которой после и женился».

В 1771 году его перевели в 16-ю роту фельдфебелем. Теперь он опять служил не только исправно, но истово, а летом, в лагере под Красным Кабачком, даже отличился. В полку его уважали и любили по-прежнему. Надо было ждать производства в первый офицерский чин, но тут вновь оказалось препятствие. У полкового адъютанта Желтухина был брат, сержант того же полка. Этого брата Желтухин хотел провести в офицеры вместо Державина, к которому стал всячески придирается. Кончилось тем, что по наговору адъютанта полковое начальство решило отделаться от Державина таким образом: не производить его за бедностью в офицеры Преображенского полка, а выпустить офицером в армию. Державину помогло только хорошее отношение

однополчан. «Аттестация» в конце концов зависела от собрания офицеров, и это собрание решительно заявило, что помимо Державина оно никого другого (иными словами — Желтухина-младшего) «аттестовать» не может. Благодаря этому, 1 января 1772 года Державин, наконец, произведен в гвардейские прапорщики. Ему шел уже двадцать девятый год!

Но и эта радость была омрачена. Офицерская служба в гвардии обходилась не дешево: «предпочитались блеск и богатства и знатность, нежели скромные достоинства и ревность к службе». Державин стал изворачиваться. В счет жалования получил из полка на обмундировку сукна, позументу и прочих вещей; продал свой сержантский мундир, приобрел английские сапоги; наконец, занял небольшую сумму на задаток и купил-таки «ветхую каретишку в долг у господ Окуневых»: без каретишки невозможно было «носить звание гвардии офицера с пристойностию».

Исполнилась и еще одна давнишняя мечта Державина: из казарм он перебрался на частную квартиру. По ничтожным недостаткам его, пришлось бы ждать этого еще долго, но тут помогло одно обстоятельство, которое следует изъяснить с осторожностью. Около того времени вступил новоиспеченный офицер в любовную связь «с одною хороших нравов и благородного поведения дамою» — некоей госпожой Удоловой *, замужней или вдовой — неизвестно; вероятно — вдовой. Вот у нее-то, «на Литейной, в доме господина Удолова», Державин и поселился, «в маленьких деревянных покойчиках», «хотя бедно, однако же порядочно, устраняясь от всякого развратного сообщества».

Это положение Державина в доме госпожи Удоловой ни с какой стороны не должно казаться предосудительным. Необходимо только принять во внимание, что дело происходило в XVIII столетии, когда на все формы фаворитизма вполне принято было смотреть без всякого предубеждения. Кроме того, Державин был очень привязан к госпоже Удоловой, которая, со своей стороны, «не отпускала его от себя уклоняться в дурное знакомство». В такой мирной, благообразной, непритязательной, почти — можно сказать — семейной жизни «исправил он помалу свое поведение, обращался между тем, где случай позволял, с честными людьми и в игре, по необходимости для прожитку, но благопристойно».

Ближайшим его приятелем был в ту пору поручик Маслов, человек неплохой, не без познаний в словесности,

особенно французской, но при всем том ветреник, мот, щеголь и сердцеед. Он «также имел интригу с одною довольно чиновною дамой».

Жизнь, в общем, налаживалась приятная и безбурная. Но Державину были суждены бури.

* * *

К сентябрю 1773 года мятеж, охвативший многие местности юго-восточной России, принял тяжелый и опасный оборот. Пугачев (уже пятый самозванец, принявший имя императора Петра III) сумел собрать вокруг себя огромные толпы недовольных яицких казаков, башкир, калмыков, киргиз, чувашей, мордвы и господских крестьян, бунтовавших против помещиков. Мрачные вести пришли в Петербург как раз во время бракосочетания великого князя Павла Петровича с принцессою Вильгельминой Гессен-Дармштадтской. Отношения Павла Петровича с Екатериной были недружеские. Павел считал, что мать незаконно лишила его престола. К тому же он сам принадлежал к числу людей, не вполне веривших в смерть Петра III. Весть о Пугачеве явилась на брачные торжества, как призрак убитого императора, и придала им несколько зловещий оттенок. Екатерина была глубоко встревожена. Между тем, дела становились все хуже и хуже. Пугачев со своими сообщниками (Ульяновым, Мясниковым, Белобородовым и проч.) захватывал одну за другою крепости, расположенные по течению Яика. Илецкий городок, Рассыпная, Нижне-Озерная, Татищева, Чернореченская, Сакмарский городок, Пречистенская были взяты. Продвигаясь на северо-восток, Пугачев подошел уже к Оренбургу и 5 октября начал его осаду.

Обстановка в мятежной области была крайне неблагоприятна для правительства. «Весь черный народ был за Пугачева; духовенство ему доброжелательствовало, не только попы и монахи, но и архимандриты, и архиереи... Класс приказных и чиновников был еще малочислен и решительно принадлежал простому народу. То же можно сказать и о выслужившихся из солдат офицерах. Множество их сих последних были в шайках Пугачева». Надежных войск было мало. Несогласованные и растерянные действия губернских и военных властей вели к неудачам. Решено было послать подкрепления и вручить начальствование опытному боевому генералу. Выбор императрицы пал на Александра Ильича Бибикова, которого, впрочем, она не-

долюбливала. В конце ноября ею подписаны рескрипты о назначении Бибикова главнокомандующим.

За всеми слухами о событиях Державин следил внимательно. Жить с госпожой Удоловой было не плохо, но он давно и слишком хорошо знал, что в гвардейской службе ему не выдвинуться, а время идет. Он в свое время мечтал отличиться в усмирении польских конфедератов или в турецкой войне. Но гвардия оставалась в Петербурге, а записаться добровольцем в армию было ему не по средствам: это обошлось бы еще дороже, чем гвардейская служба в обстановке мирного времени. Державин «повергался иногда в меланхолию».

Помимо командования войсками, Бибикову поручено было также ведение следственных дел о сообщниках Пугачева. Державину пришла мысль этим воспользоваться, чтобы получить место в офицерской следственной комиссии, которая должна была обосноваться в Казани. Никакого хода к Бибикову у него не было. Он отважился ехать без всякой рекомендации. Явившись к главнокомандующему, стал он проситься в комиссию, заявив, что он сам уроженец Казани, а также бывал в Оренбурге и хорошо знает тамошние места и людей. Это была правда. Бибиков его выслушал, но сказал, что взял уже из гвардии офицеров, лично ему известных. Державину ничего не оставалось, как откланяться. Но уйти — значило упустить случай безвозвратно. Он не двинулся с места. Наконец, удивленный Бибиков разговорился со странным офицером, понемногу втянулся в беседу и остался ею доволен. Отпуская Державина, он, однако, ничего не обещал ему, — а вечером в полковом приказе Державин с изумлением прочитал, что ему высочайше повелено явиться к генералу Бибикову. Наутро явился он к Бибикову и получил приказание через три дня быть готовым к отъезду.

Госпожа Удолова была, вероятно, огорчена предстоящей разлукой с возлюбленным. Но Державину было не до элегий. Он чувствовал, что будущее зависит теперь от него самого. Ему не терпелось, он готов был начать свои действия тотчас же, тут же, еще в Петербурге, за полторы тысячи верст от мятежников. Так и вышло.

У госпожи Удоловой была деревня, расположенная при Ладожском канале. В тех же местах стоял на зимних квартирах Владимирский гренадерский полк. Владимирцев вызвали из армии для участия в торжествах по случаю свадьбы великого князя, но тут же и обидели: «не дали им при таком

торжестве ниже по чарке вина» да еще заставили бить сваи на Неве, при постройке дворцовой набережной. А теперь их отправляли в Казань — против Пугачева. Вот и решили они от такой худой жизни, что «положат ружья пред тем царем, который, как слышно, появился в низовых краях, кто бы таков он ни был». Такие разговоры вели гренадеры в селе Кибол, у постоялого двора, укладываясь перед походом на ямские подводы. Один из дворовых людей удоловских, ехавший к своей госпоже из деревни, эти разговоры слышал и по прибытии в Петербург передал Державину: узнал, вероятно, что тот едет в Казань усмирять Пугачева.

К таким слухам можно было отнестись без внимания: мало ли что говорится на постоялых дворах? Но Державин, как сказано, весь кипел. Он кинулся к Бибикову. Тот сперва сказал: «Вздор». Но Державин не унимался, ездил к Бибикову еще дважды, ночью возил к нему удоловского человека, заставил допросить командира Владимирского полка, — и добился того, что среди гренадер действительно был открыт заговор.

Все это произошло в несколько дней. Державин был, как в лихорадке. Наконец, в первых числах декабря, «весьма налегке, в нагольной овчинной шубе, купленной им за три рубля», он отправился в путь.

III

Когда члены следственной комиссии, опередив Бибикова, приехали в Казань (это было перед самыми святками), они нашли город в панике. Пугачевские разъезды уже появились верстах в шестидесяти отсюда. Не только многие жители — сами власти бежали, уехал даже и губернатор.

Назначение Бибикова произвело стремительный переворот в умах. Известие о приближении генерала, уже однажды, за десять лет до того, спасшего местных дворян от крестьянских волнений, разом вселило уверенность, что теперь все пойдет отлично. Беглецы, во главе с губернатором, стали возвращаться. Недавнее уныние сменилось самым легкомысленным веселием, в котором приняли бурное участие офицеры, приехавшие с Державиным. Но сам он не веселился: он с первого дня принялся за работу.

Следует вникнуть в то обстоятельство, что Державин был взят Бибиковым в *секретную следственную комиссию*, т. е. в орган, отнюдь не имевший прямого отношения к военно-оперативной части и за нее не ответственный. Правда, круг действий комиссии не был строго регламентирован,

ее членам давались весьма различные поручения, далеко выходящие за пределы следствия о сообщниках Пугачева. Но все эти поручения непременно относились либо к следственной области, либо к разведочной, либо к политической. Поэтому появления Державина на театре военных действий и даже участие в таких действиях, по самому роду службы его, должны были носить лишь эпизодический и подсобный характер. Положение Державина, как члена специальной комиссии, а не как боевого офицера, заранее определяло его отношения и с гражданскими властями, и с начальниками войсковых частей, и даже с самим главнокомандующим.

Обратимся теперь к положению дел. Казанские дворяне веселились напрасно: они были окружены врагами, явными или тайными, деятельными или выжидающими, когда придет время действовать. Сказать: Пугачев усиливался — было бы неточно. Усиливалась пугачевщина — и это было всего страшнее. Как подземный огонь, она уже разлилась на огромном пространстве. Где ступал Пугачев или его сообщники — огонь вырывался наружу и начинал бушевать. Главари мятежников, где бы ни появлялись, тотчас обрастали толпами, на вербованными из местного населения. Таким образом, запас человеческого материала у Пугачева был неиссякаем и не нуждался в переброске; он в любую минуту оказывался там, где пугачевскому «штабу» угодно было развернуть свои силы.

Что мог этому противопоставить Бибииков? Никакой стратегический план не был осуществим при условии, что толпы, рассеянные в одном месте, немедленно собирались в другом — и при этом еще иногда возрастали. Правда, Бибиикову не суждено было дожить до той поры, когда это можно было бы осознать отчетливо. Призванный заместить своих незадачливых предшественников, он готовился действовать согласно данным военной науки и собственного боевого опыта. Он вырабатывал стратегический план, но у него почти не было войск. Местные гарнизоны были ничтожны численно и разложены пугачевщиной изнутри. Другие войска еще только стягивались: с недавно освободившегося польского фронта, из губерний, еще не охваченных пугачевщиной. Наконец, для гражданской войны и эти войска были не довольно надежны (в чем Бибииков только что убедился на примере Владимирского полка). Не только на солдат — нельзя было вполне положиться даже на офицеров.

Бибииков прибыл в Казань 25 декабря, ждал войск и нервничал. 28-го числа Державин уже явился к нему с докладом. Пока прочие члены следственной комиссии, в ожидании начальства, кутили, блистали и дебоширили, он уединенно жил в доме матери и от своих крестьян, приезжавших с оренбургского тракта, старался разведать «о движениях неприятельских и о колебании народном». Сведения были неутешительные. Брожение чувствовалось и в окрестностях, и в самой Казани. Бездействие правительства становилось опасно. Державин счел нужным доложить о том Бибиикову. Тут произошла сцена, с первого взгляда не вполне правдоподобная: отродясь не нюхавший порошу подпоручик заявляет заслуженному боевому генералу Бибиикову, что «надобно делать какие-нибудь движения», а главнокомандующий оправдывается:

— Я это знаю, но что делать? войски еще не пришли.

— Есть ли войски, или нет, но надобно действовать, — возражает подпоручик.

Бибииков сердится, но не прогоняет его. Напротив, схватив за рукав, тащит к себе в кабинет и там сообщает тайную и мрачную новость: Самара взята пугачевцами, а население и духовенство встретили мятежников колокольным звоном и хлебом-солью.

— Надобно действовать, — в десятый раз повторяет Державин.

Что за нелепость: он требует невозможного! И кто дал ему вообще право чего-то требовать от генерал-аншефа Бибиикова? Право дал Бибииков, назначив его в следственную комиссию. А требовал действий Державин именно потому, что военные операции — вне его компетенции: с его точки зрения, чисто политической, именно так все и обстоит, как он докладывает: «надобно действовать, ибо от бездействия город находится в унынии», а уж *как* действовать и «есть ли войски, или нет» — это дело Бибиикова.

Бибииков сознает и правоту Державина, и свое бессилие. Поэтому он сердится пуще прежнего, молча расхаживает по кабинету, молча отсылает Державина прочь, — но на другой же день дает ответственное поручение: отправиться в Симбирск, там присоединиться к команде подполковника Гринева и с ним, а также с идущими из Сызрани гусарами и командою генерал-майора Муффеля, идти на освобождение Самары. Задача Державина — во время этого перехода собрать сведения об исправности и настроении не только самих команд, но и офицеров, и даже начальников. Коман-

дировка носила самый тайный характер: отправляясь из Казани, Державин еще сам не знал, куда и зачем он едет: ему были вручены два ордера в запечатанных пакетах, которые он должен был вскрыть не раньше, как удалясь от города на 30 верст. Первый ордер касался вышесказанных на блюдений. Вторым предлагалось ему, по взятии Самары, «найти того города жителей, кто первые были начальники и уговорители народа к выходу навстречу злодеям со крестами и со звоном, и через кого отправлен благодарственный молебен». Главных зачинщиков предписывалось отправить закованными в Казань, а менее виновных «для страху жестоко на площади наказать плетью при собрании народа, приговаривая, что они против злодеев должны пребывать в твердости». В заключение Бибииков писал: «Сей ордер объявить можете командующему в Самаре и требовать во всем его вспомоществования».

С такими поручениями Державин едет в Симбирск, не застает уже там Гринева, догоняет его и с ним вместе идет к Самаре, которая к их приходу оказывается уже занята Муффелем. Последний, таким образом, уже сам себя показал, и по отношению к нему миссия Державина отпадает. Но с Гриневым Державин идет очищать от пугачевских сторонников крепость Алексеевскую и под Красный Яр — на умирение калмыков. И то, и другое он предпринимает, опять-таки, не в качестве «военной силы», а для того только, «чтобы увидеть в прямом деле г-на подполковника Гринева, его офицеров и команду». Наконец, он возвращается в Самару, руководит следствием, допрашивает виновных в сдаче города Пугачеву, отсылает главнейших преступников в Казань и сам отправляется вслед за ними. Его первая командировка закончена.

В пору пугачевщины казанское дворянство и местные власти, вообще говоря, не покрыли себя славою. Непонимание обстановки, нерадивость, а главное — легкомыслие тут были проявлены много раз. Еще в самом начале 1773 г. Пугачев был схвачен и прислан в Казань под стражею. Из острога его отпустили собирать по городу милостыню — он, конечно, бежал. Потом, как мы видели, казанцы впадали в отчаяние и кидались из города прочь — без особых к тому оснований; потом веселились, столь же напрасно чувствуя себя за Бибииковым, как за каменной стеной. Пробудить в них сознание и подвигнуть к действиям было не просто. Между прочим, надо было добиться, чтобы они составили и содержали на свой счет нечто вроде конного ополчения в

помощь правительственным войскам. По поручению Екатерины, проявившей и в этом случае свое знание людей, Бибииков стал действовать с именитыми казанцами, как с ребятами. Он дважды их собирал, звонил в колокола, служил молебны и произносил речи. В речах изображал грозность обстановки, обещал награды и пугал наказаниями. Наконец, казанцы как будто сами придумали выставить ополчение. Не давая им остыть, Бибииков тут же составил от их имени соответственное определение и переслал его государыне. Продолжая игру, Екатерина прислала Бибиикову рескрипт, в котором именовала себя казанской помещицей и объявляла, что, следуя примеру дворянства, со своей стороны также дает по рекруту с каждых двухсот душ из казанских дворянских земель своих. Остроумный рескрипт имел успех чрезвычайный. Бибииков, чтобы еще поддаться жару, вздумал продлить приятную переписку с «казанской помещицей». Дворяне собрались вновь, и губернский предводитель Макаров, перед портретом Екатерины, прочитал благодарственную к ней речь: «Признаем тебя своею помещицей. Принимаем тебя в свое товарищество. Когда угодно тебе, равняем тебя с собою», — и проч. Кому же не лестно было принять государыню «в свое товарищество»? После этой речи в составлении отрядов захотели участвовать не только дворяне соседних уездов, но и купцы, и даже мещане. Составил же речь, разумеется, не Макаров; это дело было поручено Бибииковым Державину, который тут действовал не столько в качестве казанского помещика, сколько в качестве члена секретной комиссии: агитация прямо входила в ее задания.

Ответом на эту речь был новый рескрипт, а затем и особый манифест, который, впрочем, прибыл в Казань, когда ни Бибиикова, ни Державина там не было. К тому времени оба уже покинули город, направляясь в разные стороны.

Чтобы изъяснить причины этой второй командировки Державина, приходится вернуться назад, к людям, которых мы потеряли на время из виду.

* * *

Вскоре после того, как Державин, в марте 1770 г., гнушаясь самим собою, бежал из зачумленной Москвы, его тамошние знакомцы, Серебряков и Максимов, тоже исчезли из Белокаменной. Прихватив с собой Черняя, они отправились в польскую Украину — добывать свои клады. Но в ту пору вся эта область была театром русско-турецкой войны.

Войска передвигались по ней во все стороны, и шататься в степях, не навлекая подозрений, оказалось невозможно. Кладоискателям пришлось бросить свои затеи. Отпустив Черняя на все четыре стороны (а может быть, только припрятав его до лучших времен), вернулись они в родные места: в дворцовое село Малыковку, что лежало на Волге, верстах в 140 выше Саратова, при впадении Иргиза, того самого, на котором Серебряков некогда расселял раскольников и обдeldывал свои дела (за что, как мы видели, он и угодил в тюрьму при сыском приказе). Жили они притаившись, но неожиданно сами события сплелись вокруг них в довольно причудливый и неприятный узел.

После начала пугачевского возмущения правительство долго еще не знало, кто таков самозванец. Явилась мысль, не есть ли это Черняй, бежавший из Москвы и исчезнувший вместе с Серебряковым. Серебрякова и Максимова по этому делу допрашивали. Что отвечали они — неизвестно. Надо думать — Максимов отрекся от всякого знакомства с Черняем, а Серебряков заявил, что не видел его с тех пор, как вышел из тюрьмы, будучи взят на поруки Максимовым. Дело заглохло.

Однако ж, когда настоящее имя самозванца было установлено, положение Серебрякова с Максимовым вновь осложнилось. Дело в том, что Пугачев имел большие знакомства среди иргизских раскольников. Там, на Иргизе, он и явился в конце 1772 г. со своими возмутительными речами, за которые схвачен и отправлен в Казанскую тюрьму. (Из Казани он, как уже говорилось, бежал летом 1773 г., после чего и стал во главе мятежа.) Этот арест Пугачева произведен был не где-нибудь, а как раз в той же Малыковке, по доносу крестьянина Трофима Герасимова, который был Серебрякову приятель. Таким образом, к Серебрякову с Максимовым как бы шли нити и от воображаемого самозванца Черняя, и от настоящего — Пугачева. Это отнюдь не улучшало их положения. Тогда они, чтобы укрыться от беды, а может быть — и выслужиться, и загладить прежнее, решились предложить Бибикову свои услуги для вторичной поимки Пугачева. Они знали, что Державин при главнокомандующем, и вознамерились действовать через него.

В самом начале марта Серебряков, захватив с собою Герасимова, приехал в Казань. Его план был несложен. Предполагалось, что теперь, когда войска постепенно стянулись к мятежной области, пугачевские толпы вскоре будут разбиты; в этом случае самозванцу придется искать тайного

убежища, и он, всего вероятнее, отправится на Иргиз, где у него много друзей среди раскольников; тут-то Серебряков и рассчитывал его схватить; для чего требовал особых полномочий себе и Максимову.

При всем различии положений и лет, у Бибикова с Державиным было в характерах общее: и начальник, и подчиненный легко увлекались; оба слегка были фантазеры. В самой таинственной обстановке, ночью с 5 на 6 марта, состоялось свидание Серебрякова с Бибиковым. Самого Серебрякова раскусить было нетрудно, но его план показался Бибикову достойным внимания. Главнокомандующий призвал Державина и сказал ему:

— Это птица залетная и говорит много дельного; но как ты его представил, то и должен с ним возиться, а Максимову его я не поверю.

Такого оборота Державин, пожалуй, не ожидал и сам. В следственной комиссии у него было много работы: он вел журнал всей деловой переписке по бунту, с описанием и самых мер, принимаемых к его подавлению; кроме того, составлял алфавитные списки главных сообщников Пугачева и лиц, пострадавших от мятежа. «Возиться» с Серебряковым — значило бросить все, отдалиться от благосклонного начальника, ехать в Малыковку и посвятить себя выполнению серебряковской затеи. Но поручение ответственное, сопряженное с властью; но работа в таинственной обстановке; но наконец-то — возможность действительно себя выказать — все это его прельщало. В случае же успеха, если бы в самом деле он, Державин, оказался поимщиком Пугачева... Словом, он решился.

На другой же день после встречи с Серебряковым Бибиков дал Державину «тайное наставление», которого главные пункты сводились к следующему:

«Вы отправляетесь отсюда в Саратов и потом в Малыковку... Прикрыв ваше прямое дело подобием правды, а в самом деле посылка и поручаемая комиссия в следующем состоит имеет: 1) Известно, что вора и злодея Пугачева гнездо прежде произведения его злодейства были селения раскольнические на Иргизе, а потому и не можно думать, чтоб он и ныне каковых-либо друзей, сообщников или по крайней мере знакомцев там не имел. Вероятно быть кажется и то, что он по сокрушении его под Оренбургом толпы и по рассеянии ее (что дай Боже!) в случае побегу искать своего спасения вознамерится на Иргизе... Вам понятна важность сего злодея поимки. Для того вы скрытным и не-

приметным образом обратите все удоб-возможное старание к тому, чтоб узнать тех людей, к коим бы он в таковом случае прибегнуть мог... 2) Доколе к поимке злодея случай не приспеет, употребите вы все ваше старание о том, чтобы узнать о действиях и намерениях злодея и его толпы, их состояние и силу, взаимную меж ими связь, и чем подробнее вы узнаете, тем более и заслуги вашей Ее Императорскому Величеству нашей всемилостивейшей Монархине будет. А сии известия как ко мне, так и к марширующим по Самарской линии г.г. генерал-майорам князю Голицыну и Мансурову с верными людьми доставлять имеете, ведя о тайном деле <переписку> * посредством цифирного ключа, который вам вверяется. 3) Чтобы доставить в толпу к злодею надежных людей и ведать о его и прочих злодеев деяниях, не щадите вы ни трудов, ни денег, для чего и отпускается с вами четыреста рублей... Чтоб в случае надобном делано было вам и от вас посланным всякое вспоможение, для того снабжаетесь вы письмом пребывающему в Саратове г. астраханскому губернатору Кречетникову, а к Мальковским дворцовым управителям открытым ордером... 4) Не уставайте наблюдать все людей тамошних склонности, образ мыслей и понятие их о злом самозванце... Проповедайте милосердие монаршее к тем, кои от него отстанут и покаются. Обличайте рассуждениями вашими обольщения и обманы Пугачева и его сообщников. 5) Наконец, при вступлении в дело возьмите себе в помощь представленных вами известных Серебрякова и Герасимова... Впрочем, я, полагаясь на искусство ваше, усердие и верность, оставляю более наблюдение дела, для которого вы посылаетесь, собственной вашей расторопности. И надеюсь, что вы как все сие весьма тайно содержать будете, так не упустите никакого случая, коим бы не воспользоваться, понимая силу прямую посылки вашей. Ал. Бибииков».

7-го марта Державин выехал из Казани. Уезжая, он был преисполнен надежд и веры в себя. Точно так же, как Бибииков, он полагал, что для успешности и плодотворности его предприятия надобны три условия, из которых два находились вне его власти и не зависели от него. *Первое* — чтобы пугачевские полчища действительно были наперед разбиты. *Второе* — чтобы у Пугачева, в случае его поимки или смерти, не нашлось заместителя или преемника. Только за *третье* Державину предстояло быть в ответе: он должен был хорошо расставить капканы и не упустить зверя. Тут он полагался на свою «расторопность».

На самом деле этих условий было недостаточно. Требовалось еще одно, простейшее; и Державин, и Бибиков о нем знали, но как будто нарочно почти не касались его; как будто боялись, что если прямо и ясно поставят о нем вопрос — их пыл ослабеет, и придется Бибикову задуматься, стоит ли ради этого дела отсылать от себя Державина, а Державину — стоит ли уезжать от Бибикова.

* * *

В Малыковке Державин прежде всего обзавелся «подлазчиками», которых послал к Пугачеву — разузнавать о его делах, намерениях и силах. Серебрякова с Герасимовым он оставил на Иргизе — стеречь друзей самозванца и выслеживать его самого, когда он появится. Наладив целую сеть лазутчиков, Державин счел нужным обеспечить себе и чисто военную помощь, т. е. получить отряд в свое распоряжение. Для этого он отправился в Саратов к астраханскому губернатору Кречетникову (Саратов входил в состав Астраханской губернии, а губернатор там жил для того, чтобы находиться ближе к театру военных действий). Вручив Кречетникову рекомендательное письмо Бибикова, Державин потребовал помощи — и внезапно получил самый решительный отказ: то ли губернатору не понравился властный тон Державина, то ли Кречетников захотел подсадить Бибикова, с которым был не в ладу, — только отряда получить от него не удалось.

Это взволновало Державина чрезвычайно. Но он не сдался. В Саратове находилась «контора опекунства иностранных», т. е. управление немецкими колониями, которые Екатерина расселила вниз по течению Волги, начиная от устья Иргиза. В распоряжении конторы, которая не зависела от губернатора, имелись три роты артиллерийского фузелерного полка. Начальник конторы Лодыжинский был с губернатором в плохих отношениях и, чтоб ему досадить, разрешил Державину, буде понадобится, брать эти роты. Кречетников обозлился раз навсегда.

Меж тем, до Саратова дошла весть, что кн. Голицын освободил Оренбург, дважды разбив самозванца наголову, — под Татищевой и у Сакмарского городка. Это заставило Державина поторопиться обратно в Малыковку: как знать, может быть теперь-то и кинется Пугачев скрываться на Иргизе? Но Пугачев, потеряв больше двух третей всего войска, нимало не думал бежать и прятаться. Он пробрался в Башкирию — обрастать новыми толпами, чтобы

опять устремиться к Яику. Его поимка явно откладывалась.

Сидеть в Малыковке сложа руки не улыбалось Державину. Он задумал военную экспедицию — за свой страх и риск. Яицкий городок был осажден мятежниками, страдал от голода и уже не имел снарядов. На выручку его шел Мансуров. Но Державин рассудил, что Мансурова должны задержать разливы рек, — и решился «сикурсировать» крепостцу, подойдя к ней с другой стороны. Вновь стал он требовать войск — и вновь губернатор ему отказал. Тогда Державин, послав Бибикову жалобу на губернатора (уже не первую), составил отряд из фузелеров и казаков опекунской конторы, прибавил сотни полторы малыковских крестьян, выпросил у Максимова провианта для яицкого гарнизона и 21 апреля двинулся в поход. Предстояло пройти верст 500.

Увы, на второй день пути от встречного своего лазутчика он узнал, что Яицк уже занят Мансуровым. Ему ничего не оставалось, как вернуться назад, в Малыковку, — к великому торжеству Кречетникова. Узнав о его конфузе, губернатор поспешил кстати поздравить его с производством в поручики. Поздравление прозвучало насмешкой. Державин не обрадовался.

Свои рапорты он посылал прямо Бибикову, который покинул Казань на другой день после Державина и направился к армии. Пришлось послать донесение также и о злощастной попытке выручить Яицкий городок. Но велико было удивление и огорчение Державина, когда получил он ответ не от Бибикова, а от кн. Щербатова. Бибиков умер на пути к Оренбургу, и Щербатов временно его заменил на посту главнокомандующего.

Силы Бибикова давно были подорваны тревогами и трудами. Заболев горячкою, он скрывал болезнь, перемогался и таял. Лечить его было некому. За два дня до смерти, коснеющею рукой, он написал государыне: «Si j'avais un seul habile homme, il m'aurait sauvé, mais hélas, je me meurs sans vous voir»¹. Человек благородный, патриот истинный, он отдал все силы своему трудному делу и умер, едва получив известие о победе Голицына — о первом достигнутом успехе. Ему было всего сорок четыре года. Обстоятельства этой кончины потрясли Державина. Сам он терял начальника, которым был отличен и которого успел полюбить.

¹ «Если бы при мне был хоть один искусный человек, он бы спас меня, но, увы, я умираю, не увидев Вас» (фр.).

Все вообще складывалось печально. Нужды нет, что Мансуров с Голицыным высоко ценили его разведочную работу, что сам Щербатов его одобрял. Его главная цель — поимка самозванца — вдруг оказалась совсем не столь вероятна, как он себя убедил — как они с Бибиковым себя убедили.

Не то было всего хуже, что разбитый Голицыным Пугачев оказался способен к дальнейшей борьбе; Державин не сомневался, что рано или поздно враг будет побежден. Уже и теперь, по последним известиям, самозванец опять окружен у Взяно-Петровских заводов и без поражения выйти оттуда не может. Плохо было то, что и эти хорошие вести опять содержали горчайший для Державина намек на вероятную участь всей его командировки: одновременно сообщалось, что если Пугачеву суждено прорваться, то отнюдь не в сторону Иргиза! Это замечание, сделанное мимоходом, Державина угнетало. Впервые Державину стало ясно, что как ни искусно расставил он свои западни, на сей раз они не понадобятся наверняка, а вообще могут и никогда не понадобиться, *если зверь сюда не пожалует*. А многое ли говорило за то, что пожалует? Вот что они упустили из виду с покойником-Бибиковым. И внезапно с такой же твердостью, как прежде он был уверен, что самозванец придет прятаться на Иргиз,— теперь Державин решил, что Пугачев не придет сюда никогда. Скрытая досада на самого себя стала его томить. Кто придумал все это? Кто вскрыл головы и ему, и Бибикову? Серебряков? Нет, Серебрякова по чести винить нельзя: Серебряков, конечно, придумал ловить Пугачева на Иргизе, но он предлагал в поимщики самого себя. Он не звал Державина в Мальковку. Державин сам привязал себя к этому проклятому месту. И зачем, зачем Бибиков подтолкнул его?

Такое уныние овладело Державиным, что он стал проситься «о увольнении себя с его поста, для того, по удалении в Башкирию Пугачева, во вверенной ему комиссии он ничем действовать не мог». Временами он даже подумывал бросить все и ехать обратно в полк, в Петербург.

* * *

На его беду им были довольны — и не отпустили. Только о поимке Пугачева, как о цели его пребывания на Иргизе, теперь уже речи не было. Выяснилось, что секретная комиссия до сих пор даже не знала, зачем Державин послан в Мальковку. Ему стали давать поручения то по разведке, то по охране спокойствия, то по делам провиантским.

Действия против Пугачева шли с переменным счастьем. Из окружения самозванец вырвался и усилился вновь — уж в который раз. Стремительно, как степной пожар, разливаясь все шире и шире, он шел к северо-востоку, за Урал, в киргизскую степь, меж тем, как главные силы правительства стянуты были южнее. Однако, 21 мая Декалонг разбил его при крепости Троицкой. Самозванец пошел к Челябинску, но тут впервые встретился с Михельсоном и вновь потерпел поражение. Хотел идти к Екатеринбург — и тоже встретил препятствие. Тогда он повернул под прямым углом на запад и устремился к Казани.

Победа, одержанная при Троицкой, возбудила такие же надежды, как перед тем победа при Татищевой. Пошли даже слухи, что Пугачев спасся всего с восемью человеками и, конечно, будет искать убежища на Иргизе (очевидно, и Щербатов теперь заразился серебряковской идеей). Державина известили об этих чаяниях. Надежда мелькнула снова. Он ожил, стал расставлять пикеты и рассылать лазутчиков. Внезапно пожар истребил большую часть Малыковки. Хлебные запасы сгорели. Начался голод, в народе чувствовалось брожение. Дом Державина уцелел, но его дважды пытались поджечь. Малыковка становилась плохой базой. Оставив немногочисленные свои команды и сделав распоряжения на случай прямого мятежа, Державин поехал в Саратов.

Туда призывали его дела второстепенные. Но события развернулись так, что эта поездка оказала важное влияние на всю его дальнейшую судьбу.

По смерти Бибикова императрица, вместо одной следственной комиссии, учредила две: казанскую и оренбургскую. Оставив военное командование в руках князя Щербатова, эти комиссии временно отдала она в ведение местных губернаторов, а затем решила сосредоточить управление в одних руках. Новым начальником комиссий назначен был молодой генерал-майор Павел Сергеевич Потемкин, человек неглупый, но и не выдающийся, образованный, но не даровитый; зато — троюродный брат нового фаворита, только что вошедшего в силу. Потемкин выехал из Петербурга в Казань как раз в то время, когда с востока к ней шел Пугачев. В Казани они столкнулись: Потемкин прибыл в ночь на 8 июля, а 12 числа на заре туда же пожаловал Пугачев. В Казани войск почти не было. Потемкин вышел навстречу самозванцу с четырьмястами солдат, был разбит и едва успел укрыться в крепости внутри города, вместе со

многими жителями. Пугачев не мог овладеть крепостью, но сжег и разграбил город. Местная чернь присоединилась к пришлой. Часть жителей при этом была убита, прочие подверглись мукам и разорению. «Люди зажиточные стали нищими, кто был скуден, очутился богат!»

Михельсон, пришедший по пятам Пугачева, освободил казанские пепелища через три дня, после упорных боев. Самозванец, выгнанный из Казани и вновь растерявший часть войска, однако ж не унялся. Собирая новые полчища, устремился он вверх по Волге, думали — на Москву. Но внезапно он перешел Волгу у Кокшайска и по правому ее берегу пошел к югу. «Пугачев бежал, но бегство его казалось нашествием. Никогда успехи его не были ужаснее, никогда мятеж не свирепствовал с такою силою. Возмущение переходило от одной деревни к другой; от провинции к провинции». Он двинулся на Саратов. Державин узнал об этом раньше местных властей и поспешил их оповестить.

Саратовцы до тех пор почитали себя в безопасности. Губернатор Кречетников даже уехал в постоянную свою резиденцию — в Астрахань. Уезжая, он вверил охрану города коменданту Бошняку, но с тем, чтобы тот в важных случаях совещался с другими начальниками и действовал с общего согласия. Самым видным из этих начальников был упомянутый выше Лодыжинский, начальник опекунской конторы. Нет надобности объяснять, что Бошняк с Лодыжинским были на ножах и, по службе будучи независимы, не желали ни в чем уступать друг другу. У каждого были к тому же свои войска. Полковник Бошняк считал себя выше, как воевода и комендант. Лодыжинский, хоть находился в гражданской службе, был зато старше чином: он был статский советник, что соответствовало бригадиру. Бошняк был порывист, переменчив и неумен; зато держался прямым солдатом и носил огромнейшие усы. Лодыжинский усов не носил, но превосходил противника хладнокровием и дальновидностью. Наконец, Бошняк был в хороших отношениях с губернатором, а Лодыжинский в плохих (что, как мы знаем, и сблизило его в свое время с Державиным).

Узнав от Державина об угрожающем движении Пугачева, Лодыжинский созвал совещание для обсуждения мер к обороне Саратова. Кроме Державина были приглашены: Бошняк и некий Кикин, сослуживец Лодыжинского. Тут-то голоса и разделились.

Бошняк находил, что надо укрепить город и в нем отсиживаться. Лодыжинский с Кикиным возражали, что город

слишком велик и так скоро его не укрепишь, да и не хватит ни войск, ни артиллерии, чтобы отстаивать такое большое пространство. Поэтому надо встретить самозванца вне города, для чего собрать всех жителей, способных носить оружие, а прочих укрыть на берегу Волги возле магазинов и казарм опекунской конторы, построив там особое земляное укрепление. Лодыжинский, как бывший офицер инженерного корпуса, уже составил и план такого ретранше-мента. Державин с горячностью присоединился к этому мнению, на стороне которого, таким образом, оказалось большинство голосов. В этом духе составили и подписали общее постановление. Бошняк обязался доставить рабочих, инструменты и часть оружия.

Между тем, новый начальник секретных комиссий требовал, чтобы Державин представил рапорт об исполнении данного ему поручения. Для составления рапорта Державин на другой же день поскакал в Малыковку, где находилось все его делопроизводство. В Малыковке он получил от Потемкина второе письмо. Потемкин сообщил, что уже получил сведения о действиях Державина от кн. Щербатова и остался ими особенно доволен. «Таковой помощник много облегчает меня при обстоятельствах, в каких я наехал К а з а н ь, — писал Потемкин и далее прибавлял: может быть, принужден будет злодей обратиться на прежнее гнездо, то представляется вам пространное поле к усугублению опытов ревности вашей к службе нашей премудрой Монархини. Я уверен, что вы знаете совершенно цену ее щедрот и премудрости. Способности же ваши могут измерить важность дела и предстоящую вам славу, ежели злодей устремится в вашу сторону и найдет в сети, от вас приготовляемые».

На этот раз вряд ли Державин серьезно поверил в поимку Пугачева на Иргизе. Уже не раз его обманула эта мечта, еще имевшая для Потемкина прелесть новизны. Но самолюбие Державина было польщено и возбуждено, честолюбивые надежды его всколыхнулись, — и «сие самое побудило его горячее вмешаться после в саратовские обстоятельства».

Повод не замедлил явиться. В самый день отъезда державинского из Саратова Бошняк уже пошел на попятный: заявил, что не даст рабочих для постройки ретранше-мента, потому что опасность миновалась. Это была неправда: опасность не миновалась, а возросла — Пугачев был в 450 верстах. Обо всем этом Державина тотчас же известили саратовские друзья. Некто Свербеев, чиновник опе-

кунской конторы, писал: «Приезжай, братец, поскорее, и нагони на них страх».

Державин помчался «нагонять страх». Но пока он ехал, саратовские жители узнали, что Пугачев уже миновал Алатырь. Поднялась тревога. Состоялось совещание при участии купечества и членов Низовой соляной конторы. Вновь утвердили план Державина и Лодыжинского, но на сей раз Бошняк отказался его подписать. Он вернулся к первоначальной своей мысли и заявил, что согласен на ретраншемент, но кроме того не может оставить на расхищение город, церкви, остроги и винные склады, а потому будет строить укрепление вокруг всего города.

Это было 27 июля. А 29-го Бошняк уже заявил, что и вовсе отказывается от ретраншемента, а будет строить лишь укрепление вокруг города. На другой день, подкрепившись добытым от губернатора орденом о подчинении коменданту всех воинских сил, Бошняк явился сообщить свое решение Лодыжинскому — и встретил у него только что вернувшегося Державина. Горячие споры не привели ни к чему — Бошняк стал строить свои укрепления.

Тогда Державин написал коменданту письмо. В выражениях самых резких повторял прежние доводы, доказывал, что Бошняк не умеет возводить укреплений; что укрепления вокруг всего города бесполезны, ибо требуют стольких защитников, сколько в Саратове не найдется; что жители, неспособные носить оружие, могут укрыться в ретраншементе, который должно строить немедленно; что там же можно поместить и церковную утварь; что должно встретить врага вне города, оставив лишь небольшой отряд для защиты ретраншемента. Наконец, о себе писал: «Когда вам его превосходительство г. астраханский губернатор П. Н. Кречетников, отъезжая отсюда, не дал знать, с чем я прислан в страну сию, то чрез сие имею честь вашему высокоблагородию сказать, что я прислан сюда от его высокопревосходительства покойного г. генерал-аншефа и кавалера А. И. Бибикова, вследствие именного Ее Императорского Величества высочайшего повеления по Секретной Комиссии, и предписано по моим требованиям исполнять все».

Эти раздоры грозили Саратову тем, что в конце концов он останется безо всякой защиты. Жители волновались. Большинство, видимо, было на стороне Державина и Лодыжинского. 1-го августа состоялось собрание всех бывших в городе офицеров. Принято было определение действовать по плану Лодыжинского — «несмотря на несогласие озна-

ченного коменданта». Это уже был, в сущности, бунт. В качестве поручика лейбгвардии (что весьма придавало ему весу в глазах армейцев) и члена секретной комиссии, Державин этим бунтом водительствовал, причем грозился Бошняка арестовать. Настроение собравшихся было самое повышенное; так спешили, что согласились подписываться без соблюдения старшинства.

После этого построика ретраншемент возобновилась по распоряжению магистрата. Но через день Бошняк приказал полиции объявить, что к работе привлекаются лишь *добровольцы*. «Легкомысленный народ рад был такой поблажке, и из сего произошла и у благоразумнейших колебленность мыслей, дурные разгласки, и работа вовсе остановилась».

Державин не устал жаловаться на Бошняка Потемкину, Бошняк на Державина — Кречетникову. Оба были и правы, и не правы. Бошняк был старше чином и имел боевой опыт, которого не имел Державин. Державин ссылался на то, что он прислан от секретной комиссии и что «предписано по его требованиям исполнять в с е», — это была неправда: в сущности, он был прислан в Мальковку, а не в Саратов, и оборона Саратова, если даже касалась его, то разве только с политической, а не с военной стороны. «Горячее вмешался» он в это дело только потому, что в прямую цель своей командировки, в поимку Пугачева на Иргизе, уже сам не верил, а хотел отличиться где бы то ни было и во что бы то ни стало. И держал он себя с заносчивостью недопустимой, не говоря уже о военной субординации, которую сам нарушал и склонял нарушать других. Но по существу дела все-таки прав был он, точнее — прав был Лодыжинский, на сторону которого он стал против Бошняка. Он видел, что Бошняк губит дело, — и это, и сознание собственной правоты, и скрытое чувство, что действовать так, как он действует, он все-таки не имеет п р а в а, — все это доводило его до пределов дерзости и упрямства.

Наконец, 3 августа, Кречетников прислал Бошняку ордер, в котором предлагал отправить Державина к настоящему месту его службы — на Иргиз. Бошняк тотчас переслал ордер Державину, но тому было не до губернатора: уже он готовился в новую экспедицию.

* * *

В девяноста семи верстах от Саратова, на реке Медведице, лежала крепость Петровская. Пугачев к ней прибли-

жился. Державин послал в Петровск приказание перевезти в Саратов казенные деньги и архивы. Все это уже было сложено на подводы, но, как случалось почти всегда, при приближении самозванца часть гарнизона взбунтовалась и остановила возы. 3-го числа (в тот же день, когда пришел ордер Кречетникова) Державин получил письмо из Петровска, от секунд-майора Буткевича («воеводского товарища», как он себя именовал) с просьбою прислать на помощь отряд «человек до ста».

Державин немедленно выслал вперед отряд казаков под начальством есаула Фомина, а 4-го числа утром выехал и сам. Не одни архивы и деньги занимали Державина: он мечтал вывезти из Петровского пороха и пушки, а также произвести разведку, чтобы узнать, с какими силами наступает враг на Саратов.

Державин ехал в кибитке с неким Гогелем и со слугою, которого нанял еще в Казани; это был гусар из польских конфедератов. Уже верстах в пяти от крепости узнали они от встречного мужика, что Пугачев находится в пяти верстах от Петровска, только с севера (Державин ехал с юга). Державин остановился, а Гогель поехал вперед, чтобы нагнать и предупредить казачий отряд. Нагнав его, Гогель отрядил четырех казаков к Петровску — на разведку. Те уехали — и пропали. Наконец, двое из них вернулись и сообщили, что Пугачев уже в городе и надо ему сдаваться. Фоминские казаки тотчас взбунтовались и объявили, что переходят на сторону «государя». Покуда Фомин хитрил и вел с ними переговоры, со стороны Петровска приблизился отряд мятежников под предводительством самого Пугачева. Фомин с Гогелем бросились назад, к Державину, крича: «Казаки изменили, спасайтесь!» Пересев на верховую лошадь, Державин поскакал вместе с ними к Саратову. Пугачев со своим отрядом гнался за ними. С наступлением сумерек погоня остановилась. Державин благополучно достиг Саратова; его кибитка, с ружьями, пистолетами и слугою-поляком, осталась в руках мятежников.

* * *

Весь следующий день (5 августа) ушел на бесполезные переговоры с Бошняком. Пугачевские скопища надвигались, падение Саратова было неминуемо. Во исполнение губернаторского приказа, Державин мог бы уехать в Мальковку, но, «нося имя офицера, за неприличное почел от опасности отдаляться», и «чтобы не быть праздным, выпро-

сил в команду себе одну находящуюся без капитана роту».

Вдруг вечером получил он тревожную весть: партия малыковских крестьян, им вызванная на помощь саратовскому гарнизону, взбунтовалась, не дойдя двадцати верст до города. Герасимов, бывший при этой партии, сообщал, что крестьяне отказываются идти дальше, если Державин не явится к ним самолично. Державин поехал — и тут незначительная случайность разом все изменила. На ближайшей станции, в слободе Покровской, не оказалось лошадей. Державин застрял на всю ночь, а когда на другой день добрался, наконец, до своих крестьян, — пришло известие, что Саратов взят. Боясь, что крестьяне открыто перейдут на сторону Пугачева, Державин их распустил, а сам поехал в колонию Шафгаузен. Здесь надеялся он через колонистов разведать, куда намерен идти Пугачев из Саратова: на Яик или вниз по Волге.

Шафгаузен лежал на левом берегу Волги, немногим ниже Малыковки. Сообщение между ними постоянно поддерживалось. Печальная новость ожидала Державина.

Незадолго до отъезда из Саратова, Державин решил просить помощи у ген. Мансурова, который тогда находился со своими войсками в Сызрани. Письмо к Мансурову Державин послал в Малыковку, Серебрякову, с приказом лично доставить по назначению. Серебряков, прихватив с собою сына, отправился в Сызрань; по дороге, в степи, оба были убиты и ограблены шайкою беглых солдат.

Шаяк, состоявших из всякого сброду, к тому времени расплодилось великое множество. Между прочим, не терял времени даром и тот слуга-поляк, что остался вместе с кибиткой Державина в пугачевском плену: за десять тысяч рублей он взялся изловить бывшего своего господина. Он явился в колонию, взбунтовал многих колонистов и разослал подручных искать Державина. 8 числа, на второй день своего пребывания в Шафгаузене, Державин узнал, что злодеи остановились в пяти верстах, в ближайшей колонии, — завтракать. Охраны у него не было — он вскочил на лошадь и помчался за девяносто верст, в Сызрань, к генералу Мансурову. Дорогою, при переправе через Волгу, он едва не погиб: двести малыковских крестьян, которых он сам же некогда здесь расставил стеречь Пугачева, теперь узнали о взятии Саратова, и «дух буйства» в них пробудился: на пароме они хотели схватить Державина, чтобы отправить в стан Пугачева; не поворачиваясь к ним спиной, он при-

слонился к борту и держал руку на пистолете, заткнутом у пояса; «а как всякий из них жалел своего лба, то он и спасся».

10 августа Державин приехал в Сызрань к Мансурову, а вслед за тем узнал, что и сама Малыковка пережила бурные события. «Сего августа 9 дня,— доносил писарь Злобин,— приехав в село Малыковку известной злодейской шайки разной сволочи человек с 12 и во первых набрав во оном подобных себе злодеев села Малыковки дворцовых и экономических крестьян человек до 50-ти, начали разбивать питейные дома и, напився пьяны, чинили многое злодейство и в хороших крестьянских домах разбои, а сверх того г. казначею и всему его семейству, тако же его расходчику, села Воскресенского крестьянину Александре Васильеву и малыковскому жителю Ивану Терентьеву учинили смертное убийство, коих ругательски и повесили, чем устрашивая привлекали малыковских первостатейных к питью вина и к поздравлению якобы Государя Петра Федоровича, т. е. государственного вора и злодея Пугачева, кои то и чинили, а сопротивления с ними, злодеями, за неимением никакой команды, чинить было некому, где тот день в Малыковке они и ночевали, а напоследок 10-го августа те злодеи, быв до полден и более и чиня такое злодейство, сказали, что они с батюшкой Петром Федорычем, т. е. означенным злодеем, будут в Малыковку во вторник 12-го августа, и сказав, уехали обратно».

В Малыковку злодеи больше не приходили, но после их ухода часть населения пребывала в великом страхе, другая же разнуздалась и буйствовала. Дворцовый управитель Шишковский, который «едва спас живот свой», от страху никак не мог «прийти в совершенную память» и писал Державину: «Обыватели смотрят весьма немилосердным взглядом... Помилуй, батюшка! Не оставь беспомощного и разоренного и страсть терплющего человека... Поверьте, милостивый государь, что писать не могу: ненатуральная трясовица обдержит меня». Максимов, бежавший из Малыковки подале, тоже зывал к Державину: «Поспеши, голубчик, и хотя внутренним злодеям отмсти за пролитую неповинно дворянскую кровь».

Малыковка делалась все менее надежной точкой опоры. Державин к тому же предвидел, что Пугачев будет оттеснен от Саратова еще южнее; ждать самозванца на Иргизе теперь казалось ему бессмысленно. Донося об этом Потемкину, он просил указаний, что в таких обстоятельствах делать

дальше и куда направиться. Ответ долго не приходил. Уже к Сызрани явился со своими войсками Голицын; уже Мансуров ушел оттуда преследовать Пугачева,— ответа все не было. Державин сидел при Голицыне безо всякого дела. Бездействие вообще было не в его нраве — теперь оно томило в особенности: вся командировка грозила кончиться *ничем*; как и в Саратове, он искал случая сделать *что-нибудь*.

* * *

Юго-западная часть колоний, почти на полпути между Малыковкой и Саратовом, длинною, узкою полосой вдается в киргиз-кайсацкую степь. Киргизы давно уже беспокоят ее набегами. Теперь, при общей разрухе, набеги становятся чаще и жесточе. Дома сжигают и грабят, скот угоняют, жителей избивают или уводят в плен, в степь. Колонисты просят за щ и ты, — но войск у Голицына слишком мало.

Другое дело — Державин. В Малыковке наберет он верных крестьян (кстати, наведя там порядок и посчитавшись с кем следует), колонисты ему обещают отряд в триста человек: с этими силами можно рискнуть на киргиз-кайсаков... Но чтобы дойти до Малыковки и колоний, ему нужны были двадцать пять человек гусар и хотя бы одна пушка. Такие силы Голицын мог ему предоставить, и 21 августа выступил он в поход.

Голицын отправил с ним девять колодников — «восемь человек и одну женку». То были крестьяне, которые недавно схватили голицынского курьера и отправили к Пугачеву. Преступление было совершено в селе Поселках, через которое Державину лежал путь. Главного зачинщика, Михаила Гомзова, Голицын приказал там же, в Поселках, для примера повесить, прочих же отпустить по домам, назвав плетьюми.

Исполнив этот приказ, Державин из Поселков двинулся дальше. 24 числа, в селе Сосновке, привели к нему пятерых разбойников; из них трое были повинны в убийстве Серебрякова. Одного Державин велел тут же повесить: приближаясь к беспокойной Малыковке, где предстояло ему нанять главные силы будущего отряда, он хотел, чтоб молва о жестокостях предваряла его появление. Действительно, его ждали с ужасом.

Придя в Малыковку, он тотчас нарядил следствие; троих мужиков, повинных в убиении казначея Тишина с женой и детьми (которым головы размозжили об угол), «по дан-

ной ему от генералитета власти, определил на смерть». Замечательна смесь воображения и расчета, с которыми он затем действовал. На другой день всех жителей, мужского и женского полу, согнали на близлежащую гору. Священнослужителям всех семи церквей малыковских приказано было облечься в ризы. Пушку, заряженную картечью, навели на толпу; двадцать гусар с обнаженными саблями разъезжали вокруг, чтобы рубить всякого, кто захочет бежать. На осужденных надели саваны, дали им в руки зажженные свечи и при погребальном звоне привели к месту казни. «Сие так сбившийся народ со всего села и из окружных деревень устрашило, что не смел никто рта разинуть». Прочтя приговор, Державин велел этих троих повесить, а еще двести крестьян, тех самых, что осадили его недавно при переправе, — пересечь плетьюми. «Сие все совершили, и самую должность палачей, не иные кто, как те же поселяне» *.

Тогда-то приказал Державин выставить до тысячи конных ратников и сто телег с провиантом — для похода на киргизов. Малыковка, хоть и была в трепете, могла набрать только семьсот человек. Державин и тем удовольствовался. Голицын обещал прислать ему на подмогу казаков, но Державин не стал дожидаться. Первого сентября переправился он через Волгу и углубился в степь по *сакме* — по дороге, протоптанной шедшими здесь киргизами. Через несколько дней, на верховьях Малого Карамана, увидели в долине киргизов; вместе с толпою пленных и множеством угнанного скота орда казалась страшной громадою. Державин атаковал ее — кочевники бросились бежать во все стороны, оставя на месте пленных и скот. С полсотни киргизов при этом перекололи. Таким образом было отбито восемьсот колонистов, семьсот русских поселян и несколько тысяч голов скота. Еще около двухсот пленников киргизы угнали с собой, но Державин не мог уже их преследовать: полторы тысячи пленных, которых он только что отнял у киргизов, стесняли движение его отряда. Он повел их в ближайшую колонию Тонкошкурровку, в ту самую, откуда большинство их недавно было уведено киргизами. Колонию застали в развалинах; всюду валялись трупы; Державин предал их погребению. Были поставлены вооруженные отряды, учреждены пикеты и разъезды; однако набеги киргиз-кайсаков с той поры прекратились вовсе.

Голицын благодарил Державина и доносил о его подвиге высшему начальству — но оно уже было не то, что прежде. В последнее время произошло много событий.

Перелом в действиях против Пугачева начался еще с того дня, когда Михельсон не пустил самозванца во глубину Сибири и погнал его на Казань. Но взятие Казани, но самое бегство Пугачева под напором Михельсона, Мансурова, Муффеля было слишком опустошительно: как сказано выше, оно еще представлялось нашествием.

Екатерина тревожилась чрезвычайно; подумывала сама стать во главе армии; полагала, что вялость и нерешительность генералов всему виною; против главнокомандующего кн. Щербатова ее восстанавливали в особенности. Гр. Никита Иванович Панин, государственный канцлер, имел выгоду под него подкапываться.

Никита Иванович Панин еще императрицей Елизаветой Петровной был определен в воспитатели к малолетнему великому князю Павлу Петровичу. Когда, совершив переворот 1762 г., Екатерина возложила корону на себя, говорили, будто Орловы готовят Павлу Петровичу участь его отца. Панин, открытый противник Орловых, почитался единственною защитой ребенка. Впоследствии Екатерина долгие годы не могла удалить Панина от великого князя (которого он восстанавливал против матери). Только в сентябре 1773 г., когда Павел Петрович женился, императрица с облегчением объявила воспитание наследника законченным, а воспитателя уволила, на радостях осыпав милостями и (без особого удовольствия) оставив государственным канцлером.

Меж тем, в 1770 г., брат Никиты Ивановича, Петр Иванович, за покорение Бендер получил Георгия 1-й степени и две с половиною тысячи душ. Этого показалось мало. Петр Иванович вышел в отставку и поселился в Москве — в обычном пристанище ворчунов и обиженных вельмож. На досуге он целых три года болтал, понося императрицу и зная, что ей неудобно было бы с ним расправиться. 25 сентября 1773 года Екатерина писала о нем кн. Волконскому, московскому главнокомандующему: «Что же касается до дерзкого известного вам болтуна, то я здесь кое-кому внушила, чтоб до него дошло, что естли он не уймется, то я принуждена буду его унимать наконец. Но как богатством я брата его осыпала выше его заслуг на сих днях, то чаю, что и он его уймет же».

В самом деле, пора было государственному канцлеру помирить брата с императрицей: влияние Паниных уже падало. Никита Иванович стал действовать в двух направ-

лениях. Брату посоветовал проявить крайний патриотизм и готовность к жертвам, а сам доложил о том государыне. Потом, на собранном ею совете, он предложил назначить Петра Ивановича на место кн. Щербатова. Екатерина согласилась с неудовольствием. Зато в восторге был Петр Иванович. В усердии дошел до того, что, забыв прошлое, в донесениях своих к слову *всеподданнейший* стал приписывать слово *раб* — что вовсе не требовалось. Радость его отчасти омрачена была только тем, что императрица не подчинила ему следственных комиссий: они остались в руках Павла Потемкина. Отсюда, конечно, вскоре возникли трения: Панин старался унижить Потемкина вместе с его комиссиями, а Потемкин стал нарочито проявлять свою независимость от главнокомандующего. Мы вскоре увидим, что Державину суждено было очутиться между молотом и наковальней.

17-го августа новый главнокомандующий выехал из Москвы. Он отправился не в Казань, а южнее, ближе к театру военных действий. По дороге остановился он в своем имении. 24 числа (в тот самый день, когда Державин казнил убийцу Серебрякова) приехал к нему Суворов, также назначенный действовать против Пугачева.

Суворов примчался без шапки, в одном кафтане, на простой мужицкой телеге. Получив от Панина предписание командирам и губернаторам исполнять все его распоряжения, он в тот же день кинулся дальше — на Пугачева!

Однако же он мог не спешить так сильно. После трехдневных саратовских зверств Пугачев двинулся вниз по Волге. Полчища его были громадны, но беспорядочны. Он разбил майора Дица, который пытался преградить путь, и 21 августа подступил к Царицыну. Дважды отбитый от этой крепости, он, может быть, все-таки овладел бы ею, но услышал о приближении Михельсона и поспешил опять вниз, на Сарепту. Здесь отдыхал он в течение суток и пошел дальше. Но Михельсон двигался быстрее и настиг его в ста верстах за Царицыным, у Черного Яра. Самозванец не мог уклониться от боя. Его поражение оказалось решительно; он потерял до четырех тысяч убитыми и до семи тысяч взятыми в плен; остальные бежали. Сам Пугачев едва спасся с горстью казаков, переправившись на левый берег Волги. Это было 25 августа — на другой день после описанного свидания Суворова с гр. Паниным. Таким образом, славный полководец на сей раз мчался напрасно: когда 3 сентября он прибыл в Царицын, сражаться уже было не с кем.

Оставалось принять участие разве только в поимке самого Емельки, и Суворов постарался придать своим действиям наиболее военную видимость. Приняв начальство над корпусом Михельсона, он посадил часть пехоты на лошадей, отбитых у Пугачева, и 4 сентября переправился на луговую сторону Волги — ловить самозванца. Но в сем предприятии он оказался слишком не одинок.

В точности неизвестно было, куда направился Пугачев по луговой стороне. Но отряды, посланные на поимку, надвигались со всех сторон. Кольцо вокруг самозванца сжималось.

Со своей стороны кн. Голицын перешел у Сызрани на левый берег. Как раз в те дни, когда Державин закончил поход на киргиз-кайсаков, Голицын со своими войсками очутился поблизости. 9 сентября, в селе Красном Яре (его не надо смешивать с городом того же названия) назначена была встреча.

К этому времени стало известно, что самозванец находится где-то на Узеньях — двух речках, текущих в киргиз-кайсацкой степи, между Волгой и Яиком. Голицын не изменил своего намерения отправиться на восток, к Яицкому городку, чтобы заранее преградить Пугачеву путь в этом направлении. Но Державину он дал предписание ловить самозванца на Узеньях. В отличие от шедших туда же воинских частей, Державину предложено было действовать через обывателей и тайных «подлазчиков»; это был поздний отголосок серебряковского плана.

Отряд мальковских крестьян, с которыми он ходил на киргиз-кайсаков, еще находился при Державине. Из этих-то людей отобрал он сто самых надежных. В ночь на 10 сентября подлазчики собраны в лесу и приведены к присяге. Их жены и дети объявлены заложниками. Для поощрения каждому дано по пяти рублей, для устрашения — тут же повешен последний из четырех убийц Серебрякова, до тех пор находившийся в бегах. Наконец, свора спущена; она бросилась в степь, к Узеньям, на зверя.

Державин с прочими крестьянами остался на Иргизе, в слободе Мечетной. Здесь предстояло ему охранять окрестности от бродячих шаек; сюда же должны были приходиться сведения от подлазчиков. Надеялся ли Державин, что его людям удастся схватить Пугачева? Конечно, он признавал, что «наступило самое то время, где ему Державину надлежало исправлять порученную ему г. Бибиковым комиссию, потому что Пугачев находился бессильным и в самых

тех областях, которые наблюдению Державина вверены». Но обстановка была совсем уж не та, которую он себе представлял, уезжая из Казани полгода тому назад. Теперь уж не он один, а и Голицын, и Муффель, и Меллин, и Мансуров, и Дундуков, и Суворов — кто только не ловил Пугачева? И у каждого было больше к тому возможностей, нежели у Державина. Между прочим, он только что получил первые письмо от Суворова. «О усердии к службе ее императорского величества вашего благородия я уже много известен,— писал Суворов, — тож и о последнем от вас разбитии киргизцев, как и о послании партии для преследования разбойника Емельки Пугачева от Карамана; по возможности и способности ожидаю от вашего благородия о пребывании, подвигах и успехах ваших частых уведомлений». Это было, конечно, лестно, но чувствовалось, что особых надежд на державинскую «партию» полководец не возлагает. О себе самом Суворов прибавил: «Иду за реченным Емелькою, поспешно прорезывая степь».

Вдруг, 15 числа, надежда еще раз вспыхнула ярко, чтобы тотчас погаснуть вовсе. Подзорщики возвратились и привели пленника. Как? Неужели?.. Но то был не Пугачев, а его «полковник», крестьянин Мельников. Мельников сообщил, что Емельян Пугачев своими сообщниками увезен в Яицкий городок и там отдан в руки властей. Посланные Державина опоздали на двое суток.

Итак, все было кончено.

Пока Державин ждал самозванца на Иргизе — тот удалялся от этих мест; когда Державин отчаялся ждать — Пугачев начал приближаться; когда же приблизился, подошел вплотную, — был схвачен, но не Державиним.

* * *

Было бы несправедливо одоление пугачевщины приписывать одному Михельсону. Однако, для современников им одержанные победы были наиболее очевидны. Многих военачальников это беспокоило. Начались попытки связать свое имя хотя бы с поимкой Пугачева. Тут поле было для всех открыто: самозванец попал в руки властей без прямого участия кого бы то ни было из тех, кто его ловил.

Суворов первый примчался в Яицкий городок и усердно занялся «попешным выпроважением» супостата, уже заклепанного в колодку. Потом всем захотелось быть первыми вестниками счастливого события; начались гонки курьеров.

Потом Потемкин, находясь в непрестанном соревновании с Паниным, пожелал заполучить знаменитого пленника в свои руки; он намекнул Державину, чтобы тот поспособствовал доставлению Пугачева не в «военную команду» (т. е. к Панину), а в секретную комиссию (т. е. к Потемкину). Но уже Суворов в Яицке завладел Пугачевым и, посадив в клетку, картинно вез его в Симбирск, к Панину. Державин был тут бессилён. Потемкин все же обиделся.

Но эта обида была ничто перед новой грозой, которая шла с другой стороны и теперь над Державиным разразилась.

Назначение Панина почти совпало с падением Саратова. Саратовским властям пришлось отчитываться в своих действиях уже перед новым главнокомандующим. Недруги Державина, Кречетников и Бошняк, дождались праздника. Разумеется, и в собственных объяснениях, и в объяснениях, ими подсказанных другим лицам, они старались обелить себя и очернить Лодыжинского с Державиным. По-ихнему выходило, что «ветреный человек гвардии поручик Державин» держал себя дерзко и вызывающе, вслух поносил коменданта и бунтовал против него офицеров; что действиями своими Лодыжинский и Державин ослабили оборону города (уже неправда); что они не возвели необходимого укрепления (да, но потому, что именно Бошняк этому противился); что экспедицию к Петровску совершил Бошняк, а не Державин (ложь грубая и наивная); что перед появлением самозванца Державин из города скрылся без надобности (главная и самая тяжелая для Державина ложь: он уехал по необходимости и лишь не успел вернуться; к тому же сам Кречетников перед тем *требовал* его удаления из города).

Панин был человек умный; умел быть смиренным, когда надо, и дерзким, когда можно; сам умел польстить и хотел, чтоб ему польстили; сам знал свое место и любил, чтоб другие знали. Заносчивый поручик ему по всем донесениям не понравился; он даже забыл, что недавно сам благодарил Державина за действия против киргизов, и решил быть к нему особливо строгим. А тут еще слухи о Державине дошли до императрицы, которая попросила Панина «когда случай будет, пообъяснить наведанием об обращениях сего гвардии поручика Державина и соответствовала ли его храбрость и искусство его словам».

Обо всем этом Державин еще ничего не знал. В таких обстоятельствах ему нужно было заручиться благосклон-

носью Панина. Вместо этого он нечаянно навлек на себя его лютой гнев.

О выдаче самозванца Державин узнал от Мельникова, своего пленника, в тот самый день, когда Пугачев был доставлен в Яицкий городок, к офицеру Маврину. Но Державин находился географически ближе к начальству, нежели Маврин. Поэтому он-то и был, в сущности, первым вестником. Но свои донесения он отправил двум непосредственным начальникам своим, Голицыну и Потемкину, а не Панину. По субординации он так и должен был поступить. Однако, случайно узнав об этом, Панин пришел в бешенство: его особенно беспокоило, как бы Потемкин не опередил его в донесении государыне. Рассвирепев, он тотчас велел Голицыну и Мансурову затребовать от Державина объяснений по поводу саратовских дел. Узнав о взводимых на него обвинениях, Державин оскорбился, вскипел и, через головы генералов, послал объяснения прямо Панину. В заключение требовал над собою военного суда. Это опять было неприятно Панину: он знал, что заслуги Державина, засвидетельствованные Бибиковым, Голицыным, Потемкиным, Суворовым и самим же Паниным, были больше его провинностей; а вот для Кречетникова, которому Панин вообще покровительствовал, суд мог кончиться большими неприятностями. Панин написал Державину длинное, нравоучительное и едкое письмо; «насмехался, что не им, Державиным, Пугачев пойман»; но в суде отказал.

В это самое время Потемкин, который ничего не знал о невзгодах Державина, вызвал его в Казань. Державин отправился, но дорогою не стерпел: решился заехать к Панину — объясниться лично.

* * *

Он вырос в глуши, воспитался в казарме, да на постоялом дворе, да в огне пугачевщины. С младенчества было ему внушено несколько твердых и простых правил веры и нравственности. Они и теперь, к тридцати годам, остались главным его мерилом. Добро и зло разделял он ясно, отчетливо; о себе самом всегда знал: вот это я делаю хорошо, это — дурно. Словом, умом был прям, а душою прост. Прямота была главное в нем. И это уже тогда было главное, за что любили его одни и не любили другие.

Себя он считал «горячим». Горячность и была в нем. Но прежде всего он был просто нетерпелив. Видя вокруг лукавство и ложь, он нередко отчаивался в прямом пути, решал

быть хитрым и скрытным, как все другие. Тогда любил уверять себя, будто действует проникательно, предусмотрительно, трезво и хладнокровно. Но всего этого хватало лишь до тех пор, пока все шло гладко и пока, в сущности, ни хитрость, ни хладнокровие не подвергались настоящему испытанию. При первом препятствии, при первом же столкновении с ложью, с обидой, с несправедливостью, то есть как раз когда хитрость и хладнокровие действительно становились н у ж н ы, — Державин терял терпение, срывался и уж тут давал волю своей горячности. Не смотрел ни на что, шел напрямиком, делался «в правде черт», как однажды сам о себе сказал.

Подъезжая к Симбирску, постановил он понравиться Панину, чтобы тот сложил гнев на милость. Решил выказать себя с лучшей стороны, пустить в ход все: и благодать, и почтительность, и скромность, и даже свою горячность и прямоту — в той самой мере, насколько они могут понравиться начальству. Это была особенно тонкая хитрость, и Державин особенно на нее рассчитывал.

В Симбирске он прежде всего явился к Голицыну: Панин был на охоте, Державин его даже встретил, приближаясь к городу.

Увидев гостя, Голицын перепугался:

— Как? вы здесь, зачем?

— Еду в Казань по предписанию генерала Потемкина, но рассудил главнокомандующему засвидетельствовать свое почтение.

— Да знаете ли вы, что он недели две публично за столом более не говорит ничего, как дожидает от государыни повеления повесить вас вместе с Пугачевым?

— Ежели я виноват, то от гнева царского нигде уйти не могу.

— Хорошо, — сказал князь, — но я, вас любя, не советую к нему являться, а поезжайте в Казань к Потемкину и ищите его покровительства.

— Нет, я хочу видеть графа.

Вечером Панин приехал с охоты. Пошли в главную квартиру. Панин сидел у себя в кабинете, с ним был Михельсон. Державин представился. Ничего не ответив на представление, Панин важно спросил:

— Пугачева видал?

Это опять был намек, но Державин, решив быть смиренным, сделал вид, что не понял. Ответил почтительно:

— Точно так, видел на коне под Петровском.

Граф отвернулся и сказал Михельсону:

— Прикажи привести Емельку.

Привели самозванца; он был в широком, потертом тулупе, по рукам и ногам в оковах. Вошед, он стал перед Паниным на колени. Лицо у него было круглое, волосы и борода окомелком, черные, всклокоченные; глаза черные, с желтыми белками. На вид ему было лет тридцать пять или сорок *.

— Здоров ли, Емелька? — спросил Петр Иванович.

— Ночи не сплю, все плачу, батюшка, ваше графское сиятельство.

— Надейся на милосердие государыни, — сказал Панин. Ни на какое милосердие Пугачеву рассчитывать не приходилось.

Его увели. Панин «весьма превозносился» тем, что самозванец в руках у него, а не у Державина и не у Потемкина. Для того и разыграна была вся сцена. Державин крепился.

После этого пошли ужинать. Панин не отпустил Державина, но и не пригласил к столу. Тогда-то благоразумие и покинуло «гвардии офицера»: он вспомнил с негодованием, что пред отъездом из Петербурга, находясь при карауле в Зимнем дворце, получал приглашение к столу самой государыни: «то без особого приглашения с прочими штаб-и обер-офицерами осмелился сесть». Ужин начался. Вдруг Панин, окинув взором сидящих, увидел Державина, которого недавно за тем же столом грозился повесить. Сперва он нахмурился, потом заморгал глазами (такая была у него привычка), потом встал и вышел из-за стола, сказав, что забыл отправить курьера к императрице. Державин спокойно отужинал.

На другой день, еще до рассвета, он вновь явился. Его провели в галерею, служившую приемной. Там он прождал несколько часов. Один за другим собрались офицеры. Наконец, Панин вышел. Он был в широком атласном шлафроке, светло-серого цвета и в большом колпаке французского фасона, перевязанном розовыми лентами. Он стал ходить по галерее взад и вперед, не заговаривая ни с кем и не удостоив Державина даже взглядом. Долго Державин ждал, но внешне терпение его покинуло. Он внезапно подошел к Панину, однако «с почтением»:

— Я имел несчастье получить вашего сиятельства не-удовлетворительный ордер; беру смелость объясниться.

Панин все еще шел — Державин взял его за руку и оста-

новил. Панин вытаращил глаза, потом приказал следовать за собой.

В кабинете поднялась буря. Все саратовские вины Державина вновь и вновь ему перечислены. Пока Панин кричал, Державин успел припомнить благие свои намерения. Он выслушал генеральские окрики «с подобострастием» и разом пошел с главных своих козырей: с лести и простодушия:

— Это все правда, ваше сиятельство, — сказал он, — я виноват пылким моим характером, но не ревностною службою. Кто бы стал вас обвинять, что вы, быв в отставке, на покое и из особой любви к отечеству и приверженности к высочайшей службе всемиловитейшей государыни, приняли на себя в столь опасное время предводить войсками против злейших врагов, не щадя своей жизни? Так и я, когда все погибло, забыв себя, внушал в коменданта и во всех долг присяги к обороне города.

Все это «с чувствительностью выговорено было».

Сердце Панина дрогнуло. Значит, этот молодой, пылкий, такой неопытный в жизни, такой прямодушный офицер действительно верил, что он, Панин, пошел предводить войсками из особой любви и приверженности, не щадя жизни и проч.? В словах Державина он увидел себя прекрасным. Слезы ручьем покатались из глаз его — а ведь умный был человек! Он сказал:

— Садись, мой друг, я твой покровитель.

Потом пришли генералы, зашла речь о вчерашней охоте. Панин хвалился, что очень была успешна. Потом, веселый и бодрый, пошел переодеваться, вновь вышел и пригласил всех к обеду. Державину указал место против себя и говорил почти с ним одним, рассказывая все о том же: как до его, Панина, назначения главнокомандующим дворянство московское ничего не делало для защиты отечества, а после назначения — все делало и ничего уже не жалело. После обеда он пошел отдыхать.

У Панина в штабе было как при дворе: в шесть часов генералы и офицеры опять к нему собирались. Так было и в этот вечер. Увидев Державина, полководец опять к нему устремился. Повествовал о семилетней войне, потом о турецкой, а всего более о том, как он взят Бендеры. При этом пустился в нравоучения, говорил непрестанно и на все лады, что молодым людям во всех делах подобает прежде всего почтительность, а потом *практика*, главное — *практика*.

Потом он сел играть в вист с Голицыным, Михельсоном и еще с кем-то. Державин долго смотрел на игру — и вдруг

ему стало скучно. Он забыл мгновенно и все благие свои намерения, и только что выслушанный урок *о практике*. Надобно было ему как можно дольше остаться при Панине, делать вид, что не хочет расстаться с ним, что Потемкина с его секретной комиссией совсем забыл... Вместо того подошел он к графу и доложил, что сейчас едет в Казань к генералу Потемкину, — так не будет ли каких поручений?

Лицо Панина дернулось гневом. Но он отвернулся и холодно сказал:

— Нет.

Державин нажил врага.

* * *

Когда Пугачев брал Казань, державинский дом был разграблен, сама же Фекла Андреевна попала в число тех «пленных», которых башкирцы, подгоняя копытами и нагайками, увели за семь верст от города, в лагерь самозванца. Там поставлены были пленники на колени перед наведенными пушками. Женщины подняли вой — их отпустили. Ни жива, ни мертва вернулась старуха в Казань. Сын, приехав, застал ее в горестях. Деревни Державиных, и казанские, и оренбургские, тоже оказались разорены.

Дома было уныние, в служебных делах — неприятности. Потемкин был неспособен на бурный гнев, подобный панинскому. Но он был обижен: зачем Державин не перехватил Пугачева у Панина? зачем объяснения по саратовским делам представил прямо Панину, а не через секретную комиссию? Впрочем, эти вздорные неудовольствия Державину, вероятно, удалось бы рассеять. Но к ним вскоре прибавилось еще одно — неизгладимое: между генералом и офицером возникло «небольшое любовное соперничество, в котором, казалось, одною прекрасною дамою офицер предпочитал генералу». Потемкин придумал способ избавиться от соперника: приказал опять ехать на Иргиз — искать Филарета, раскольничьего старца, который, по слухам, некогда благословил Пугачева на принятие императорского имени. Делать нечего — стал Державин готовиться к отъезду. Но в суетах, разъезжая по городу в сильный мороз (был уже ноябрь), он простудился и слег.

Он пролежал долго, месяца три. За это время его товарищи по секретной комиссии были отпущены в Москву; на поиски Филарета Панин отправил целые воинские команды; посылка Державина теряла смысл, но Потемкин хотел сорвать злобу: несмотря ни на что, велел ехать.

В конце февраля вновь увидел Державин места знакомые — Малыковку и колонии. Но какая разница! Год назад он приехал сюда любимцем Бибикова — теперь чуть не ссыльным; тогда манили его честолюбивые замыслы — теперь от них ничего не осталось; тогда он был в упоении властью — теперь обречен унижительному бездействию. В Малыковке управляют другие люди. Пугачевщина отшумела. Герой Бибиков умер, как и пройдоха Серебряков. В Москве, на Болотной площади, упала под топором голова Пугачева.

Только в Шафгаузене, у немцев, все, как будто, по-прежнему. Тот же радушный и обходительный крейс-комиссар Вильгельми, у которого иногда Державин гостил, приезжая сюда по делам или просто отдохнуть в свободные дни; та же милая фрау Вильгельми, Елена Карловна, для которой Державин в Малыковке закупал муку (там была дешевле). Впрочем, и перемены чувствуются: понемногу прилежные немцы уже забывают бурные дни пугачевщины. Но Державину здесь всегда рады по-прежнему; здесь берегут его уязвленное самолюбие; здесь он среди друзей; иногда заходит почтенный Карл Вильмсен, простой колонист, но любитель наук и поэзии.

Державин почти все время стал проводить в Шафгаузене.

Год назад он здесь начал оду Екатерине, но оборвал, — бросился на вырубку Яицкого городка (досадное воспоминание!). Потом пораженный известием о смерти Бибикова, он здесь же взялся за другую оду — и тоже не кончил: было не до стихов.

Теперь, на досуге, он их кончает. В оде императрице по-прежнему больше слов, чем мыслей. «На смерть Бибикова» удастся лучше. Державин пишет по всем правилам одической строфы, но странная мысль приходит ему: в знак скорби лишает он оду рифмы. Потом тяжело, точно топором, отрубает стопы; громоздит согласные; ямбический женский стих кончает спондеем. Многое еще не дается, он еще не вполне сознает, что делает, собственные влечения неясны ему, но суровый, глухой, погребальный стих местами звучит уже так, как раньше не звучал он ни у кого. Еще *державинский* стих не найден, но это уже не ломоносовский, и в самой поэзии Державина что-то сдвинулось:

Не показать мое искусство,
Я здесь теперь пишу стихи,

И рифм в печальном слогe нет здесь...
Пуcкай о том и все узнают:
Я сделал мавзолей сим вечный
Из горьких слез моих тебе.

Верстах в семи от колонии, в степи, тянется параллельно Волге цепь песчаных холмов. Речка Вертуба проворно стекает отсюда к Волге. Немцы зовут ее *Wattbach*. Самый большой из холмов всего ближе к Шафгаузену; он носит татарское имя — Читалагай. У подножия залегло болото, поросшее высокой травой вроде камыша. На самой горе, на ее плоском песчаном темени, оберегая колонию от набегов, еще недавно стояли пушки; Державин сам их привез сюда, сам выбрал место. Вот и просторный шанц, построенный четырехугольником; он совсем еще цел...

В мыслях Державина Читалагай связан с книгой, недавно взятой у Вильмсена. На заглавном листе, без имени автора, стоит просто: «*Vermischte Gedichte*»¹. Это — переведенные на немецкий язык стихи Фридриха II. Их французский подлинник вышел тому назад лет пятнадцать, под более многозначительным заголовком: «*Poésies diverses du philosophe de Sans-Souci*»².

Дотоле ни одна книга не поражала Державина так, как эта. Здесь, подле пустынного Читалагая, на пепелище недавних надежд, стоические оды «беспечного философа» отвечают чувствам Державина и помогают ему разобраться в мыслях. В этих стихах Державин находит и объяснение своему настоящему, и суровые, но возвышенные девизы для будущего. Его величество король прусский, насмешник и остролов, может быть, усмехнулся бы, если б увидел восторженный пыл дальнего своего поклонника. Но для Державина эти оды сейчас — евангелие. Кто их автор, он, кажется, еще и не знает. Он выбирает из них четыре и переводит, но с таким жаром, как если бы творил сам. Переводит прозой, потому что боится хоть чем-нибудь погрешить против подлинника.

«*Жизнь есть сон. О Мовтерпий, дражайший Мовтерпий *, как мала есть наша жизнь!.. Лишь только ты родился, как уже рок дня того влечет тебя к разрушающей ноши... Это вы, которые существуете на то, чтоб исчезнуть, — это вы стараетесь о славе?.. Прочь, печали, утехи, и вы, любов-*

¹ «Разные стихотворения» (нем.).

² «Разные стихотворения философа из Сан-Суси» (фр.).

ные восхищения! я вижу нить дней моих уже в руках смерти. Имена, достоинства, чести, власти, вы обманчивы и яко дым. От единого взгляда истины исчезает весь блеск проходящей красоты вашей. Нет на свете ничего надежного, даже и самые наивеличайшие царства суть игральные непостоянства... Терзаемся беспрестанно хотением и теряемся в ничтожестве! Сей есть предел нашей жизни».

Удрученный горестями, Державин учится взирать на жизнь с высоты. Он переводит другие оды, в которых речь идет, как нарочно, о том, что его терзает. Он пострадал от клеветы — и вот ода на клевету: «Я познаю тебя по подлым оборотам лица твоего, варварское порождение зависти!..» Он наживает сильных врагов, потому что ему не по нраву пресмыкаться и льстить, — вот «Ода на ласкательство»: «Оно, приседя непрестанно при подножиях трона, фимиамом щеты окружает оный и упоевает им мужей и царей великих. Личиной учтивости прикрывается пресмыкающаяся подлость лживых его потаканий... Восстаньте из упоения вашего, государи, князи, мудрецы и герои, и победите слабость вашу, владычественные лавры ваши делающую поблеклыми. Мужайтесь, бодрствуйте против ласкателей и разбейте неверное зеркало, сокрывшее пред вами правду»...

Но «Ода на постоянство», «Die Standhaftigkeit», душе его ближе всех. Много в ней применяет он к своей участи — и извлекает высокие правила для будущего: «Во всех наших участках беды с нами: я вижу Галилея в узах, Медицис в заточении и Карла на месте лобном... Здесь похищенное у тебя счастье возжигает в тебе отмщение; тамо неповинное твое сердце прободают стрелы зависти; тут изнуряющая скорбь разливает свои страхи на цветущее твое здравие. Сегодня больна жена, завтра мать, или брат, или смерть верного друга заставляют тебя проливать слезы... Итак, в смущенных днях, противу всех наветов твердость щит... Когда боязливая подлость исчезает без надежды, тогда крепкий дух мужаться должен... Чуждуся я Овидия: печален, грустен, боязлив и даже в самой бедности ползающий льстец своего "тирана не имеет ничего мужественного в сердце своем. Должно ли заключить из его жалоб, что кроме пышных стен Рима нет нигде надежды смертным? Блажен бы он был, когда бы в своем заключении, как Гораций, сказать мог: «Счастье мое со мною!»... Велизария я более чту в его презрении и в нищете, нежели на лоне его благополучия... Сие же опыт совершенной добродетели, когда сердце в жестокостях рока растет и возвышается...» *

В жизни каждого поэта (если только не суждено ему остаться вечным подражателем) бывает минута, когда полусознанием, полуощущением (но безошибочным) он вдруг постигает в себе строй образов, мыслей, чувств, звуков, связанных так, как дотоле они не связывались ни в ком. Его будущая поэзия вдруг посылает ему сигнал. Он угадывает ее — не умом, скорей сердцем. Эта минута неизъяснима и трепетна, как зачатие. Если ее не было — нельзя притворяться, будто она была: поэт или начинается ею, или не начинается вовсе. После нее все дальнейшее — лишь развитие и вынашивание плода (оно требует и ума, и терпения, и любви).

Такая минута посетила Державина весною 1775 года. Начав переводом, Державин перешел к творчеству. Он успел написать лишь две оды — «На знатность» и «На великость». В них есть явные отголоски од фридриховых, но сильнее отголосков — собственный голос Державина. В зеркале, поднесенном рукою Фридриха, Державин впервые увидел свое лицо. Новые, дерзкие мысли, пробудясь, повлекли за собою резкие образы и новые, неслыханные дотоле звуки. Державин впервые нащупал в себе два свойства, два дара, ему присущих — гиперболизм и грубость, и с этого мига, быть может, не сознавая того, что делает, — начал в себе их вынашивать, обрабатывать. Эти две оды — первые, тяжкие камни, которые, в жару вдохновения и в трудовом поте, надрываясь, вскатил он на темя Читалагая — для своего памятника. То срываясь и падая, то достигая совершеннейшей точности, то дико косноязычествуя, Державин карабкается на свой Парнас. Можно сказать — берет его приступом. Сила его родится от гнева и добродетели. Берегитесь теперь, вельможи, — Панины и Потемкины:

Не той здесь пышности одежд,
Царей и кукол что равняет,
Наружным видом от невежд
Что имя знати получает,
Я строю гусли и тимпан;
Не ты, сидящий за кристаллом,
В кивоте, блещущий металлом,
Почтен здесь будешь мной, болван!

На стог поставлен, на позор,
Кумир безумну чернь прельщает;
Но чей в него проникнет взор —
Кроме пустот не ощущает.

Се образ ложные молвы,
Се образ грязи позлащенной!
Внемлите, князи всей вселенной:
Статуи, без достоинств вы!..

Другую оду он начинает темными, но величественными словами, в которых призывает к себе *Великость*: величие духа. Он хочет, чтобы она вдохновила его поэзию, и сам несет ей свои обеты.

Живущая в кругах небес
У Существа существ всех сущих,
Кто свет из вечной тьмы вознес
И твердь воздвиг из бездн борющих,
Дщерь мудрости, душа богов!
На глас моей звенящей лиры
Оставь гремящие эфиры
И стань среди моих стихов!

.

Светила красныя небес,
Теперь ко мне не наклоняйтесь;
Дубравы, птицы, звери, лес,
Теперь на глас мой не собирайтесь:
Для вас высок сей песни тон.
Народы! вас к себе собираю,
Великость вам внушать желаю,
И вы, цари! оставьте трон.

.

Высокий дух чрез все высок,
Всегда он тверд, что ни случится:
На запад, юг, полночь, восток
Готов он в правде ополчиться.
Пускай сам Бог ему грозит,
Хотя в пыли, хоть на престоле,
В благой своей он крепок воле
И в ней по смерти, как холм, стоит.

В таких мыслях он прожил почти три месяца. Внезапно всем офицерам гвардии приказано было явиться в Москву: Екатерина торжествовала мир с Турцией. Со своих высот Державин спустился на землю и опрометью кинулся в Москву. Участь его должна была там решиться. Заветную немецкую книгу он второпях забыл вернуть собственнику. Потом, по дороге, оставил ее в Казани. А через девяносто лет почтенный ученый * купил ее там же на рынке, совсем истрепанную. На заглавном листе, старинным почерком, было выведено: Karl Wilmsen.

Кн. Щербатов, не тот, что временно после смерти Бибикова был главнокомандующим, а другой, герольд-мейстер Сената, известный историческими своими трудами, до такой степени спешил познакомиться с Державиным, что написал свияжскому воеводе Чирикову письмо: «Когда будет проезжать мимо вас некто гвардии офицер Державин, находящийся теперь в вашем краю, то скажите ему от меня, чтоб увиделся со мною в доме моем, когда придет в Москву».

Такое странное приглашение удивило Державина, но и возбудило в нем сильную надежду приобрести покровительство этого высоко стоящего человека. Державин решил побывать у Щербатова непременно.

Посещение, однако же, пришлось отложить. Начальство в Преображенском полку сменилось. Державин был встречен без всякого внимания. Велено было просто числить его при полку, словно вернулся он из отпуска. Это крайне его уязвило. Командовал полком теперь граф Григорий Александрович Потемкин, фаворит. Без покровителей добиться его внимания казалось невысказанно. Державин в тот же день бросился к Голицыну и к другим генералам, которые некогда обещали представить его даже «прямо к высочайшему престолу». Куда там! Теперь усмирители Пугачева и победители турок рвали чины и награды из рук друг у друга. Хлопотать за Державина — того и гляди, что свое упустишь. От него отвернулись. Тут бы и обратиться за помощью к Щербатову.

Но на другой день нарядили Державина в дворцовый караул. Преображенцы были одеты в новую щегольскую форму, по вкусу Потемкина. Выстроились перед дворцом. Сам фельдмаршал граф Петр Александрович Румянцев явился в окне, вместе с Потемкиным, который хотел перед ним похвастаться. Рота должна была проходить повзводно. Державин скомандовал:

— Левый стой, правый заходи!

Вместо блестящего захождения вышло одно замешательство: солдаты не знали, что делать, потому что без Державина введена была новая команда — «вправо заходи». Потемкин рассвирепел и приказал, когда полк выступит на Ходынку в лагерь, нарядить Державина в палочный караул. «Сие наипаче поразило честолюбивую его душу». Давно ли вверено было ему важное поручение? Давно ли через свои сообщения двигал он корпусами? Давно ли хозяйничал в

казначействах, соперничал с губернаторами, наводил ужас и карал смертью? А теперь, без всякого уважения, поставлен в палки, как негодяй.

Внезапно над головой Державина разразилась еще одна буря. Два года тому назад, живя в деревянных покойчиках госпожи Удоловой и водя веселую дружбу с поручиком Масловым, он по приятельству поручился за вертопраха в Дворянском банке. В два года Маслов совсем замотался, бежал в Сибирь и там скрылся. Теперь с Державина требовали весь банковский долг. Сверх того, так как он, не имея собственной недвижимости, не имел права ручаться за Маслова, то его привлекли за подложное ручательство, а денежное взыскание было обращено на имя его матери. Для старухи это был жесточайший удар: все, что она с таким трудом собирала больше двадцати лет, теперь должно было пойти прахом. Добыть нужную сумму из деревенских доходов не было никакой надежды. Правительственные войска, шедшие на выручку Оренбурга, в числе 40 000 подвод, в две недели разорили державинские земли дотла, солдаты съели весь хлеб, забрали солому и сено, уничтожили скот и птицу, пожгли дворы и обобрали крестьян до нитки, отняв одежду и все имущество. За все это с казны причиталось Державиным тысяч двадцать пять, но Голицын, в руках которого находилось дело, насилу-то согласился выдать квитанцию на семь тысяч. Словом, беда шла со всех сторон. Только награда за действия против Пугачева могла бы спасти Державина. Теперь надобно было ее добиваться не из тщеславия (хоть и тщеславие было больно уколото) — но ради пропитания. Вся надежда была на Щербатова. Державин к нему поехал.

Историк принял его наименее приятным образом. Тотчас объяснилось и особое желание князя с ним познакомиться. Вместе с другими бумагами, относящимися к пугачевщине, получил Щербатов от государыни державинские реляции. Историки жадны до документов. Щербатов смекнул, что у Державина должно быть еще немало любопытных бумаг и сведений; рассыпался в любезностях; предлагал даже несколько покоев у себя в доме; не скупился на похвалы.

— Но при всем т о м , — прибавил о н , — вы несчастны. Граф Петр Иванович Панин — страшный ваш гонитель. При мне у императрицы за столом описывал он вас весьма черными красками, называя вас дерзким, коварным и тому подобное.

Теперь Державин окончательно понял, откуда идут на него напасти. Он сказал князю:

— Когда ваше сиятельство столько ко мне милостивы, что откровенно наименовали мне моего недоброхота, толь сильного человека, то покажите мне способы оправдать меня против одного в мыслях моей всемилостивейшей государыни.

— Нет, сударь, — ответил Щербатов, — я не в силах подать вам какой-либо помощи; граф Панин ныне при дворе в великой силе, и я ему противоборствовать никак не могу.

— Что же мне делать? — в отчаянии воскликнул Державин.

— Что вам угодно. Я только вам искренний доброжелатель.

На этом они расстались. Последняя опора рушилась. Приехав на квартиру, Державин захлопнул ставни, сел, задумался, крутые брови его сдвинулись к переносице, пухлые щеки вздулись, углы широкого рта растянулись еще более и поползли к низу, тяжелый нос покраснел... Лейб-гвардии поручик, усмиритель Пугачева, автор стоических од сидел в темноте и плакал.

* * *

Екатерина купила у князя Кантемира подмосковную деревню Черные Грязи (что впоследствии стала селом Царицыном). Здесь, в маленьком домике о шести всего комнатах, уединялась она с Потемкиным. Утром 11 июля граф сидел у себя в уборной; его причесывали. За дверью дежурил камер-лакей. Но вот послышался гневный говор, лакей отлетел в сторону, гвардейский офицер вошел в комнату и подал письмо, в котором его заслуги и бедствия были перечислены. «Вот обстоятельства под командою вашего сиятельства служащего офицера. Для чего я обижен пред ровными мне? Дайте руку помощи и дайте прославление имени вашему. Сиятельнейший граф, милостивый государь, вашего сиятельства всепокорнейший и послушнейший слуга Гавриил Державин». Так заканчивалось письмо.

Прочитав, Потемкин сказал, что доложит государыне. Прошло несколько дней, и Державин узнал, что приказано его награждать, а как — он узнает в Преображение, 6 августа (это был день полкового праздника). 6 августа наступило. Офицеры были приглашены на Черные Грязи к обеду, императрица присутствовала. Державин все ждал, когда будет объявлено об его награждении — да и не до-

ждался. Потерпев еще сколько-то, вновь явился к Потемкину. Но, завидев его, вельможа вскочил с досадой — и вышел вон.

Последние деньги меж тем подходили к концу. Масловский долг висел над душой. Державин со дня на день ждал, что его потянут в суд. Кроме голицынской квитанции на получение семи тысяч, у него не было ничего. Но чтобы получить эти деньги, надо было ехать в Петербург. Державин туда отправился, надеясь кстати похлопотать: нельзя ли добиться каких-нибудь облегчений по масловскому делу?

В Петербурге выяснилось, что единственная для него надежда — попридержать ход дела, покуда придет обещанная награда. Державин стал обивать судейские пороги. Время шло, полученные семь тысяч таяли. За время пугачевщины он совсем обносился и растерял все добро свое. Пришлось обзаводиться платьем, бельем, экипажем. В отчаянии Державин еще раз писал Потемкину — на сей раз ответа не было вовсе.

К середине октября, за уплатою некоторых долгов, осталось всего пятьдесят рублей. Как их употребить? Не видно было другого выхода, как только искать счастья старым способом. Семеновского полка капитан Жедринский держал нечто вроде игорного дома. Державин туда поехал и в первый же вечер выиграл тысяч восемь. Затем, развивая игру, он в несколько дней оказался обладателем целых сорока тысяч. Фортуна ему доплатила то, что не додано было отечеством.

Половина выигрыша тотчас же пошла на покрытие масловского долга. Этот камень, наконец, свалился с души Державина. Однако, будущее не сулило ничего доброго. Державин очутился в обстоятельствах худших, нежели те, от которых некогда кинулся он на усмирение Пугачева. Именья были разорены, госпожи Удоловой с ее уютными покойчиками уж не было, среди полкового начальства друзья сменились недругами.

Время шло. Потемкин успел впасть в немилость, проблистал Завадовский и вновь укрепился Потемкин. Сменялись фавориты и фавориты фаворитов. Двор и полк давно уже вернулись в столицу. Из месяца в месяц, перебиваясь единственно карточной игрой (она была уже не так счастлива, как вначале), Державин жил в полном неведении дальнейшей судьбы своей. Полк ему опротивел. Теперь он хотел немногого: чтобы его выпустили в армию полковником и наградили хотя бы так, как были награждены другие

офицеры из секретной комиссии (заслуги его были, конечно, выше). Надежда то разгоралась, то меркла. Весы справедливости плясали. На их шаткую чашу одно за другим Державин подкидывал письма, прошения, к самой даже императрице, — все было тщетно. Его судьба зависела от Потемкина. Тому было в сущности все равно, он был готов согласиться, но враги Державина его удерживали. Особенно старался некий майор Толстой, с которым Державин поссорился тому назад года три.

Все это тянулось долго и завершилось, наконец, тем, что Державина, прослужившего в гвардии пятнадцать лет, указом 15 февраля 1777 года выпустили не в армию, а в статскую службу, объявив его *неспособным* к военной. Он получил чин коллежского советника и 300 душ в Белоруссии, в Себежском уезде, — ничто по сравнению с наградами, которые были розданы другим офицерам, служившим хуже Державина и сделавшим меньше.

На этом закончилась для него пугачевщина. Как далеко была теперь та пора, когда впервые являлся он к Бибикову, мечтая устроить свою будущность!.. Сражаясь на стороне победителей, Державин вышел из борьбы побежденным.

IV

Это была, пожалуй, самая веселая пора екатерининского царствования. Минувшие войны были победоносны, значение России возрастало, осыпанное милостями дворянство приходило в себя после ужасов пугачевщины, даже в царской семье, казалось, расцветал мир: овдовевший великий князь вступил в новый брак, и вторая супруга на время сблизила его с матерью. Двор и Петербург жили занятою и кипучей жизнью, в которой великолепии мешалось с убожеством, изысканность с грубостью; шестерка лошадей насилу вытаскивала золоченую карету из уличной грязи; фрейлины разыгрывали пасторали на эрмитажных собраниях — случалось, что после того их секли; вельможи собирали картины, бронзу, фарфор, отвешивали друг другу версальские поклоны и обменивались оплеухами; императрица переписывалась с Гриммом — Митрофан Простаков не хотел учиться, хотел жениться; вист, фараон и макао процветали везде — от дворца до лачуги.

Полученные земли Державин заложил в банк; это не обеспечивало его будущности, но, вместе с карточной игрой,

давало возможность существовать пристойно, в ожидании лучшего. Найти службу значило прежде всего найти приятелей. Державин стал возобновлять былые знакомства и искать новых. Служба должна была быть штатская; мундиры вокруг Державина постепенно сменялись бархатными кафтанами.

Трудная молодость сделала его отчасти скрытным и замкнутым; с тем вместе он умел быть приятным. У Алексея Петровича Мельгунова, на Мельгуновском тенистом острове (том, что впоследствии перешел к Елагину, обер-гофмейстеру), на пикниках, среди умной и просвещенной беседы, он был занимателен. Масоны из мельгуновских друзей звали его в свою ложу, но он воздержался. Он был свой человек и на пышных пиршествах кн. Мещерского, с генералом Перфильевым, и среди людей не столь знатных, там, где попросту пенилась старая серебряная кружка, налитая пополам русским и английским пивом (в пиво сыпались гренки и лимонная корка). Женщины, чаще всего — доступные участницы холостых пирушек, находили в нем предприимчивого и веселого поклонника. Между возлюбленными, как между винами, не имел он особых пристрастий: любил всех равно:

Вот красно-розово вино:
За здравье выпьем жен румяных.
Как сердцу сладостно оно
Нам с поцелуем уст багряных!
Ты тож, румяна, хороша:
Так поцелуй меня, душа!

Вот черно-тинтово вино:
За здравье выпьем чернобровых.
Как сердцу сладостно оно
Нам с поцелуем уст лиловых!
Ты тож, смуглянка, хороша:
Так поцелуй меня, душа!

Вот золото-кипрское вино:
За здравье выпьем светловласых.
Как сердцу сладостно оно
Нам с поцелуем уст прекрасных!
Ты тож, белянка, хороша:
Так поцелуй меня, душа!..

Братья Окуневы, у которых пять лет тому назад, выйдя в прапорщики, приобрел он в долг первую свою карету, теперь ввели его в дом князя Вяземского. Это было знакомство особой важности: князь Александр Алексеевич был

Андреевский кавалер и генерал-прокурор Сената, т. е. прилизительно, совмещал должности министра финансов, внутренних дел и юстиции. Возвышением он обязан был своей глупости: поручая ему ведение важных дел, Екатерина могла быть спокойна, что никому не придет в голову приписывать Вяземскому ее собственные заслуги. Впрочем, рекомендованный государыне еще Орловыми, Вяземский умел быть отличным служакой; угождая государыне, не забывал и себя, т. е. воровал, но в меру; был неразборчив в средствах и деятелен, потому что завистлив. Он жил на Малой Садовой в собственном доме, где кстати помещалась и тайная канцелярия; иногда он лично присутствовал при допросах. Никто его не любил, но все у него бывали: как не бывать у генерал-прокурора? Ему было пятьдесят лет. Жена его, урожденная княжна Трубецкая, была значительно моложе своего супруга и старалась придать дому некоторую приятность.

Ища покровительства Вяземских, Державин постановил их очаровать и скоро того достиг. Он стал проводить у них целые дни, сделался своим человеком; иногда читал князю вслух, «большую частью романы, за которыми нередко и тещ, и слушатель дремали»: Вяземский — потому, что именно так и смотрел на литературу, как на снотворное средство, а Державин — по врожденной сонливости (при всей кипучести своего характера он обладал странным свойством: порою, даже среди оживленной беседы, сон внезапно его охватывал). Вечерами играли в вист; эта игра не давалась Державину; к счастью, в то время, как другие вельможи игравали на бриллианты, черпая их из шкатулки ложкою, у Вяземских игра шла по самой маленькой (хозяин дома был скуп). Что касается княгини, то Державин порою сочинял от ее имени стихи, обращенные к супругу, «хотя насчет ее страсти и привязанности к нему не весьма справедливые, ибо они знали модное искусство давать друг другу свободу». Княгиня была к Державину столь благосклонна, что даже хотела выдать за него свою двоюродную сестру, княжну Урусову, славную стихотворицу того времени, — но Державин отшутился. (Княжна так и осталась старою девою.)

После всего этого не покажется удивительно, что лето 1777 года Державин провел в имении Вяземских, под Петербургом. Наконец, в августе месяце открылась в Сенате вакансия, и Державин назначен был экзекутором 1-го департамента (государственных доходов).

Должность была довольно видная, но требовала немалых трудов. Отношения с сослуживцами тотчас сложились отличные: главным начальником был кн. Вяземский, а ближайшим и непосредственным — обер-прокурор 1-го департамента Резанов, с всею семьей которого Державин давно был в дружеских отношениях.

Точно так же он и раньше знаком был, а теперь сошелся короче с обер-секретарем Александром Васильевичем Храповицким. Это был толстый, веселый человек, не лишенный лукавства, любивший наблюдать молча, но умевший порою сказать слово острое и проницательное. В юности подавал он поэтически надежды, но лиру почти забросил. Однако, усердно вписывал в особую книгу вольные стихи, написанные другими. Вообще любил собирать документы, записки, письма, вел дневники. В нем дремал историк.

Козодавлев, Осип Петрович, такой же экзекутор, как и Державин, но во 2-м департаменте, был умом куда проще; зато в свое время учился в Лейпцигском университете, переводил с немецкого и сам баловался стихами (впрочем — кто ими не баловался?). Очень был юркий и обязательный человек. Вскоре после начала их знакомства, 30 августа, в день Александра Невского, Державин был приглашен к Козодавлеву смотреть из окна крестный ход. Были и другие гости, среди которых одна девица особенно привлекала внимание. Было ей лет семнадцать. Черные, как смоль, волосы, острый, с легкой горбинкою нос, из-под черных бровей — огненные глаза на несколько бледном, словно не русском, слегка бронзовато-оливковом лице, — все изумило Державина. Она была с матерью. Державин осведомился о фамилии. *Бастидоновы* был ответ. Державин уехал. Смуглая красавица не выходила у него из памяти. Зимой он встретил ее в театре, — и вновь она поразила его.

* * *

23 февраля, на масляной неделе в пятницу, младший из братьев Окуневых, быв на конском бегу, из-за чего-то поссорился с Храповицким. Дошло до того, что они ударили друг друга хлыстиками и порешили быть поединку. Храповицкий объяснил своим секундантом младшего сенатского секретаря Александра Семеновича Хвостова. (Хвостов тоже писал стихи, и двадцатилетний братец его двоюродный, Дмитрий Иванович, тоже писал, да так плохо, что уж тогда смеялись). Окунев же прискакал к Державину, в свою очередь прося быть секундантом. Державину эта просьба не

улыбалась: он боялся испортить отношения с Храповицким. Как быть? Он дал Окуневу согласие, но при условии, что наперед посоветуется с Резановым: если Резанов не посмотрит косо — Державин будет секундантом, в противном же случае вместо себя приведет Гасвицкого, того самого офицера, которого некогда в Москве спас от шулеров. В согласии Гасвицкого он не сомневался.

На том и порешили. Державин поехал к Резанову, но не застал дома: сказали, что он на Васильевском острове, у герольдмейстера Тредьяковского на блинах. (Это был Лев Васильевич Тредьяковский, сын покойного поэта). Делать нечего, отправился Державин на Васильевский остров. Наступил уже вечер, обед кончился, гости разъезжались. Запорошенный снегом, Державин вбежал в переднюю, — там, возле матери, в ожидании своей кареты стояла *она!*

Встреча была мгновенна. Через минуту красавицы уже не было, но после того с Резановым говорил Державин торопливо и бестолково — то о дуэли, то о девице Бастидовой. Вдруг объявил, что готов жениться. Резанов смеялся, не понимая, шутит он или говорит правду. От секунданства советовал по возможности уклониться, напомнив, что Храповицкий — любимец Вяземского.

Тогда Державин поехал звать Гасвицкого, но и того не застал. Все еще думая о черноокой девице, оставил записку; изложил дело, сообщил, что дуэль состоится завтра, в таком-то часу, в лесу под Екатерингофом, просил приехать. Потом, наконец, вернулся домой, велел подать свечи, припомнил весь этот странный и суетливый день и уснул влюбленным бесповоротно.

В субботу поутру, не имея ответа от Гасвицкого, пришлось Державину ехать в Екатерингоф. Там все уже были в сборе. Направились к лесу. По дороге Державин старался примирить противников, и это ему легко удалось, ибо от-важными забияками они не были. Пока добрались до назначенного места, враги уже целовались. Хвостов, однако, сказал, что должно бы им хоть для вида поцарапаться, чтобы не было стыдно. Державин возразил: если противники помирились без боя, никакого в том слова нет. Хвостов начал спорить. Державин вспылил, и слово за слово, дошло до того, что горячие секунданты схватились за оружие. По пояс в снегу, они уже обнажили шпаги и стали в позитурку. В самое это мгновение, весь красный от спешки и оттого, что был прямо из бани, явился Гасвицкий. Бросившись между Державиным и Хвостовым, он пресек битву. Тогда

всей компанией отправились в трактир, выпили кто чаю, кто пуншу и отпраздновали общее примирение.

Меж тем красавица все представлялась воображению Державина. Едучи домой с Гасвицким, он ему открылся. На другой день, в прощенное воскресенье, был при дворе большой маскарад. Влюбленный явился на нем вместе с наперсником, оба в масках. Гасвицкому предстояло взглянуть на девицу беспристрастными дружескими глазами. Державин тотчас увидел ее в толпе и громко воскликнул:

— Вот она!

И мать, и дочь обернулись и поглядели пристально. Во весь маскарад, следуя по пятам за ними, кавалеры наши старались заметить поведение молодой красавицы, с кем и как она обращается. «Увидели знакомство степенное и поступь девушки во всяком случае скромную, так что при малейшем пристальном на нее незнакомом взгляде лицо ее покрывалось милою, розовою стыдливостью. Вздохи уже вырывались из груди улыбавшегося эскутера». Наперсник вполне им сочувствовал. Тут же примерно подсчитали державинские достоинства, и решено было свататься.

Восторгов своих Державин не скрыл и от прочих друзей, бывших на маскараде. Так что на следующий день, в чистый понедельник, за обедом у Вяземских, над Державиным стали уже подтрунивать за вчерашние маскарадные шашни. Вяземский спросил:

— Кто такая красавица, которая столь скоропостижно пленила?

Державин назвал фамилию. Это не понравилось управляющему ассигнационным банком действительному статскому советнику Кирилову, который присутствовал на обеде. Когда встали из-за стола, он отвел Державина в сторону:

— Слушай, братец, нехорошо шутить насчет честного семейства. Сей дом мне коротко знаком: покойный отец девушки, о коей речь идет, мне был друг, да и мать ее тоже мне приятельница; то шутить при мне насчет сей девицы я тебе не позволю.

— Да я не шучу, я поистине смертельно влюблен.

— Когда так, что ты хочешь делать?

— Искать знакомства и свататься.

— Я тебе могу сим служить.

Положено было завтра же ввечеру, будто ненарочно, захватить в дом Бастидоновой.

Великий князь Павел Петрович родился 20 сентября 1754 года. Тотчас после того, как духовником их высочеств была прочтена очистительная молитва, императрица Елизавета Петровна явилась в спальню великой княгини и забрала младенца к себе. С этой минуты мать почти не видала его и всю душою раз навсегда возненавидела мамушек и нянюшек, попечению коих он был вручен. Первое место среди этих женщин естественно занимала кормилица, по имени Матрена Дмитриевна. Ее тогдашняя фамилия до нас не сохранилась. Вскоре, впрочем, она овдовела, а в 1757 году вступила во второй брак. Избранником ее сердца был Яков Бенедикт Бастидон, родом португалец, в Россию приехавший из Голштинии: Петр III, тогда еще великий князь, привез его в качестве своего камердинера. От Бастидона — в России звали его Бастидоновым — у Матрены Дмитриевны было четверо детей: сын и три дочери. Из них семнадцатилетняя Екатерина Яковлевна и была та самая, что покорила сердце Державина.

К тому времени, когда произошла эта знаменательная встреча, самого Якова Бастидона уже не было на свете. Матрена Дмитриевна овдовела вторично. Была она женщина многоопытная, пронырливая и жадная, но обстоятельства ее выходили довольно трудны. Детям она старалась дать пристойное воспитание, дочерей надо было одеть и вывезти, а покойный муж больших средств не оставил. Давно миновали счастливые времена, когда сама Елизавета Петровна наряжала Матрену Дмитриевну к венцу, когда на свадьбе гремела придворная музыка, и государыня изволила танцевать. О милостях нынешней императрицы нечего было думать: Екатерина, как сказано, терпеть не могла Бастидоницу. От великого князя Павла Петровича помощи тоже не было: выкормыш Матрены Дмитриевны сам постоянно нуждался в деньгах. Поэтому семья жила по-мещански, скромно, почти бедно, в собственном, но небольшом доме у церкви Вознесения.

27 февраля, во вторник на первой неделе великого поста, вечером, подъехали к этому дому Кирилов с Державиным. Гостей в такой день не ждали. Босая девка с сальной свечою в медном подсвечнике встретила их в сенях. Кирилов объявил хозяйкам, что проезжая мимо с приятелем, захотелось ему выпить чаю. Тут он представил Державина. После обыкновенных учтивостей сели. Та же босая девка подала

чай. Часа два провели в общежительном разговоре. Сестры красавицы хохотали и говорили много, пускаясь в хитрые пересуды, чтобы выказать острогу свою и умение жить в большом свете. Катенька же сидела тихо, вязала чулок и вмешивалась в беседу с великою скромностию, рассудительно и пристойно. Влюбленный не только «жадными глазами пожирал все приятности, его обворожившие», но и старался приметить все — от разговора до утвари. Заключил, наконец, что люди небогатые, но честные, благочестивы нравом и опрятны в одежде. Откланиваясь, новый знакомый просил позволения и впредь быть к ним въезжу.

На другой день Кирилов явился к Матрене Дмитриевне и от имени Державина сделал настоятельное предложение. Мать отвечала, что сразу не может решиться и просила дать несколько дней сроку, чтоб разведать о женихе. Но Державину, разумеется, не терпелось. В Сенате служил еще один знакомый Бастидоновых, некто Яворский. Державин просил и его подкрепить сделанное предложение. Яворский пообещал.

Меж тем, влюбленный стал часто ездить пред домом любезной особы. Это входило в правила ухаживания. Катенька, со своей стороны, полюбила сиживать у окна. Вскоре после беседы с Яворским Державин выследил такой час, когда матери дома не было, и решился заехать. Хотелось ему узнать мысли самой невесты. Вошел, он по обыкновению поцеловал руку и сел рядом с Катенькой. Затем просто, без обиняков, спросил, известна ли она об искании его.

— Матушка сказывала, — был ответ.

— Что ж вы думаете?

— От нее зависит.

— Но если б от вас, могу ли я надеяться?

— Вы мне не противны, — сказала красавица вполголоса и покраснелась.

Тогда он бросился на колени и стал целовать ее руки. Тут, как в доброй старой комедии, открылась дверь, и вошел Яворский.

— Ба, ба! и без меня дело обошлось! — вскричал он. — Где матушка?

— Она поехала разведать о Гавриле Романыче.

— О чем разведывать? я его знаю, да и вы, как вижу, решились в его пользу. То, кажется, дело и сделано.

Вскоре вернулась Матрена Дмитриевна. Среди объятий, слез, поцелуев Державин с Катенькой были помолвлены. Госпожа Бастидонова все-таки объявила, что для оконча-

тельного сговора нужно соизволение великого князя, который, как молочный брат Катеньки, почитался ее покровителем. Само собой, дело шло не столько о соизволении, сколько о помощи в рассуждении приданого. Через несколько дней Державин с будущей тещей предстали перед наследником. Чувствительный и уязвленный Павел Петрович сердечно радовался каждому знаку внимания. Он принял гостей в кабинете, говорил с ними долго, обласкал чрезвычайно и отпустил, обещав хорошее приданое, «как скоро в силах будет». В силах, однако ж, он так и не оказался.

Свадьбу сыграли 18 апреля 1778 года. За два дня перед тем из Казани пущено было такое письмо:

«Государыня моя, Екатерина Яковлевна! Любезное письмо ваше от 14 марта я с немалым удовольствием приняла, и когда уже по благословению Божию судьба соединяет вас в супружество моему сыну, сие есть мое обрадование, и взаимно обнадеживаю вас моею к вам усердностью и материнской любви горячностью, и желаю, чтобы я была счастлива в старости моей вашим почтением и любовью, кою я уже и предвижу, от чего зависит мое благополучие и утешение, и в знак к вам моей любви при сем посылаю гостинец, хотя не в драгих вещах состоящий, но оно от моего искреннего усердия; прими, моя любезная, и будь благословенна Божиею милостию и уверьтесь, что я вам во всю мою жизнь усердная.

Матушке вашей, милостивой государыне моей, свидетельствуйте мое почитание и прошу о принятии меня в ее благосклонность, а я с моей стороны оно сохранить конечно не премину, а затем пребываю охотная вам во услугах
Фекла Державина».

* * *

Державин женился стремительно, но вовсе не очертя голову. Впервые переступив порог бастионовского дома (в тот памятный вечер, когда приехал туда с Кириловым), он сразу стал зорко всматриваться в невесту — и если бы не нашел того, что ему было нужно, не стал бы свататься, отступился бы. В числе его прочных и простых взглядов был и взгляд на семейную жизнь. Он хотел быть в доме главою, — тем более женясь тридцати пяти лет на девушке, которая была ровно вдвое моложе его. Будучи сам порывист и неуступчив (что почитал в себе отчасти даже достоинствами), от жены он требовал вовсе иных добродетелей: «тихость и смирение суть первые достоинства женщин, и они одни те истинные превосходства, которые все их пре-

лести и самое непорочнейшее их поведение украшают. Без них страстнейшая любовь — вздор».

Тихость и смирение он подметил в Екатерине Яковлевне при первой беседе, а угадал, пожалуй, и раньше — при первом на нее взгляде. И в самом деле, то были ее первейшие добродетели. Если он собирался быть с нею строгим, то оказалось тотчас же, что это не требуется. Она была перед мужем тиха и смиренна, и это давалось ей безо всякой борьбы, без самопожертвования: во-первых, потому, что так она понимала свой долг, во-вторых, потому, что мужа считала умнее себя и во всех отношениях превосходнее, а, в-третьих, и это, конечно, главное — потому, что его любила. Выходила за него, может быть, без особой страсти, но потом словно влюблялась все горячее и крепче. Ее сердечная преданность была безгранична, верность — мало сказать непоколебима: просто она даже никогда не подвергалась и не могла подвергнуться никакому испытанию.

При всей кротости Екатерина Яковлевна не была однако ж безвольна. Благожелательная ко всем, она была уступчива лишь до известного предела и в случае надобности могла постоять за себя, а в особенности за мужа. Была добра без навязчивости, почти незаметно, ласкова — без слащавости, приветлива — без унижения. Словом, самые чувства и добродетели, сильные, но подчиненные внутренней гармонии, были развиты в ней так же стройно, как она была стройна внешне. Самому Державину лишь постепенно открылась ее *пленительность*. И он перед нею не размякал, но какая же могла быть речь о суровости или строгости, если его любовь изо дня в день, а после — из году в год только росла и крепла? В то время поэты любили давать прозвания своим возлюбленным. Темиры, Дафны, Лилеты, Хлои, как чужеземные птицы, налетели в поэзию. Державин своей жене дал русское, задушевное имя *Плениры*.

Вскоре после свадьбы он взял четырехмесячный отпуск и повез жену в Казань, показать ее своей матери. Екатерина Яковлевна без усилий пленила и свекровь, и все казанское общество. Когда вернулись Державины в Петербург, директор казанской гимназии Каниц писал: «Noch Lange werden die vernünftigen unter den Casanschen Schönönen daran denken, dass die junge, verchrungswerte Catharina Jakowna sich eine Zeitlang hier aufgehalten habe»¹.

¹ «Еще долго разумные из казанских красавиц будут помнить пребывание между ними молодой уважения достойной Катерины Яковлевны» (нем.).

Денежные дела улучшались. Имение Маслова, пущенное с публичного торга, почти целиком досталось Державину как главному кредитору. Уплоченные из выигрыша двадцать тысяч вернулись к нему в виде трехсот душ в Рязанской губернии. Заключив мировую с одним из казанских соседей, он получил еще восемьдесят. Когда правительство стало безденежно раздавать новоприобретенные днепровские земли, Державин раздобыл себе в Херсонской губ. 6000 десятин со ста тридцатью душами запорожцев. Таким образом, вместе с пожалованными при выходе из полка тремястами, а также с материнскими и отцовскими, всего очутилось за Державиным больше тысячи душ. Это был уже известный достаток. Сюда надо прибавить сенатское жалованье. Державины могли жить «приличным домом».

Они поселились на Сенной площади. Счастливый Державин был чрезвычайно радушным хозяином. Поэзия гостеприимства была ему введена. Хвостов, Храповицкий, Резановы, Козодавлев, Окуневы, порою — сам генерал-прокурор с супругою стали его гостями. Но сердце больше лежало к нескольким новым знакомым.

С молодым стихотворцем Василием Васильевичем Капнистом первая встреча произошла еще в полку. Теперь знакомство перешло в дружбу. Родом малоросс (он не только говорил, но и писал с малороссийским выговором: Катеньку звал Катерына Яковлевна), Капнист был отчасти увальень, был порою хмур и склонен к обидчивости, но при всем том — человек добрейший и великий семьянин. Впрочем, женат он был лишь недавно.

Две молодые четы коротко сблизились, и это повело к тому, что вскоре вокруг Державиных образовался целый кружок. Дело в том, что у Александры Алексеевны Капнист (урожденной Дьяковой, дочери сенатского обер-прокурора) была сестра, Марья Алексеевна, девушка очень милая и собой преизрядная. Два друга Капнистовых были в нее влюблены (надо ли прибавлять, что оба принадлежали к числу стихотворцев?).

Первого звали Львов, Николай Александрович. Судьба была к нему благосклонна. Приятный лицом, состоятельный, имевший очень большие связи, хорошо образованный, был он зараз поэт, музыкант, живописец и архитектор. Ничего вполне замечательного не довелось ему создать ни в поэзии, ни в живописи, ни в архитектуре, ни в музыке. Но всюду он был умным и тонким ценителем. Не без приятного легкомыслия он одновременно переводил Анакреона и

строил церкви. Стихи его были не глубоки, но забавны, веселы, бодры, как сам он был всегда легок, весел и бодр. Много он суетился, любил хлопотать за приятелей, покровительствовал, шумел и блистал. Впрочем, делал все это со вкусом и не без тонкости. Был чувствителен. Маша Дьякова отвечала на его чувства нежной взаимностью, но отец ее почему-то был против этого брака.

Другой поклонник был сын обрусевшего немца Иван Иванович Хемницер. Он ничем не походил на Львова. Был настроен философически, сдержан, задумчив,— отчасти потому, может быть, что уж очень был нехорош собою, даже до безобразия. Как раз незадолго до женитьбы Державина вернулся он из заграничной поездки, влюбился в Машу Дьякову и стал самым прискорбным образом за нею ухаживать. Притворялся щеголем, петиметром, густо пудрил уродское лицо свое и сажал на него мушки. Любви не скрывал, даже посвятил Машеньке первую книгу своих сказок и басен, но все было напрасно. Ни Маша, ни счастливый соперник над Хемницером не смеялись (по крайней мере при нем), к чувствам его относились бережно, Львов, пожалуй, даже особенно был с ним л а с к о в , — но бедный Хемницер еще не знал самого горького обстоятельства: Маша Дьякова жила у отца, значилась в девушках, но была уже тайно повенчана с Львовым.

Семеро друзей сходились часто. Три прелестные женщины и четыре поэта связаны были любовью, дружбой, беседами об искусствах. Екатерина Яковлевна рисовала силуэты или занималась рукоделием. Львов руководил ее искусными вышиваниями. Иногда посещали Львова на его даче, близ Невского монастыря, на Охте. Там, в память прочного союза, каждый посадил по молодому вязу или по сосенке. Порою мелькала среди этого общества красивая, чернокудрая, не по летам высокая девочка. Это была третья из сестер Дьяковых — Даша. Впрочем, ей было всего лет одиннадцать.

* * *

В 1777 году умер Сумароков. Теперь на вершинах российского Парнаса гремели действительный статский советник Херасков и кабинетный переводчик Василий Петров, семинарист, имевший честь слыть «карманным ее величества стихотворцем» *, каковым прозвищем он весьма гордился. Оба, однако ж, были значительно старше Державина: их слава началась еще при Ломоносове. Но и ближайшие свер-

стники Державина не оставались в тени. Княжнин родился в 1742 г., Богданович в 1743, Фонвизин в 1744. От каждого из них Державин по возрасту разнился не годами, а месяцами. Но Княжнин был известен уже «Дидоной», Богданович написал «Душеньку» и пребывал «на розах», Фонвизин прославился «Бригадиром», путешествовал за границей и дружил с самим Никитою Паниным. Рядом с ними Державин был просто никто.

Два стихотворения, напечатанные им перед самой пугачевщиной *, справедливо прошли незамеченными. После пугачевщины выдал он «Оды, переведенные и сочиненные при горе Читалагае». Они были замечены только среди поэтической молодежи. Будучи летами гораздо старше, Державин оказался литературным сверстником Капниста и Львова.

Он смиренно склонялся перед авторитетами; они с авторитетами готовы были бороться. Но, ища новизны и даже отчасти чуя к ней верный путь, сами они оставались поэтами заурядными. Напротив того, Державин, стремясь подражать, оказывался произвольно оригинален.

Его познания были слишком невелики. Он пополнял их жадно, но беспорядочно. С того дня, как он вышел из гимназии, учиться ему было некогда; к тому же он не умел учиться. «Читалагайские оды» были чудесной победой гения над безграмотностью. Свой собственный стих Державин обрел, имея весьма спутанные понятия о стихах вообще, не зная простейших правил, которые для Капниста и Львова были детскою азбукой. Державин делал ошибки в размере, в рифме, в цезуре, даже в языке: самые неотесанные провинциализмы уживались у него рядом с явными германизмами (немецкий язык был для него языком поэзии).

Его неопытность была очевидна Капнисту и Львову, но они, может быть, почуяли, что Державин превосходит их дарованием. В общем же почитали его себе ровней, видели в нем возможного соратника и старались просветить в духе новых веяний. Эти новые веяния были не слишком ясны им самим, но они зачитывались Горацием и находили великие откровения в теории Батте. Теперь мы можем сказать, что то были первые, остро переживаемые, но смутно осознанные влечения к реализму, которым силою вещей пора было зародиться в русской поэзии. Этим влечениям предстояла долгая и славная жизнь, но тогда, при первом своем зарождении, они выражались в попытках заменить условности ломоно-

совской школы новыми условностями, представлявшими, однако же, некий шаг вперед.

Впоследствии Державину казалось, будто именно в это время, под влиянием Львова, Капниста и Хемницера, в его поэзии совершился глубокий перелом. В действительности такого перелома не было. Учителя неопытные и сами себе не вполне уяснившие сущность своего учения, Львов и Капнист не столько внушили Державину новые поэтические идеи, сколько попросту исправляли его просодические и стилистические ошибки, не умея, однако, дать в руки ученику верные способы избежать таких же ошибок в будущем. Особенно тут старался Львов, чинивший державинские стихи с той же дружеской хлопотливостью, с какой он устранивал служебные дела Хемницера и Капниста.

В глубине же державинской поэзии происходило медленное и закономерное развитие. Действительно, оно кое в чем совпадало с чаяниями Капниста и Львова: тут чутье их не обмануло, Державин был их естественным соратником. Но это развитие протекало самостоятельнее, чем казалось самому Державину. После Читалагайских од, написанных до литературной встречи с Капнистом и Львовым, следующий важный этап его поэзии составили стихи на смерть Мещерского. Но как раз они-то и связаны всего непосредственней с теми же Читалагайскими одами.

Едва увидел я сей свет,
Уже зубами Смерть скрежет,
Как молнией, косою блещет,
И дни мои, как злак, сечет.
Ничто от роковых когтей,
Никая тварь не убегает:
Монарх и узник — снедь червей,
Гробницы злость стихий снедает;
Зияет Время славу стерть:
Как в море льются быстры воды,
Так в вечность льются дни и годы;
Глодает царства алчна Смерть.
Скользим мы бездны на краю,
В которую стремглав свалимся;
Приемлем с жизнью смерть свою;
На то, чтоб умереть, родимся;
Без жалости все Смерть разит:
И звезды ею сокрушатся,
И солнцы ею потушатся,
И всем мирам она грозит.

• • • • •

Смерть, трепет естества и страх!
Мы — гордость, с бедностью совместна:
Сегодня бог, а завтра прах;
Сегодня льстит надежда лестна,
А завтра — где ты, человек?
Едва часы протечь успели,
Хаоса в бездну улетели,
И весь, как сон, прошел твой век...

Где только не искали источников, из которых почерпнуты, будто бы, отдельные частности и сама мысль этих стихов! И у Горация, и у Петрова, и в Библии... Не обратили внимания лишь на то, что и мысль, и все замеченные параллельные места (и еще ряд незамеченных) имеются гораздо ближе: в той из Читалагайских од, которая переведена из Фридриха и называется «Жизнь есть сон»: «О Мовтерпий, дражайший Мовтерпий, как мала есть наша жизнь! Лишь только ты родился, уже рок того дня влечет тебя к разрушающей ночи...» Много мыслей и образов перенесено из оды Фридриха в оду на смерть Мещерского, — вплоть до знаменитого обращения к Перфильеву:

Сей день иль завтра умереть,
Перфильев! должно нам конечно, —

наваянного обращением Фридриха к Мовтерпию¹.

Между Читалагайскими одами и «Одой на смерть кн. Мещерского» нет скачка; есть лишь огромное поэтическое развитие, которое становится особенно заметно именно потому, что так очевидна связь между ними. В стихах, родственных стиху Читалагайских од, но несравненно более совершенных, Державин говорит о владычестве смерти. В этом следует он за Фридрихом, но превосходит его. Державинская ода короче и сильнее. В ней каждое слово бьет прямо в цель. Такой лапидарности и точности Державин, быть может, не достигал уже никогда впоследствии. Уже

¹ Который есть не кто иной как французский ученый Мопертюи. Эта забавная ошибка произошла от необразованности и торопливости Державина. Французское Maupertuis он прочел на латинский лад да еще по рассеянности переставил буквы: получился Maupertius, превратившийся по-русски в Мовтерпия. Этому легендарному лицу суждено было на многие годы стать спутником самых мрачных раздумий Державина. (Здесь и далее все примечания, кроме переводов иноязычных текстов, принадлежат автору. — *Ред.*)

самая постановка темы замечательна. Державин не рассуждает, как Фридрих, но развертывает свою тему на конкретном примере, который, однако же, избран с таким расчетом, чтобы ода не оказалась слишком прикреплена к случаю.

Мещерский не был человеком выдающимся. В его лице Державин не оплакивает ни героя, ни прерванного поприща, ни кем-либо понесенной утраты. Мещерский — просто богач, «сын роскоши, прохлад и нег», ничего больше. Чем чувственной и обильней житейские блага, от коих его похищает смерть, тем разительней выступает предмет всей оды. Картина еще усилена внезапностью смерти. «Где стол был яств, там гроб стоит»: невозможно сказать общее и в то же время конкретнее; короче — и в то же время сильнее.

Державин не был другом Мещерского, был просто знакомым. Ходил слух, будто во времена пугачевщины он вешал людей «более из поэтического любопытства, нежели из настоящей необходимости». Это неверно. Но верно то, что с самой читалагайской поры размышления о смерти стали для него притягательны. Он охотно им предавался — среди счастья и довольства в особенности. Есть некое поэтическое сладострастие в том, как здоровый, благополучный, окруженный друзьями, любимый и любящий Державин созерцает смерть Мещерского и по поводу нее философствует. Четыре года он таил и вынашивал эти мрачные образы, выжидая лишь последнего толчка, подходящего случая, чтобы придать им форму и с творческим наслаждением выбросил из себя. Таким случаем была смерть Мещерского. Резкие жизненные контрасты прельщали Державина так же, как резкие столкновения слов и образов. Эти стихи о скоротечности жизни и ложности счастья писал он как раз в те дни, когда твердо верил в свое счастливое будущее. Это верование прорвалось наружу: недаром в одной из заключительных строф он сказал о самом себе: «Зовет, я слышу, славы шум». То было первое из числа пророчеств, которых впоследствии он находил много в своих стихах и которыми столь гордился.

* * *

Тогда все поэты служили — звание писателя не существовало. Общественное значение литературы уже признавалось, но на занятие литературой смотрели, как на частное дело, а не общественное. Что касается Державина, то в его понятиях поэзия и служба были связаны особенным образом.

Он, конечно, не думал, что чин или орден могут прибавить достоинства его стихам: равным образом не смотрел он и на стихи как на способ для добывания орденов и чинов; это пошлое представление пора забыть. Дело обстояло иначе, гораздо серьезнее и достойнее. К началу восьмидесятих годов, когда Державин достиг довольно заметного положения в службе и стал выдвигаться в литературе, поэзия и служба сделались для него как бы двумя поприщами единого гражданского подвига.

Поездка по Волге, предпринятая Екатериной в 1767 году, подтвердила ее неутешительные мысли о внутреннем положении России. Случаю было угодно, чтобы эти печальные наблюдения были сделаны в тех самых местах, где прошло горькое детство Державина и невеселая его юность. Угнетение, произвол, бесправье, бессудье — вот что увидела государыня во глубине страны. То, что ей было показано лишь издали и отчасти, Державину было давно ведомо безо всяких прикрас по личному опыту и по опыту его близких. Врожденная бедность, несмотря на дворянское звание, рано приблизила его к простому народу, и память об этой близости никогда в нем не угасала: жила в воспоминаниях об избитом отце, о челобитчице-матери, плачущей у приказных дверей, о собственном сиротстве, о грубостях и обидах солдатчины; жила эта память и в складе его ума, отчасти мужицкого, и в чертах житейского обихода, и в его отношении к собственным крепостным, и, наконец, — в самом языке его.

На усмирение пугачевщины Державин отправился по карьерным соображениям; он и усмирять ее со всеусердием — по тем же соображениям, и по долгу присяги, и потому, что Емельян Пугачев был в его глазах жестоким и грязным обманщиком. Но вот что весьма замечательно: не в личности Пугачева, конечно, но в пугачевщине, как движении народном, он очень скоро почувствовал если не правду, то все же логику. Понял, что возмущение имеет свои причины и оправдания. След этих раздумий — в его письме к казанскому губернатору Бранту от 4 июня 1774 г.: «Доложить вашему высокопревосходительству смею: надлежит искоренить взятки. Говорить о истреблении заразы сей потому я за должное себе поставляю, что различие оной наиболее всего, по моим мыслям, пособствует злу, терзающему наше отечество». Но это лишь след, лишь то, что Державин по своему положению мог сказать к слову и в официальной бумаге. Мысли его шли дальше. Это видно из того отноше-

ния, которое в пору пугачевщины стало у него складываться к самодержавной власти и к личности самодержца.

Уже в ранних (очень слабых) стихах Державина, посвященных Екатерине, находим многословные рассуждения о ее заслугах и общественных добродетелях. Однако ж, автор нигде не говорит о том, что эти заслуги суть основание и оправдание ее власти. Державину с малых лет была внушена идея о святости самодержавия, о его происхождении свыше. В глазах молодого Державина помазанник прав и велик уже в силу своего помазания. (Разумеется, очень хорошо, если при том имеются за ним и заслуги.)

После пугачевщины у него от этих воззрений ничего не осталось. Насколько повлияла тут пугачевщина, решить невозможно, у нас нет прямых данных. Но в самом факте сомнения быть не может: уже в пору писания Читалагайских од Державин так или иначе расстался с идеей о божественном происхождении царской власти. Помазание и титул перестали для него значить что бы то ни было. Отныне в его глазах «пышность одежд» равняет царей не только с богами, но и куклами. Императорская порфира не мешает ее носителю падать и еще ниже:

Калигула, быть мнимый богом,
Не равен ли с своим скотом?

Два года спустя, в «Эпистоле И. И. Шувалову» мысль эта повторена:

О! жалкий полубог, кто носит тщетно сан:
Пред троном тот ничто, на троне истукан.

Отсюда вовсе не следует, что Державин не признает царской власти. Он только ищет для нее иной источник и иную опору. Вот отрицательная формула, из которой, однако ж, легко вывести и положительную:

Пускай в подсолнечную трубит
Тиран своим богатством страх;
Когда народ кого не любит,
Полки его и деньги — прах.

Это неуклюже, но ясно. Это значит, во-первых, что властитель, не опирающийся на народную любовь, в сущности безвластен. Во-вторых, что он и не царь, а тиран, захватчик власти, которого можно согнать с престола, не совершая никакого святотатства. Следовательно, царя от тирана отличает не помазание, а любовь народа. Только эта любовь и есть истинное помазание. Таким образом, не только опорой, но и самым источником царской власти становится народ. Эта мысль не вяжется с укоренившимися представлениями

о Державине. Однако ж, она не случайно, не в «поэтическом жару» высказана; Державин постоянно к ней возвращается, она отныне лежит в основе его воззрений, и без нее понятие Державина невозможно.

Под словом *народ* он склонен был разуметь всю нацию, и это ему удавалось, пока шла речь о делах военных или дипломатических, пока *русский* народ противопоставлялся какому-нибудь иному. Но лишь только взор Державина обращался во глубину страны, непосредственное чувство тотчас побуждало его звать народом лишь обездоленную, бесправную часть нации. Дело однако шло вовсе не об одном крестьянстве: бедный дворянин, вотще ищущий суда и управы на богатого соседа, или мелкий чиновник, прижимаемый крупным, в глазах Державина были такими же представителями народа, как и крестьянин, страждущий от произвола помещичьего. Словом, так выходило, что кто страдает, тот и принадлежит к народу; царь же народный — защита и покров всего слабого и угнетаемого от всего сильного и угнетающего.

На Екатерину Державин взирал с благоговением. Он ожидал, что именно ей дано стать такой народной монархиней, «радостью сердец», способною облегчить народную долю, защитить слабых, укротить сильных, утереть слезы вдов и сирот. Эти надежды казались ему тем более основательными, что первые уроки вольнодумства были даны ему самой жизнью, а вторые, более систематические, он извлек из екатерининского Наказа, этого собрания самых передовых, самых гуманных и либеральных идей, дотоле высказанных в России (да и не только в России: недаром распространение Наказа было воспрещено во Франции). Екатерина была его наставницей: уже в Читалагайских одах он делает прямые заимствования из Наказа. Больше того: Наказ и созыв Комиссии по составлению проекта нового уложения одушевили Державина главной мыслью, которой суждено было стать основанием его поэтического и служебного пафоса.

После того, как существующее законодательство было с высоты трона объявлено несовершенным и не ограждающим народа от произвола и кривотолка; после того, как отсутствие законности было признано первым злом русской жизни; после того, как законопослушание было названо основной добродетелью не только подданного, но и монарха, — у Державина, можно сказать, открылись глаза. Простое слово *Закон* в русском тогдашнем воздухе прозвучало,

как откровение. Для Державина оно сделалось источником самых высоких и чистых чувств, предметом сердечного умиления. *Закон* стал как бы новой его религией, в его поэзии слово *Закон*, как Бог, стало окружено любовью и страхом.

Наказ, между тем, давно лежал под сукном, а Комиссия была распущена. Это не смущало Державина. Екатерина в его глазах была навсегда озарена сиянием Наказа. Упрямый и прямолинейный, он в воображении своем наделял и ее этими двумя свойствами, которых в ней как раз не было. Тех сложных политических и личных обстоятельств, в которых протекала жизнь государыни и которые постепенно уводили ее от возвышенных предначертаний Наказа, он отчасти не знал, отчасти не хотел знать. Весьма рационалистически лишив монархию религиозного ореола, он в целости перенес этот ореол на голову данной монархини. Его поэтический гиперболизм превращался тут в политический. Екатерина в его глазах сделалась обладательницей гражданских, то есть вполне человеческих добродетелей, но в полноте и степени уже не человеческой, титанической. Он допускал, что на ее пути могут встретиться и препятствия, и несчастья, но, с безжалостной требовательностью обожателя, готов был им радоваться:

Услыште все земны владыки
И все державные главы!
Еще совсем вы не велики,
Коль бед не претерпели вы!
Надлежит зло претереть пятой,
Против перунов ополчиться,
Самих небес не утрашиться
Со добродетельной душой.

Богиню он хотел окружить жрецами, ее достойными. Он видел пороки и происки вельмож. Ему представлялся выбор: бичевать порок или поощрять добродетель. Он не хотел вовсе отказаться от первого, но избрал преимущественно второе: вот почему он не стал сатириком. Изображение добра представлялось ему более плодотворным, нежели обличение зла. Он старался создать образец вельможи добродетельного, великодушного, бескорыстного, пещущегося о народном благе:

Я князь, коль мой сияет дух,
Владелец, коль страстьми владею,
Болярин, коль за всех болею...

«Друг царский и народный» — вот, по его определению, истинный вельможа. Такими виделись ему Бибиков, И. И. Шувалов. Таким он желал стать и сам. Тут, именно в этой точке, поэтическая деятельность соприкасалась у него со служебной. По его мнению, слова поэта должны быть им же претворены в дела. Обожатель Екатерины мечтал быть ее верным сподвижником, поклонник *Закона* хотел стать его неколебимым блюстителем.

* * *

В 1779 году здание Сената перестраивалось. Державин, по должности экзекутора, наблюдал за работами. Между прочим, зала общего собрания была украшена новыми барельефами, изваянными Рашетом. По окончании работ Вяземский вздумал осмотреть залу. На одном из барельефов представлен был храм Правосудия; императрица, в образе Российской Минервы, вводила в него Истину, Человеколюбие и Совесть. Поглядев на обнаженную фигуру Истины, Вяземский сделал кислое лицо и обратился к Державину:

— Вели ее, братец, несколько прикрыть.

Может быть, он не намеревался придать этим словам аллегорический смысл, но для Державина они прозвучали именно так. Чем ближе знакомился он с делами, тем видел яснее, что «стали отчасу более прикрывать правду в правительстве». Кое-какие проделки генерал-прокурора он уже приметил. В следующем году между ним и начальником впервые пробежала черная кошка.

Только что были учреждены экспедиции о государственных доходах и расходах. Они находились в ведении генерал-прокурора. Державин был назначен одним из советников экспедиции доходов, и это поставило его в непосредственную служебную близость к Вяземскому. Для начала надобно было составить «начертание» о круге действий и об обязанностях экспедиций. Случилось так, что те, кому надлежало бы этим заняться (в том числе Храповицкий), — уклонились, и Вяземский поручил дело Державину, — с неохотою, ибо почитал его не довольно опытным. Последнее было справедливо. Сам Державин не без отчаяния принялся за работу, постановив однако же лицом в грязь не ударить. Он заперся у себя и не велел никого принимать. «Поелику ему была дика и непонятна почти материя, то марал, переменял и наконец через две недели составил кое-как целую книгу без всякой посторонней помочи». На общем собрании

экспедиции, когда читался державинский труд, Вяземский всячески придирался, но все же вынужден был представить «начертание» государыне; оно было подтверждено и вошло в Полное Собрание Законов (XXI, 15.120).

Конечно, Державин был весьма горд: без знаний, без подготовки удалось ему выполнить поручение важное и ответственное. Он ждал награды — и не получил. Даже так выходило, что его труд едва ли не пытались приписать Храповицкому. Обиженный Державин поведал горе приятелю своему Львову; Львов был, что называется, правой рукой Безбородки, тогда состоявшего одним из секретарей государыни» Державин через голову Вяземского был произведен в статские советники. Понятно, какую досаду вызвало это в генерал-прокуроре, тем более, что Безбородко был в числе его недругов. Он все же старался скрыть раздражение: приязнь между семействами Вяземских и Державиных поддерживалась, княгиня очень любила Екатерину Яковлевну.

Настал, однако же, день, имевший решительное влияние не только на отношения Державина с генерал-прокурором, но и на всю его жизнь.

То было в конце мая, в 1783 году. Державин обедал у Вяземских. Он был не в духе: с часу на час должно было решиться одно дело, исход которого тревожил его уже несколько месяцев. Вдруг после обеда, часу в девятом, вызывают его в переднюю; там стоит почтальон с пакетом; на пакете странная надпись: «Из Оренбурга от Киргизской Царевны мурзе Державину», — а внутри осыпанная бриллиантами золотая табакерка с пятьюстами червонцев.

Державин тотчас догадался, что это и есть решение его участи. «Но не мог и не должен был принять это тайно, не объявив начальнику, чтобы не подать подозрения во взятках: а для того подошел к нему, показал».

— Что за подарки от киргизцев? — гневно проворчал было генерал-прокурор. Но осмотрев табакерку, он тоже все понял: посылка была от императрицы.

— Хорошо, братец, вижу и поздравляю, — сказал Вяземский. — Возьми, коли жалуют.

При этом постарался он улыбнуться, но улыбка вышла язвительная.

«Оду к премудрой киргизкайсацкой царевне Фелице» Державин написал еще в прошлом году, но ее вольный тон и насмешливые намеки на сильнейших вельмож — даже на Потемкина — показались опасны самому автору. Львов и Капнист были того же мнения. Решено было оду прятать,

но пронирливый Козодавлев, живя с Державиным в одном доме, прочел несколько строк и упросил показать полностью. Потом, под страшными клятвами, взял списать для некоей госпожи Пушкиной, любительницы поэзии, а через несколько дней ода уже очутилась у И. И. Шувалова, — разумеется, по секрету. Шувалов, в застольной беседе прочел ее нескольким господам — опять-таки по секрету. Они по секрету пересказали ее Потемкину — Потемкин ее затребовал от Шувалова. Тот в страхе вызвал Державина и спросил, как быть: послать целиком или выбросить строфы, относящиеся к Потемкину? Постановили послать целиком, чтобы не возбуждать лишних подозрений. Тут только узнал Державин, какую огласку получили его стихи. Он поехал домой «с крайним прискорбием». Все это могло кончиться для него плохо.

Несколько месяцев ждал он последствий и томился неизвестностию. Меж тем к весне 1783 года кн. Дашкова, будучи директором академии наук, задумала издавать журнал. Козодавлев в ту пору при ней состоял советником. Опять ничего не сказав Державину, он принес Дашковой «Фелицу» — и 20 мая, в субботу, ода внезапно появилась в первой книжке «Собеседника любителей русского слова». Теперь она должна была дойти до императрицы; Державин жил в страшном волнении, не зная, чего ожидать. В день обеда у Вяземских приход почтальона разрешил в с е , — страхи сменились великой радостью.

К тому, что писали о ней в стихах и в прозе, Екатерина была любопытна. Прежние похвалы Державина, в сущности более громкие и глубокие, нежели те, которые заключались в «Фелице», она, вероятно, тоже читала. Но они даже не запомнились — потонули в хоре привычной лестии. А над «Фелицей» она несколько раз принималась плакать. «Как дура, плачу», — сказала Дашковой. Почему же она была так растрогана?

Она не слишком любила стихи, не много в них понимала и самого вещества поэзии не чувствовала. Вопросы чистой поэзии не занимали ее. При всей любви к литературным упражнениям, она не умела составить ни одного стиха и сама в том признавалась; даже легонькие куплеты для своих комедий заказывала другим. Чем выше парило стихотворение, чем было высокопарнее (вернем этому слову его прекрасный первоначальный смысл), тем слабее оно доходило до ее слуха, тем менее было способно затронуть в ней чувства.

«Фелица» должна была прийтись ей по вкусу и пониманию — именно теми особыми свойствами, которые снижали это произведение, как собственно оду: своей сатирической стороной, своим легким, шутовым тоном, своим бытовым, приближенным к обыденности материалом, наконец — самим слогом, который Державин так метко назвал «забавным», с его «низким» словарем и обильными заимствованиями из повседневной речи. Эти же качества вызвали бурный успех «Фелицы» и у большинства тогдашних читателей (в том числе у многих стихотворцев), и у потомства. Не должно, однако, смотреть на «Фелицу» как на преобразование оды. На самом деле то было не преобразование, а разрушение. Конечно, значение «Фелицы» в истории русской литературы огромно: с нее (или почти с нее) пошел русский реалистический жанр, этим она способствовала даже развитию русского романа; но ода, как таковая, в ней не преобразована, потому что она сама переставала уже быть одой: до такой степени в ней нарушена одическая традиция русско-французского классицизма.

Но вернемся к Екатерине. Конечно, не литературными свойствами «Фелицы» были вызваны ее слезы; эти литературные свойства только открыли императрице доступ к пониманию оды, сняли печать со слуха.

Чувствительность не была ей чужда; знавала она и сильные увлечения; случалось, что приступы горя или гнева овладевали ею; но при всем этом здравый смысл покидал ее разве лишь на мгновения. В частности, она очень трезво и просто смотрела на собственную особу. Дальше всего она была от того, чтобы считать себя каким-нибудь сверхъестественным существом. Когда ее изображали богиней, она принимала это, как должное, но не узнавала себя в этих изображениях. Шлем Минервы был ей велик, одежды Фелицы пришлись как раз впору. Державин думал, что внешняя шутовость тут искупается внутренним благоговением. В глазах же Екатерины это было как раз такое изображение, которому она могла, наконец, поверить. То, что казалось Державину почти дерзостью с его стороны, нечаянно обернулось лестью, проникшей Екатерине в самое сердце. В «Фелице» она увидела себя прекрасной, добродетельной, мудрой, но и прекрасной, и мудрой, и добродетельной в пределах, человеку доступных. А сколько внимания было проявлено автором не только к ее государственным трудам, но и просто к привычкам, обычаям, склонностям, сколько подмечено верных и простых черт, даже

обиходных мелочей и пристрастий! Словом, при всей идеальности, портрет и на самом деле был очень схож. Екатерина считала, что безымянный автор разгадал ее всю — от больших добродетелей до маленьких слабостей. «Кто бы меня так хорошо знал?» — в слезах спрашивала она у Дашковой.

Даже такая, в сущности, мелочь, как выгодное сравнение с окружающими вельможами, доставила ей удовольствие. Это сравнение было вполне в ее духе: она не хотела быть выше сравнений. Она довольно суетливо принялась рассылать оттиски «Фелицы» Потемкину, Панину, Орлову — всем, кто задел был автором: императрица и самодержица всероссийская любила разыгрывать с приближенными забавные witz'ы¹ в духе доброго, старого англотцербстского захолустья. Табакерка с червонцами, посланная «мурзе Державину» от имени киргизской царевны, конечно, принадлежала сюда же. Но она разом ставила Державина очень высоко, как бы вводила его в круг людей, с которыми императрица шутит.

В тот майский вечер, с табакеркой Фелицы в кармане, Державин уходил от Вяземского новою знаменитостью. Последующие дни принесли ему такую шумную литературную славу, какой Россия до тех пор не видывала. В поэтическом отношении эта слава была бы справедливее, если бы последовала тотчас за стихами на смерть Мещерского. Но были общественные причины ей прийти именно теперь. Дух «Фелицы» стал духом «Собеседника». Журнал сделался прибежищем смелой общественной критики. Похвалы Екатерине в нем сочетались с острой полемикой по поводу таких предметов, о каких прежде молчали. Екатерина собственными писаниями тому способствовала, пока не пришлось ей полемику прекратить, ибо языки развязались слишком.

* * *

Екатерина любила давать прозвища; Вяземского она звала Брюзгой. Был он человек желчный. У него не было оснований *завидовать* Державину, но его раздражало, зачем отличают Державина не через его посредство. Когда же отличие выпало за стихи, генерал-прокурор вышел из себя. После «Фелицы» он уже «равнодушно с новопрославившимся стихотворцем говорить не мог: привязываясь во всяком случае к нему, не токмо насмехался, но и почти ругал,

¹ Witz — острота (нем.).

проповедуя, что стихотворцы неспособны ни к какому делу». Следует, впрочем, и пожалеть его: судьба была немилосердна к этому человеку, имевшему мужество ненавидеть поэзию открыто: чуть не все его подчиненные были стихотворцами.

Как ни упоен был Державин милостию императрицы, он по мере сил сдерживался, пока дело не шло дальше насмешек и происков, направленных лично против него. С Вяземским он то ссорился, то мирился (мирили по обыкновению жены). Коса все же нашла на камень, когда задеты были его гражданские чувства, его преданность делу и долгу.

В 1783 году была закончена последняя так называемая ревизия, которая, ввиду увеличения оброка с казенных и частновладельческих крестьян, должна была дать государству заметное повышение доходов. Полученные от губернаторов ведомости об ожидаемых поступлениях предстояло принять во внимание при составлении доходной таблицы на предстоящий год. Вдруг Вяземский, ссылаясь на неясность и неполноту этих новых ведомостей, потребовал, чтобы таблицы составили на основании старых. На деле это должно было привести к тому, что доходы будут показаны значительно ниже тех, которые поступят в действительности. Против такой утайки восстал Державин: он не мог допустить, чтобы государыня была обманута.

Замечательно, что поведение генерал-прокурора он себе объяснял довольно еще невинно. Предполагал он, во-первых, что Вяземский, воюя за власть с губернаторами, хочет под них подкопаться, изображая их нерадивость; во-вторых же — что Вяземский, зная расточительность Екатерины, скрывает от нее часть доходов, чтобы в подходящую минуту, «будто особым своим изобретением и радением», найти для нее лишние деньги и тем выслужиться. Державин не знал, что сокрытие доходов не Вяземским было придумано и практиковалось еще при Елизавете Петровне генерал-прокурором Глебовым ради обыкновенного воровства. Едва вступив на престол, Екатерина проверила счета и открыла целых двенадцать миллионов утайки. Вяземский был не доблестней своего предшественника.

Как бы то ни было, после тяжелых сцен с генерал-прокурором, Державин забрал ведомости домой, сказал большим и через две недели представил собранию экспедиции новую, свою таблицу. Сколько ни придирались к ней, были вынуждены признать, что доходу может быть показано

по крайней мере на восемь миллионов более, чем в прошлом году. «Нельзя изобразить, какая фурия представилась на лице начальника».

Победа все-таки обошлась Державину дорого. Дальнейшая служба при Вяземском стала невозможна, он подал в отставку, и определением Сената был уволен в чине действительного статского советника. Конфирмуя доклад об его увольнении, императрица сказала Безбородке: «Скажите ему, что я его имею на замечании. Пусть теперь отдохнет, а как надобно будет, то я его позову». Всю историю с сокрытием доходов она знала в точности. О преследованиях, которыми Державин подвергался со стороны Вяземского, Фонвизин прозрачно намекал на страницах «Собеседника», и смысл этих намеков, конечно, известен был государыне. Но Вяземский не услышал от нее ни одного упрека.

Если бы Державин надо всем этим задумался, он, может быть, уже теперь понял бы то, что ему пришлось понять много позже.

* * *

Был слух, что казанский губернатор уходит в отставку. Державин стал метить на его место. Предстояли об этом хлопоты, но Державин решил наперед, что поедет в Казань при всяком исходе: либо губернатором, либо просто отдыхать и хозяйствовать года на два. Как раз в это время мать написала ему, что тяжело больна, не надеется выжить и просит приехать проститься с нею. (Шесть лет они не виделись.)

В феврале 1784 г., покуда стоял санный путь, Державин отправил в Казань весь домашний скарб, но сам с женою задержался еще в Петербурге. Губернаторство в общем было обещано, однако дело нужно было подталкивать. И вот, посреди хлопот, стараний, подчас унижений и забеганий перед сильными сего мира, стало его тревожить беспокойство вовсе иного рода.

Года четыре тому назад, во время пасхальной заутрени в Зимнем дворце, посетило его вдохновение; приехав домой он в горячности положил на бумагу первые строки оды:

О Ты, пространством бесконечный,
Живый в движеньи вещества,
Теченьем времени предвечный,
Без лиц, в трех лицах Божества!
Дух, всюду сущий и единый...

Но порыв миновался, мышцы душевные ослабели. Отвлекаемый службой и светскими суетами, сколько ни принимался он — продолжать не мог. Про себя постоянно однако же возвращался к начатой оде, в глубине памяти копил мысли и образы, то собственные, то извлеченные из чтений. За четыре года все это в нем, наконец, созрело и стало проситься наружу. Теперь, на свободе, он опять взялся за перо, но все-таки суета житейская, городская мешала ему. Сердце хотело уединения, он решил бежать. Вдруг объявил жене, что едет осматривать белорусские свои земли, в которых никогда не был, хоть владел ими семь лет. Стоялая сама распутица, о дальней дороге нечего было думать. Жена удивилась, но он ей не дал опомниться. Доскакал до Нарвы, повозку и слуг бросил на постоялом дворе, снял захудалый покойчик у старой немки и заперся в нем.

Он писал, пока сон не валил его на постель, а проснувшись вновь брался за работу. Старуха носила ему пищу. Он работал в таком же диком уединении, в таком же неистовом напряжении телесных и душевных сил, в каких Челлини отливал некогда своего Персея *. Так продолжалось несколько дней.

То была вновь *высокая* ода. Державин сам с замиранием сердца ощущал высоту своего парения. Образы и слова он вновь громоздил, точно скалы, и сталкивая звуки, сам упивался звуком их столкновений.

Он написал не много — около ста строк всего. Из них не все сделаны из одинаково драгоценного материала, но все равновесны и одинаково наполнены. В этих стихах нетрудно узнать автора Читалагайских од. Но там все-таки был перед нами отчаянный подмастерье, работавший наугад, знавший замечательные удачи, но местами лишь портивший материал; теперь это полный мастер. Нетрудно узнать в нем и лаконического автора оды на смерть Мещерского. Но теперь его лаконизм перестал быть порывист и угловат. В «Боге» Державин привел в движение какие-то огромные массы; столь же огромна сила, на это затраченная, но ни единая частица ее не пропадает даром, и надсада, усилия мы нигде не видим. Таково на сей раз его господство над материалом, что с начала до конца все в оде движется стройно и плавно, несмотря на то, что в процессе работы он постепенно отходит от первоначального замысла. Вдохновение владеет им, но материалом владеет он.

Его первую целью было вообразить величество Божие. Взор его устремлен был к Богу. Но по мере того, как предмет

ему открывался, его охватывало изумление перед собственной способностью к подобному постижению. Смотри на собственное отражение в оде, видел он отражение Бога в вебе самом — и все более поражался:

Ничто! — Но Ты во мне сияешь
Величеством Твоих доброт,
Во мне себя изображаешь,
Как солнце в малой капле вод.
Ничто! — Но жизнь я ощущаю,
Несытым некаким летаю
Всегда пареньем с высоты;
Тебя душа моя быть чаёт,
Вникает, мыслит, рассуждает:
Я есмь — конечно есь и Ты!
Ты есь! Природы чин вещает,
Гласит мое мне сердце то,
Меня мой разум уверяет:
Ты есь — и я уж не ничто!
Частица целой я вселенной,
Поставлен, мнится мне, в почтенной
Средине естества я той,
Где кончил тварей Ты телесных,
Где начал Ты духов небесных
И цепь существ связал всех мной.

С этого стиха ода Богу стала одой божественному сыновству человека:

Я связь миров повсюду сущих,
Я крайня степень вещества,
Я средоточие живущих,
Черта начальна Божества.
Я телом в прахе истлеваю,
Умом громам повелеваю,
Я царь — я раб, я червь — я Бог!
Но будучи я столь чудесен,
Отколе произошел? — безвестен,
А сам собой я быть не мог.
Твое созданье я, Создатель!
Твоей премудрости я тварь,
Источник жизни, благ податель,
Душа души моей и царь!
Твоей то правде нужно было,
Чтоб смертну бездну преходило
Мое бессмертно бытие,
Чтоб дух мой в смертность облачился
И чтоб чрез смерть я возвратился,
Отец! в бессмертие Твое.

Тут охватило его такое упоение величайшею гордостью и сладчайшим смирением, открытыми человеку, такое невыразимое счастье пребывания в Боге, что далее уж писать он не мог. Было то уже ночью, незадолго до рассвета. Силы его покинули, он уснул и увидел во сне, что блещет свет в глазах его. Он проснулся, и в самом деле воображение так было разгорячено, что казалось ему — вокруг стен бегают свет. И он заплакал — от благодарности и любви к Богу. Он зажег масляную лампу и написал последнюю строфу, окончив тем, что в самом деле проливал благодарные слезы за те понятия, которые были ему даны:

Неизъяснимый, Непостижный!
Я знаю, что души моей
Воображения бессильны
И тени начертать Твоей;
Но если славословить должно,
То слабым смертным невозможно
Тебя ничем иным почтить,
Как им к Тебе лишь возвышаться,
В безмерной разности теряться
И благодарны слезы лить.

Когда он кончил, был день.

V

Хлопоты о губернаторстве затянулись до самого лета и кончились не совсем так, как мечтал Державин: его назначили не в Казанскую, а в Олонецкую губернию. Казанская была ему не в пример удобнее: он знал местные нужды и обстоятельства, имел знакомства в городе и в губернии, а главное — под боком были его деревни, которые требовали хозяйского глаза. Но такова была воля императрицы.

Олонецкая губерния принадлежала к числу тех, которые только что учреждались. Ее открытие предстояло лишь в декабре, указ же о назначении Державина состоялся в мае. Поэтому Державин взял отпуск и поехал с женою в Казань. Там его ожидало горе: Фекла Андреевна скончалась за три дня до его приезда. Впоследствии он всю жизнь каялся, что так долго откладывал эту поездку. Но что делать? Оплакав мать и побывав в деревне, где им так и не суждено было похозяйничать, Державины возвратились в столицу. Весь домашний скарб, перед тем понапрасну отправленный в Казань, теперь они привезли обратно.

Приготовления к переезду в Олонецкую губернию отняли много времени и труда. Надо было расплачиваться с долгами и многим обзаводиться. К тому же Державин, погорячившись, взвалил на себя расход вовсе лишний и непосильный: видя, что на оборудование губернаторского дома и будущих присутственных мест казна дает мало денег, вздумал он чуть не все оборудовать на свой счет и закупил груды мебели. Ради этого влез он в новые долги да еще заложил женины серьги; заветная табакерка, подарок Фелицы, тоже пошла к процентщику.

Наконец, все было улажено, вещи и мебель отправлены водою вперед, а в начале октября *, откланявшись государыне у нее в кабинете, тронулся в путь и Державин. Он ехал целым обозом, везя с собою не только слуг, но и набранных в Петербурге чиновников, в том числе секретаря Грибовского. Узнав об его отъезде, Вяземский произнес пророчество, столь же странное по форме, сколь и по содержанию мрачное:

— Скорее черви ползут по моему носу,— сказал он , — нежели Державин долго просидит губернатором.

* * *

Губернаторство, хотя бы Олонецкое, имело в себе много привлекательного для Державина. По службе то было несомненное повышение; деятельность оно сулило живую, разнообразную; наконец — открывало доступ к тому, что Державин считал как бы своим призванием: к прямому насаждению законности там, где доньше о законности имели всего менее понятия. Работы предстояло много, но труд никогда его не отпугивал. По сравнению же с Петербургом, где жил он слишком пестро, где волнения сменялись волнениями, — глушь олонецкая рисовалась ему местом отдыха. Одиннадцать лет тому назад поскакал он на усмирение Пугачева — и с тех пор не видал ни единого дня покоя (да и раньше покоя было немного). Он мечтал о жизни патриархальной, отданной трудам служебным и поэтическим.

Что до глуши, расчет оказался верен. За восемьдесят лет до того, при впадении реки Лососинки в Онежское озеро был построен Петром Великим артиллерийский завод. Постепенно оброс он домишками; образовалось селение, у которого поначалу даже имени своего не было: так оно и звалось Петровским заводом. Только в 1777 году оно было объявлено уездным городом Петрозаводском, а теперь пре-

вращалось в губернский город новоучрежденной Олонецкой губернии. Населяли его купцы, мещане да разночинцы, а всего жителей обоего полу считалось три тысячи. Вокруг, на огромном пространстве, до самого Белого моря, — дремучие леса да скалы, поросшие соснами, да непроходимые болота и тундры. Зимой здесь почти не бывает дня, летом — ночи. По тундрам текут прозрачные, светловодные реки; порою они образуют озера или кипучими водопадами свергаются со скал вниз. Реки обильны рыбою, а леса зверьем. Летом над тундрою тучами носится мошкара. Зато людей мало: на 136 000 квадратных верст — всего 206 000 жителей: лапландцев, карелов, русских (по большей части раскольников). Это выходит по полтора человека на квадратную версту. Селения редки, а уездных городов и всего четыре: Олонец, Вытегра, Каргополь да Повенец. Дорог большею частью нет никаких: по болотам и тундрам летом проезд нет вовсе; ездят только зимою, и то гусем.

Несколько зданий в Петрозаводске именовались каменными; на самом деле были они деревянные и лишь снаружи обложены кирпичом. Все они принадлежали казне. В одном из них Державин и поселился. То было одноэтажное, длинное, плоское, как пирог, строение с одиннадцатью окнами по фасаду; по бокам, несколько отступя в глубину, стояли два флигеля. Все это было обнесено палисадником и выходило на широкую, немощеную улицу, похожую на площадь. Перед домом стоял фонарь, окруженный заборчиком, и две коновязи. Больше никаких монументов в городе не было.

В другом подобном же здании жил генерал-губернатор. Нужно принять во внимание, что в ту пору губернии были соединяемы по две и по три в так называемые наместничества. Во главе наместничеств стояли наместники (или генерал-губернаторы), которым было подчинено соответствующее число правителей наместничества (иначе — губернаторов просто). В состав Олонецкого наместничества вошли две губернии: Олонецкая и Архангельская. Одновременно с назначением Державина в Олонецкую губернию, некий Ливен был назначен губернатором в Архангельскую, а генерал-губернатором над ними обоими поставлен Тимофей Иванович Тутолмин. Резиденцию свою он имел в Петрозаводске и к приезду Державина уже находился там.

Тутолмин был немного старше Державина. Некогда он служил в военной службе, но лет девять тому назад перешел в штатскую, имея, впрочем, Георгиевский крест за лихую кавалерийскую атаку против турок. Он не лишен был спо-

собностей, но несчастье его характера составляли транжирства и фанфаронство почти безумные. Отсюда происходили какие-то осложнения, заставившие его покинуть полк (был он Сумским гусаром). Покровительство Румянцева привело его в Тверь, сперва вице-губернатором, а потом губернатором. Он что-то перетранжирил. Его перевели на место «не столь видное и дорогое, как Тверь» * — в Екатеринославль. После пятилетнего пребывания в Екатеринославле он был назначен Олонецким наместником.

В северной глуши, среди забытого Богом и людьми, частью полудикого населения, привыкшего круглый год питаться рыбкою ряпушкой да зловонной соленой пальей, Тутолмин вообразил себя не только представителем императрицы, но как бы и вовсе императором. Он окружил себя почестями, едва ли не царскими. При выездах его сопровождали отряды сформированной им кавалерии. С собою привез он целую свиту из офицеров, которые ослепляли лапландцев великолепием своего убранства. По петрозаводским улицам засновали их щегольские кареты, хотя в четверть часа можно было пешком пересечь город из конца в конец. По вечерам генерал-губернаторский дом сиял светом и гремел музыкой — Тутолмин устраивал балы с придворною церемонией. В главной зале он воздвиг императорский трон; в табельные дни, когда приглашенные к обеду сидели за большими столами, Тутолмин обедал отдельно — у подножия трона (хорошо еще — не на троне).

Державину это все показалось просто *дурачеством*, но отношения между ним и наместником сложились хорошие; ежедневно они посещали друг друга с женами. Поскольку встречались «не в должности», Державин добродушно сносил «почти несносную гордость и превозношение» Тутолмина.

Когда настала пора открывать губернию, Тутолмин растянул торжества на целую неделю. Были молебны, проповеди, колокольный звон, пушечная пальба; наместник устраивал пиршества и произносил речи с высоты трона. Состоялось даже народное угощение на площади. Наконец, 17 декабря были открыты новые учреждения и произведены выборы из дворян, городских жителей и крестьян в члены губернских и уездных присутственных мест. Олонецкая губерния стала быть. Но первый день губернии стал последним днем мира.

Пределы власти не были в точности разграничены между губернатором и наместником; их служебные отношения не были определены ясно. Ответственность по управлению губернией лежала на губернаторе, который в действиях своих отчитывался перед высшим правительством. Казалось бы, при таком построении власти, существование наместника излишне. Меж тем, ему вверен был общий надзор за административными и выборными учреждениями. Оказывалось даже, что из этих учреждений одни как будто более подчинены наместнику, другие же — губернатору. В конце концов, и те, и другие зависели от каждого в отдельности и от обоих вместе.

В самый день открытия губернии Тутолмин прислал губернатору «новый канцелярский обряд», т. е. постановление о производстве дел во всех учреждениях. «Обряд» настолько затрагивал соотношение учреждений и даже существо дел, что сам собой превращался в книгу законов, изданных наместником и императорской властью не утвержденных. Эту книгу Тутолмин составил еще в Екатеринославле. В ней попадались распоряжения дельные, но были и незаконные, и просто нелепые. Например, директору экономии предписывалось подавать годичные ведомости о насаждении лесов: для Екатеринославской губернии это было хорошо, но в Олонецкой леса и без того были непроходимы. Державин, впрочем, не стал особенно разбираться: большинство тутолминских распоряжений клонилось к превращению административной власти в судебную и законодательную. Это был именно тот произвол, который Державин почитал величайшей российской язвой и которого искоренение ставил себе целью. Часу не медля, он кинулся на дом к Тутолмину и, что называется, ткнул ему в нос екатерининский указ 1780 года о том, чтобы никто из генерал-губернаторов «не делал от себя собственно никаких установлений, но всю власть звания своего ограничивал в охранении Наших постановлений».

Тутолмин «затрясся и побледнел». Вероятно, таков же стоял перед ним и Державин. В ту минуту поняли они оба отчаяние своего положения: Державин увидел, что несчастьем его губернаторства будет борьба с самоуправством наместника, Тутолмину же открылось, что Державин отравит ему все упоение властью.

Война началась. Державин вначале одержал две победы. Первую — когда сам Вяземский принужден был элегически написать наместнику: «Чего, любезный друг, в законах нет, того исполнить невозможно». Вторую — когда Тутолмин ездил в Петербург жаловаться на Державина Вяземскому — и вернулся ни с чем, потому что Державин успел через Безбородку пожаловаться самой государыне. Каждый раз после боя наступала краткая передышка. Во время второй Тутолмин вздумал переменить тактику и оружие.

Чиновниче население Петрозаводска было, можно сказать, вполне классическое. Все эти советники, прокуроры, заседатели, экзекуторы, судьи были предками тех, коим суждено было через пятьдесят лет явиться в творениях Гоголя. Державин со своими гражданскими добродетелями был им непонятен, а то и смешон. Видя рознь между Тутолминым и Державиным, они очень скоро перестали его бояться; знали, что чем крепче досадят губернатору, тем вернее найдут защиту и покровительство у наместника. Они и совсем потеряли к нему уважение, будучи изо дня в день свидетелями придинок, привязок и оскорбительных выходок, которые разрешал себе Тутолмин «даже и при купечестве». Дошло до того, что некоторые присутственные места отложились от губернатора и признали над собой единственно власть наместника. Совершилось это не сразу и не открыто, а постепенно, путем мелочного противодействия по каждому отдельному поводу. Державин не мог каждый раз прибегать к защите Сената, в котором к тому же сидел Вяземский. Таким образом, учреждения, сохранившие верность Державину, были как бы парализованы. Борьба наместника с губернатором перешла в борьбу между учреждениями, и чиновный Петрозаводск оказался разделен на два лагеря. Впрочем, даже в своем собственном Державин не чувствовал себя вполне господином, ибо Тутолмин, путем разных изворотов, присвоил себе исключительное право перемещения чиновников и представления их к наградам: понятно, что после этого сердца склонились к наместнику. Державину оставались верны лишь немногие. Он был окружен врагами, тем более опасными, что они действовали приказными каверзами, увертками, *ерихонскими крючками*, каких его прямой ум не мог да и не хотел предвидеть: гнушался ими.

Борьба с каждым днем становилась противнее и подлее. На Державина наседали. Каждое слово его, каждое приказание вызывали то грубое противодействие, то уклончивую

волокиту, подвох, клевету, сплетню. Одна история не успела кончиться — начиналась другая. Покуда Державин вел бесконечную прю с губернским прокурором Грейцем, одним из бесчисленных поддипал наместника, — уже секретарь Сафонов донес о каких-то неблагопристойных поступках советника губернского правления Соколова. Соколов обозлился и перестал ходить в должность. Державин велел его освидетельствовать, потому что он ссылаясь на болезнь. Штаб-лекарь Рач, по научном исследовании, определил у Соколова геморрой и зубную боль, но советник казенной палаты Шишков в собрании чуть не всего городского общества стал божиться, будто на Соколовском теле найдены синяки от побоев, нанесенных Державиным. Сам Соколов, наконец, заявил, что никаким побоям не подвергался, но ему уж никто не верил.

По каждому поводу слухи, суды и пересуды, цепляясь один за другой, перевирались и размножались по городу. Нельзя уже было разобрать, что ложь, а что правда. Настало лето. В душные белые ночи Державин томился бессонницей и тяжелыми мыслями. Зато жизнь дневная казалась противным сном наяву. Воздух наполнился болотной мошкаррой. Наконец, как водится в страшных снах, из толпы человеческих призраков высунулась косматая морда зверя. Медведь появился.

Он появился в верхнем земском суде: сидел в председательских креслах и лапу, обмакнутую в чернила, прикладывал к листу белой бумаги, которую подносил ему секретарь для скрепы. То есть, быть может, лапу и не прикладывал, и секретаря тут не было. Может быть, даже и медведя не было, а был маленький медвежонок, но в городе говорили, будто большой медведь, и сам губернатор посадил его в кресла. Разобраться тут нелегко, но вот что во всяком случае достоверно.

10 мая, на Фоминой неделе, заседатель верховного земского суда, бывший артиллерии поручик Молчин поутру шел в должность. Присутствия в тот день не было, а председатель суда Тутолмин (двоюродный брат наместника) находился в отпуску. Молчин поэтому шел не спеша. Поравнявшись с губернаторским домом, увидел он (в палисаднике, вероятно) знакомого медвежонка, который принадлежал ассесору Аверьянову, жившему у губернатора во флигеле. Зверь был ручной, узнал Молчина и пошел за ним. Поручику это показалось забавно. Придя в суд, объявил он чиновникам о прибытии нового члена, *Михайлы Ивановича*

Медведева, — и впустил медвежонка в комнату. Шутка успеха не имела. Гости прогнали палкою.

Тем бы делу и кончиться. Но семейство Тутолминых вернулось из отпуска, и молва тотчас известила их о событии. Уверяли, что по приказанию Державина медведь был посажен на председательское место и прикладывал лапу свою к бумагам. Младший Тутолмин, «худо грамоте знавший», усмотрел в этом намек, пасквиль и персональное себе оскорбление. Заварилось дело, полетели бумаги от наместника к губернатору и обратно...

8 июля Державин, вконец измученный, писал Безбородке: «От всех нелепых привязок у меня голова вскружилась. Тимофей Иванович дневными своими предложениями в наместническое правление произвел не токмо ко мне от всех отвращение, но можно сказать благопристойный бунт... Только и знаю, что делаю отражения, не выходя из пристойности. Но сколько нибудь в отдохновение еду на будущей неделе осматривать губернию и елико можно далее в лопские погосты. Изведите из темницы душу мою!»

* * *

Он выехал 19 июля, в сопровождении секретаря Грибовского и экзекутора Николая Федоровича Эмина. (Это был молодой человек не без способностей, склонный к поэтическим упражнениям, но чрезвычайно обидчивый и непространно занятый обереганием своего достоинства).

План путешествия был намечен лишь в общих чертах. Предполагалось посетить берега Онежского озера и местности, лежащие от него к востоку, в направлении Пудожя, Каргополя и Вытегры. Тронулись в путь водою, причаливая к пустынным рыбацким островам или подымаясь по речкам, которыми изобилуют северные, глубоко изрезанные берега озера. Местами из лодок пересаживались на коней и ехали верхами. Так посетили Кончезерские заводы. Потом, на третий день путешествия, пробравшись к деревне Вороновой, стали от нее подыматься вверх по течению Суны. Река мелка и порожиста. Ехали в маленьких лодочках, среди скалистых, изменчивых берегов. Проплыв версты три, увидели, что река покрывается пеной. Лес в этом месте подходит к самой воде, и под зыбким сводом нависших над нею сосен Суна течет не спеша, вся белая. Чем дальше плыли, тем обильнее становилась пена; окаймляя берег, она целыми шапками оседала на его камнях. По этой млечной реке плыли версты две, потом услышали вдалеке гул и грохот, а

справа, над берегом, увидели как бы дым. По мере приближения он стучался, а шум становился громче. Проплыли еще с версту и там, где река круто сворачивала направо, причалили. Выйдя на берег, поднялись в гору, пересекли небольшую луку и увидели водопад.

Зажатый в ущелье, меж черных отвесных скал, *Кивач* тремя хаотическими уступами падает на четвертый, откуда всем изобилием своих вод низвергается еще раз с восьми-саженной высоты. От удара вода разбивается в брызги, в пену и столпами стеклянной пыли бьет ввысь. Солнечные лучи играют в ней радугой. Гигантские сосны, растущие возле берега, до самых вершин ею увлажнены. Эмин важно записал в путевом журнале: «Чернота гор и седина бьющей с шумом и пенящейся воды наводят некий приятный ужас...» * Державин велел на вершине срубить сосну и бросить ее в водопад. Через несколько минут выплыли из жерла одни обломки и щепы. Державин ушел от Кивача потрясенный. Снова сев в лодки, тем же путем пустились обратно, и водопад еще долго провожал их стихающим ревом; потом только белизною пены; потом, замедляя бег, исчезла и пена. По тихой, прозрачной реке выплыли в светлый простор Онеги.

В душе Державина петрозаводские дрязги уже уступали место иным, более возвышенным впечатлениям, но козни Тутолмина преследовали его по пятам. Когда, осмотрев славные мраморные ломки на реке Тивдии, путники переплыли Онежское озеро и прибыли в Пудож, их там ожидало приказание наместника ехать на крайний север губернии, чтобы открыть город Кемь. В летние месяцы проникнуть туда сухим путем невозможно: окружающие болота вовсе непроходимы. Надобно забирать восточнее, на Сумский острог, и оттуда плыть Белым морем. Но в июле и в августе, когда уже начинается сильный ветер, никто при тогдaшнем состоянии судоходства на такое путешествие не отваживался. Тутолмин рассчитывал, что Державин откажется от поездки, и его можно будет лишний раз обвинять в неповиновении.

Но Державин поехал. По Онежскому озеру и его берегам добрались до самого Повенца. Дорогою посетили древний монастырь на острове Полье, побывали во многих скитнях раскольников-беспоповцев, видели замечательные свидетельства разврата, обмана и беззакония, так же, как прямой веры и великого подвижничества. Тут, между прочим, Державин издал секретное распоряжение «о недопущении рас-

кольников сжигать самих себя, как часто то они из бесновения чинили».

Отдохнув в Повенце, двинулись дальше к северу, то в маленьких челноках, то верхами. Пробирались лесными чащами, где стоял грибной дух и бродили медведи, олени, лоси. Пересекали болота, поросшие вереском, клюквой, морошкой. Перевалив гору Мосельгу, стали спускаться к Белому морю. Переплыли Выг-озеро, на котором дважды настигла их буря, и наконец прибыли в Сумы.

19 августа, на шестивесельных лодках, управляемых лопарями, пустились по морю. От Сум до Кеми 95 верст. Плыли, держась берегов, как делали древние мореплаватели. В Кеми, по уверениям Тутолмина, были уже заготовлены присутственные места и канцелярские служители. Державин ничего этого не нашел. Насилу-то удалось отыскать священника: его привезли с какого-то острова, где он косил сено. Обошли селение, окропили его святой водой и послали в Сенат и Синод донесения об открытии города Кеми.

Соловецкие острова лежат против Кеми в 60 верстах. Державин задумал их посетить, но попал в полосу бури и едва не погиб. Эмин и Грибовский уже лежали без чувств на дне лодки. Гребцы выбились из сил и пали духом. Наконец, лодку чудом выбросило на голую скалу посреди моря. Тут путники провели ночь и утром вернулись обратно, не побывавши на Соловках.

От Кеми началось возвращение в Петрозаводск. Описали большую дугу на Каргополь и Вытегру, проезжали деревни и села, где иконы и женские одеяния унизаны речным жемчугом, где справляются еще древние языческие обряды, где поются былины про Микулу Селяниновича. 13 сентября Державин вернулся домой, ознакомившись с краем и освежив душу.

* * *

В Петрозаводске все было по-прежнему. Тутолмин сумасбродил, город утопал в дрязгах. Дело о медведе оказалось доведено до Сената, в общем собрании которого Вяземский кричал не своим голосом:

— Вот, милостивцы, как действует наш умница стихотворец: он делает медведей председателями!

Целый месяц Державин писал в Петербург объяснения и рапорты, оспаривая наместника и умоляя прекратить дело, которое «может только быть поводом к смеху целой

империи» *. Сенат, несмотря на Вяземского, положил дело под сукно. Тутолмин между тем не сдавался и слал в Петербург донос за доносом. Они доводили Державина до отчаяния, которого он не умел скрывать. Тутолминская партия (а к ней принадлежал почти весь город) чувствовала, что одолевает, что Державин вот-вот погубит себя какой-нибудь выходкой. Вдруг обнаружилась в нем непонятная перемена: он стал спокоен и словно чему-то легонечко улыбался.

Улыбаться, однако же, было как будто нечему. Как раз в конце октября он узнал, что в приказе общественного призрения, где Грибовский исполнял должность казначея, не хватает тысячи рублей наличными да сверх того нет расписок в получении купцами семи тысяч, которые были им розданы заимообразно. Канцелярская сторона была так обставлена, что при желании можно было и самого Державина обвинять в соучастии. Кто бы усомнился, что как только история обнаружится, тутолминская партия сумеет ею воспользоваться?

Державин потребовал от Грибовского объяснений. Тот покаялся, что, выдавая ссуды купцам, не брал с них расписок, при условии, что они распишутся после, когда будут возвращать деньги. Ссуды таким образом становились как бы бессрочными. За это Грибовский получал взятки. Что же касается тысячи, им лично растраченной, то Грибовский признался, что проиграл ее в карты, ведя игру с вице-губернатором, губернским прокурором и председателем уголовной палаты.

При других обстоятельствах Державин, конечно, отдал бы казначея под суд. Но теперь ему было некогда ждать судебной развязки. Все, что случилось в Петрозаводске, представлялось ему дурным сном, и исходя из этого он придумал закончить дело особым и странным образом.

Он заставил Грибовского тут же, не сходя с места, письменно изложить все признание, с поименным перечнем, что и кому проиграно. Это было 27 октября, в седьмом часу вечера. Отпустив Грибовского, Державин тотчас вызвал к себе вице-губернатора. Тот явился. С самым дружеским видом Державин поведал ему о растрате и просил совета, как поступить. Вице-губернатор стал важно читать Державину наставления, бранил Грибовского и требовал, чтобы поступлено было по всей строгости закона. Тогда Державин дал ему прочитать признание Грибовского. Увидя имя свое между игроками, вице-губернатор «сначала взбесился,

потом обробел и в крайнем замешательстве уехал домой».

Затем был призван председатель уголовной палаты, и с ним все повторилось точь-в-точь, как с вице-губернатором. До губернского прокурора очередь дошла уже ночью. Но прокурор был не так-то прост. Он не испугался, а заявил, что даст делу ход, да с тем и уехал.

Наутро Державин отправился в приказ общественного призрения, велел привести купцов и, грозя немедленной тюрьмой, заставил их выдать расписки на все семь тысяч. Документы были приведены в порядок, а недостающую тысячу Державин внес из своих денег. Вернувшись к себе в правление, он уже там застал прокурора; тот явился с формальным протестом против действий губернатора, призвавшего его ночью и пугавшего бумагой, в которой он был облыжно замешан в картежное дело.

Но тут, вероятно, прокурору показалось, что губернатор сходит с ума: Державин решительно объявил, что никогда его ночью не вызывал, никакие деньги не пропадали, и все это, очевидно, прокурору приснилось. Если же он сомневается, то может побывать в приказе общественного призрения и лично во всем убедиться, освидетельствовав казну и книги. Прокурор помчался в приказ и вернулся оттуда в крайнем смущении: теперь уж ему казалось, что сходит с ума он сам.

Тем временем собрались чиновники губернского правления. Державин при всех вернул прокурору его бумагу и еще раз подтвердил, что все бывшее — только «сонная греза», которая всем привиделась. Потом, приказавши подать шампанского, он наполнил бокалы и попросил присутствующих пожелать ему счастливого пути. Шампанское выпили, и губернатор с супругою в тот же день отбыл из города для обозрения двух уездов, которые ранее не были им осмотрены.

Вслед за тем произошло событие чрезвычайное. Олонецкий губернатор, действительный статский советник Державин, отбыв для осмотра губернии, исчез и не возвращался более. Никто не знал, где он и что с ним. Повергнув в крайнее недоумение самого наместника, и все чиновничество, и все общество петрозаводское, губернатор растаял, «как сонная греза».

В последнее время он был потому так спокоен, что, исхлопотав себе отпуск, решил отправиться не в уезды, а в Петербург, — и уж больше не возвращаться. Заканчивая дела, он уже представлял себе, каково будет всеобщее изумление, когда он исчезнет. В этой необычной затее было, конечно, много не только юмора, но и поэтического воображения. Лишь поэту могло прийти в голову разыграть оло-нецкую действительность, как венецианскую комедию, и превратить отъезд губернатора в исчезновение волшебника.

Должно, однако, взглянуть на дело и с другой стороны, Предсказание Вяземского сбылось: Державин и году не просидел губернатором. Вяземский не умом (которого у него было мало), но просто хитростию и опытом (которых у него было вдоволь), предугадал очень верно, что при взглядах Державина и при его характере на губернаторстве ему предстоит неизбежная борьба и столь же неизбежное поражение. Это не потому, что Державину предстояло столкнуться именно с Тутолминым. Будь на месте Тутолмина кто угодно из тогдашних администраторов — все равно и самое столкновение, и его исход были предreshены. Так и вышло. Державин, выражаясь его же слогом, «донкишотствовал собой» десять месяцев и оказался не только побежден, но и смешон, потому что его волшебный отлет из Петрозаводска при переводе на язык прозаический был не что иное, как бегство.

Конечно, Державин боролся во имя закона, и закон всегда (или почти всегда) был за него. Потому-то в открытых боях с Тутолминым он и не был разбит ни разу. Но его взяли измором. Силы его иссякли и не могли не иссякнуть, ибо на его стороне была правда, а на стороне противников — вся грубая сила тогдашнего российского быта. В борьбе за закон у Державина не было опоры ни в обществе, ни в самом правительстве. Законы писались даже усиленно, но как-то само собой подразумевалось, что исполняться они должны лишь до известной степени и по мере надобности (преимущественно дворянской). Не отрицалось, что законы гораздо лучше исполнять, нежели не исполнять. Но одному лишь Державину их неисполнение казалось чем-то чудовищным. Нарушителей закона никто прямо не поощрял, но и карать их у власти охоты не было. Державин этого не хотел взять в толк. Кидаясь на борьбу с нарушителями закона, он всякий раз был уверен, что «щит Екатерины» делает его неуз-

вимым. Отчасти оно так и было. Но — тот же щит покрывал и его врагов. Выходило, что Минерва Российская равно благоволит и к правым, и к виноватым, и к добрым, и к злым. Почему? Вот загадка, которой Державин не только еще не решил, но и не поставил перед собою открыто.

Кажется, он не отваживался об этом думать. Однако негодование порою душило его, и он давал волю чувствам. В одну из таких минут (уже лет пять тому назад) он переложил в стихи 81-й псалом. Писал, далеко отступая от подлинника, подражая, а не переводя. Пьесу тогда же он отдал в «С-Петербургский Вестник». Ее было напечатали, но тотчас же и вырезали из книжки — издатели испугались. Теперь Державин все написал сызнова, но не смягчая, а напротив — усиливая. Пять лет не даром прошли: вместе с силою поэтической возросла в нем и ярость. Тогда он более сетовал, теперь обличал:

Восстал Всевышний Бог, да судит
Земных богов во сонме их.
«Доколе», рек: «доколь вам будет
Щадить неправедных и злых?

Ваш долг есть: сохранять законы,
На лица сильных не взирать,
Без помощи, без обороны
Сирот и вдов не оставлять.

Ваш долг — спасать от бед невинных,
Несчастливым подавать покров;
От сильных защищать бессильных,
Исторгнуть бедных из оков».

Не внемлют! — видят и не знают!
Покрыты мздою очеса:
Злодейства землю потрясают,
Неправда зыблет небеса.

Цари! — я мнил: вы боги властны,
Никто над вами не судья;
Но вы, как я, подобно страстны
И так же смертны, как и я.

И вы подобно так падете,
Как с древ увядший лист падет!
И вы подобно так умрете,
Как ваш последний раб умрет!

Воскресни, Боже! Боже правых!
И их молению внемли:
Приди, суди, карай лукавых
И будь един царем земли!

Державин добился того, что эти стихи, которых не решались печатать в их прежнем виде, были напечатаны в новом, более резком. Ссылка на подражание псалму могла бы служить надежным прикрытием, но Державин зачеркнул старое заглавие «Псалом 81» и сделал новое, свое собственное: «Властителям и судиям». Такова была его прямота: он знал, что пьеса возникла в сущности не из чтения Библии, но из созерцания России. Дело все в том, однако, что эти стихи выражали не всю полноту и не самую глубину его чувств. Глубже гнева и вопреки самой логике, равно неподвластная доводам чувства, как и рассудка, в нем по-прежнему коренилась упрямая вера в Екатерину — добродетельную монархиню, окруженную злыми сановниками. Эта вера и оставалась главным двигателем его поступков. В Петербурге он стал добиваться нового губернаторства — и добился.

* * *

Поэт, посетивший Тамбов мимоездом ровно через пятьдесят лет, нашел, что

В нем есть три улицы прямые,
И фонари, и мостовые...
В нем зданье лучшее острог *.

В марте 1786 г., когда прибыл туда Державин, ни острога, ни мостовых еще не было. Город, расположенный в котловине и окруженный болотами, утопал в грязи. Строения были самые жалкие, сплошь деревянные. Большую часть жителей составляли однодворцы. В отношении торговом Тамбов, хоть и губернский город, стоял ниже окружающих его уездных. Но все же население его было втрое больше, чем в Петрозаводске, карелы да чудь не бродили по его улицам. В окрестностях были недурные поместья.

Губерния существовала всего шесть лет, но губернаторы в ней то и дело сменялись. Державин был уже пятый. Дела находились в крайнем неустройстве. Предстояло все старое привести в порядок и учредить много нового. Державин ревностно принялся за работу. Наместник Гудович имел пребывание в Рязани, и отчасти благодаря этому Державин сразу почувствовал ту свободу, которая нужна была его рвению. Несколько поосмотревшись на новом месте, Екатерина Яковлевна писала Капнисту: «Начальник очень хорош; кажется, без затей, не криводушничает, дал волю Ганюшке хозяйничать; теперь совершенный губернатор, а не поно-

марь». Державин радовался и сам: «Я здесь против Петро-
заводска душевно и телесно воскрес».

Всего Державину суждено было прожить в Тамбове с марта 1786 по конец 1788 года, то есть три года без малого. Из Них первые полтора ознаменованы трудами разно-
сторонними и успешными. Не имея правильной подготовки, он обнаружил за это время несомненный административ-
ный дар, желание вникнуть в местные нужды и обстоятель-
ства, умение действовать смело и широко, но обдуманно. Теперь он доказал, что причиной его олонецкого бездей-
ствия были препятствия, чинимые Тутолминым.

Путем привлечения опытных чиновников из столицы, было ускорено и налажено делопроизводство присутствен-
ных мест; с тою же целью открыта губернская типография; из Петербурга выписаны печатные экземпляры указов и прочих узаконений. (По этому поводу Державин писал од-
ному знакомому: «В здешней губернии великий недостаток в законах; безызвестно, были ли они когда здесь в употребле-
нии».) По части финансовой он добился исправности в сборе податей и недоимок; искоренил во многих местах беспорядочное хранение казны; увеличил доходы приказа общественного призрения. В губернии были проложены до-
роги, наведены мосты и приняты меры к развитию судо-
ходства по реке Цне. В городе были исправлены старые казенные постройки и возведен ряд новых, отчасти даже кирпичных. Наконец, движимый своим постоянным, не по-
казным, но деятельным человеколюбием, Державин озабо-
тился устройством таких учреждений, самая мысль о ко-
торых не приходила в голову его предшественникам: по-
ложено было начало сиротскому дому, богадельне, больнице, дому для умалишенных. Тюремные здания, где преступники содержались бесчеловечно, были улучшены, и ужасное поло-
жение колодников облегчено (за это начальство выразило Державину «род некоторого неудовольствия»).

Но всего более забот и усилий Державин затратил на постановку учебного дела. Два рассадника просвещения существовали в Тамбове: духовная семинария — для детей духовенства, а для всех прочих сословий — гарнизонная школа, выпускавшая круглых неучей. Открытие училища было давно предположено правительством; существовала лачуга, для того предназначенная; существовал даже гар-
низонный школьник Севастьян Петров, уже два года полу-
чавший пособие в качестве будущего преподавателя. Но дальше этого дело не двигалось. Державин быстро добился

того, что четырехклассное училище, с обширной и по тому времени хорошо составленной программой, было открыто; для него куплен дом и выписаны учебные пособия: книги, тетради, прописи, ландкарты, аспидные доски, грифели, карандаши, даже физические приборы. Подысканы были учителя. (Петрова, по проверке его познаний, пришлось зачислить учеником, а не учителем). Наконец, кроме губернского училища, были открыты еще и уездные — в Козлове, Либедяни, Шацке, Елатье и Моршанске.

Высшее общество тамбовское не чуждалось просвещения, хотя, разумеется, Простаковы и в нем преобладали над Стародумами. Державины завели знакомства и зажили на широкую ногу. Их дом, обставленный новой сафьянной мебелью, фортепьянами, бильярдом, стал в Тамбове самым блистательным. В нем устраивались приемы, балы и обеды с симфонической музыкой (в городе нашлись два крепостных оркестра). Из Малороссии целыми пудами Державиным слали варенья и конфеты, из Петербурга — партии вин. 28 июня 1786 г., в день восшествия на престол и по случаю приезда наместника, был устроен праздник. Сперва шло сочиненное Державиным аллегорическое представление — род искусства, ныне забытый и нам уже непонятный; люди XVIII столетия умели в нем находить пищу не только для глаз, но и для ума. Сцена собою представляла храм, являлись разные лучезарные Фебы и Гении, были гирлянды, шествия, юноши с венками и девы с цветочными кошицами — все совершенно так, как в древних Афинах. Представление было разыграно местною благородною молодежью и закончилось балом с иллюминацией. Отсюда пошло начало театра, устроенного Державиным в губернаторском доме. Под руководством Екатерины Яковлевны девицы из общества шили и расписывали костюмы, разучивали свои роли. Ставились французские оперы и комедии, также трагедии Сумарокова, «Недоросль». Спектакли имели такой успех, что спустя год Державин приступил к постройке особого здания для театра. По воскресениям у губернатора были танцевальные вечера, по четвергам — концерты. Сверх того для детей два раза в неделю происходил танцкласс: выписан был танцмейстер.

Приятно распределяя время между трудами и удовольствиями, Державины благоденствовали. Несколько огорчала их только разлука с бывшими друзьями. Вспоминались далекие дни петербургского поэтического содружества. Львов по-прежнему жил в столице; добрый, бедный Хем-

ницер тому назад года два умер, то ли от лихорадки, то ли от меланхолии, в чужой, далекой Смирне, куда послан был генеральным консулом (это место выхлопотал ему счастливый Львов); Капнист давно бросил службу, жил в своей Малороссии, на живописных берегах Псла, мечтал, хозяйничал и рожал детей со своею Сашенькой. Екатерина Яковлевна писала им: «Милые наши Копиньки. Давно мы уже об вас ничего не знаем, а сами в Тамбове проживаем веселым-веселехонько. Кабы да вы к нам приехали: теперь близехонько; то-то бы навеселились — не Петрозаводску чета; если нельзя вместе с Александрой Алексеевной, то хотя бы один приехал. Апропо, вспомнила я, что я к вам послала еще в декабре месяце прекрасную корзиночку своей работы и с нашими силуэтами, которые в ней были в медальонах... Утешь, батюшка, приезжай к нам ради Бога».

Петрозаводск неспроста здесь помянут: Державины не могли нарадоваться, что оттуда вырвались. Вот и теперь жена одного чиновника тамошнего писала Екатерине Яковлевне: «Не вытерплю, чтоб не сказать, что у нас вышло в самую в заутреню праздника. После торжественных выстрелов директорша в церкви прибила куличем и зажгла свечью штаб-лекаршу, и, вышед из церкви, ругала подлым образом и, по улице ехав, также ругала во всю мочь; причина же вины бедной и хворой штаб-лекарши та, что стала несколько впереди ее... Штаб-лекарь так огорчен, что хочет идти в отставку. Эта история получше медведя, так что у нас, матушка, страшно ездить и в церковь».

После Петрозаводска Тамбов мог и впрямь показаться вторыми А ф и н а м и, — однако же до поры до времени.

* * *

Подобно Тутолмину, Гудович был человек военный. Военные заслуги за ним и числились, гражданских же не было, но, в отличие от Тутолмина, Гудович за ними не гнался. Этому роду деятельности придавал он не много значения и, очутившись во главе наместничества, объединявшего Рязанскую и Тамбовскую губернии, не то, чтобы вовсе ничего не делал, но старался делать как можно меньше. Представляя Державину свободу действий, он ничем не жертвовал; напротив, ему именно нужен был такой губернатор, на которого без опаски можно свалить работу. Отсюда и возникло то взаимное удовольствие, коим ознаменована первая половина державинского пребывания в Тамбове. Представляя Державина к ордену, наместник свидетель-

ствовал, что Державин «всю губернию привел в порядок». И это была правда. Державин со своей стороны называл Гудовича благорасположенным, справедливым и честным начальником.

Гудович не испытывал того сладострастия власти, которое обуревало Тутолмина; однако же, как все тогдашние администраторы, и он порою не мог устоять против искушения: радости самодурства были ведомы и ему, хотя, может быть, даже менее, чем другим. К закону он относился вполне терпимо и даже доброжелательно. По тем временам один Державин мог требовать большего.

Но, не пылая рвением к службе и охотно вверяя бразды правления другим (в том числе Державину), он легко поддавался влияниям. А так как из влиятельных лиц не все хотели, подобно Державину, сиять добродетелью, то в Тамбовской губернии можно было обманывать казну, как во всякой другой. Постепенно Державин в том убедился.

Когда он приехал из Петрозаводска в Петербург и стал просить нового губернаторства, за него, при посредстве Львова, хлопотали очень сильные люди: гр. А. Р. Воронцов, Безбородко (теперь тоже уже граф), тогдашний фаворит Ермолов и отчасти даже Потемкин. При таких покровителях можно было добиться и не того. Екатерина согласилась. Державин по простодушию своему увидел в ее согласии знак нарочитого одобрения и доверия. Это еще более придало ему стойкости (иль упрямства).

Тамбовский купец Бородин был плут. С помощью вице-губернатора Ушакова и генерал-губернаторского секретаря Лабы он сперва обманул казну при поставке кирпича, а потом получил винный откуп на таких условиях, что казне предстояли убытки в полмиллиона рублей. Державин тщетно указывал Гудовичу на бородинские плутни: зная или не зная истинную подоплеку дела, Гудович во всяком случае стал на сторону своих «приближенных». Вскоре узналось, что путем ложного банкротства Бородин собирается учинить новое мошенничество. Не надеясь на силу доводов и боясь упустить время, Державин в обеспечение казенного интереса собственной властью наложил арест на бородинское имущество. Покрывая Бородина, Ушаков склонил Гудовича жаловаться в Сенат. В Сенате Вяземский рад был насолить давнему недругу, и на местническое правление (т. е. на Державина) был наложен штраф в 17 000 рублей.

Не успело кончиться это дело, как возникло еще одно. В августе 1787 года Турция объявила войну России. Главно-

командующий Потемкин прислал в Тамбовскую губернию своего комиссионера Гарденина — закупать провиант. Казенная палата должна была снабдить комиссионера деньгами, но Ушаков, в ведении которого она состояла, в выдаче сумм отказал, имея в том свою выгоду. Этот отказ грозил снабжению армии замедлением, а казне убытками. Гарденин обратился за помощью к Державину, из чего и поднялась буря. Подробности этой истории чрезвычайно сложны. Суть в том, что Державин, видя незаконные приемы Ушакова, не удержался и сам отчасти прибег к тому же оружию. Будучи по существу прав, но по форме бессилен перед увертливым противником, он кое в чем позволил себе нарушить канцелярский обряд и даже, быть может, несколько превысил свою власть. Этим тотчас воспользовались. Гудович, по обычаю покрывая вице-губернатора и будучи лично задет властными действиями Державина, уже 7 апреля 1788 г. писал Воронцову и просил «развода» с Державиным, яко причиняющим «беспокойство в делах и замешательство вместо должной по службе помощи». (Свою недавнюю аттестацию он уже забыл). Соответствующие рапорты были посланы и в Сенат. 22 июня Сенат объявил Державину выговор.

С этих пор провиантское дело отошло как бы на задний план, и началась просто борьба между губернатором и наместником. Обе стороны искали изобличить друг друга в упущениях и проступках. Все канцелярии были пущены в ход, и, как прежде в Петрозаводске, в борьбу оказались вовлечены многие лица и учреждения. Город разделился на два лагеря — преобладали сторонники Гудовича и Ушакова. С тех пор, как положение Державина пошатнулось, его хлебосольство было забыто, вместе с театрами и концертами. Глазам тамбовского общества губернатор представился странным, беспокойным, а может быть и опасным человеком, который во всем берет сторону бедных против богатых, заботится о колодниках и умалишенных, а с начальством ссорится. Державиных стали травить. Некая госпожа Чичерина, встретив Екатерину Яковлевну в гостях у помещика Арапова, наговорила ей колкостей. Отвечая ей, Екатерина Яковлевна сделала неловкое движение и нечаянно задела противницу опухалом. На другой день весь Тамбов говорил о побоях, нанесенных губернаторшею почтенной даме. Поднялся такой шум, что предания об этой истории не умирали в Тамбове сто лет без малого. Ушаков, Лаба и еще кое-кто из чиновников подстрекнули Чичериных жа-

ловаться императрице. Жалобу сочиняли впятером, просидев над ней целый вечер.

Гудович тем временем продолжал наступление на Державина. Нельзя отрицать, что последний, обороняясь, действовал заносчиво и давал поводы к новым обвинениям. Петербургские друзья, которым дело было виднее, предупреджали его, но он стоял на своем, видя в борьбе с Гудовичем исполнение своего долга и по обычаю уповая на конечную справедливость Екатерины. В одном из тогдашних писем он говорит: «Иногда не безнужно иметь и врагов, чтобы лучше не сбиваться с пути законов». В ту пору написал он на смерть старой графини Румянцевой оду, которую закончил такими словами:

Меня ж ничто вредить не может:
Я злобу твердостью сотру;
Моих врагов червь кости сгложет,
А я пиит — и не умру.

Как пиит он и остался бессмертен. Но как губернатора дни его были сочтены. На основании рапортов Гудовича и под давлением Вяземского Сенат представил императрице «мнение» об отрешении Державина от должности и о предании суду. Доклад еще не был утвержден, когда весть о нем дошла до Тамбова. Положение Державина стало невыносимым. Он был, по собственному выражению, «загнан и презрен» всем городом. Одно слово императрицы могло бы изменить его положение. Он просил дозволения приехать в столицу — ему было приказано «проситься по команде», т. е. через наместника. Гудович, конечно, не выпустил его из Тамбова. 18 декабря роковой доклад был подтвержден. Губернаторство кончилось.

* * *

В ста пятидесяти верстах от Тамбова, на берегу Хопра, лежало красивое и богатое поместье по имени Зубриловка. Державины там не раз гостили у радушных и гостеприимных хозяев — князя и княгини Голицыных. Осенью 1788 года кн. Сергей Федорович находился в армии, осаждавшей Очаков. От него долго не было вестей, княгиня тревожилась, и Державин, как ни поглощен был своими делами, послал ей в ободрение стихи: «Осень во время осады Очакова». Они не принадлежат к его лучшим созданиям; их видимое воодушевление таит следы принужденности: Державину было не до стихов.

При отрешении от должности с него взяли подписку о безвыездном пребывании в Москве впредь до окончания дела, которого рассмотрение было поручено московскому Сенату. Покинув Тамбов в самом начале 1789 г., Державин направился в Москву, но наперед заехал в Зубриловку и там оставил жену. Разлука в столь горестную минуту была тяжела для обоих, но она имела свои основания.

Предстоящий суд очень страшил Державина. В конечном счете он почитал себя правым (да и был прав), но за ним имелись кое-какие вины — следствия раздражения и горячности. Придаться было к чему, а кроме того он понимал, что приговор суда зависит не от одной правды, но еще более от того, чье влияние пересилит в Петербурге.

Главный сыр-бор разгорелся из-за потемкинского коммиссионера. Естественно было Державину искать защиты у того же Потемкина, к которому он и обращался по этому поводу еще до отрешения от должности. Перед лицом Потемкина было у него несколько ходатаев: во-первых — Попов, потемкинский делопроизводитель и наперсник, с которым Державин давно был в хороших отношениях; во-вторых — тот самый Грибовский, которого спас он в Петрозаводске: Грибовский теперь состоял при светлейшем и рад был помочь своему благодетелю. Были еще и другие пути, но особливые надежды возлагались на кн. Голицыну: она приходилась Потемкину родною племянницей. Вот и жила теперь у нее Екатерина Яковлевна — соломенную вдовою и как бы живым напоминанием о деле. Впрочем, княгиня, женщина несколько экспансивная, старалась и без того, даже сверх всякой меры, так что однажды чуть было не повредила Державину. К Пленуре она была чрезвычайно ласкова, но та мучилась и томилась: все думалось ей, что Державин в Москве не довольно усердствует по своим делам. «Не знаю, куда ты едешь, — писала она, — где что с тобою приключалось; я думаю, что не грешно было бы каждый вечер прибавить строчку или две твоего похождения; я бы была как будто не розно с тобою, но теперь очень чувствую мое уединение... Я думаю, что ты ленишься своими выездами, мой друг: теперь надо быть не лениву и стараться быть тут, где тебе нужно... Я не живу праздно у княгини и прилежание мое за шитьем беспредельно, ибо я, работая, размышляю о тебе и не вижу, как от того поспешно идет моя работа; я почти вышила уже камзол князю Сергею Федоровичу, который кажется очень хорош вышился... Княгинин курьер еще не бывал от светлейшего; она его ждет с нетер-

пеливостью, так как и я, верный твой друг, твоих писем и твоей к себе доверенности, и чтобы ты отнял у меня право тебе пенять. Сего желает твоя Катюха».

Потемкин пообещал сделать все возможное, но лишь когда вернется из армии. Поэтому Державин старался в Москве оттянуть дело. Меж тем, кн. Голицына, взяв с собою Екатерину Яковлевну, отправилась в Петербург. Потемкин приехал туда в феврале. Просьбами о Державине ему прожужжали уши, но был слух, что он скоро опять уедет в армию. Теперь уже приходилось торопить дело, чтобы враги не воспользовались отсутствием светлейшего. Наконец, 16 апреля суд начался, а 31 мая закончился. Видно, Потемкин сдержал обещание — Державин был по всем пунктам оправдан.

Гроза миновалась. Теперь было самое время Державину поразмыслить, можно ль и должно ль ему пытаться служить и словом, и делом. Иногда он хотел бросить службу. Задумывался даже о том, уместен ли он вообще среди того общества, которому судьба обрекла его. Недаром он год спустя писал государыне: «Ежели бы не царствовала Екатерина Вторая, прозорливостию своею в свете несравненная, которая меня спасает и животворит и на которую я одну всю мою надежду возлагаю, то, как Богу, Вашему Императорскому Величеству исповедую, что должен бы я давно оставить мое отечество».

VI

Екатерина смотрела на вещи трезво. За поэзией Державина она еще могла допустить какие-то высшие побуждения, но за службой, конечно, нет. «Несравненная прозорливостию» немало бы удивилась, если бы вдруг ей сказали, что служба Державина вдохновлена тою же мыслию, что и поэзия. Еще более она была бы изумлена, когда бы узнала, что, буйствуя в службе, Державин своею союзницей почитает ее — добродетельную монархиню, провозгласительницу Наказа. Об этих буйствах императрица была наслышана. Их вдохновительницей почитала она — такова насмешка судьбы — не кого иного, как Матрену Дмитриевну Бастидонову! Подписывая сенатский указ и предавая Державина суду, Екатерина сказала:

— Он стихотворец, и легко его воображение может быть управляемо женою, коей мать злобна и ни к чему не годна.

Она, впрочем, была довольна, когда суд оправдал Державина. По этому случаю перечла «Фелицу» и велела сказать Державину, что «ее величеству трудно обвинять автора оды к Фелице»:

— *Cela le consolera*¹.

И кроме того:

— *On peut lui trouver une place*².

Утвердив приговор, она приказала гофмаршалу представить Державина. Тот явился в Царское. Екатерина дала ему поцеловать руку и с улыбкой сказала присутствующим:

— Это мой собственный автор, которого притесняли.

Такие фразы предназначены передаваться из уст в уста. Все были восхищены, но и *притеснители* не могли пожаловаться: они не услышали ни одного упрека и сохранили места свои, а Державин как был отстранен от должности, так и остался. Правда, придворные политики предсказывали ему «нечто хорошее», но он не очень надеялся. На сердце у него было смутно. «Возвращаясь в Петербург, размышлял он сам в себе, что он такое — виноват или не виноват? в службе или не в службе?» Ему перестали выплачивать жалование: дело не в деньгах, но это был худой знак. Больше всего его мучило, что сенатский приговор касался почти только его служебных сношений с Гудовичем, он же «хотел доказать императрице и государству, что он способен к делам, неповинен руками, чист сердцем и верен в возложенных на него должностях». Поэтому он решил просить особой аудиенции по делам Тамбовской губернии.

Александр Васильевич Храповицкий делал карьер свой умно и спокойно. Теперь он уже состоял при императрице «по собственным ее делам и у принятия прошений». Каждый вечер, кратко, но дельно записывал он в дневнике, чему был свидетель в минувший день. 1 августа, в среду, в 9 часов утра Державин приехал в Царское. Под мышкою нес он огромную переплетенную книгу — всю переписку с Гудовичем и другие бумаги. Храповицкий провел его в Лионскую залу. Здесь оробел Державин и рассудил за благо оставить на столе свою книгу. Затем камердинер ввел его в Китайскую комнату.

Государыня дала ему руку. Поцеловав, благодарил он за правосудие и просил дозволения изъясниться по делам гу-

¹ Это его утешит (*фр.*).

² Можно найти ему место (*фр.*).

бернии. Она спросила, почему этих объяснений он не представил Сенату.

— Было бы против законов: о том меня не спрашивали.

— Для чего же ты прежде о том мне не писал?

— Я писал; мне объявлено генерал-прокурором, чтобы я просился чрез генерал-губернатора, а как он мне неприятель, то не мог сего сделать.

— Но не имеете ли в нраве вашем чего-нибудь строптивного, что ни с кем не уживаетесь?

— Я служил с самого простого солдатства и потому, знать, умел повиноваться, когда дошел до такого чина.

— Но для чего, — подхватила императрица, — не поладили вы с Тутолминым?

— Он издал свои законы, а я присягал исполнять только ваши.

— Для чего же не ужился с Вяземским?

— Государыня! Вам известно, что я написал оду Фелице. Его сиятельству она не понравилась. Он зачал насмеяться надо мною явно, ругать и гнать, придирается ко всякой безделице; то я ничего другого не сделал, как просил о увольнении из службы и по милости вашей отставлен.

— А для чего же не поладил с Гудовичем?

— Интерес Вашего Величества, о чем я беру дерзновение объяснить Вашему Величеству, и ежели угодно, то сейчас представлю целую книгу, которую я оставил там.

Тут он собрался отправиться в соседнюю комнату, но Екатерина остановила его.

— Хорошо, после.

Он догадался подать ей краткую записку по делам Тамбовской губернии. Она его отпустила, вновь пожаловав руку и пообещав дать место.

Вечером Храповицкий записал в дневнике: «Провел Державина в Китайскую и ждал в Лионской». И далее — слова императрицы: «Я ему сказала, что чин чина почитает. В третьем месте не мог ужиться; надобно искать причину в самом себе. Он горячился и при мне. Пусть пишет стихи. *Il ne doit pas être trop content de ma conversation*¹».

¹ Он не должен быть чересчур доволен беседой со мной (*фр.*).

Ласкательство, лживая лесть, низменное потворство считались предосудительными. Но искать *покровительства*, не прибегая к ласкательству, было в порядке вещей. Никакого стыда в том не видели. Когда при дворе появлялся новый любимец, искать его покровительства было даже выражением некоей благонамеренности.

Державин по воскресениям ездил на выходы во дворец. «Но как не было у него никакого предстателя, который бы напомнил императрице об обещанном месте, то и стал он как бы забвенным. В таком случае не оставалось ему ничего другого делать, как искать входу к любимцу Государыни... В то время, по отставке Мамонова, вступил на его место молодой конной гвардии офицер Платон Александрович Зубов... Как трудно достигнуть до фаворита! Сколько ни заходил к нему в комнаты, всегда придворные лакеи, бывшие у него на дежурстве, отказывали, сказывая, что он или почивает, или ушел прогуливаться, или у Императрицы... Не оставалось другого средства, как прибегнуть к своему таланту». Державин не стал писать оды в честь Зубова; но мог, не кривя душой, написать «Изображение Фелицы». Через Эмина, бывшего спутника по олонеким путешествиям, ода была вручена Зубову, тот, конечно, показал ее государыне, а государыня, «прочетши оную, приказала любимцу своему на другой день пригласить автора к нему ужинать и всегда принимать его в свою беседу». Общество Державина она, очевидно, считала полезным для маленького чернобрового шалуна; она вообще заботилась об образовании своих любимцев: читала с Ланским Альгаротти, с Зубовым Плутарха... Но дело не в том: выходило, что легче найти дорогу через императрицу к Зубову, нежели через Зубова к императрице. Таков был странный круг отношений. Знакомство, как бы то ни было, завязалось. Но время шло, а места, которого ждал Державин, все не было.

Поэтические досуги, о которых мечтал он, отправляясь в Олонецкую губернию, не состоялись. Все эти годы он почти не писал — во всяком случае не создал ничего замечательного. Зато теперь выходило досуга больше, чем он хотел бы. Постепенно он занялся стихами, и таково было его поэтическое здоровье, что, несмотря на все потрясения, он, как ни в чем не бывало, вернулся к «Видению мурзы», на котором остановился шесть лет назад. Теперь оно было закончено; для него вновь обрел он замысловатый лад и крепкий задор тех счастливых дней, когда табакерка Фелицы еще

не лежала в закладе; что же до пылкого поклонения Ека-
терине — оно устояло против всех испытаний:

Как солнце, как луну поставлю
Твой образ будущим векам;
Превознесу тебя, прославлю,
Тобой бессмертен буду сам.

Можно было бы ожидать, что за годы, потерянные на губернаторстве, слава его убудет. Но она возросла. Его читали и перечитывали. В его поэзии, начиная с Читалагайских од, открывали новшества и достоинства, не оцененные ранее. Теперь, к сорока семи годам, он очутился если не вожаком, то знаменем новой литературы. Шум, происшедший вокруг его имени, тяжкая опала и внезапное возвышение («это мой собственный автор») — все это подогревало общее к нему любопытство. Его дом вновь наполнился. Помимо анакреонтического Львова, помимо порой приезжавшего из деревни Капниста (с неизменным Горацием на устах и в кармане), явились тут и маститые авторы, сверстники Державина, уже пережившие свою славу: мечтательный, томный и как бы совсем невесомый Богданович (творец «Душеньки» писал теперь скучные комедии вперемешку с нежною, но поверхностной лирикой); обрюзглый Фонвизин, полуразбитый параличом и раздавленный немилостию императрицы. Были и литераторы, только еще подающие надежду: Иван Семенович Захаров, один из многочисленных переводчиков неизбежной «Телемахиды», уже, впрочем, не юноша; Алексей Николаевич Оленин, крошечный человечек с огромным горбатым носом, истинный кладезь всевозможных познаний, особенно в языках. Был и Дмитрий Иванович Хвостов, плодовитейший стихотворец (впрочем, надежд он как будто не подавал).

Однажды утром Державин, в атласном голубом халате и в колпаке (у него стали сильно лезть волосы) что-то писал у себя в кабинете, стоя перед высоким налоем; Пленира, в утреннем белом платье, сидела в кресле посреди комнаты; парикмахер ее завивал. В сей неурочный час явился представиться знаменитому певцу высокий и сухощавый семеновский офицер; то был двадцатидевятилетний поэт Иван Иванович Дмитриев, родом из-под Симбирска; он робел и косил глаза на конец длинного, тонкого своего носа. Поговорив о словесности, о войне, он хотел откланяться. Хозяева стали его унимать к обеду. После кофья он опять поднялся, но еще был упрощен до ч а я , — а потом в две недели

стал своим человеком в доме. Имел он суждение здравое, разговор острый, стих легкий.

Спустя несколько месяцев, в сентябре 1790 года *, он просил дозволения привести к обеду своего земляка и друга, который ненадолго в Петербурге — проездом в Москву из чужих краев — и будучи литератор, хотел бы свидетельствовать Гавриле Романовичу свое почтение. Литератор был зван к обеду. В тот день у Державиных обедал также петербургский вице-губернатор Новосильцев с женою. Новый знакомый, почти еще юноша, одетый во фрак по последней моде, сделал на всех отличное впечатление. По имени-отчеству звали его Николай Михайлович, по фамилии — Карамзин. Сидя за столом подле Екатерины Яковлевны, он рассказывал о недавно виденных странах — особенно о Париже. В его разговоре были приятно смешаны важное и забавное, ум и чувствительность. Он говорил о парижских театрах, для коих не находил довольно похвал; о физиогномии Мармонтеля; об уличных цветочницах; о прекрасной Версалии, о сельских красотах Трианона; об академиях и о том, что вино в деревеньке Auteuil, некогда славное, ныне уж никуда не годится; о том, что в придворной церкви он видел короля и королеву (король был в фиолетовом кафтане; королева подобна розе, на которую веют холодные ветры); дофина видел он в Тюльери — младенец прыгал и веселился, прекрасная Ламбаль вела его за руку; после 14 июля во Франции все твердят об аристократах и демократах, о нации; революция была неизбежна, еще Рабле предсказал ее в LVIII главе «Gargantua»; земля освободится от сего бедствия не иначе, как упившись кровью...

Но тут рассказчику показалось, что молодая и прекрасная хозяйка коснулась ногою его ноги. Потом еще и еще, сомнения быть не могло. Не смея себе изъяснить сие чрезвычайное обстоятельство, он смешался, красноречие его покинуло... После стола хозяйка отвела его в сторону и объяснила, что госпожа Новосильцева — племянница Марьи Саввишны Перекусихиной **, и неосторожные речи молодого путешественника нынче же могут дойти до императрицы.

В Москве Карамзин тотчас приступил к изданию журнала. Объявляя о том в «Московских Ведомостях», он писал: «Первый наш поэт — нужно ли именовать его? — обещал украшать листы мои плодами вдохновенной своей Музы. Кто не узнает певца мудрой Фелицы? Я получил от него некоторые новые песни» и проч.

С мечтой о победе над Турцией Потемкин связывал замыслы титанические. Победа однако же не давалась, и затянувшаяся война становилась крайне обременительна. Екатерина писала «любезному другу» ласковые письма, но до него уже доходили дурные вести о происшедшей перемене в расположении государыни, о фаворе Зубова. 11 декабря 1790 года Суворов взял Измаил и вскоре уехал в Петербург, где, «как человек со слабостями, из честолюбия ли, из зависти, или из истинной ревности к благу отечества, но только приметно было, что шел тайно против неискусного своего фельдмаршала». Дочь Суворова была кстати замужем за братом нового фаворита. Для Потемкина дело шло не только о личном его фаворе. На карте стояла вся европейская политика России, а с нею — либо головокружительное завершение, либо бессмысленное крушение всех его замыслов, в которых эгоизм государственный давно сросся с личным. Мучимый подозрениями, Потемкин рвался в столицу, но Екатерина удерживала его при армии. Видя, наконец, что и взятием Измаила сопротивление турок еще не сломлено и что впереди предстоит новая кампания, 28 февраля он прискакал в Петербург.

Уезжая из армии, он сказал, что нездоров и едет в Петербург *зубы дергать*. Но *зубы* сидели крепко. Потемкин вскоре увидел, что петербургское поражение может перевесить измаильскую победу. На скорую отставку Зубова надежды не было. В пору было стараться о том, чтобы сохранить собственное положение и выиграть время. С болью в душе побежденный стал играть роль триумфатора — что могло быть тяжелее для его гордости? В честь государыни он решил дать небывалый праздник, чтобы обществу, двору, ей самой, всей Европе и, может быть, самому себе внушить мысль, будто все остается по-прежнему; чтобы изумить Екатерину беспредельной приверженностью; чтобы напомнить ей об их *общей* славе; чтобы — как знать? — может быть, вернуть себе ее сердце.

К 28 апреля вся местность поблизости от Конногвардейских казарм изменила свой вид. Недостроенный дом князя Таврического был достроен со сказочной быстротой. Тысячи работников, художников, обойщиков трудились денно и нощно. Позади дома разбили сад с расчисленными холмами, храмами, павильонами; «прямым путем протекавшей речке дали течение извилистое и вынудили из нее низвергающийся

водопад, который упал в мраморный водоем» *. Построены мосты из железа и мрамора, поставлены истуканы. Деревянные строения перед дворцом снесены. На возникшей площади выстроены качели, расставлены столы с угощением для народа, кадки с медом, квасом и сбитнем; построены лавки торговые, из которых назначено было раздавать подарки: платья, кафтаны, кушаки, шляпы, сапоги, лапти, а также снедь, вареную и невареную.

С трех часов дня стали съезжаться гости. Раздача подарков должна была начаться в пять, по прибытии государыни. Уже приехал наследник с супругой и малым двором, но и к семи часам государыни еще не было. Народ, собравшийся здесь с утра и продрогший (погода была ненастная), начал терять терпение. Вдруг, как бывает в подобных случаях, произошло какое-то замешательство. Задние ряды понаперли, толпа с криком ура ринулась к выставленным подаркам, и во мгновение ока все было растаскано. Полицейские и казаки бросились разгонять народ. Многие были ушиблены и помяты в давке. В разгар побоища прибыла государыня. Карета ее была вынуждена остановиться в отдалении. Высунувшись в окно, Екатерина подозвала обер-полицмейстера Рылеева:

— В этом прекрасном порядке, — сказала она, — я совершенно узнаю вас.

— Радуюсь, что имел счастье заслужить удовольствие Вашего Императорского Величества, — отвечал Рылеев.

Павел Петрович с женою встретили государыню на крыльце. Потемкин принял ее из кареты. На нем был малиновый бархатный фрак и черный кружевной плащ. Пуговицы, каблучки, пряжки сверкали бриллиантами. «Шляпа его была оными столько обременена, что трудно стало ему держать оную в руке. Один из адъютантов его должен был сию шляпу за ним носить». Праздник начался. История России не знает ему подобного. Сам Державин был привлечен к его изображению и сочинил хоры.

Три тысячи гостей (одного лишь Суворова не было в их числе) размещены были в пышных ложах колонного зала, озаренного шестью тысячами свеч. Императрица вошла. Восемилетний мальчик Васенька Жуковский **, побочный сын тульского помещика и пленной турчанки, на всю жизнь запомнил минуту, когда хор из трехсот музыкантов и голосов при громе литавр впервые грянул:

Гром победы, раздавайся!
Веселися, храбрый Росс!

Звучной славой украшайся:
Магомета ты потрес.
Славься сим, Екатерина,
Славься, нежная к нам мать!
Воды быстрыя Дуная
Уж в руках теперь у нас;
Храбрость Россов почитая,
Тавр под нами и Кавказ.
Славься сим, Екатерина,
Славься, нежная к нам мать!..

Этот хор сопутствовал появлению первой кадрили, розовой, составленной из двенадцати пар знатнейшей петербургской молодежи. Великий князь Александр Павлович вел ее. За розовой, предводимая Константином, шла голубая под звуки второго хора:

В лаврах мы теперь ликуем,
Исторженных у врагов;
Вам, Россиянки, даруем
Храбрых наших плод боев.
Разделяйте с нами славу;
Честь, утехи и забаву
Разделяйте; ободряйте
И вперед к победам нас;
Жар в сердца вы нам вливайте:
Ваш над нами силен глас;
За один ваш взгляд любви
Лить мы рады токи крови...

Кадрили, соединяясь, протанцевали балет — сочинение знаменитого Пика, который и сам при сем случае «отличил себя солом». Затем хозяин повел государыню в другой зал, куда последовала и часть гостей — сколько позволяло пространство. Здесь, после пантомимы и хора, вновь славившего Екатерину, представлены были две французские комедии. Представление было нарочно замедлено, и тем временем зал колонный преобразился. Вернувшись в него, Екатерина спросила: «Неужели мы там, где прежде были?» В зале и в примыкающих покоях горело сто сорок тысяч цветных лампад и двадцать тысяч восковых свеч. «Тут играет яркий и живой луч, и как бы зноем африканского лета притупляются взоры. Там, как бы в пасмурный день, разливается блеск тонкий и умеренный... Окна окружены звездами. Горящие полосы звезд по высоте стен простираются. Рубины, изумруды, яхонты, топазы блещут. Разноогненные, с

живыми цветами и зеленью переплетенные венцы и цепи висят между столпами; тенистые радуги бегают по пространству... В одном покое «любящие музыку, пение и пляску найдут себе место для увеселения». В другом «пленившиеся живописью могут заниматься творениями Рафаэля, Гвидо-Рени и иных славнейших художников вся Италия... Там азиатской пышности мягкие софы и диваны манят к сладкой неге; здесь европейские драгоценные ковры и ткани внимание на себя обращают. Там уединенные покои тишиною своею призывают в себя людей государственных беседовать о делах». Императрица вошла в зимний сад, где не слышно музыки, где под густыми ветвями в тихих водах плавают золотые и серебряные рыбы, а в темной зелени поют соловьи. На дорожках сада и на дерновых холмиках высятся постаменты, украшенные мраморными вазами и фигурами Гениев. Местами раскинуты небольшие лесочки; их окружают решетки, увитые розами и жасмином. Огромные зеркала, искусно расставленные среди зелени, повторяют сад во множестве раз и уводят взор в ложные отдаления. Посреди сада возвышается храм; восемь колонн из белого мрамора поддерживают его купол; серые мраморные ступени ведут к жертвеннику, служащему подножием статуи, изображающей государыню в царской мантии, с рогом изобилия. Потемкин бросается на колени пред алтарем и изображением своей благодетельницы. Екатерина сама его поднимает и целует в лоб.

Стемнело. На дворе идет мелкий дождь, но все вокруг дома сияет иллюминацией. Народ толпится. На прудах плавают флотилии, разукрашенные фонарями и флагами. С них раздается песня гребцов и роговая музыка. Во дворце государыня, отдыхая, играет в карты с великой княгиней, а в большой зале гости танцуют. Меж тем, по данному от хозяина знаку, театр уничтожен. На месте его и в других покоях накрыты столы. «Где были театральное действие и зрители, там через несколько минут открылись горы серебра с разным кушаньем, вокруг с золотыми подсвечниками». Начался ужин. Стол государыни и наследника стоял на месте оркестра, прочие столы — амфитеатром вокруг него. Все гости сидели лицом к государыне. Потемкин стоял за креслом ее, пока она не велела ему сесть. «Казалось, что вся империя пришла со всем своим великолепием и изобилием на угощение своей владычицы и теснилась даже на высотах, чтоб насладиться ее лицезрением», — говорит Державин и продолжает стихами:

Богатая Сибирь, наклоншись над столами,
Рассыпала по ним и золото, и серебро;
Восточный, западный, седые океаны,
Трясяся челами, держали редких рыб;
Чернокудрявый лес и беловласы степи,
Украйна, Холмогор несли тельцов и дичь;
Венчанна класами, хлеб Волга подавала,
С плодами сладкими принес кошницу Тавр;
Рифей, нагнувшись, в топазны, аметистны
Лил кубки мед златый, древ искрометный сок,
И с Дона сладкия и крымски вкусны вина;
Прекрасная Нева, прияв от Бельта с рук
В фарфоре, кристале чужие питья, снеди,
Носила по гостям, как будто бы стыдясь,
Что потчевать должна так прихоть поневоле.
Обилье тучное всем простирало длань.

Хор гремит. Кончается ужин. Второй час ночи. Гости еще веселятся, но Екатерина отбывает. Карета ее отъезжает в сумрак. На крыльце, озаренный факелами, в алом фраке и черном плаще, Потемкин глядит ей вослед, воздев руки к небу.

* * *

К началу июня было готово описание праздника, составленное Державиным в стихах и прозе (была мода печатать подобные описания отдельными книжками). Державин явился в Летний дворец к Потемкину. Князь принял его как нельзя любезнее, просил остаться к обеду, а сам, взяв тетрадь, довольно объемистую, погрузился в чтение. Державин тем временем пошел в канцелярию — побеседовать с давним другом своим Поповым. Внезапно Потемкин «с фурией выскочил из своей спальни, приказал подать коляску и, не смотря на шедшую бурю, гром и молнию, ускакал Бог знает куда. Все пришли в смятение, столы разобрали — и обед исчез». Долго потом Державин с Дмитриевым ломали головы, отгадывая, что могло оскорбить Потемкина. Все их предположения были неосновательны; в державинском описании нет никаких неловкостей, ни тем паче обид Потемкину. Случись то или другое — на неловкости он указал бы автору, не приходя в бешенство, а прямым обид никогда не простил бы. Он же, напротив, спустя несколько дней, сам старался заглазить обиду, нанесенную им Державину.

Причина вспышки была иная. Праздник не достиг цели и тем самым превратился для Потемкина в лишнее униже-

ние. Державин невольно ему напомнил об этом. Разница между торжествующим и счастливым Потемкиным, представленным в описании, и тем глубоко несчастным, который его читал, была нестерпима. Он не вынес и не сдержался, потому что вообще давно отвык сдерживаться, «Князю при дворе тогда очень было плохо», — говорит сам Державин. Зубов усиливался. Репнин, с согласия императрицы, вел с турками переговоры о мире, который должен был положить конец всем потемкинским замыслам. Потемкин метался. В те дни причудам и странностям его не было меры. При встрече народ кланялся ему с благоговением. На гуляньях он являлся, окруженный пленными генералами, офицерами и пашами. Но он знал, что подо всем этим — бездна, конец. Он пьянствовал и не находил себе места. Иногда, вырвавшись из дому, носился по городу, заезжал к малознакомым женщинам, ища утехи; открывал душу пред кем попало; слушателям казалось, что он бормочет нелепицу и сходит с ума. Потом силы его покинули — он изумлял окружающих необычайною кротостью, но ехать к армии все еще не решался: знал, что враги без него восторжествуют окончательно. Императрица сама, наконец, явилась к нему и велела ехать (ни друзья, ни враги не брали на себя передать сие повеление). 24 июля он выехал в Яссы. Там горячка и горе его терзали. 4 октября Попов написал под его диктовку: «Матушка, всемилостивейшая государыня! Нет сил более переносить мне мучения; одно спасение остается оставить сей город, и я велел себя везти к Николаеву. Не знаю, что будет со мною. Вернейший и благодарнейший подданный». Внизу он сам приписал нетвердым почерком: «Одно спасение уехать». На другой день, в полдень, между Яссами и Николаевом, остановил он коляску:

— Будет теперь, некуда ехать, я умираю, выньте меня из коляски, я хочу умереть на поле.

Его положили на траву, намочили голову спиртом. Зевнув раза три, он «так покойно умер, как будто свеча, которая вдруг погаснет без малейшего ветра». «Гусар, бывший за ним, положил на глаза его две денежки, чтоб они закрылись». Через неделю в Петербурге узнали о смерти Потемкина. Державин начал «Водопад».

Эту оду он писал долго, почти три года, составляя ее по частям. Может быть, она оттого несколько потеряла в стройности и в единстве тона, но, кажется, выиграла в широте. Опорною точкой для «Водопада» послужили примерно те же мысли и чувства, которыми некогда была подсказана

ода на смерть Мещерского. Державин сам подчеркнул эту связь в строфе, прямо намекающей на начало стихов о Мещерском:

Не зрим ли всякий день гробов,
Седин дряхлеющей вселенной?
Не слышим ли в бою часов
Глас смерти, двери скрип подземной?
Не упадет ли в сей зев
С престола царь и друг царев?

Но контраст, пленивший Державина, был на сей раз иного оттенка. Мало того, что Потемкин был вырван смертью из сказочного великолепия, пред которым богатства Мещерского — ничто: смерти Мещерского не предшествовала и не сопутствовала та личная трагедия, которой отмечена смерть Потемкина и на которую Державин мог только намекнуть — что, в свою очередь, придало его строфам тайную силу, которой они насквозь пропитаны:

Чей труп, как на распутьи мгла,
Лежит на темном лоне ночи?
Простое рубище чресла,
Два лепта покрывают очи,
Прижаты к холодной груди персты,
Уста безмолвствуют отверсты!

Чей одр — земля; кров — воздух синь;
Чертоги — вокруг пустынные виды?
Не ты ли, Счастья, Славы сын,
Великолепный князь Тавриды?
Не ты ли с высоты честей
Незапно пал среди степей?

Именно потому, что Мещерский был личностью мало-значашей, его смерть давала удобный повод для философствований о смерти вообще. Кончина Потемкина должна была повести вдохновение в сторону истории. За Потемкинским открывалась его эпоха, которая была в то же время эпохой Екатерины и самого Державина. Императрица, безжалостная к бывшему любимцу в последние месяцы его жизни, долго еще не могла без слез вспоминать о нем. То были не просто нервные слезы сентиментальной, но жестокой женщины. Вспоминая Потемкина, Екатерина оплакивала тот невозвратный государственный пафос, который связал ее с Потемкиным в славнейшие годы царствования. Что подделаешь — Зубову приходилось утирать эти слезы.

Точно так и Державин, не боясь Зубова, писал «Водопад». Вызывая призрак Потемкина, он в то же время обозревал собственное свое прошлое. Он начал с описания Кивача, олонецкого водопада, и в этом описании потаенно связал личную свою жизнь с предметом стихотворения. Далее, в сущности не покидая области воспоминаний, он обратился к тому, чем была оживлена его лира в потемкинскую эпоху. «Водопад» потому и писался частями, что Державин в нем произвел как бы смотр излюбленным своим темам: об игре случая; об олицетворенном в Екатерине государственном эгоизме России, в который все личные судьбы и подвиги впадают, как водопадные реки в озеро, и наконец — о всеобщем мире, в котором должны исчезнуть отдельные государственные эгоизмы. Неудивительно, что при замысле столь обширном Державин на сей раз двинул в бой и все лучшие силы своей поэтики. Словом, «Водопад» стал итогом пройденного пути. Недаром писался он с 1791 по 1794 год, в ту именно пору, когда екатерининская эпоха близилась к своему естественному концу и надвигался перелом в личной жизни самого Державина. Накануне этих событий суждено было разрешиться и тому недоумению, которое долгие годы управляло его судьбой. Екатерина и Державин встретились наконец лицом к лицу.

* * *

Общеизвестно стремление Екатерины к ограничению власти Сената. Во второй половине 1791 г. ей представился случай подчинить действия Сената ближайшему своему контролю. Обнаружилось, что 2-й департамент допускает перенос нерешенных дел из одной губернии в другую. Екатерине это показалось незаконно. Желая себя проверить, она поручила Зубову изучить вопрос. Неопытный в делах Зубов частным образом обратился за помощью к Державину, как не раз делал и прежде. Державин дал заключение, совпавшее со взглядом императрицы. Увидя из этого, что Державин не склонен отстаивать интересы Сената, императрица решила поручить ему просмотр всех сенатских меморий и составление особых замечаний о найденных нарушениях закона. Если бы во главе Сената по-прежнему стоял Вяземский, он, может быть, сумел бы предотвратить появление Державина в новой должности. Но Вяземский уже два года лежал в параличе; его заменял Колокольников, обер-прокурор того самого 2-го департамента, в котором открылись непорядки. Екатерина накричала на Колокольцева, тот

растерялся, и назначение Державина состоялось. Официально он был назначен таким же кабинетским секретарем, как Безбородко и Храповицкий. 13 декабря 1791 г. последовал высочайший указ Сенату: «Всемиловитейше повелеваем действительному статскому советнику Гавриилу Державину быть при нас у принятия прошений». По этому поводу было много шума. В иностранных газетах даже писали, будто Екатерина *отдала Сенат во власть Державину*. Это, конечно, был вздор. Властвовать над Сенатом она собиралась сама. Что же касается Державина, то выбор пал на него довольно случайно. Обратись Зубов к кому-нибудь другому — Екатерина взяла бы другого.

Таковы были обстоятельства, при которых певец Фелицы стал ее секретарем. Во дворце отвели ему комнату для занятий — рядом с комнатой Храповицкого.

В частной жизни Державин был прям, подчас грубоват (мужицкой, солдатскою грубостью), но добр, благодушен, особенно с людьми бедными или ниже его стоящими. Но лишь только дело касалось службы или того, что считал он гражданским долгом, — благодушие тотчас покидало его. Изредка он, пожалуй, и в службе мог быть снисходителен, но не иначе, как с подчиненными: Грибовского в свое время вынул он из петли. Зато чем выше стоял человек, тем взыскательней был Державин, тем менее соглашался ему прощать. К императрице он был беспощаден. От той, которая некогда, хоть неведомо для себя, была его первой наставницею в науке гражданских доблестей, он требовал совершенства.

На руках у Екатерины было огромное хозяйство, а за плечами — тридцатилетний государственный опыт. Круг забот у нее был не тот, что был у Державина, с его сенатскими мемориями да еще с некоторыми делами — по большей части не первой важности. Будучи точен, трудолюбив, исполнительен, он каждое дело изучал насквозь и вместо того, чтобы изложить только суть, каждый раз хотел все свои познания полностью передать государыне. Высокий, жилистый, узколицый, шагом солдатским, а не придворным проходил он по залам в ее причудливые покои. По делу иркутского наместника Якоби, обвиненного Сенатом, он явился докладывать с целой шеренгою гайдуков и лакеев, которые несли превеликие кипы бумаг. Екатерина с досадою приказала все это унести, но Державин не сдался: он заставил ее каждый день после обеда по два часа заниматься делом Якоби. В низких пуховых креслах (она любила та-

кие) Екатерина вязала или занималась плетением из бечевки. Он сидел перед ней на стуле и читал голосом ровным и бесстрастным, как сам закон. Если меж ними возникало противоречие, он делался несговорчив. Она теряла терпение и прогоняла его. На другой день, в положенный час, он являлся. Однажды, в зимний метельный день, она заперлась у себя и велела лакею Тюльпину передать Державину ее именем:

— Удивляюсь, как такая стужа вам гортань не захватит.

Державин понял намек, но не дал Фелице уклониться от долга: занятия продолжались. При начале Сутерландова дела (о нем речь еще впереди), императрица нашла у себя на столике связку бумаг в салфетке. Вспыхнув, она велела позвать Храповицкого и спросила, что за бумаги. Храповицкий сказал, что не знает, но принес их Державин.

— Державин! — вскричала она. — Так он меня еще хочет столько же мучить, как и якобиевским делом!

Гораздо прежде, нежели Державин впервые прочел Наказ (это собрание аксиом, способных разрушить стены, но насмешливому выражению Никиты Панина) — сама Екатерина успела уже отказаться от философических и неисполнимых мечтаний юности. Причины были неотразимые: если бы она упорствовала, то давно бы лишилась трона — примерно так, как упорный Державин дважды лишился своего губернаторства. Наказ был отложен в сторону вместе с прочими сувенирами, и Екатерина очень бывала довольна, когда кое-что из этих возвышенных замыслов удавалось осуществить хотя бы в урезанном виде: потому так любила она свое «Положение о губерниях». Отказавшись от *должного*, она научилась ограничиваться *возможным*, — и была права. Таким образом, она не сделалась идеальной монархиней: удовлетворялась тем, что стала великой. Теперь, к шестидесяти трем годам, это была в высшей степени умная женщина, тонко знающая жизнь и в совершенстве постигшая трудное ремесло государей. Прежде всего, она поняла, что нельзя царствовать в одиночестве — ей во всяком случае; потом, что корысть не последний двигатель даже и лучших государственных людей. Ваятель Шубин простодушно изобразил ее с рогом изобилия, из которого сыплются звезды и ордена. Так и было: она щедро сыпала на людей чины, ордена, почести, деньги, земли. Властью и Россией делилась она с вельможами, полководцами, временщиками. Отсюда рождалось соревнование

и развязывалась предприимчивость. Державин думал, что государству полезна одна только безупречная добродетель. Екатерина же научилась пользоваться и слабостями человеческими, и самими пороками. Противный ветер она превращала в попутный. Корыстолюбцы не забывали себя, но зато и Россия имела от того свою пользу: кряхтела, но созидалась.

Созидающая мощь государства из человеческих слабостей, Екатерина должна была быть в высшей степени снисходительна. Она такой и была, частью по нужде, частью же по склонности. Она не любила бывать обманутой, но против обманщиков не имела злобы в душе. Людей самых обыкновенных, подверженных искушениям, понимала она и умом, и сердцем — и сама старалась быть им понятной: хотела иметь большинство голосов на своей стороне.

Такую-то монархиню вздумал Державин оберегать не только от плутов, казнокрадов, взяточников, но и просто от людей корыстолюбивых, ибо и тень корысти в деле общественном он уже считал преступлением. В крайности он был готов разогнать всех и остаться сам-друг с Фелицей — идеальным слугою при идеальной монархине. Вот это и не годилось; вот потому-то и прежде, когда не на жизнь, а на смерть боролся он с Вяземским, с Тутолминым, с Гудовичем, Екатерина не давала его задушить, но и не давала ему явно торжествовать: она хранила для своего хозяйства и правых, и виноватых. Обиднее того: не вина виноватых, она не вполне верила и в правоту правых. Считала, что все сделаны примерно из одного теста — в том числе и Державин. Однажды возникло подозрение, что он получил взятку. «Товарищи его хотя и не говорили явно, но ужимками своими дали ему то знать. Он сим обиделся, просил государыню, чтобы приказала исследовать. Она, помолчав, с некоторым родом неуважения сказала: — Ну что следовать? Ведь это и везде водится. — Державина сие поразило, и он на тот раз снес сей холодный, обидный ответ».

Зато сам он не мог допустить, чтобы божество в чем-либо погрешило. Она же не мнила себя божеством и к собственным слабостям так же была снисходительна, как к чужим. Имела пристрастия, предубеждения. Однажды в гневе спросила, что побуждает его ей перечить. Он ответил с твердостью:

— Справедливость и ваша слава, государыня, чтоб не погрешили чем в правосудии.

Она же «не всегда держалась священной справедливости».

вести». Державин не упускал случая указать ей на это; может быть, он даже мечтал восхитить ее прямою своею. Но она, на словах требуя прямоты, про себя более уважала хитрость. Вряд ли Державин казался ей очень умным.

Так называемый придворный банкир Сутерланд был посредником русского правительства при заключении иностранных займов и прочих сделок. На руках у него бывали большие суммы казенных денег, из которых подчас он ссужал разных лиц, особенно из высокопоставленных. Однажды, осенью 1791 г., понадобилось перевести в Англию два миллиона рублей, но денег не оказалось. Куда девались? Сутерланд признался, что часть истратил он на свои нужды, но значительно больше роздал взаймы, а назад получить не может; гр. Безбородко и кн. Вяземский свои долги отдали, но другие не отдают. Кончилось это трагически — Сутерланд отравился. Императрица приказала расследовать дело, и Державину приходилось не раз по нему докладывать. На докладах Екатерина нервничала, он тоже. Споры так были горячи, что однажды Державин накричал на нее, выбранил и, схватив за конец мантильи, дернул. Государыня позвонила. Вошел Попов (бывший потемкинский секретарь).

— Побудь здесь, Василий Степанович, — сказала она, — а то этот господин много дает воли рукам своим.

Верная себе, на другой день она первая извинилась, примолвя:

— Ты и сам горяч, все споришь со мною.

— О чем мне, государыня, спорить? я только читаю, что в деле есть, и я не виноват, что такие неприятные дела вам должен докладывать.

— Ну, полно, не сердись, прости меня. Читай, что ты принес.

Он начал читать реестр, кем сколько казенных денег взято у Сутерланда. Первым стоял Потемкин, забравший восемьсот тысяч. Екатерина сказала, что у Потемкина много расходов по службе, и велела отнести долг на счет казначейства. Из прочих долгов одни приказала взыскать, другие простить. Но когда очередь дошла до великого князя, она вновь пришла в раздражение. Стала жаловаться, что Павел мотает и «строит такие беспрепятственно строения, в которых нужды нет». Тут, разумеется, конечно, казармы, в которых Павел держал гатчинские свои войска; подозревая мать в самых черных замыслах, Павел все время эти войска увели-

чивал; Екатерина в ответ усиливала охрану Царского, Павел вновь укреплял Гатчину и т. д.: мать с сыном, вооружались друг против друга.

— Не знаю, что с ним делать, — сказала Екатерина, и дав волю словам, стала жаловаться на великого князя. Она говорила с жаром, но умолкала порою — как бы ждала согласия. Державин сидел, опустив глаза.

— Что же ты молчишь? — спросила она наконец.

Тогда он тихо проговорил, что наследника с императрицей судить не может, — и закрыл бумагу. Худшего суда, более тяжкого осуждения он не мог бы придумать. Екатерина вспыхнула, покраснелась и закричала в бешенстве:

— Поди вон!

Это странное секретарство длилось почти два года. Они ссорились и мирились. Если ей нужно было его смягчить и чего-нибудь от него добиться, она нарочно при всех отличала его, зная, что ему это льстит: «в публичных собраниях, в саду, иногда сажая его подле себя на канapé, шептала на ухо ничего не значащие слова, показывая, будто говорит о каких важных делах... Часто рассердится и выгонит от себя Державина, а он надуется, даст себе слово быть осторожным и ничего с ней не говорить; но на другой день, когда он войдет, то она тотчас приметит, что он сердит; зачнет спрашивать о жене, о домашнем его быту, не хочет ли он пить, и тому подобное ласковое и милостивое, так что он позабудет всю свою досаду и делается по-прежнему чистосердечным. В один раз случилось, что он, не вытерпев, вскочил со стула и в изумлении сказал: — Боже мой! кто может устоять против этой женщины? Государыня, вы не человек. Я сегодня наложил на себя клятву, чтоб после вчерашнего ничего с вами не говорить; но вы против воли моей делаете из меня, что хотите. — Она засмеялась и сказала: — Неужто это правда?»

Он научился находить в ней обаяние, которого не знал прежде: обаяние ума, ласки, легкости, мягкости. Научился ценить ее доброту и великодушие. Но все это было человеческое. Той богини, которую создал мечтою и воспевал двадцать лет, во имя которой стоило и прославиться, и страдать, он в ней не нашел.

Ходила молва, что поэты льстят королям. Но в ту пору поэзия была еще голосом славы, и короли тоже льстили поэтам. Прочитав оду на взятие Измаила, Екатерина вновь прислала Державину табакерку, осыпанную бриллиантами, и сказала ему при встрече:

— Я не знала по сие время, что труба ваша столь же громка, как и лира приятна.

Во время его секретарства она не раз «так сказать прашивала его» писать *вроде Фелицы*: «Хотя дал он ей в том свое слово, но не мог оно сдержать по причине разных придворных каверз, коими его беспрестанно раздражали: не мог воспламенить так своего духа, чтоб поддержать свой высокий прежний идеал, когда вблизи увидел подлинник человеческий с великими слабостями. Сколько раз ни принимался, сидя по неделе для того запершись в своем кабинете, но ничего не в состоянии был такого сделать, чем бы он был доволен; все выходило холодное, натянутое и обыкновенное, как у прочих цеховых стихотворцев, у коих только слышны слова, а не мысли и чувства». Должно быть, в одно из таких сидений написал он язвительное четверостишие:

Поймали птичку голосисту,
И ну сжимать ее рукой:
Пищит бедняжка, вместо свисту, —
А ей твердят: Пой, птичка, пой!

Итак, он молчал, а Екатерина досадовала: он оказался столь же непокладистым поэтом, как и секретарем. Все кончилось так, как и должно было кончиться. 15 июля 1793 года вечер в Царском Селе был тихий, погожий, меланхолический. Большим обществом вышли в сад, но беседа не ладилась. Государыня была «нечто скучна». Наконец, завели горелки — Екатерина любила смотреть на эту игру. Запели «Гори, гори ясно». Державину с его парюю довелось ловить великого князя Александра Павловича. Тот, проворный и легкий, убежал далеко по скользкой росистой лужайке, покатою к пруду. Державин, гонясь за ним, упал, ударился оземь и едва не лишился чувств. Его подняли, в руке оказался вывих. Шесть недель оставался он дома. За это время Екатерину сумели восстановить против него. «Будучи всем ревностию и правдою своею неприятен или, лучше сказать, опасен, наскучил императрице и остудился в ее мыслях».

2 сентября, при праздновании Ясского мира, он был отставлен от секретарства и назначен сенатором. При унижении, до которого был доведен сенат, это было знаком немилости, особенно для Державина, который и сам тому унижению способствовал. В таких обстоятельствах орден Владимира 2-й степени и чин тайного советника были утешением слабым. Уязвленный Державин просил Зубова пе-

редать государыне его благодарность. Зубов весьма удивился:

— Неужто доволен?

— Как же, — ответил Державин, — не быть довольну сей монаршей милостию бедному дворянину, без всякого покровительства служившему с самого солдатства, что он посажен на стул сенаторский Российской Империи? Что еще мне более? Ежели ж мои сочлены почитаются может быть кем ничтожными, то я себе уважение всемерно същу.

В Сенате он принялся обучать сочленов труду, беспристрастию, независимости, знанию законов. Заседания стали сплошными бурями. В ту пору Читалагайскую оду «На знатность» он переделал в «Вельможу». Сенаторы справедливо приняли на свой счет строки самые оскорбительные:

Калигула! твой конь в сенате
Не мог сиять, сияя в злате:
Сияют добрые дела.
Осел останется ослом,
Хотя осыпь его звездами;
Где должно действовать умом,
Он только хлопает ушами.
О! тщетно Счастья рука,
Против естественного чина,
Безумца рядит в господина
Или в шумиху дурака.

* * *

В ту пору, когда близостию к престолу стяжались огромные состояния, Державин не приобрел ничего. Семнадцать тысяч штрафу, наложенного по тамбовским делам, насилу с него скостили после бесчисленных просьб. Однако же, он изворачивался, как изворачивалась покойная мать: земли свои закладывал, перезаклаживал, то частию продавал их, то прикупал новые; торговал хлебом, заводил фабрики. Летом 1791 года он купил дом на Фонтанке у Измайловского моста. На отделку и перестройку ушло несколько месяцев. Екатерина Яковлевна, хоть прихварывала, была в больших хлопотах. Дом обставили не роскошно, однако со вкусом; в картинах, в мебели и тому подобном Державины знали толк. По последнему слову моды стены были покрыты *соломенными обоями*: по соломенной плетенке шелками и шерстью вышивались узоры из цветов, фруктов, листьев, а для больших простенков целые виды и сцены. Вышивала сама Пленира, жена Львова ей помогала. Особенность дома

составила диванная комната или просто *диван*, как ее называли; она вся была затянута серпянкой; с потолка, на манер палатки, спускались широкие пологи; в складках материи размещены были зеркала; тут же стояли бюсты хозяина и хозяйки — работа «хитрого каменосечца Рашета». В диване принимали гостей, водили беседы, а иногда и спали:

Сядь, милый гость, здесь на пуховом
Диване мягком, отдохни;
В сем тонком пологу перловом,
И в зеркалах вокруг, усни;
Вздремли после стола немножко:
Приятно часик похрапеть.

Державинские обеды были обильны и превосходны. Между прочим, к одному из них, по просьбе Дмитриева, зван был Фонвизин, которого Дмитриев никогда не видел. То было 30 ноября 1792 года. Фонвизин приехал, или, лучше сказать, его привезли. Он владел лишь одною рукой; одна нога также одеревянела. Два молодых офицера ввели его под руки, усадили. Он говорил диким, охриплым голосом, язык плохо повиновался ему. Однако ж он тотчас завладел беседой и пять часов кряду говорил почти что один — о самом себе, о своих комедиях, о своих путешествиях, о своей славе. В одиннадцать часов его увезли. Наутро он умер.

В общем бывали у Державиных те же все лица — Дмитриев чаще других, Капнисты, Львовы, Оленин. Подчас из деревни приезжала свояченица Капниста и Львова — Даша, которую видели мы когда-то подростком. Теперь ей минуло двадцать семь лет — она все еще была в девушках, не смотря на свою красоту (все сестры Дьяковы были хороши собой). Высокая и прямая, в обращении жесткая, замкнутая, она поступала во всем расчетливо и умно, играла на арфе правильно и бездушно. При изрядных нравственных качествах, она была лишена обаяния. Ей грозила судьба старой девы, она тайно была влюблена в Державина. Пленира вздумала сватать ее за Дмитриева. Даша сказала:

— Нет, найдите мне такого жениха, как ваш Гавриил Романович, то я пойду за него и надеюсь, что буду с ним счастлива.

Посмеялись и начали другой разговор. Впрочем, миру, который царил в семействе Державиных, нетрудно было и позавидовать. За шестнадцать лет произошла между ними, кажется, лишь одна размолвка. Она случилась летом 1793 г. Памятником ее осталось письмо, посланное в Петербург из

Царского Села, где Державин в ту пору жил по должности кабинетского секретаря: «Мне очень скучно, друг мой Катинька, вчерась было; а особливо как была гроза и тебя подле меня не было. Ты прежде хотела в таковых случаях со мной умереть; но ныне, я думаю, рада, ежели б меня убило и ты бы осталась без м е н я . — Нет между нами основательной причины, которая бы должна была нас разделить: то что такое, что ты ко мне не едешь? — Самонравие и гордость. Не хочешь по случившейся размолвке унизиться перед мужем. Изрядно... Стало, ты любишь, или любила меня не для меня, но только для себя, когда малейшая неприятность выводит тебя из себя и рождает в голове твоей химеры, которые (Боже избави!) меня и тебя могут сделать несчастливými. Подумай-ка об этом хорошенько и, сравнив с собою Фурсову и ей подобных, увидишь, что я говорю правду. Итак, забудь, душа моя, прошедшую ссору; вспомни, что уже целую неделю я тебя не видал и что в среду Ганюшка твой именинник. Приезжай в объятия верного твоего друга».

К несчастью, здоровье Екатерины Яковлевны было плохо. Еще в Тамбове, стоящем среди болот, схватила она лихорадку и в самую тяжкую пору тамошних неприятностей, после ссоры с Чичериною, слегла. Когда переехали в Петербург, болезнь то усиливалась, то ослабевала, но никогда не исчезала совсем. Уже в 1792 году Державин порой падал духом:

Неизбежным уже роком
Растаешься ты со мной.
Во стенании жестоком
Я прощаюся с тобой.
Обливаюся слезами,
Скорби не могу снести;
Не могу сказать словами —
Сердцем говорю: прости!

Руки, грудь, уста и очи
Я целую у тебя.
Не имею больше мочи
Разделить с тобой себя.

Лобызая, обмираю,
Тебе душу отдаю,
Иль из уст твоих желаю
Выпить душу я твою*.

Однако ж, она поправилась. В апреле 1794 года случился опять сильный приступ болезни, Екатерина Яковлевна сов-

сем была при смерти, но затем стало ей лучше, и Державин возблагодарил Провидение:

Ты возвратило мне Пленуру.

На сей раз надежда обольстила его напрасно: Екатерина Яковлевна слегла снова, и дело пошло к развязке. Она умирала в кротости и смирении, как прожила всю прекрасную свою жизнь. Дня за два до кончины она упрашивала Державина съездить в Царское — похлопотать за одного их знакомого:

— Бог милостив, — сказала она, — может, я проживу столько, что дождусь с тобою проститься.

15 июля 1794 года, тридцати трех лет от роду, Пленура отдала Богу душу. Державин ее проводил на кладбище Александро-Невской лавры и написал Дмитриеву в Москву: «Ну, мой друг Иван Иванович, радость твоя о выздоровлении Екатерины Яковлевны была напрасна. Я лишился ее 15-го числа сего месяца. Погружен в совершенную горесть и отчаяние. Не знаю, что с собой делать. Не стало любезной моей Пленуры! Оплачьте, музы, мою милую, прекрасную, добродетельную Пленуру, которая только для меня была на свете, которая все мне в нем составляла. Теперь для меня сей свет совершенная пустыня...»

И вот — ровно через полгода женился он на другой. Казалось бы, это должно удивить неприятно: неужели другою мог так легко заменить ту, которую так боялся утратить, что обмирал при единой мысли об этом? ту, без которой еще так недавно сей свет был ему совершенной пустыней? Наконец, зачем же так скоро? Уже самая эта поспешность могла показаться предосудительна в человеке вовсе не молодом — Державину шел пятьдесят второй год. Однако никто не осудил его * — ни даже щепетильный Дмитриев, ни чувствительный Карамзин.

Бурный и вспыльчивый по природе, Державин пережил смерть Екатерины Яковлевны тоже бурно и вспыльчиво. Его охватило неистовое отчаяние, в котором минуты тихого, сосредоточенного горя были сравнительно светлыми промехутками. Тогда ему чудилось: тень Пленуры витает возле. Он пытался писать к ней стихи — они не давались, не складывались: мысль подавлена была чувством. Но такие состояния бывали не долги. В одиночестве он сумел бы спокойнее и возвышеннее пережить свое горе и тем обрести покой. Он и сам подумывал об отставке и отъезде в деревню, но это было неисполнимо.

За несколько месяцев до того Державин был назначен президентом коммерц-коллегии. Должность была временная, так как коллегию предполагалось вскоре уничтожить. Но Державин принялся за дело рьяно и вскоре обнаружил злоупотребления. Екатерина таких открытий не любила и велела передать Державину, чтоб он отныне лишь числился в должности, «ни во что не мешаясь». Оскорбленный Державин написал Зубову неистовое письмо, в котором коснулся вообще своего положения в службе и прямо высказал разочарование в Екатерине: «Не зальют мне глотки вином,— писал о н , — не закормят фруктами, не задарят драгоценностями и никакими алтынами не купят моей верности к моей монархине... Что делать? Ежели я выдался урод такой, дурак, который, ни на что не смотря, жертвовал жизнью, временем, здоровьем, имуществом службе и личной приверженности обожаемой мною государыне, животворился ее славою и полагал всю мою на нее надежду, а теперь так со мною поступают, то пусть меня уволят в уединении оплакивать мою глупость и ту суетную мечту, что будто какого-либо государя слово твердо, ежели Екатерина Великая, обнадежив меня, чтоб я ничего не боялся, и не токмо не доказав меня в вине моей, но и не объясня ее, благоволила снять с меня покровительствующую свою руку? Имея столько врагов за ее пользы, куда я гожуся, какую я отправлять в состоянии должность?» Не получив ответа, он написал письмо самой императрице — такое, что передать его не решались ни Зубов, ни Безбородко. Тогда Державин передал его через камер-лакея. Прочтя, государыня «вышла из себя, и ей было сделалось очень дурно. Поскакали в Петербург за каплями, за лучшими докторами, хотя и были тут дежурные». Державин в испуге не остался в Царском Селе, а «уехал потихоньку в Петербург» — ждать решения своей участи. Екатерина уничтожила коммерц-коллегию, но отставки Державину не дала. Нечего было думать о ней и теперь. Приходилось с болью в душе кипеть в самой гуще сенатских и придворных дел. Со всеми боярами был он в ссоре, деятельной, полной интриг, препирательств и раздражений. Для элегий в душе не было места. В свободные часы предавался он злобной тоске — а размыкать ее было не с кем: Капнист в деревне, Львов в разъездах, Дмитриев по большей части в Москве. Убегая из дому, Державин «шатался по площади», не находил себе места и действительно не знал, что с собою делать. Тогда он вздумал жениться — «чтоб от скуки не уклониться в какой разврат».

(Развратом он звал всякие отклонения от правил доброго общежития; «шатания по площади» сюда включались.) Это решение принял он не потому, что забыл Пленуру, но именно потому, что не мог забыть.

Мысль его очень скоро остановилась на Даше Дьяковой, что довольно понятно. Незадолго до Рождества она приехала в Петербург с сестрою, графиней Стейнбек. Державин «по обыкновению, как знакомым дамам, сделал посещение» и принят был весьма ласково. На другой день он послал им записочку, «в которой просил их к себе откушать и дать приказание повару, какие блюда они прикажут для себя изготовить. Сим он думал дать разуметь, что делает хозяйкою одну из званых им прекрасных гостей, разумеется, девицу, к которой записка была надписана. Она с улыбкою ответствовала, что обедать они с сестрою будут, а какое кушанье приказать приготовить, в его состоит воле». Обед прошел очень приятно. Через день Державин, «зайдя посетить их и нашед случай с одной невестой говорить, открылся ей в своем намерении». Благоразумная Даша ответила, что принимает оное себе за честь, но подумает, «можно ли решиться в рассуждении прожитка». Она оказалась даже не прочь рассмотреть его приходные и расходные книги, дабы узнать, «может ли она содержать дом сообразно с чином и летами». Книги она продержала у себя две недели, после чего дала волю нежному чувству и объявила свое согласие. Державин стал любезным и исполнительным женихом. К невесте, которую звал то Дашенькой, то Миленой, ездил он каждодневно, а если не мог — присылал записочки:

«Извини меня, мой милый друг, что тебя сегодня не увижу. К обеду не мог быть для того, что нужда была быть у Васильева, а вечеру кое-кто заехали, а между тем признаюсь, что готова баня, то уже не попаду к вам. Между тем целую тебя в мыслях» и проч.

Или — другая: «Посылаю вам, матушка Дарья Алексеевна, ту материю, о которой вам я вчера говорил. Я не знаю, увижу ли вас сегодня».

Или еще — в самый день Рождества: «Поздравляю тебя, милый мой друг Дашенька, с праздником, прошу поздравить от меня матушку и всех своих. Извини, что у вас вечеру не был вчера, не очень-то был здоров, но сегодня, слава Богу, хоть куды. Поеду во дворец. Думаю обедать дома; а на вечер буду к Николаю Александровичу, где и тебя моя увижу милая, или надобно к тебе приехать? уведомя меня; затем так рано к тебе и посылаю. Между тем целую тебя бессчетно».

Он старался не подать виду, но на душе у него было нелегко; память Пленеры тревожила его совесть. Ища себе оправдания, он написал замечательные стихи — «Призывание и явление Пленеры». Глубокая личная правда здесь выражена сквозь нарядную куплетную форму, подсказанную поэтикой XVIII века:

Приди ко мне, Пленера,
В блистании луны,
В дыхании зефира,
Во мраке тишины!
Приди в подобьи тени,
В мечте иль легком сне
И, седши на колени,
Прижмися к сердцу мне;
Движения исчисли,
Вздыхания измерь
И все мои ты мысли
Проникни и поверь:
Хоть острый серп судьбины
Моих не косит дней,
Но нет уж половины
Во мне души моей.

Я вижу: ты в тумане
Течешь ко мне рекой,
Пленера на диване
Простерлась надо мной, —
И легким осязаньем
Уст сладостных твоих,
Как ветерок дыханьем,
В объятиях своих
Меня ты утешаешь
И шепчешь нежно вслух:
«Почто так сокрушаешь
Себя, мой милый друг?
Нельзя смягчить судьбину,
Ты сколько слез ни лей;
Милой половиною
Займи души твоей».

31 января 1795 года Державин ввел новую хозяйку в дом свой. Но воспоминание о Пленере не оставляло его. Часто за приятельскими обедами, которые он так любил, среди шумной беседы иль спора, внезапно Державин задумается и станет чертить вилкою по тарелке драгоценные буквы — К. Д. Дарья Алексеевна, заметив это, строгим голосом выведет его из мечтания:

— Ганюшка, Ганюшка, что это ты делаешь?

— Так, ничего, матушка! — обыкновенно с торопливостью отвечает он, потирая глаза и лоб, как будто спростонья.

VII

Рухнуло все, чем была одушевлена жизнь Державина целых двадцать лет. Теперь предстояло жить без веры в Екатерину и без Пленеры. Сама судьба ясно подсказывала, что одновременно со второю женитьбой пора перестроить на новый лад и всю жизнь, и самую лиру. Пора было, наконец, если не вовсе «оставить отечество», как иногда помышлял он в отчаянии, то хотя бы оставить службу. Державин не раз просился в отставку. Конечно, по существу такая отставка значила бы, что певцу *Фелицы* нет места возле *Екатерины*. Державин с великою горечью сознавал это. Но душа человеческая извилиста: он втайне мечтал, что, утратив надежды, вдали от государственных дел может еще сохранить *иллюзии*.

К несчастью, Екатерина и теперь не понимала его, как не понимала прежде. Державин в ее глазах был чиновник, в свободное время пишущий стихи, полезные ее славе, одобряемые знатоками и любезные ей самой, когда они выходят *вроде «Фелицы»*. О служебной его неуживчивости она была наслышана, а затем и лично в том убедилась. Казалось бы, надлежит дать чиновнику отставку, вполне почетную, — и тем самым избавить поэта от неприятностей, сохранив его выгодное расположение. Но беда была в том, что, не догадываясь об истинной связи между поэзией Державина и его службой, Екатерина все же их связывала (меж тем, как он сам был не прочь теперь эту связь нарушить). Она считала, что звание поэта и даже «ее собственного автора» само по себе очень не велико и должно быть подкреплено положением в службе, орденами, чинами. «Пусть пишет стихи»: это была бы величайшая милость, которую, в нынешних обстоятельствах, она могла бы оказать Державину с величайшей выгодой для себя. Но это она говорила, когда бывала в сердцах. Когда же хотела Державина поощрить, то «*on peut lui trouver une place*»¹. Мысль о том, что теперь он без поощрений вернее сохранит остатки поэтического благо-

¹ Можно найти ему место (*фр.*).

воления к ней, не приходила ей в голову, потому что вообще не вязалась с ее представлениями о людях. Отставка Державина означала бы в ее глазах разрыв, ссору. Она же по обычаю своему избегала ссоры; поэтому и не отпускала его, медлила, оттягивала, надеясь, что рано или поздно Державин перебесится и смирится.

Он же, напротив, ожесточался — и было с чего. Крылья его все равно уже были подрезаны. Уже ведь и раньше он, как алхимик, подкидывал золота в свои колбы; уже и раньше, осторожно вводя поучения в свои оды, пел он Екатерину лучшею, нежели она была: все надеялся, что оригинал захочет походить на портрет. Теперь он, поклонник прямоты, шел на величайшую жертву: просил, чтоб ему было дозволено, удалясь от дел, еще раз, последний, обмануть самого себя: не видя действительности, петь мечту, вернее — остатки мечты, которую сам он звал суетною, напрасной. Уже это была ложь. Но он шел на это — ради былой любви, ради живущего в его душе идеала, наконец — ради гордости и упрямства, чтобы не показать себя побежденным, а веру свою смешной. Но от него требовали лжи полной, грубой, придворной: чтоб он неизменно видел одно — и все-таки пел другое. Чтоб он пел богиню, не сводя глаз с императрицы, которая изо дня в день, нарочно, упорно показывает ему, что она не богиня и быть богиней не хочет — разве только в его стихах.

Не получая отставки добром, он постепенно пришел к тому, что не прочь был ее добыть, разгневав Екатерину. Но она себя сдерживала. Это раздражало его еще более. Однако, и ему должно было действовать с умом, так, чтобы гнев государыни вышел как бы и незаслуженным, — иначе сочувствие публики будет на стороне Екатерины, он же хотел поймать ее на несправедливости. Злоба сделала его осторожным.

24 октября 1794 г. Суворов взял Варшаву. Державин по этому случаю написал четверостишие, которое затем развернул в оду, гиперболическую до крайности, с самыми редкостными словами, с умопомрачительными перестановками, с превеликим «лирическим беспорядком», который по правилам одописания должен был выражать бурный прилив чувств, но, кажется, чаще выражал обратное. Екатерина просмотрела рукопись, ничего не поняла, но, полагая, что все обстоит как должно и клонится к ее славе, велела оду отпечатать, чтобы затем продавать в пользу каких-то вдов. Когда печатание было кончено, она призвала Попова и веле-

ла прочитать стихи в слух, — должно быть, надеясь, что с голоса они будут понятнее. Но Попов тоже ничего не понял. А как не смыслил он и в поэтике? то, читая, неумышленно перевирал. Вместо:

Бессмертная Екатерина!
Куда? и что еще? Уже полна
Великих наших дел вселенна, —

прочитал он:

Бессмертная Екатерина!
Куда? и что еще? Уж полно!

Это не понравилось, императрица насторожилась.
Дойдя до обращения к Суворову:

Трон под тобой, корона у ног,
Царь в полону! —

решили общими силами, что это уж чистое якобинство. Все 3000 отпечатанных экземпляров были «заперты в кабинете», так что и автор не получил ни одного. Екатерина была недовольна. Державин знал обстоятельства дела и мог без труда оправдаться, но оправдываться не стал: досада Екатерины, пусть даже неосновательная, входила в его расчеты. Вскоре к этой досаде прибавилась новая.

Еще когда Державин в бытность кабинетским секретарем огорчился своим бессилием писать в честь Екатерины, покойная жена ему присоветовала поднести государыне просто собрание лучших его стихов, отчасти ей неизвестных. Державину эта мысль понравилась. Предположено было кстати, что подносимая тетрадь затем будет издана и положит начало печатному собранию державинских стихов. Державин принялся выбирать и исправлять пьесы, причем совещался с друзьями. Совещания были бурные. Львов, Капнист, Дмитриев наперебой предлагали свои поправки, Державин то соглашался, то упрямился. К каждой пьесе, в начале и в конце, решено было сделать рисунки, по большей части аллегорические, прекрасно придуманные Олениным (исполнены они были плохо). В общем, работа оказалась громоздкой, и на нее ушло много времени. Началась она еще в 1793 году, а кончилась только в октябре 1795. Державин приступил к ней в самую пору разочарования в Екатерине (чем, в сущности, она и была вызвана). Но раздражения и злобы в нем тогда еще не было. Во всяком случае, обозревая старые стихи, он еще нашел в душе силу во-

скресить прежний образ Фелицы, с твердостью признать, что обязан ему лучшими вдохновениями, и с грустию, но без досады проститься с ним. Движимый уже не чувством, но воспоминанием о чувстве, он написал посвящение, или по-тогдашнему, «Приношение Монархине»:

Что смелая рука Поэзии писала,
Как Бога, истину, Фелицу во плоти
И добродетели твои изображала,
Дерзаю к твоему престолу принести,
Не по достоинству изящнейшего слога,
Но по усердию к тебе души моей.
Как жертву чистую, возженную для Бога,
Прими с небесною улыбкою твоей,
Прими и освети твоим благоволеньем,
И Музе будь моей опорой и щитом,
Как мне была и есть ты от клевет спасеньем.
Да веселись она и с бодрственным челом
Пройдет сквозь тьму времен и станет средь потомков,
Суда их не страшась, твои хвалы вещать;
И алчный червь когда меж гробовых обломков,
Оставший будет прах моих костей глотать:
Забудется во мне последний род Багрима,
Мой вросший в землю дом никто не посетит;
Но лира коль моя в пыли где будет зрима
И древних струн ее где голос прозвенит,
Под именем твоим громка она пребудет;
Ты *славою*, — твоим я *эхом* буду жить.
Героев и певцов вселенна не забудет:
В могиле буду я, но буду говорить.

После этих стихов прошло больше года. За это время Державин еще раз просился в отставку или даже хотя бы в продолжительный отпуск, но вновь получил отказ. Когда изготовление тетради подходило к концу, певец Фелицы уже почти ненавидел прежний свой идеал. От поднесения рукописи он не отказался, но, под влиянием ядовитых чувств, включил в нее не только «Властителем и судиям», но и недавно конченного «Вельможу», в котором были прямые колкости по адресу императрицы, и даже стихи о Суворове, только что вызвавшие неудовольствие.

6 ноября 1795 г. тетрадь, переплетенная в красный сафьян, была, наконец, представлена. По словам камердинера Тюльпина, государыня читала стихи «двое суток». Но и две недели прошло — молчание. Приезжая по воскресениям на выходы, Державин «приметил в императрице к себе холодность, а окружающие ее бегали его, как бы боясь с ним

встретиться, не токмо говорить». В числе последних был и недавний друг — Безбородко. Наконец, все объяснилось: Екатерина прочла впервые «Властителям и судиям». Один приятель спросил Державина: «Что ты, братец, пишешь за яacobинские стихи?» — «Какие?» — «Ты переложил псалом 81-й, который не может быть двору приятен». — «Царь Давид, — сказал Державин, — не был яacobинцем, следовательно песни его не могут быть никому противными».

Чтобы оправдаться перед Екатериной, Державину было достаточно развить это бесспорное положение и самое большее — объяснить отступления от библейского текста причинами поэтическими. Он же не только не спрятался за псалмопевца, но и представил Екатерине *«Анекдот»*, в котором непрекрасно высказал, что в стихах действительно подражается она и ее правление. «Спросили некоего стихотворца, — писал Державин, — как он смеет и с каким намерением пишет в стихах своих толь разительные истины, которые вельможам и двору не могут быть приятны. Он отвечивал: Александр Великий, будучи болен, получил известие, что придворный доктор отравить его намерен. В то же время вступил к нему медик, принесший кубок, наполненный крепкого зелия. Придворные от ужаса побледнели. Но великодушный монарх, презря низкие чувствования ласкателей, бросил пронизательный свой взор на очи врача и, увидев в них непорочность души его, без робости выпил питье, ему принесенное, и получил здравие. Так и мои стихи, промолвил пиит, ежели кому кажутся крепкими, как полынковое вино, то они однако так же здравы и спасительны... Истина одна только творит героев бессмертными, и зеркало красавице не может быть противно».

Державин явно старался вызвать Екатерину на резкие действия. Она находилась в той поре жизни и царствования, когда зеркало ни в коем смысле не могло быть ей приятно. Но она держала себя в руках, отчасти, может быть, потому, что проникла в замыслы Державина и не хотела сделать его жертвою в глазах общества. Именно с этой целью она иногда давала ему поручения, с виду почетные, на деле же маловажные. Но вскоре Державин и тут сумел показать себя. Сама судьба помогла ему уязвить Екатерину глумоко и чувствительно.

Открылись мошенничества в Заемном банке. Комиссия для расследования этого дела была образована под председательством Петра Васильевича Завадовского, главного директора банка. Императрица назначила в нее и Держави-

на, благо дело было пустячное: предполагалось только установить виновность кассира и нескольких служащих, которые, впрочем, не думали отпираться. Но Державину повезло. Вскрыв дело глубже, он с удовольствием обнаружил, что главный мошенник — сам Завадовский, один из приближеннейших к Екатерине людей, ее бывший фаворит. Комиссии волей-неволей пришлось доложить об этом императрице, а вельможа занемог с горя. На сей раз коварное усердие Державина едва не достигло цели: поручив Зубову с Безбородкой пересмотреть следствие и замять дело, Екатерина с негодованием назвала Державина «следователем жестокосердым» и пребывала по отношению к нему «нарочито в неблагоприятном расположении». Державин со своей стороны не собирался уступать. Предвидя решительный бой, он его жаждал, но втайне, может быть, и страшился. Иногда воспаленное воображение нечувствительно уводило его далеко от действительности, грядущее падение рисовалось ему в самых трагико-ироических образах, и он, как на театре, умилялся пред зрелищем благородной, но горестной своей участи. Однажды, в задумчивости, на обороте полученного письма, начертал он себе эпитафию:

Здесь лежит Державин,
который поддерживал правосудие;
но, подавленный неправдою,
пал, защищая законы.

Между тем, хотя обе стороны были раздражены до крайности, силою вещей решительное сражение все откладывалось. Ему и вовсе не суждено было состояться. Заботы и потрясения несравненно более важные поглотили Екатерину и подкосили ее здоровье. Ей было не до Державина. Со своей стороны и Державин почти не бывал при дворе, и к нему избегали ездить. Случилось так, что об ударе апоплексическом, поразившем императрицу утром 5 ноября 1796 года, узнал он лишь вечером на другой день — и поспешил во дворец. Екатерина только что отошла. Пораженный Державин нашел ее труп посреди спальни, под белою простыней, и «облобызав по обычаю тело, простился с нею, с пролитием источников слез». Но то не были еще слезы примирения.

За тридцать четыре года, протекавшие со дня петергофского переворота, успел сложиться тот особый уклад, который отчасти зовется веком Екатерины. Чем ближе к особе императрицы (следовательно — при дворе, в гвардии, в высшем чиновничестве), тем он был ощутительней, крепче, привычнее. С ним сжились, его полюбили. Однако ж, по силе многих причин наиболее чужд и прямо враждебен ему был сорокадвухлетний сын и преемник императрицы. Она никогда не любила Павла, но постепенно этот костистый, угловатый человек, в плохо сидящем мундире, с коротким носом на сером, скуластом, широкоротом лице, порывистый плотью и духом, становился ей все несноснее. Он возбуждал в ней тонкую злобу, презрение и брезгливость. Она же в его глазах была убийцею человека, которого он не успел узнать, но которого (искренне или нет) почитал своим отцом. Еще полагал он, что она насильственно завладела его короной, и (справедливо ли, нет ли) привык от нее и ее приближенных ждать себе заточения, а то и смерти. Он ненавидел ее, и едва ли не всех и все, что с ней было связано, — может быть, даже включая двух старших своих сыновей, которыми она завладела. В своей мрачной Гатчине жил он особым двором, с собственными своими войсками, как бы в мире, который не был и не должен был быть ни в чем схож с миром Екатерины. Люди екатерининского мира редко заглядывали в мир Павла, и он им чудился как бы потусторонним, как бы *тем светом*, в котором среди солдат витает окровавленный призрак солдата — Петра Третьего. И не успели еще вписать в камер-фурьерский журнал, что императрица Екатерина Алексеевна к сетованию вся Россия в сей временной жизни скончалась, — как вместе с новым царем существа *того* света ворвались в *этот*. «Настал иной век, иная жизнь, иное бытие, — говорит современник. — Перемена сия была так велика, что не иначе показалась мне, как бы неприятельским нашествием» *. С ним не стовариваясь, Державин пишет: «Тотчас во дворце прияло все другой вид, загремели шпоры, ботфорты, тесаки, и, будто по завоевании города, ворвались в покои везде военные люди с великим шумом». Дипломат-иностранец вторит об этом: «Le palais eut en moment l'apparence d'une place enlevée d'assaut par des troupes étrangères» ¹.

¹ «Дворец в одно мгновение принял такой вид, как будто бы он был захвачен приступом иностранными войсками» (*фр.*).

Глубокие преобразования еще только предносились воображению нового императора. Но их предшественники и предвестники — новые порядки — вводимые круто, «погачински», тотчас появились всюду: в войсках, при дворе и просто на улице. Екатерина скончалась 6-го, а утром 8-го ноября уже человек двести полицейских и солдат «срывали с проходящих круглые шляпы и истребляли их до основания; у фраков обрезывали отложные воротники, жилеты рвали по произволу и благоусмотрению начальника партии... В двенадцать часов утром не видали уже на улицах круглых шляп, фраки и жилеты приведены в несостояние действовать, и тысяча жителей Петрополя брели в дома их жительства с непокровенными головами и в разорванном одеянии». Не то чтобы крутость этих мероприятий исходила прямо от императора: усердствовала полиция. Но действительно, во всем, от причесок до умов и от воинской команды до основных законов, новый царь готовился повытрясти и повыколотить из России екатерининский дух, как пыль и моль выколачивают из лежалой одежды. В его глазах то был дух своеволия, изнеженности и всяческого разврата. Гвардия, от солдат до фельдмаршалов, ужаснулась суровым новшеством гатчинской экзерциции, и самый дворец, казалось, преобразился. «Знаменитейшие особы, первостепеннейшие чиновники, управляющие государственными делами, стояли, как бы лишенные должностей своих и званий, с поникнутою головой, не приметны в толпе народной. Люди малых чинов, о которых день тому назад никто не помышлял, никто почти не знал и х , — бегали, повелевали, учреждали».

Ломка началась. Люди, связанные с минувшим царствованием, ждали решения своей участи. «Сия минута для них всех была тем, что страшный суд для грешных». Одни (в том числе Платон Зубов) были застигнуты ужасом и отчаянием, другие (как Безбородко), оживленные надеждою и расчетом, спешили застраховать себя услугами новому повелителю; третьи впали в оцепенение.

Набальзамированное тело Екатерины долго оставалось без погребения. Несколько раз стоя подле него на почетном дежурстве, в числе прочих особ первых четырех классов, Державин с неодолимой холодностию взирал на лицо, которому, говорят, вернулась улыбка. И религия, и разум ему подсказывали, что теперь надобно душой примириться с покойницею. Но это не удавалось. Мало того, что судьба разлучила его с государыней слишком внезапно, в минуту вза-

имного гнева и раздражения; из всех обид сердце человеческое труднее всего прощает разуверение. Поэтому как ни старался Державин, живого, сердечного примирения с Екатериной он в те дни не обрел. Правда, он заставил себя написать ей «Надгробную» и «Эпитафию». Но хотя в «Надгробной» после каждой строфы повторялось:

Се в гробе образец царей!
Рыдай... рыдай... рыдай о ней —

именно рыдания-то и не получилось. Стихи вышли холодны. Лишь тогда вдохновение посетило его, когда, сознавая, что вместе с Екатериной закончилась великая часть его собственной жизни, он стал подводить итоги и самому себе искать права на бессмертие. Вослед Горацию, он написал себе «Памятник»: воспоминание не об Екатерине, а лишь о своей поэтической связи с ней:

Слух пройдет обо мне от Белых вод до Черных,
Где Волга, Дон, Нева, с Рифея льет Урал;
Всяк будет помнить то в народах неисчетных,
Как из безвестности я тем известен стал,

Что первый я дерзнул в забавном русском слоге
О добродетелях Фелицы возгласить,
В смиренной простоте беседовать о Боге
И истину царям с улыбкой говорить.

* * *

За последние месяцы его гражданское одушевление с болью оторвалось от образа Екатерины и жило уже собственной, отдельной и — надо прямо сказать — ослабленной жизнью. Не то чтобы разочарование в Екатерине повлекло за собой разочарование в идее; но все же идея утратила часть своего сияния; она не помрачилась сама в себе, но прозрачная тень разочарования как бы пала и на нее. Прежней горячности в Державине больше не было, прямое рвение становилось привычкою к рвению (упрямство, гордость и сознание долга ее поддерживали). Уж если напрасно оказалась вера в Фелицу, то, разумеется, ни в какого идеального царя нельзя верить. Идеальным царем не будет и Павел. Но где доказательство, что он будет хуже Екатерины? Обольщаться не надо, как и прежде не следовало, но кое-какие упования можно на него возлагать. Что он уймет распушенность, подрежет крылья корысти,

пособьет спеси дворянской, не станет во всем потакать своим царедворцам. — можно быть уверенным. И то уже благо. Что он кое-чему обучит невежд — надо надеяться: ведь вон как военных-то принялся обучать! Что он подтянет бездельников — это наверняка: неутомимую заботливость в отправлении дел проявляет сам, и недаром уже теперь в департаментах и канцеляриях с пяти часов утра горят свечи. Правда, крутоват: однако ж, оно и к лучшему — Екатерина была слабовата. А что прям — это и по всему видать. Прямоту Державин ценил в особенности; Екатерина была уклончива.

В понедельник, 17 ноября, под утро, придворный лакей привез Державину повеление тотчас ехать во дворец. Было еще темно, когда Державин явился и дал знать о себе камердинеру Ивану Павловичу Кутайсову, которого горбоносое, смуглое лицо в пудренном парике сияло пронырливою веселостию: Кутайсов ног под собой не чуял от радости по случаю воцарения своего благодетеля. На рассвете Кутайсов ввел Державина в кабинет государя.

Мужа покойной молочной сестры своей Павел принял с нарочитым радушием. «Наговорив множество похвал, сказал, что он знает его со стороны честного, умного, безынтересного и дельного человека, то и хочет его сделать правителем своего Верховного Совета, дозволив ему вход к себе во всякое время». Державин остался верен себе: «благодаря его, отозвался, что он рад ему служить со всею ревностию, ежели его величеству угодно будет любить правду, как любил ее Петр Великий». Павлу это понравилось чрезвычайно: вот слуга, который ему впрямь необходим. Он взглянул на Державина *пламенным взором* и весьма мило стиво раскланялся.

В великой радости вернулся домой Державин. Шутка ли стать правителем Верховного Совета? В нем заседали гр. К. Г. Разумовский, гр. Румянцев-Задунайский, гр. Чернышев, гр. Н. И. Салтыков, враг Державина Завадовский и другие. Павел сюда прибавил двоих князей Куракиных, Соймонова, Васильева, гр. Сиверса. И надо всеми ними Державин будет поставлен *правителем*, как генерал-прокурор над сенаторами. Должности такой до сих пор еще не было — он первый ее займет. Вот когда признана его добродетель! Вот когда заскрежест порок в лице врагов его!

Все это было чистейшее заблуждение. Во вторник вышел указ об определении Державина, но не в правители *Совета*, а в правители *канцелярии Совета*: разница превеликая, а для

сенатора, каковым был Державин, и унижение. Обескураженный, он решился просить у государя инструкции, т. е. разъяснения, в чем должна состоять его должность. Во вторник и в среду он делал визиты членам Совета и не скрыл от них своего смущения. Его весьма поддержали — кажется, не без злого умысла.

Настал четверг, день советский. Не имея права сесть за стол членом, Державин не сел и за стол правителя канцелярии: так и слушал дела, стоя или ходя вокруг присутствующих. Все эти дни (те самые, когда было извлечено из гроба тело Петра III и Павел с семьей каждодневно ездил в Лавру на панихиды) Державин обедал и ужинал во дворце. Но аудиенцию у государя удалось ему получить лишь в субботу, 22 числа. Император, занятый мрачными мыслями, все же встретил его довольно ласково и спросил, что надобно.

— По воле вашей, государь, был в Совете, но не знаю, что мне делать.

— Как не знаете? Делайте, что Самойлов делал.

(Самойлов был при Екатерине правителем канцелярии Совета.)

— Я не знаю, делал ли что он: в Совете никаких его бумаг нет, а сказывают, что он носил только государыне протоколы Совета, почему осмеливаюсь просить инструкции.

— Хорошо, предоставьте мне.

На этом следовало бы кончить. Но Державин не вовремя вспомнил свободу, которую имел при докладах у покойной императрицы, и прибавил, что в Совете не может он сидеть с членами онога, ибо к тому не назначен, а сидеть за столом канцелярским ему неместно. Так вот — не стоять ли ему между столами?

«С сим словом вспыхнул император: глаза его, как молнии, засверкали». В бешенстве подбежал он к дверям, распахнул их — пред кабинетом стояли люди: Трощинский, Архаров и прочие.

— Слушайте, — закричал Павел, — он почитает быть в Совете себя лишним!

И оборотясь к Державину:

— Поди назад в Сенат и сиди у меня там смирно, а не то я тебя прочу.

Тогда, свету не взвидев, и Державин в свою очередь обратился к слушателям, указуя на государя:

— Ждите, будет от этого ... толк! *

Как в беспамятстве, выбежал он из дворца, и дико смеялся, и дома «не мог удержаться от горестного смеха, рассказывая жене с ним случившееся».

Слухи полетели по городу. Слова Державина пересказывались на все лады и даже приукрашались, хотя довольно было и правды. Для Державина ждали великих бед, вспоминали пословицу: погибла птичка от своего язычка. Все однако же ограничилось кратким указом: «Тайный советник Гаврило Державин, определенный правителем канцелярии Совета Нашего, за непристойный ответ, им пред Нами učinенный, отсылается к прежнему его месту. 22 ноября 1796».

Фавор, начавшийся в понедельник, в субботу кончился. Павел оказался пожестче Екатерины. Но на сей раз Державин и дома почувствовал, что Дарья Алексеевна — не Пленира. Она с ним не стала смеяться, а учинила ему нагоняй и немедленно созвала семейный совет из Капнистов и Львовых, благо все три поэта были женаты теперь на трех сестрах. Капнист опять жил в Петербурге, вел трудную тяжбу с соседом своим Тарновским и дописывал комедию; с какой стороны ни взгляни — ему нужны были покровители; державинская беда приходилась ему некстати. Львов и при новых порядках чувствовал себя, как рыба в воде, и не понимал, чего еще надобно Гавриле. Словом, «осыпав его со всех сторон журьбою, что он бранится с царями и не может ни с кем ужиться, принудили его искать средств преклониться на милость монарха». Державин сунулся было туда-сюда, но нигде помощи не нашел. Он бы и бросил все это дело, стал бы писать стихи. Его тянуло к перу. Он дописал «Бессмертие души», начатое одиннадцать лет тому назад, вслед за «Богом»:

Отколе, чувств по насыщенье,
Объемлет душу пустота?
Не оттого ль, что наслажденье
Для ней благ здешних — суета,
Что есть для нас другой мир, краше,
Есть вечных радостей чертог?
Бессмертие — стихия наша,
Покой и верх желаний — Бог!

Но верх желаний Дарьи Алексеевны не в том заключался, ее стихией были дела житейские. Женою полуопального сановника она никак не желала быть. Покою Державину не стало. «По ропоту домашних был в крайнем огорчении и наконец вздумал он, без всякой посторонней

помощи, возвратить к себе благоволение монарха посредством своего таланта». Явилась «Ода на новый 1797 год» — в сущности на воцарение Павла I. За нее Державина ославили льстецом, — обвинение незаслуженное. Державин видел еще лишь начало царствования, ознаменованное, при всех резкостях, рядом великодушных поступков и благих начинаний. Правда, суровые кары тотчас обрушились на некоторых приближенных Екатерины, особенно на причастных к перевороту 1762 года. Зато другие были обласканы с исключительной щедростью. Зато Костюшко, Потоцкий и Немцевич выпущены на волю и даровано прощение всем вообще полякам, «подпавшим под наказание, заточение и ссылку по случаю бывших в Польше замешательств». Из Илимска был возвращен Радищев, из Шлиссельбурга освобожден Новиков; масон Лопухин вызван в Петербург и обласкан; по его ходатайству выпущены все заключенные в тайной канцелярии, кроме повредившихся в уме. С первых дней царствования Павел повел борьбу с судебной и канцелярскою волокитой — Капнист недаром посвятил ему «Ябеду». Далее, император выразил твердое намерение прекратить войны: рекрут, набранных по указу Екатерины, он распустил по домам; хлеб, забранный для провиантского департамента в казну, приказал вернуть — и т. д. Все это и было отмечено Державиным. Поэт следовал только истине и давнему воспитательному правилу своей поэзии — по возможности не бичевать порок, но поощрять добродетель, возбуждая ее к новым подвигам. Он и теперь считал, что чем прекраснее портрет, тем более оригиналу захочется быть на него похожим. Наконец, не мог он не сознавать великодушия, проявленного императором к нему лично: за оскорбление неслыханное и незаслуженное (в котором должно бы извиниться, будь даже Павел не император, а простой смертный), поплатился он всего только отчислением к прежней должности.

Можно сказать, однако, что не подчинившись голосу лести, лира Державина все же была на сей раз унижена подчинением домашнему натиску. И она за себя отомстила: ода вышла холодная, натянутая, бескрылая. Эти поэтические недостатки не помешали ей, впрочем, возыметь свое действие: Павел велел генерал-адъютанту представить Державина и обошелся с ним милостиво. Тем самым был восстановлен и мир семейный в доме Державина.

Обвинять Державина в лести не только несправедливо, но и непроницательно. Лыстить государю как раз не входило в его расчеты. Помириться он был не прочь, но искать близости, домогаться новых благ или должностей ему уже не хотелось (на это обстоятельство он едва осмелился бы намекнуть Даше, и то разве обиняками). В возможность ужиться с Павлом так, чтобы действительно влиять на дела он больше не верил, а без того служба грозила лишь новыми неприятностями. Конечно, сидеть сложа руки он не умел. В нем не остыла еще потребность или привычка действовать, кипятился, руться в законах. Но эта привычка находила себе утление и помимо службы. Слава строптивного чиновника и плохого царедворца постепенно создала ему в обществе славу особо честного и беспристрастного человека. Все чаще к нему обращались с просьбами быть третейским судьей в разных делах, когда стороны не хотели довериться казенному правосудию; сверх того многие люди, дела которых были расстроены, просили Державина о принятии опеки над их имуществом. Эти суды, которых он провел около сотни, и опеки, которых при Павле он имел в своем управлении целых восемь, требовали немалых трудов и создавали ему почетное общественное положение. Поэтому, примирившись с царем и тем сняв с себя тень опалы, Державин отнюдь не просил новой должности; рад был остаться всего лишь сенатором. Да и в Сенате приучал себя относиться к делам спокойнее: понял, что плетью обуха не перешибешь. Когда возникали шумные прения, он не без яду повторял слова государя:

— Мне велено сидеть смирно, то делайте вы как хотите, а я сказал уже мою резолюцию.

К мечтаньям об отстранении от службы подготовлял он Дарью Алексеevну осторожно, под покровом поэзии, даже легонько лыстя ей:

К богам земным сближаться
Ничуть я не ишу
И больше возвышаться
Никак я не хочу.

Душе моей покою
Желаю только я:
Лишь будь всегда со мною
Ты, Дашенька моя!

Это желание все более укреплялось. Новое царствование едва ли не каждый день давало к тому поводы. Опала, постигшая Суворова, была одним из наиболее разительных.

Будучи вполне убежденный противник войны, «проповедуя мир миру» и в том почитая одну из своих заслуг, Державин по чувству патриотическому с великим уважением относился к екатерининским полководцам. Недавно умершего Румянцева, которого не довольно знал, он прямо идеализировал; Суворову прощал человеческие слабости, высоко чтил в нем набожность и сумел понять тонкий смысл его символических чудачеств. Со своей стороны и Суворов, питавший слабость к поэзии, оценил автора «Бога» и «Фелицы». В толпе екатерининских вельмож прямой и ни с кем не схожий Державин не без оснований казался ему чем-то вроде того, что Суворов был сам среди полководцев. Он звал Державина Аристидом. В свое время ода на взятие Измаила не могла ему не польстить. Вслед за тем Державин прислал ему первое четверостишие на взятие Варшавы. Полководец был покорен вполне и ответил поэту стихами, довольно витиеватыми, о коих, впрочем, писал, что они сложены «в простоте солдатского сердца»:

Царица, севером владея,
Предписывает всем закон:
В деснице жезл судьбы имея,
Вращает сферу без препон — и проч.

В конце 1795 г. Суворов приехал в Петербург. Екатерина ему отвела дом князя Таврического, где он спал на соломе и ходил почти нагишом. На второй день его там пребывания, многие знатные особы с утра устремились к нему с визитами, но не были приняты. Первого принял он Державина в своей спальне, долго беседовал и не отпускал. В 10 часов приехал Платон Зубов. Суворов с ним говорил стоя и не впуская дальше порога; немного спустя он его спровадил, Державина же оставил обедать. Во время обеда приехал вице-канцлер граф Остерман. Суворов, вскочив из-за стола, выбежал на подъезд; гайдуки открывают для Остермана карету, но тот не успел и привстать, как Суворов скакнул к нему, сел рядом, поздоровался, поблагодарил за посещение и выпрыгнул обратно. Остерман уехал, Суворов вернулся в столовую и со смехом сказал Державину:

— Этот контр-визит самый скорый, лучший и взаимно неотяготительный.

С той поры они подружились. Когда в феврале 1797 года Павел грубо отставил Суворова, а затем сослал в Боровицкую глушь, под присмотр земской полиции, Державин столько был поражен, что слов у него не нашлось. Между тем, успел уже пострадать и Валериан Зубов. Конечно, военные заслуги Зубова никак не сравнимы с суворовскими, но его опала была еще более незаслуженна. Суворов хоть прогневил императора язвительными речами: Зубов пал жертвою необузданного павловского миролюбия. Он командовал армией, которую Екатерина отправила против Персии. Войска были отозваны вдруг, без ведома Зубова, сам же он брошен на произвол судьбы в краю неприятеля. Державин некогда поэтически сравнивал его прежние победы над персами с подвигом Александра Великого. По этому поводу кн. С. Ф. Голицын, встретив Державина при дворе, заметил, что в нынешних обстоятельствах он уже не посмеет писать в честь Зубова. «Вы увидите», — отвечал Державин и, приехав домой, написал оду «На возвращение графа Зубова из Персии», которую не мог, разумеется, напечатать, но в списках пустил по городу. Намекая на прежние свои стихи, он в ней говорит:

По быстром Персов покореньи
В тебе я Александра чтил!
О! вспомни, как в том восхищеньи,
Пророча, я тебя хвалил:
Смотри, — я р е к , — триумф минуто,
А добродетель век живет.
Сбылось! — Игру днесь Счастья люту
И как оно к тебе хребет
Свой с грозным смехом повернуло,
Ты видишь; видишь, как мечты
Сиянье вокруг тебя заснуло,
Прошло, — остался только ты.

Он с каждым днем убеждался, что на место екатерининских зол являются новые, павловские, а старые блага, уничтожаясь, новыми не замещаются. Понемногу он научился вздыхать о прошлом. Он посетил Царское Село — оно показалось ему горестными *развалинами*. Он понял, что екатерининская слава умерла, павловской же не будет. Житейским отсюда выводом было желание стать в стороне от государственных дел, во всяком случае — подальше от кормила, а выводы поэтические изложил он в стихотворении «К лире»:

Петь Румянцева собирался,
Петь Суворова хотел;
Гром от лиры раздавался
И со струн огонь летел.

Но завистливой судьбою
Задунайский кончил век,
А Рымникский скрылся тьмою,
Как неславный человек.

Что ж? Приятна ли им будет,
Лира, днесь твоя хвала?
Мир без нас не позабудет
Их бессмертные дела.

Так не надо звучных строев:
Переладим струны вновь;
Петь откажемся героев,
А начнем мы петь любовь.

* * *

Начнем — сказано не совсем точно: любовная лирика присутствовала в поэзии Державина и раньше; эта поэзия с нее даже и началась — в ту казарменную пору, когда юный поэт еще не решался «гнаться за Пиндаром». Но постепенно она была и количественно, и качественно за-слонена музой гражданской и историографической (то же, но в меньшей степени случилось и с религиозной поэзией Державина). Кроме общественных, были тому и другие немаловажные причины, личные и литературные: даже именно сочетание личных с литературными.

Державин во всем начинал с подражаний, исходил из готовых форм, вместе с ними заимствуя у других поэтов оттенки мыслей и чувств. Для его поэзии то был неизменный ход развития. Так началась и его любовная лирика, и все шло гладко, пока для его солдатских шашней и офицерских интриг хватало сердечного и стихотворного опыта, черпаемого из условной и легковесной эротической поэзии, которая была ему открыта. Но этого опыта сразу оказалось недостаточно, лишь только Державин охвачен был подлинным и глубоким чувством к Екатерине Яковлевне. Образцы, которым он мог бы следовать, выражали нечто вовсе пустое в сравнении с его любовью. Перед этой любовью очутился он столь беспомощен, что когда, по законам ухаживания, понадобилось ему посвятить невесте стихи, он ничего не мог написать и поднес старую, вовсе не к Катеньке обращенную пьеску, которую кое-как докончил *. Прибегнуть к малень-

кому обману ему было легче, нежели говорить о предмете своей любви суетным и жеманным языком тогдашней поэзии.

Этому несоответствию чувства и способов выражения суждено было не сглаживаться, а углубляться по мере того, как любовь к Пленуре становилась полней и строже. Как раз в то время, когда в иных областях поэзия Державина созидалась, то есть когда он все более обретал силу высвобождать, выращивать свое из чужого, — именно в области любовной лирики он ничего не мог сделать, ибо ему не с чего было начать. Правда, читая Ломоносова, Сумарокова, Хераскова, Эмина (бывшего своего подчиненного и спутника по олонекскому путешествию), обращаясь к немецким поэтам и особенно — беседуя с Львовым, весьма оценил он прелесть Анакреона, точнее — того своеобразного сплава, который к XVIII столетию образовался из подлинных песен античного лирика и многовековых подделок, переводов и подражаний. Но рассудительное сладострастие анакреонтической поэзии ничего не имело общего с любовью к Пленуре. Рано усвоив анакреонтические образы и приемы, Державин все же не применял их для изображения своей любви. В конце концов она так и осталась невоспетой, неизъяснимой. У Державина есть несколько трогательных, нежнейших упоминаний о Пленуре, но прямо любовных стихов, всецело ей посвященных — нет.

На Пленуру Державин истратил всю любовную силу души своей. После нее он уже никого по-настоящему не любил. «Половина души», опустевшая со смертью Пленуры, Миленою не была заполнена. Именно поэтому Державин, который при жизни Екатерины Яковлевны не смотрел на других женщин, женившись на Дарье Алексеевне стал на них даже очень заглядываться. У Пленуры не было поводов к ревности — у Милены их было вполне достаточно. Начиная примерно с 1797 года старость Державина овевана любовными помыслами и исканиями. Особы, внушавшие ему нежные чувства, чаще всего сокрыты под условными поэтическими прозвищами или вовсе не названы. История сохранила лишь небольшую часть имен достоверных. Среди них в разные годы встречаем мы Варю и Парашу Бакуниных (двоюродных сестер Дарьи Алексеевны, сирот, которых она у себя приютила); молоденькую плясунью Люси Штернберг, воспитанницу графини Стейнбок; юную и проказливую графиню Соллогуб; семнадцатилетнюю Дуню Жегулину. Были и другие — мы еще с ними встретимся.

Совсем молоденькие девушки привлекали Державина в особенности. Он между ними почти не делал различия — все были хороши; вот каково было его «Шуточное желание»:

Если б милые девицы
Так могли летать, как птицы,
И садились на сучках:
Я желал бы быть сучочком,
Чтобы тысячам девочкам
На моих сидеть ветвях.
Пусть сидели бы и пели,
Вили гнезда и свистели,
Выводили и птенцов;
Никогда б я не сгибался,
Вечно б ими любовался,
Был счастливей всех сучков.

О каждом отдельном случае невозможно сказать, как далеко заходили ухаживания Державина, всегда однако же деятельные. Иногда, вероятно, приходилось довольствоваться полунасиленно сорванным поцелуем. Впрочем, девические обычаи той поры были довольно свободны.

Предание рисует Анакреона беззаботным старцем в кругу юных граций. Анакреонтическая личина как нельзя лучше подошла стареющему Державину. Памятником его неизъяснимой любви к Пленире осталось молчание. Его нынешние увлечения было легко и кстати выразить в вольных переводах и подражаниях теосскому певцу. Державин в анакреонтических своих песнях кажет себя веселым, находчивым стариком, окруженным девушками. Он ими любит, шептывает им нежности, порою слегка бесстыдные, радуется любовным удачам, а в случае неудачи не унывает и сам не прочь пошутить насчет своей старости.

Совмещение остатков античности с наслоениями последующих столетий (особенно XVII и XVIII) составляет не только признак того анакреонтического сплава, о коем уже говорено, но и его своеобразную прелесть. Анакреон беседует с Хлоями и Калистами, в которых приятно узнавать милых модниц на французских остреньких каблучках; эллинские Эроты и латинские Купидоны целят своими стрелами в их сердца; сатиры и фавны пляшут среди выцветающих декораций пастушеского балета. Державин еще усложнил эти изящные несоответствия, придав им неожиданный третий слой: Анакреона он несколько обрусил, но с

тончайшим вкусом, не во всем и не сплошь, но как раз настолько, чтобы все три слоя слегка просвечивали.

Это вышло само собою. На деньги, полученные в приданое, Дарья Алексеевна купила в 1797 году сельцо Званку, на берегу Волхова, в 55 верстах от Новгорода. Там чаще всего и протекали романтические истории Гавриила Романовича; крестьянские и дворовые красавицы играли в них, может быть, еще более важную роль, чем приезжие барышни. И вот — пейзаж Званки ворвался в чужеземную поэзию, зазвучала не книжная, но сельская речь, русские дали раскинулись под искусственным небом Анакреона, засвистала пеночка, славянский Лель порхнул меж Амурами, Лада соперничает с Венерой, охотнички постреливают дичину, скрипят жернова на мельницах — для Державина только тот мир прекрасен, который похож на Россию. И вот — среди эллинских нимф и французских пастушек, развеявая одежды античными складками, заплясали в кокошниках русские девушки, «сребророзовые лицом» Варюши, Параши, Любуши: для Державина девушка не прекрасна, если она не русская. И он с гордостью вопрошает Анакреона:

Зрел ли ты, певец тииский,
Как в лугу весной бычка
Пляшут девушки российски
Под свирелью пастушка;
Как, склонясь главами, ходят,
Башмачками в лад стучат,
Тихо руки, взор поводят
И плечами говорят;
Как их лентами златыми
Чела белые блестят,
Под жемчугами драгими
Груды нежные дышат;
Как сквозь жилки голубые
Льется розовая кровь,
На ланитах огневые
Ямки врезала любовь;
Как их брови соболины,
Полный искр соколий взгляд,
Их усмешка — души львины
И сердца орлов разят?
Коль бы видел дев сих красных,
Ты б Гречанок позабыл
И на крыльях сладострастных
Твой Эрот прикован был.

Обдумывая рисунки для будущей книги, Державин сочинил к этим стихам концовку *: «многокрылатый Эрот привязан к простой русской пряслице, на коей видна кудель». В этом смешении стилей не должно видеть ни наивности, ни нечаянности. Смысл и прелесть всего русского анакреонтизма Державин понимал и его создание ставил себе в заслугу. Изображая самого Анакреона (и намеренно придавая ему собственные свои черты), он говорит:

Цари к себе его просили
Поестъ, попить и погостить;
Таланты злата подносили, —
Хотели с ним друзьями быть.

Но он покой, любовь, свободу
Чинам, богатству предпочел;
Средь игр, веселий, хороводу
С красавицами век провел.

Беседовал, резвился с ними,
Шутил, пел песни и вздыхал,
И шутками себе такими
Венец бессмертия снискал.

Посмейтесь, красоты российски,
Что я в мороз, у камелька,
Так вами, как певец тииский,
Дерзнул себе искать венка.

Певец Северной Минервы мечтал теперь стать Северным Анакреоном. Но удалиться от царей ему еще не было суждено.

* * *

Почти два с половиною года Державину удавалось сидеть в Сенате, словно в норе. Наконец, интрига довольно сложная выманила его оттуда. Зоричу, бывшему своему любимцу, Екатерина пожаловала огромное, так называемое Шкловское, имение в Могилевской губернии. Там Зорич и жил почти что на положении феодальном, как вдруг весной 1799 г. поступила от Шкловских евреев жалоба на утеснения, им чинимые. Еврейские горести особенно близко принял к сердцу Кутайсов (возможно, что самая жалоба была подана не без его участия). Он рассчитывал, что в случае изобличения Зорича великолепное имение может быть взято в казну, а затем куплено им, Кутайсовым, за дешевую цену.

Надобно было произвести в Шклове следствие, и Кутайсов старался придумать, кого бы туда послать. Меж тем в Сенате должно было решиться старое, двенадцатилетнее дело о взыскании в казну 300 000 рублей с тамбовского купца Бородина, того самого, из-за которого Державин лишился своего губернаторства. Дело возникло еще по жалобе Державина. Чтоб решить его в пользу ответчика, покровители Бородина Гудович, Завадовский и Васильев (ныне уже барон) мечтали на это время удалить Державина из столицы. Они-то и присоветовали Кутайсову отправить его в Белоруссию: Завадовский по личному опыту знал, что Державин — «следователь жестокосердый». Словом, в июне месяце государь, по просьбе Кутайсова, послал Державина в Шклов. Но Державин, прибыв на место (и кстати сказать — дорожкою заведя небольшой роман), установил, что и Зорич имеет столько же оснований жаловаться на евреев, как они на него. Такой исход следствия Кутайсову оказался не на руку. Последовало высочайшее повеление Державину вернуться в Петербург.

На судьбу Державина эта командировка сама по себе не оказала влияния. Она примечательна лишь как первая попытка вывести его вновь на сцену из-за кулис. Вскоре последовала вторая — хотели послать его на ревизию в Вятку. Ему однако же удалось отвертеться, и до поры он снова обрел покой. Как раз в это время произошли события, о которых должно сказать, хотя к службе Державина они прямого касательства не имели.

Еще за несколько месяцев до поездки Державина в Белоруссию сбылось его предсказание, что звезде Суворова суждено взойти вновь. В конце февраля полководец, прощенный Павлом по настоянию венского двора, отправился в знаменитый итальянский поход. Когда появились известия о первых его успехах — о переходе через Аббу и о вступлении в Милан — Державин написал оду «На победы в Италии». Едва упомянув имя императора, назвал он Суворова «лучом, воссиявшим из-под спуда». Затем, уже после возвращения из Белоруссии, в самом начале следующей зимы, за первой одой последовала вторая — «На переход Альпийских гор», одна из самых мощных в мощной историографической лирике Державина. Великою для него радостью было вновь воспеть славу русских полков, предводимых к тому же не павловским, а екатерининским вождем. Впрочем, самое главное, может быть, было то, что в торжестве Суворова воспевал он и торжество справедливости.

Правда, он сделал два-три комплимента Павлу, но были тому основания: во-первых, стихи, посвященные русской славе перед лицом Европы, некстати было бы омрачать отголосками грустных российских дел; во-вторых, Державин искренне был уверен, что на ссоре Павла с Суворовым ныне поставлен крест, и не хотел бередить старые раны. Но ода писана была в октябре 1799 г., при первом известии о суворовском подвиге, издана же в начале 1800-го, когда престарелый полководец, уже больной, вернулся в Россию — и вновь было замечено тайное к нему недоброжелательство государя. Тогда-то на обороте заглавного листа Державин велел припечатать лестный по внешности, но внутренне очень колкий эпиграф: «Великий дух чтит похвалы достоинствам, ревнуя к подобным; малая душа, не видя их в себе, помрачается завистию. Ты, Павел! равняешься солнцу в Суворове; уделяя ему свой блеск, великолепнее сияешь». Из этих слов «Павел познал, что примечено публикою его недоброжелательство к Суворову из зависти». Естественно, что после такого познания ода была принята им *холодно*.

Между тем самому Суворову суждено было кончать свои дни в болезни. Державин не раз посещал его. Свидания были исполнены той простоты, которая приличествовала обоим. Суворов перед Державиным оставлял чудачества, Державин в присутствии умирающего Суворова становился спокойнее, учился чувствовать приближение старости, мудрее вспоминать прошлое, судить о нем снисходительней и любовней. Им было что вспомнить — от пугачевских степей до янтарных теремов Царского Села. Казалось — история и Фелица незримо присутствовали среди их беседы. Суворов спросил однажды:

— Какую же ты мне напишешь эпитафию?

— По-моему, много слов не нужно, — ответил Державин. — Довольно сказать: *здесь лежит Суворов*.

6 мая Суворов при нем скончался. Державин, вернувшись домой, прошел в кабинет. Ученый снигирь трепыхнулся в клетке и по привычке тотчас пропел все, что знал: одно колено военного марша. Державин плотней прикрыл дверь, подошел к конторке, провел рукой по глазам, взял перо:

Что ты заводишь песню военну,
Флейте подобно, милый Снигирь?
С кем мы пойдем войной на гиену?
Кто теперь вождь наш? кто богатырь?..

«Сидя смирно» в Сенате, Державин только однажды вызвал неудовольствие государя, когда, вступаясь за мелких шляхтичей и ксендзов, обвиняемых в государственной измене, высказал мысли, по тому времени замечательные. «Придет время, — сказал он, — узнаете: чтобы сделать истинно верноподданными завоеванный народ, надобно его привлечь прежде сердце правосудием и благодеяниями, а тогда уже и наказывать его за преступления, как и коренных подданных, по национальным законам». На другой день ему передали, что государь приказал не умничать.

Зато стихами, исполненными то язвительных намеков, то неприятных нравочений, вызывал он гнев Павла довольно часто. За одой на возвращение Зубова следовала двусмысленная ода «На новый 1798 год», за нею стихи «К самому себе», после которых Павел, увидев Державина при дворе, «с яростным взором, по обыкновению его, раздув ноздри, так фыркнул, что многие то приметили и думали, что верно отошлет Державина в ссылку или по крайней мере вышлет из города в деревню». Ссылку пророчили и за колкости в оде на рождение великого князя Михаила Павловича. Правда, государь вместо ссылки прислал Державину табакерку, но это был лишь минутный жест — один из бесчисленных жестов той постоянной драматической импровизации, которая давно заменила Павлу действительность, была его отрадою и мучением и решила его судьбу. В общем Державин был ему неприятен. Он прямо жаловался генерал-прокурору Лопухину, что Державин *все колкие какие-то пишет стихи*. Эпиграф к альпийской оде тоже, конечно, ему запомнился.

Казалось бы, если Павел не любит Державина, а Державин не хочет служить при Павле, то им встретиться вовсе не суждено. Однако, в придворных делах (а в те времена все дела государственные силою вещей становились придворными) имела особая, своя логика. Вернее, логика была обычная: следствия, как всегда, вызывались причинами. Но сами причины, попадая в придворный мир, вызывали совсем не те следствия, которые они вызывали бы в иной сфере. Державин и Павел встретились — и как раз потому, что избегали друг друга. И даже именно при Павле, неожиданно для обеих сторон, вопреки их желаниям и характерам, Державину было суждено служебное возвышение почти стремительное.

В былые годы Державин судил людей строго, и как дурных встречалось более, чем хороших, то и было у него при дворе и в правительстве более врагов, чем друзей. Среди сильных людей нового царствования не было у него ни тех, ни других, потому что на всех он взирал с одинаковою холодною. Прежде он очертя голову кидался на борьбу с беззаконием, плутовством, пронырством. Ныне довольствовался тем, что сам поступал по закону и совести, а выводить на чистую воду, обличать и карать ему более не хотелось. Теперь с ним уживались те, кому ранее от него житья не было бы.

При Екатерине он ставил себе высокие цели и ради них искал власти. Теперь, когда он решил, что борьба бесполезна, уже и самая власть была ему не нужна. Ничего он не проповедовал, ни за чем не гнался. По законам придворной логики это тем более открывало ему карьеру, ибо никто уже не страшился ни его мыслей, ни его соперничества.

Без друзей, без врагов, без целей, очутился он и вне партий — то есть как если бы и во всех партиях сразу, потому что теперь люди всех партий равно могли искать у него содействия. В то же время никто не боялся, что он слишком возвысится: его личные отношения с государем заранее ставили возвышению такому известный предел. Никто не боялся, что Павел слишком полюбит Державина, да и Державин никак не годился во временщики.

Итак, ни перед кем не заискивая, но и не проявляя слишком открыто свой нрав, единственно благодаря сложнейшему ходу придворных дел, для себя самого неожиданно, Державин стал возвышаться. Летом 1800 г. снова послали его в Белоруссию. Цель была вроде той, что и при первой командировке: надеялись, что он изобличит временных владельцев казенных земель в жестоком обращении с крестьянами, и тогда земли будут отобраны в казну, чтобы попасть в руки Кутайсова и других. Державин опять не исполнил того, что от него требовалось, но в его отсутствие хитрые придворные обстоятельства так сложились, что он был вдруг пожалован действительным тайным советником, получил почетный командорский крест Мальтийского ордена и был заочно назначен президентом восстановленной коммерц-коллегии. Примечательно, что узнав об этом, он писал жене: «Ты радуешься, но я не очень». Со своей стороны государь, когда Державин приехал в Петербург, не пожелал принять его и сказал генерал-прокурору Оболянинову:

— Он горяч, да и я: так мы, пожалуй, опять поссоримся: пусть доклады его идут ко мне через тебя.

Не прошло и трех месяцев, как Державин, никаких подговоров не сверша, пошел в гору еще быстрее: «повелено ему быть вторым министром при государственном казначействе и управлять делами обще с государственным казначеем». Это повеление состоялось 21 ноября, а 22-го государственный казначей бар. Васильев смещен вовсе и Державин назначен на его место. 23 числа он уже сделан членом того самого Верховного Совета, из-за которого некогда поссорился с государем, 25-го переведен из межевого департамента Сената в 1-ый, а 27-го пожаловано ему 6000 рублей столовых ежегодно. Тогда же назначен он заседать в советах Смольного монастыря и Екатерининского института.

Человек слаб. Легкие служебные успехи, которых Державин не знал раньше, начинали ему нравиться. Приятно было, что ордена сами собой сыплются на грудь, а деньги в карман. Порой ему даже казалось, что государь научился его ценить. Но государь хмурился по-прежнему. В самое Крещение 1801 года он было рассвирепел, узнав, что Державин обедал у Платона Зубова. Призвал к себе в кабинет, сам сел на софу, а Державину велел сесть напротив. Говорил, прилежно глядя ему в глаза, и отпустил с грозным видом.

Стремительное возвышение Державина с самого начала объяснялось не благоволением государя, а происками Кутайсова и генерал-прокурора Оболянинова. Кутайсов хотел погубить Васильева — у них были старые счеты; генерал-прокурор подольщался к Кутайсову. Вот и спихнули они Васильева и посадили на его место безопасного Державина, которого старались задобрить и задарить, внушая, чтоб он, при вступлении в должность, настойчивей проверял денежную отчетность. Кутайсов надеялся, что удастся представить Васильева вором.

Но Державин был непослушным орудием; он стал действовать добросовестно и не спеша. Кутайсов и Оболянинов на него ворчали, так что Державин побаивался, как бы, «снисходя к Васильеву, самого себя вместо его не упрятать в крепость». Наконец, уже в марте 1801 года он представил рапорт, из коего следовало, что в отчетности казначейства имеются недостатки, но в общем счеты между собой согласны. Этот рапорт рассматривался в Совете 11 марта, в присутствии великого князя Александра Павловича, недавно туда назначенного. Оболянинов нападал на Василье-

ва, обвиняя его в преступлениях; наследник, напротив, с горячностью вступался, отрицая даже и неисправности; Державин «балансирует на ту и другую сторону», подтверждая наличие ошибок со стороны Васильева, но отрицая злой умысел. На другой день ему предстояло докладывать императору для окончательного решения. Вечер провел он у генерал-прокурора, трактуя о соляных подрядах. Около полуночи поехал домой. Стояло ненастье. Луна бежала в громоздких, быстролетящих тучах. Резкий ветер, всегда подавляющий душу и родящий тревогу, налетал с сиповатым ревом, напоминающим голос императора. Завтрашний доклад беспокоил Державина: обманувшись в расчетах, Кутайсов, наверно, успел пожаловаться. Укладываясь в постель, Державин прислушивался, как за окном шумит буря.

За ночь, однако же, ветер упал. Солнце, вступая в знак Овна, сияло поутру среди голубого неба, началась оттепель; то был первый день первой весны девятнадцатого столетия. Часов в восемь вбежала Параша Бакунина (теперь уже, впрочем, госпожа Нилова) и объявила, что государь убит. Из Зимнего дворца привезли повестку: «Его Императорское Величество Государь Император Александр Павлович указать соизволил сего марта 12 в 9 часов поутру иметь приезд во дворец Его Императорского Величества для принесения присяги на верность Его Императорскому Величеству».

VIII

Если некогда воцарение Павла I показалось вторжением неприятеля в завоеванный город, то его смерти радовались, как изгнанию супостата. При дворе, в канцеляриях, в частных домах, на улицах люди поздравляли друг друга, обнимались, спешили облечься во фраки, жилеты и круглые шляпы; панталоны и сапоги с отворотами появились всюду; все головы причесались а ля Титус, косички были уничтожены и букли обрезаны. Дамы, не теряя времени, переменили моду. Экипажи с французскою и немецкою упряжью исчезли, и появилась вновь русская упряжь, кучера и фореитеры. Общество предавалось ребяческой радости. Сам молодой император поспешил снять с себя знаки Мальтийского ордена. Словом, восторг, по выражению свидетеля, «выходил даже из пределов благопристойности» *. Правда, его изъясляло преимущественно дворянство; прочие сосло-

вия приняли весть о перевороте молчаливо. Быть может, за этим молчанием скрывалось и неодобрение.

Державин считал, что у Павла были хорошие свойства ума и сердца, но они слишком скоро «обратились в ничто», были вконец изуродованы необузданным и фантастическим своеволием. Недаром он сторонился покойного императора и глядя на Павла учился вздыхать о Екатерине. Грядущее было еще неясно, но избавление от Павла казалось уже несомненным счастьем для России. На восшествие Александра I написал Державин стихи, в которых сильнейшие строки были посвящены не столько ожиданию будущих благ, сколько изображению минувших зол. Ода на воцарение нового императора обернулась одою на свержение тирана.

Умолк рев Норда сиповатый,
Закрылся грозный, страшный взгляд...

В этих стихах видели портрет убитого государя. Александр поступил двусмысленно и, если угодно, в духе покойной бабушки: Державину он прислал бриллиантовый перстень, а стихи запретил — то ли из уважения к горю вдовствующей императрицы, то ли по другим причинам, которых не хотел высказать. Впрочем, уже было поздно: ода, как водится, распространилась в публике, ее заучивали.

Между тем служебные обстоятельства Державина очутились неблагоприятны. В ночь царевубийства Кутайсов бежал из дворца и спрятался. Он дрожал напрасно: все обошлось для него отставкой, которую вместе с Обольяниновым получил он в первый же день нового царствования. То были первые жертвы, которые Александр принес общественному негодованию и собственному презрению. Дело Васильева в этой опале сыграло роль незначительную, но сам Васильев забыт не был. Его безупречность Александр Павлович отстаивал в Совете всего лишь за несколько часов до своего воцарения. Восстановление Васильева в прежней должности не заставило себя ждать. Тем самым Державин, следственно, отстранялся. Место государственного казначея пришлось возвратить Васильеву. Положение было не из приятных, но Державин чувствовал, что роптать он не вправе. Хоть и не поступился он ради Кутайсова справедливостью; хоть и перед Васильевым его совесть была чиста (он искренно считал, что в государственные казначеи Васильев не годился и запустил дела чрезвычайно); хоть сам Васильев недавно приезжал к нему и со слезами благодарил

за кое-какие побрякушки,— все же он сознавал, что последние ордена свои, чины, должности и награды получил через самые грязные руки им же осужденного царствования — через руки Кутайсова. Самое приспособление Державина к обиходу павловского двора было слабостию, падением, за которое теперь наступила расплата, сравнительно еще не тяжелая: Державин мог ожидать, что взамен казначейства получит иную должность. Нерасположение государя он прямо почувствовал только через две недели. 26 марта был упразднен Верховный Совет, а 30-го последовал высочайший указ об учреждении Совета Непременного, составленного из двенадцати лиц, «доверенностью Нашею и общему почтенных»: в число этих двенадцати Державин не был включен. Недруги по обычаю злорадствовали. Самого Державина занимали мысли и чувства гораздо более сложные, чем простая обида.

* * *

Еще в молодые годы пришла ему первая мысль о том, что внутреннее неблагополучие российского государства как-то связано с формой правления. Увлечение Наказом и дух эпохи привели к тому, что, не затрагивая вопроса об объеме самодержавной власти, Державин отважился на нечто большее (казавшееся ему, вероятно, меньшим): он усомнился в ее божественном происхождении. Так родилась мысль о том, что единственное основание царской власти — не рождение и не помазание, а народная любовь, даруемая смотря по заслугам и добродетелям, которых отсутствие превращает помазанника в тирана; тиран же может быть свергнут по воле народа.

Таким образом, первоначально избегая судить самодержавие, Державин отнюдь не отказывал себе в праве судить каждого данного самодержца. Тогда же он определил главные признаки добродетельного монарха: такой монарх должен быть, во-первых, страж и слуга закона; второй, столь же необходимой его добродетелью Державин признал способность к добровольному и постоянному изливанию свобод и милостей. Именно эти свободы и милости, не что иное, называл он *щедротами*. В пору наибольшего восхищения Фелицей вложил он в уста сей воображаемой идеальной монархини многозначительные слова:

Самодержавства скиптр железный
Своей щедротой позлащу.

В этих немногих основных положениях державинского монархизма слишком нетрудно найти великое множество слабых мест и противоречий: в какой, так сказать, мере скипетр самодержавия может оставаться *железным* и до какой степени самодержец обязан его *позлащать*? Каков наименьший объем *щедрот*, без которого самодержец объявляется *тираном*? С какого момента становится позволительным его свергнуть? Кто и в какой форме полномочен судить о заслугах монарха и выражать мнение и волю народа? В каких пределах и почему самодержец обязан чтить и блюсти законы, если ему же дана верховная власть оные учреждать и отменять? Что выше: щедрота или закон? Может ли закон стеснять добродетельного монарха в его щедроте? Не обязан ли сам блюститель законов порою преступать их ради щедротолубия?..

Число этих простых, но неразрешимых вопросов можно весьма увеличить. Как, например, разрешил бы Державин вопрос о замещении престола? Известно лишь то, что даже после павловского закона о престолонаследии он остался верен традиции Петра Первого и жалел, что Екатерина не успела передать власть Александру, минуя Павла. Как частный случай, это было бы допустимо и с точки зрения Державина. Но чтобы быть вполне последовательным, Державину, при его системе свободных тираносвержений, должно бы вообще отрицать наследственный переход императорской власти и остановиться на выборном начале. Меж тем, если бы ему предложили нечто подобное, он ужаснулся бы.

Все эти несообразности были, конечно, видны самому Державину. Если не сразу, то постепенно они ему уяснялись. Не мог он не понимать, что идеальный самодержец, созданный его воображением, есть в сущности *самоограничивающийся*; что идеал этот недостижим, ибо никаких личных доблестей не хватит монарху на то, чтобы возместить ими пороки самой системы; наконец — что судя самодержцев вместо того, чтоб судить самодержавие, он не решает вопроса, а лишь обходит или оттягивает решение.

Однако ж, и этот суд совершился уже давно, сам собой; в сердце Державина даже отчетливей и быстрее, чем в уме. И в нерадостной своей юности, и потом, созерцая жизнь, принимая ее удары, препираясь с вельможами и царями, прислушиваясь к голосу совести («поелику же дух Державина склонен был всегда к морали»), приучился он ощущать самодержавие, как непомерную тяжесть, налегшую на жизнь, волю и самую мысль России. Постепенно чувство

это окрепло. В 1797 году, когда Храповицкий в стихотворном послании назвал Державина орлом, — он не выдержал и ответил:

Страху скованным цепями
И рожденным под ярмом,
Можно ль орлими крылами
К солнцу нам парить умом?
А когда б и взлетали —
Чувствуем ярмо свое.

Эти стихи он впоследствии напечатал, но вообще избегал высказывать подобные мысли. Не корысть и не страх заставляли его таиться. Причина была иная. Поклонение закону потому так остро, едва ли не болезненно развилось в Державине, что вокруг себя видел он постоянно неуважение к закону, иногда как бы даже незнание о нем. Быть может несколько преувеличивая, Державин считал, что в понятиях русских людей власть и произвол суть одно и то же. Власть государственная в таких обстоятельствах становилась как бы огромнымместилищем произвола, сосудом яда. Всю жизнь будучи свидетелем дворянских поползновений разделить власть с самодержцами, Державин приходил в ужас при мысли о том, что дворянское засилье, которое он видел при Екатерине, может подняться до степени узаконенного раздела власти. Именно поэтому он считал неизбежным охранять полноту и неприкосновенность самодержавия. В руках надсловного и просвещенного монарха железный скипетр в счастливом случае мог быть позлащен, тяжесть самодержавия могла равномерно ложиться на всех, как жертва, приносимая благополучию государства. Сделавшись достоянием дворянства, власть, по мнению Державина, превратилась бы в нестерпимое и безнравственное угнетение всех прочих сословий, и государство было бы приведено к гибели.

Самодержавие, таким образом, оказывалось наименьшим злом. Мысль Державина, описав круг, возвращалась к добродетельному монарху, существу высшему, бытие которого опровергалось умом и опытом, но в которое еще оставалось верить, как в чудо. Жизни Державина суждено было протекать в упованиях, оболъщениях и разочарованиях. Голос музыки его становился то мягок, то грозен, то вкрадчив, то дерзок; Державин то воспевал щедроты царей, то грозил им судом народа: стихи его полны на сей счет угроз и предостережений. Не уставая «уроки для владык гре-

мать», он шел на уступки, обличал, просил, требовал, умолял, льстил, — можно сказать, вызывал добродетельного монарха, как вызывают духа.

«Блаженству общему радея», охраняя то самодержавие от дворянства, то, в ряду прочих сословий, дворянство от самодержавия, Державин неизменно ставил себя в положение трудное. Выступая на той стороне, которая в каждую данную минуту и по каждому данному поводу была угрожаема, он то и дело сознательно менял одну невыгодную позицию на другую. В конце концов, оказывался он всякий раз между двух огней. Благоговей перед Екатериной за вольности, ею провозглашенные и дарованные, он с ней поссорился потому, что она «угождала своим окружающим»; «против которых явно восстать может быть и опасалась»; иными словами — потому, что она потворствовала дворянскому засилию. К досаде вельмож, он приветствовал первые шаги Павла, уповая, что будут исправлены ошибки Екатерины. Но Павел довел охрану самодержавия до тиранства — и Державин прославил цареубийство, несмотря на то, что оно было совершено дворянами. Он видел в нем суд народа:

Народны вздохи, слезны токи,
Молитвы огорченных душ,
Как пар возносятся высокий
И зараждают гром средь туч:
Он вержется, падет незапно
На горды зданиев главы.
Внемлите правде сей стократно,
О власти сильные, и вы!
Внемлите — и теснить блюдитесь
Вам данный управлять народ.

Державин не знал о заговоре. Но если бы знал — вероятно, сочувствовал бы ему *, хотя предвидел бы, что на другой день после переворота вступит в борьбу со своими вчерашними единомышленниками.

— Батюшка скончался апоплексическим ударом; все при мне будет, как при бабушке.

Таковы были первые, чуть слышным голосом, сквозь слез сказанные слова молодого императора, когда шатаясь от горя и страха, вышел он к караулам семеновцев и преобращенцев. И хотя первая половина этой фразы, предназначенная для солдат, была заведомой ложью, — второй, предназначенной для дворян-офицеров, Державин имел основание верить вместе со всеми прочими. Поскольку Россия избавлялась от Павла, Державин встречал первый

день Александра царствования, как «день спасенья и утех». Но Александр обещал стать дворянским царем — и Державин насторожился.

Многие екатерининские сановники были тотчас призваны к власти; некоторые из них вернулись из деревень, куда сосланы были Павлом. Кидаясь в объятия Трошинского, Александр воскликнул: «Будь моим руководителем!» * Трошинский написал манифест о восшествии на престол и был назначен состоять при особе Его Величества у исправления дел, по особой доверенности государя на него возложенных. С ним вместе явились и окружили трон Васильев, Александр Воронцов, Беклешов (в должности генерал-прокурора), Завадовский; все — более или менее недруги Державина. Удаление Державина из Совета было не только следствием их вражды, но и знамением того, что впрямь воскресает екатерининская пора; правление Павла словно бы выпало из чреды времен; Державин вновь очутился в том самом положении, в каком был 6 ноября 1796 года, — не у дел. Пока что — ему оставалось наблюдать. Но вскоре события развернулись причудливо, как причудлива была вся судьба Державина.

* * *

В России давно уже повелось так, что каждый новый император вступал на престол либо в порядке открытой дворцовой революции, либо питая столь глубокую неприязнь к личности и правлению своего предшественника, что всякое воцарение становилось похоже на революцию. При появлении нового самодержца всякий раз трепетали не только придворные, но, казалось, и сами законы. Они словно бы повисали в воздухе и ждали себе подтверждения либо отмены. (Отчасти потому общество их и не уважало.)

Не удивительно, что и царствование Александра, возведенного на трон убийцами его отца, началось резкой сменой лиц и порядков. Наступление новой государственной эпохи молодой государь спешил возвестить в указах и манифестах, чуть ли не ежедневных. Они затрагивали самые различные стороны жизни, поражая воображение современников своим либеральным духом. В гуманных мероприятиях Александра Павловича видели отражение его образа мыслей, что, разумеется, вполне справедливо. Однако, нетрудно заметить в них и неизбежное следствие очередного переворота: чем круче был Павел, тем его преемник должен был выказывать себя мягче (хотя бы на первых порах).

Тем не менее, щедроты оставались щедротами. Сердцу Державина они говорили многое. Общее восхищение государем передалось и ему. Александр некогда был воспет им еще «в пеленах». Двадцать лет назад, предрекая порфирородному отроку царствование, Державин ему завещал высокое правило:

Будь на троне человек!

Теперь эти слова припомнили; многим они казались пророческими. В первых шагах Александра Державин и сам был склонен узнать того царевича Хлора, которому богоподобная Фелица с младенчества указала путь

Взойти на ту высокую гору,
Где роза без шипов растет,
Где добродетель обитает.

Лично для Державина новое царствование начиналось, как предыдущее, полуетставкой. Но на сей раз он уже не хотел и не мог «сидеть смиренно». В нем слишком были возбуждены и надежды, и опасения. И те, и другие одинаково влекли к действию.

Екатерина начала, а Павел довершил ослабление Сената путем усиления власти генерал-прокуроров. Беклешов, назначенный Александром Павловичем, мог уже править по своей воле, решая дела единолично и не останавливаясь перед нарушением закона. Сенаторы не смели ему перечить, его же целью было лишь угодить государю. А как последний желал на каждом шагу означить различие между собой и своим предшественником, то «охуждая правление императора Павла, зачали без разбора, так сказать, все коверкать, что им ни сделано».

Дошло до того, что Беклешов принудил Сенат отменить соляные контракты, заключенные с откупщиками Перетцом и Штиглицем. Правда, контракты были невыгодны для казны; но Павел незадолго до кончины утвердил их. Во имя закона Державин настаивал на их выполнении. Он поднес государю записку, в которой напоминал, что при вступлении на престол Александр обещал строго держаться законов. Но Александр, как и следовало ожидать, стал на сторону Беклешова. Первая стычка кончилась не в пользу Державина. За нею последовала вторая, со всех сторон более любопытная.

Еще при покойном государе молоденькая красавица Наталья Алексеевна Колтовская (ей было всего лет двадцать) разошлась с мужем. Павел подписал указ об учреж-

дении опеки по ее делам. Но опекуны явно держали сторону мужа. Тогда государь, будучи равнодушен к Колтовской, по ее просьбе назначил опекуном Державина. Этот приказ был отдан словесно, и теперь Беклешов потребовал восстановления прежней опеки, ссылаясь на то, что письменный указ действительнее словесного. Державин возражал, что действительность словесного указа подтверждена самим Сенатом, однажды принявшим его к исполнению; что указ, принятый к исполнению, отменен быть не может; что, наконец, исполнение письменного указа было бы равносильно передаче имущества в руки мужа, т. е. лишило бы Колтовскую всего состояния даже без рассмотрения дела в низших судебных местах. Державин действовал тут по совести: он отстаивал справедливость, закон и достоинство Сената. Но *горячности* придавали ему два обстоятельства посторонних: Беклешова считал он одним из виновников своего устранения из Совета, а голубые глаза Колтовской заронили огонь и в его сердце.

По закону голос каждого отдельного сенатора должен был доходить до государя наравне со всеми прочими. Но через несколько дней Державину вдруг показали подтвержденный Александром доклад, в котором не только было сокрыто мнение, заявленное Державиным, но даже имя его не упоминалось. Тогда явился он к государю и прямо спросил, на каком основании его величеству угодно оставить Сенат. «Ежели,— прибавил он, — генерал-прокурор будет так самовластно поступать, то нечего сенаторам делать, и всеподданнейше прошу меня из службы уволить».

Этими словами Державин выразил чувства не только свои. Трощинский, недавний друг Беклешова, уже читал государю записку о властолюбивых видах лиц, чрез которых Сенат представляет свои дела. Теперь Державин подал сигнал к новому натиску. Александру напомнили о его обещаниях. Вопрос стал уже не о личности Беклешова, но глубже и откровенней: о пределах самой генерал-прокурорской власти и о порабощении Сената. Государь был вынужден уступить, и 5 июня был дан высочайший указ, в котором значилось: «Уважая всегда Правительствующий Сенат, яко верховное место правосудия и исполнения законов, и зная, сколь много права и преимущества, от государей предков моих ему присвоенные, по времени и различным обстоятельствам подвергались перемене к ослаблению и самой силы закона, всем управлять долженствующего, я желаю восстановить оный на прежнюю степень ему приличную и для

управления мест ему подвластных толико нужную; и на сей конец требую от Сената, чтобы он, собрав, представил мне докладом все то, что составляет существенную должность, права и обязанности его, с отвержением всего того, что в отмену или ослабление оных доселе введено было»...

С этого дня начались работы по установлению прав Сената. Неразрывно связанные с необходимостью пересмотреть всю систему управления, они повлекли за собой ряд важных преобразований, всколыхнули общество и с новою остротой поставили вопрос о взаимоотношениях дворянства и короны. Голубые глаза оказались не без влияния на ход истории.

* * *

После обеда, встав от стола, государь недолго беседовал с приглашенными, после чего удалялся. Между тем, пока разъезжались прочие гости, четверо молодых друзей императора — гр. П. В. Кочубей, гр. П. А. Строганов, Н. Н. Новосильцев и кн. Адам Чарторыйский — направлялись особым ходом во внутренние покои. Там, в небольшой туалетной комнате, за чашкою кофе обсуждались проекты благотельных и просвещенных реформ. Одушевленные самыми передовыми европейскими идеями (кроме Строганова, все они только что прибыли из-за границы), эти молодые люди весьма были бы удивлены и даже оскорблены, если бы им сказали, что образованный ими неофициальный или негласный комитет как раз и есть настоящее детище ненавистного деспотичества, ибо создан единственно по произволу монарха и намерен вершить судьбы России неофициально, негласно, т. е. безответственно, через голову высших государственных учреждений. Вполне характерно, что, по признанию Строганова, возражения и идеи, которые высказывал государь в комитете, не всегда были основательны, но противоречить ему не решались. Чарторыйский писал впоследствии, что Александр «охотно даровал бы свободу всему миру, при условии, чтобы все согласилось подчиниться единственно его воле».

Воспитанный в либеральнейшем духе, Александр искренно мечтал «обуздать деспотизм нашего правительства», как он выражался. Где-то в прекрасном отдалении ему мерещилась конституция. Но наряду с этой затверженной мыслью действовал в нем и глубокий наследственный инстинкт — инстинкт сохранения самодержавия. Негласный комитет ему очень нравился. Здесь люди все были свои:

молодые, мечтательные, либеральные — и, в сущности, послушные. В Сенате сидели бабушкины вельможи: спорщики и дельцы. Все эти Воронцовы, Завадовские, Зубовы, Трошинские уже начали надоедать Александру. Конституция, о которой красноречиво мечтали в комитете, была делом отдаленного будущего, а бабушкины сенаторы требовали себе власти тотчас.

Сенат, действительно, закипел. Там составлялись проекты — один другого решительнее. Иные прямо носили название конституций. Платон Зубов требовал превращения Сената в законодательное собрание. Александр был озабочен до чрезвычайности, порой падал духом и бывал близок к тому, чтобы подписать один из этих проектов: по крайней мере все разом кончится. Лишь в неофициальном комитете он находил утешение и поддержку. Там Новосильцев с горячностью доказывал, что, руководствуясь началами Петра Великого, не следует обращать Сенат в законодательное учреждение — достаточно предоставить ему власть судебную. Вскоре приехал Лагарп. Старый воспитатель Александра Павловича теперь уже был не тот якобин, что прежде. Гельветическая республика не прошла для него даром. Царя стал он удерживать от всего, чему некогда обучал великого князя. Он предостерегал от опасностей призрачной свободы, от либеральных увлечений — в частности от расширения прав Сената. Что могло быть приятнее? Александр при ободрился.

Комитет был, однако же, прав, намереваясь связать реформу Сената с реформой отдельных частей управления. Александру Павловичу досталось хаотическое наследство. Власть коллегий, учрежденных Петром Великим, при Екатерине почти целиком перешла к палатам и губернским правлениям. Коллегии были парализованы, Екатерина начала постепенно их упразднять. Теперь надлежало в той или иной форме усилить действие центрального правительства. Но возникал вопрос: восстановить ли петровские коллегии или заменить их министерствами, придав управлению характер единоличный? Уже Павел, стремясь непосредственно подчинить отдельные части правительства своей воле, стал назначать министров — наряду с директорами коллегий, что создавало путаницу и двоевластие. Неофициальный комитет настаивал на окончательной замене коллегий министерствами, что более соответствовало европейской политической моде и считалось более либеральным. В русских условиях оно, впрочем, становилось вовсе не либерально. Там, где

верховная неограниченная власть находится в одних руках и где народ, не имея своих представителей, бессилён влиять на действия главных правительственных лиц, власть этих лиц (и в конечном счете власть самодержца, который их назначает и пред которым только они ответственны), хоть отчасти может быть умеряема лишь совещательными при них органами. Верный сословный инстинкт восстанавливал большинство старых деятелей против министерств и на деле оказывался более либеральным, чем словесный либерализм негласного комитета. Трощинский написал трактат в защиту коллегий. Но столь же верный инстинкт самодержца побуждал Александра Павловича в особенности настаивать на создании министерств. Лагарп и в этом его поддерживал.

Таковы были обстоятельства, при которых Державин составил проект, получивший имя державинских кортесов*.

«Состав сей организации был самый простой», — говорит Державин. Пожалуй, вернее было бы назвать его со всех сторон хитрым. В основе проекта лежали два стремления, отчасти друг другу противоречащие: охранить полноту царской власти и ослабить власть царем назначаемых министров. (Державин, как и пристало ему, был сторонником коллегий, но он знал, что создание министерских должностей предрешено и от этой затеи государь не отступится). Психологическая окраска этих стремлений также была различна: осуществить первое казалось Державину совершенно необходимым, но его тайному убеждению оно не соответствовало; зато второе было им глубоко выстрадано — однако ж, он чувствовал, что осуществлением первого уже затрудняется достижение второго.

Напомнив о замысле Екатерины образовать Сенат согласно ее положению о губерниях, Державин предлагал разбить Сенат на отделы и департаменты, соответствующие средним и низшим местам губернским. Самое это разделение было довольно путано и основано на идеях ложных, но суть не в том. Сенату предоставлялась власть административная и судебная — отнюдь не законодательная. Что же касается министров, то Державин их ставил лишь во главе соответствующих департаментов, с тем, чтоб они «не иначе были, как опекуны только и надзиратели за успешным течением дел и понудители оных, имеющие власть предлагать только¹ своему департаменту и по утверждении его

¹ «Только» относится здесь к слову «предлагать», а не «своему».

входить с докладом к Императорскому Величеству и ничего сами собою вновь постановляющего или решительного не делать».

Отказывая Сенату во власти законодательной, Державин вручал ему охрану законов самую деятельную. (Характерно, что в замещение сенаторских мест отчасти вводилось начало выборное, через что и надзор за министрами получал некоторый оттенок общественности). Важное значение приобретали не только департаменты, но и мнения отдельных сенаторов: в случае разногласия они всякий раз должны были доводиться до сведения государя наравне с голосами большинства.

Таким образом, сохраняя за государем всю полноту законодательной власти, Державин всю исполнительную передавал Сенату, чем и осуществлялся, по его мнению, «гармонический состав в управлении Империи». На деле все гармонизирующее начало было заключено в усмотрении монарха, который являлся центром всех властей и арбитром во всех разногласиях, как внутри Сената, так и между Сенатом и министрами.

Согласно проекту, министры были не только ответственны пред Сенатом, но как будто работали под прямым надзором его. Однако, Сенат был бессилён подчинить министра закону, ибо министр всегда мог апеллировать к государю, который, уважая в нём свой собственный выбор или действуя через него, мог изменить или отменить закон. Итак, единственным залогом действительного уважения к закону и Сенату оказывались все то же самоограничение и личная добродетель монарха — безвыходная мечта Державина. Недаром старался он в ту пору увлечь Александра идеальным портретом Царевича Хлора, как некогда соблазнял Екатерину изображением Фелицы:

Так: шепчут, будто саму власть,
В твоих руках самодержавну,
Господства беспредельну страсть,
Ты чтить за власть самоуправну;
Что будто мудрая та блажь
Нередко в ум тебе приходит,
Что царь — законов только страж,
Что он лишь в действо их приводит
И ставит в том в пример себя;
Что ты живешь лишь для народов,
А не народы для тебя,
И что не свыше ты законов.

Голосом увещательной лиры старался он обеспечить то, чего не обеспечивала его конституция.

Против добродетели Александр ничего не имел. Он любил всю полноту своих прав — право на самоограничение, может быть, даже в особенности. Способность относиться к себе самому со спартанской суровостью порой умиляла его до сладких слез. Проект Державина, в числе прочих, был брошен в общий котел негласного комитета, где и подвергся суровой, во многом справедливой критике. Но Александр запомнил его с признательностью и в совещаниях не раз заставлял к нему возвращаться. При случившейся вскоре коронации награды вообще были немногочисленны. Тем более примечательно, что Державин получил Александра Невского.

* * *

Своим проектом снискал он благоволение государя, за что вскоре и поплатился. Александр поручил ему ревизовать действия калужского губернатора Лопухина, рядом с которым Гудович и Тутолмин показались бы ангелами: одних *уголовных* дел за ним тотчас набралось целых тридцать четыре, а *шалостей* больше ста. Но Лопухин умел защищаться и у него были сильные покровители. Ревизия обернулась великими неприятностями для самого Державина и испортила ему много крови. В конце концов он восторжествовал, но перед тем месяцев пять жил в возбуждении неописуемом и оказался лишен всякого хладнокровия как раз к той поре, когда оно всего более понадобилось.

8 сентября 1802 г., после долгих обсуждений и споров, Александр подписал, наконец, указ о правах и обязанностях Сената и манифест об учреждении министерств. В тот же день вечером, когда у Державина были гости, Новосильцев приехал с предложением от государя — занять пост министра юстиции и генерал-прокурора. Согласно указу, Сенату предоставлялась лишь административная и судебная власть; министры должны были пред ним отчитываться. Державину, таким образом, не было оснований отказываться — он предложение принял. (Воронцов и Завадовский, взявшие министерства иностранных дел и народного просвещения, проявили в сем случае менее последовательности и больше приспособляемости). Прочие министерские посты были заняты Вязмитиновым, Мордвиновым, Кочубеем, Васильевым и Румянцевым. Кроме Кочубея, все это

были старые деятели. Молодежь, в лице Чарторыйского и Строганова, была к ним приставлена на правах *товарищей* — то ли ради учения, то ли ради надзора; вероятно, и для того, и для другого зараз. Александр старался пред нею затушевать предпочтение, оказанное старикам.

Державин переселился в генерал-прокурорский дом на Малой Садовой. Двадцать пять лет тому назад он здесь впервые явился к Вяземскому — неопытным стихотворцем и скромным коллежским советником, ищущим покровительства. Теперь он сам был генерал-прокурором, одним из высших сановников Империи Российской, и признанным ее бардом. Какой предмет для раздумия и стихов! Но у Державина не было на то времени.

Очень скоро обнаружилось то, о чем не довольно подумал он, соглашаясь на предложение государя: в комитете министров он был окружен старыми врагами и молодыми недоброжелателями. Вместо того, чтобы облегчить положение, он обострил его тотчас: не потому, что хотел сводить старые счета (этим занялись другие), но потому, что немедленно и умышленно завел новые. Своим призванием почитал он борьбу с самоуправством и превышением власти — врожденными пороками вельмож, которых вздумал он теперь звать странным, полупрезрительным именем *возвышенцев*. В лице министров он заранее видел превышателей власти — и этого мнения не скрывал.

Права и обязанности министров не были точно означены в манифесте; было сказано, что на сей счет последуют особые инструкции. До составления инструкций течения дел оставалось покоиться на обычаях, на личном благоразумии каждого министра и на его чувстве законности. Основание шаткое — особенно в глазах Державина. Заседания комитета министров происходили по вторникам и пятницам, под председательством самого государя. Державин в первом же заседании потребовал составления инструкций. Вероятно, не стали бы с ним и спорить — юридически он был прав. Но свое требование он облек в столь резкую форму и так явственно выказал недоверие к товарищам, что вызвал общие возражения. Из этого он заключил, что попал всем не в бровь, а в глаз, и решил быть особо бдительным.

С того дня, каждый вторник и каждую пятницу, одного за другим изобличал он министров перед лицом государя: в самовольном распоряжении казенными миллионами, в заключении контрактов без торгов и публикаций, в поблажках откупщикам, в раздаче наград и чинов «по прихотливой

воле каждого министра» и т. д. Правда бывала на его стороне, но сконфуженный государь выгораживал и покрывал своих ставленников. Это лишь подзадоривало Державина. Он настоял на том, чтобы министры представили свои отчеты Сенату за первый же год. Из этого вышла «одна проформа», ибо и сам Сенат не был подготовлен к принятию отчетов. Зато Державин окончательно восстановил против себя всех. Уже через три-четыре месяца он стал «приходить час от часу у Императора в остуду, а у министров во вражду». Французский агент (как водится — путая верные сведения со вздором) доносил о Державине Талейрану: «C'est un dogue de Themis qu'on garde pour lâcher contre le premier venu, qui déplaît à la bande ministérielle, mais peu dressé au manège il mord souvent ses camarades mêmes qui donneraient beaucoup pour le perdre»¹.

Давно развращаемый собственным бесправием, Сенат в большинстве, в толще своей, состоял из людей невысокого уровня. Уважая идею Сената, Державин не уважал сенаторов. Сам он работал не покладая рук, его память и знание законов были исключительны, честность он доводил до педантизма. Сенаторы этими качествами не обладали, потому что доселе с них спрашивалось одно послушание. Теперь, когда положение Сената было как будто поднято, Державин сразу потребовал от сенаторов труда, ума, знания, всевозможных гражданских доблестей. Всего этого надобно было добиваться упорным, медленным перевоспитанием. Но Державин как раз в воспитатели не годился: он не воспитывал, а обличал. «Сенат благоволит давать откупщикам миллионы, а народу ничего!» — кричал он. Такими фразами он вскоре добился того, что сенаторы хоть и не стали лучше, но самолюбие в них пробудилось: Державина возненавидели и в Сенате, и это вполне обозначилось как раз к тому времени, когда поддержка Сената была бы всего нужнее.

Согласно грамоте о вольности дворянства и жалованной грамоте 1785 г. дворяне, вступившие в военную службу солдатами и не выслужившие офицерского чина, не могли выходить в отставку до истечения двенадцатилетнего срока. Правило это постепенно забылось, и унтер-офицеры, осо-

¹ «Это бульдог Фемиды, которого держат, чтобы спустить на первого, кто не понравится министерской шайке, но, плохо выдрессированный в манеже, он часто кусает своих товарищей, которые бы многое дали, чтобы его погубить» (фр.) *.

бенно из поляков, едва поступив в полк, уже просились в отставку. Военный министр Вязмитинов счел нужным восстановить прежний порядок. Его доклад уже был утвержден государем и принят Сенатом к исполнению без всякого замечания, как вдруг гр. Северин Потоцкий, еще не обрусевший поляк, объявил, что этим указом унижено российское дворянство. Державину, как генерал-прокурору, препроводил он весьма патетическую записку, в которой предлагал Сенату войти к его величеству со всеподданнейшим докладом: «не благоугодно ли будет повелеть министрам рассмотреть вновь столь важное решение?»

Действительно, указом 8 сентября Сенату дано было право представлять императору о неудобоисполнимости того или иного указа. Но в данном случае дело шло не о новом узаконении, а лишь об исполнении старого; сверх того, вопрос уже был разрешен в общем собрании и вторичному обсуждению не подлежал. Державин поэтому усомнился, вносить ли мнение Потоцкого в Сенат, и решил спросить государя. (Записка Потоцкого не нравилась Державину и по существу: он подозревал в ней умысел поляка ослабить русскую армию). Пересмотр подтвержденного доклада, разумеется, Александру не улыбался. Но государь окружен был поляками и членами негласного комитета; самая бумага Потоцкого, видимо, была писана с его разрешения, которое дал он, разумеется, скрепя сердце. Теперь со стороны Державина являлась ему поддержка, но уже было поздно. Поэтому он ответил с досадой:

— Что же? мне не запретить мыслить, кто как хочет: пусть его подает, а Сенат пусть рассуждает.

Державин пробовал возразить, но государь повторил:

— Сенат это и рассудит, а я не мешаюсь. Прикажете доложить.

Александр все-таки надеялся, что Сенат не захочет вернуться к вопросу, уже решенному, и Потоцкого ждет провал. Вышло иначе: сенаторы, за исключением двух, стали на сторону Потоцкого. Одни поняли, что можно создать прецедент, клонящийся к усилению Сената и умалению царской власти; другие — попроще — обрадовались досадить Державину. По тем же причинам и министры, в комитете своим одобрявшие предложение Вязмитинова, теперь ни словом за него не вступились.

Дело потребовало в Сенате сложной процедуры и целых трех заседаний. После первого Державин доложил государю, что весь Сенат против него. Александр «побледнел

и не знал, что сказать». У самого Державина «от чрезвычайной чувствительности и потрясения всех нерв» разлилась желчь, и на втором заседании он не присутствовал. Во время третьего, самого бурного, сенаторы повскакали с мест, и Державин пустил в ход деревянный молоток, служивший Петру Великому вместо колокольчика; он хранился в особом ящике на генерал-прокурорском столе, и со смерти Петра никто не смел к нему прикоснуться. Державин ударил им по столу — «сие как громом поразило сенаторов: побледнели, бросились на свои места, и сделалась чрезвычайная тишина... Не показалось ли им, что Петр Великий встал из мертвых и ударил своим молотком?» Однако же наслаждение сей поэтической и несколько горделивой минутой было непродолжительно: голосование состоялось против Державина.

От имени большинства к государю явилась депутация: старик Строганов (тот, что некогда занимался алхимией) и Трошинский. Державин один представлял противное мнение. Александр, не сказав никому ни слова, велел Трошинскому читать бумаги. По выслушании встал, весьма сухо сказал, что он даст указ, и откланялся. Действительно, 21 марта 1803 г. указ последовал. В нем пояснялось, что дарованное Сенату право входить с представлениями против того или другого указа не касается вновь издаваемых или подтверждаемых верховною властью законов. Таким образом, по сравнению с указом 8 сентября права Сената урезывались. Мнение Потоцкого оставлено без последствий.

Державин мог торжествовать победу, но она не принесла ему мира. Напротив, ею открылся ряд самых ожесточенных боев. Различествуя в подробностях, порой весьма сложных, сводились они примерно к одному и тому же.

Александр находился как бы в сердечном плену у людей, которые то открыто, то хитростью, из побуждений то вовсе низких, то более возвышенных, стремились ослабить единодержавную его власть. Он сам тяготился этим пленением, но еще не смел обнаружить истинных своих мнений. Державина он назначил министром против воли этих людей и как раз потому, что Державин был их врагом. Но Державин был слишком негибок и неподатлив — в степени даже удивительной со стороны человека, прожившего четверть века в делах политических и придворных. Александр хотел лавировать — Державин на каждом шагу понуждал его сбросить маску, действовать напрямик.

Двоедушие вообще утомительно. Александру не так легко давалось притворство перед друзьями. Когда же выяснилось, что надо еще уметь предавать их Державину, а Державина и м , — Александр очень скоро начал терять терпение. Однажды он сказал с гневом:

— Ты меня всегда хочешь учить. Я самодержавный государь и так хочу.

В том-то и было их общее с Державиным горе, что самодержавным решался он быть только наедине с Державиным. Во многих чертах повторялась теперь история кабинетского секретарства при Екатерине. Между прочим, как и тогда, Державина могла спасти лесть. Он же, по нетерпению и досаде, день ото дня становился откровеннее. Когда государь, уступая чарам Нарышкиной, пожелал совершить незаконный поступок, Державин не только наотрез отказался ему содействовать, но и объявил с укоризною (почти слово в слово, как некогда Екатерине), что оберегает «не токмо Его закон, но и Его славу». В Сенате он вслух критиковал указ о вольных хлебопашцах, говоря, что «в нынешнем состоянии народного просвещения не выдет из того никакого блага» и что указ, сверх того, неисполним (что позже и было подтверждено событиями).

Положение Державина ухудшалось быстро. Для положительной работы оставалось у него мало времени. Окруженный врагами, подвохами, клеветой и насмешкой, силы свои растрачивал он на борьбу. В пылу этих схваток порой помрачались иль искажались его высокие качества; в мелочах жизни мельчал и он; рвение переходило в злобу, точность — в придирчивость, законолюбие — в формализм. Молва, в свою очередь, все это преувеличивала.

В первое октябрьское воскресенье государь не принял его с докладом и прислал на дом рескрипт, прося очистить пост министра юстиции, но остаться в Совете и Сенате. Вскоре произошло личное объяснение, «пространное и довольно горячее со стороны Державина». Александр ничего не мог сказать к его обвинению, как только:

— Ты очень ревностно служишь.

— А когда так, государь, — отвечал Державин, — то я иначе служить не могу. Простите.

— Оставайся в Совете и Сенате.

— Мне нечего там делать.

Державин уехал к себе. Повторное предложение остаться в Совете и Сенате делалось с тонким умыслом, по наущению врагов его. Они побаивались мнения публики. Для

них было бы наилучшим оправданием, если б Державин просил освободить его лишь от должности министра: тем самым признал бы он, что вообще служить хочет, но министерский пост ему не по силам. Подсылали людей и к жене его. Зная честолюбие Дарьи Алексеевны и ее любовь к деньгам, обещали Державину в виде пенсии полное министерское жалованье (16 000 руб. в год) и Андреевскую ленту — только бы он написал такое прошение. Но он подал краткую просьбу об увольнении от службы вовсе. За это убавили ему пенсии и лишили ордена.

Высочайший указ был дан 8 октября 1803 г., ровно через тринадцать месяцев после манифеста об учреждении министерств.

* * *

Отставка сделала большой шум. «Мнение графа Потоцкого дошло в Москву, которое там знатное и, можно сказать, глупое дворянство приняло с восхищением, так что в многочисленных собраниях клали его на голову и пили за здоровье графа Потоцкого, почитая его покровителем российского дворянства и защитником от угнетения; а глупейшие и подлейшие души не устыдились бюсты Державина и Вязмитинова, яко злодеев, выставить на перекрестках, замарав их дермом для поругания». В обеих столицах остряки каламбурили, дамы ахали, канцелярские рифмачи сочиняли пасквили на Державина, а кстати уж и на всех министров. Чем менее знали, как было дело, тем увереннее рассказывали. Провинциальные летописцы на листах календарей записывали *для потомства* историю, окончательно перевернутую. В Орле сочинили оду в честь Потоцкого и Державина вместе.

К таким вещам Державин был нечувствителен. Торжество сильных врагов волновало его сильнее, но на сей счет были у него лукавые надежды. Кто знает будущее? На своем веку он не раз понижался — и возвышался вновь. Игра Фортуны всегда занимала его и по-своему окрыляла. Перебравшись опять на Фонтанку, занялся он устройством дома, собирался писать трагедии, отдыхал и копил силы для будущего. 21 декабря, в Москве, проездом из Крыма, умер Николай Александрович Львов. Державин к этой вести отнесся философически (она, впрочем, была не совсем неожиданна: Львов болел уже года три).

В самом начале 1804 г. Державин писал Капнисту: «Благодарю, любезный мой друг Василий Васильевич, за письмо

твое от 14 декабря, которое я чрез Анну Петровну получил, и сие чрез нее посылаю, уповая избегнуть чрез то любопытства, что нередко с моими письмами, кажется мне, бывает. Скажу вам о себе: я очень доволен, что сложил с себя иго должности, которое меня так угнетало, что я был три раза очень болен; а теперь, слава Богу, очень здоров, делаю, что хочу, при дворе мне кажут довольно уважения, зовут на обеды, на балы, и вчера был у вдовствующей Императрицы, а сегодня к Императору зван на ужин, да и каждую неделю удостоиваюсь сей чести от Государыни. Словом, пью, ем да гуляю, а также приволачиваюсь иногда за кем-нибудь... Вы угадали мои мысли. Мы сами собираемся вояжировать: ежели в Крым не поедет, то верно хочется посмотреть Малороссии и заехать к тебе, о чем вперед перепишемся... Кратко сказать, мы хотим проехаться; только по сию пору боюсь, чтобы опять не запрягли».

Тут немножко он рисовался: вовсе уж он не так был доволен сложить *иго должности* и весьма был не прочь, чтоб его *опять запрягли*. Может быть, потому не отправлялся он и в задуманный вояж, что хотел быть на всякий случай поближе к двору. В ту пору написал он стихи о мире — волшебном фонаре, в котором нам суждено

Мечтами быть иль зреть мечты.

Ибо все мы — только переменные тени, что появляются и исчезают на полотне, по воле чудотворного, непостижного мага:

Велит — я возвышаюсь,

Речет — я понижаюсь...

IX

Возле Литейной улицы, в Фурштатском переулке, на-супротив лютеранской кирки, стоял весьма скромной наружности двухэтажный домик зеленоватого цвета. Въехав в ворота и со двора поднявшись по темной, узкой и нечистой лестнице, попадал посетитель в квартиру домовладельца — вице-адмирала, члена адмиралтейского совета и Российской Академии Александра Семеновича Шишкова. Если затем пройти из прихожей в столовую и, остановившись у запертых дверей, заглянуть в замочную скважину (как иногда и делали, чтоб узнать, дома ли Александр Семенович) —

то можно было увидеть маленький, пыльный, с немытыми окнами, заваленный книгами и бумагами кабинет — и почти всегда застать в нем самого хозяина.

Было ему лет за пятьдесят; росту он был среднего, сложения сухоощавого; его седые с желтизной волосы торчали клочьями. Сухое, холодное лицо с нависшими черными бровями было поразительно бледно. Дома ходил он в шелковом полосатом шлафроке, с голою грудью, в истасканных комнатных сапогах — ичигах. При выездах надевал мундир, довольно поношенный.

В нем тотчас виден был человек, одержимый идеей. Рассеянность его была легендарна, его бескорыстие, трудолюбие и беспомощность в житейских делах — безграничны. Жена была ему нянькой и командиром. Звали ее Дарья Алексеевна, как жену Державина, а родом она была голландка, из простых, дочь корабельного мастера, выписанного Петром в Россию. Александр Семенович очень ее побаивался, хотя кроме рассеянности, грехов за ним не водилось. Страстей же было у него три: сухое киевское варенье, катание шаров и шариков из воска, снимаемого со свеч, и славянское корнесловие. Он и предавался обычно всем трем одновременно у себя в кабинете.

Корнесловие имело прямое отношение к идее. Шишков был фанатик того, что начинали звать *русским направлением*. По всему складу Шишкова ему бы следовало ненавидеть всю послепетровскую эпоху. Но до этого он не додумывался и даже век Екатерины почитал исконно русскою, благодатною стариной. Вся сила ненависти его падала на галломанию последних десяти — много, если пятнадцати лет. Он негодовал на политический дух, заносимый из Франции, ворчал на молодых администраторов нерусского воспитания, восставал против французских мод и обычаев, особенно — против повального употребления французского языка в разговорах. Действительно, было противно уму и чувству то, что русские люди зачастую вовсе разучивались не только писать, но и говорить по-русски; иные в том видели даже лоск и тонкую образованность.

Но в полнейшее отчаяние приходил Шишков не от употребления французского языка, а от порчи русского. Он не мог примириться с тем, что молодые писатели стали вводить иностранные слова и обороты. До известной степени он и тут был прав, но на беду свою был такой же плохой филолог, как и историк: развитие языка не умел отличить от засорения, рост — от порчи. Корень же всех его заблуждений

лежал в печальной уверенности, будто церковнославянский язык — то же, что русский, а разница между ними лишь та, что на церковнославянском пишутся духовные книги, а на русском — светские.

Если не источником, то средоточием всех зол словесных (да уж кстати и нравственных, и общественных) вообразил он Карамзина. Приятный, скромный, но твердый молодой человек, явившийся некогда за столом Державина, теперь был уже знаменитым писателем. Московская молодежь клялась его именем, Державин сорвал печати с глаз и ушей русской Музы. Карамзин осторожно снял печать с ее сердца. Пусть его дарование было меньше — велико было дело, им совершенное. Через Карамзина русская словесность научилась исторгать слезы. Впрочем, он сам уже покинул художество и обратился к истории.

Государь ему покровительствовал, и это усиливало страдания Шишкова. Старый служивый, он твердо верил, что словесностью можно и должно управлять сверху: голоса генералов и сенаторов почитал не последними в делах литературы. Каково же ему было видеть, что сам государь поощряет разврат и крамолу? В 1803 г. он метнул во врага «Рассуждением о старом и новом слоге», потом «Прибавлением» к «Рассуждению». Главный враг молчал, но уже несколько выстрелов донеслось из Москвы, его цитадели. Шишков решил укрепиться на берегах Невы. У важных сановников он имел некоторый успех, это его ободряло. Но где взять гарнизон? Когда-то он преподавал тактику в морском кадетском корпусе, теперь мечтал учредить академию для подготовки молодых писателей, не зараженных французским духом. Из этого ничего не вышло. Оставалось просто искать сочувствующих, составлять партию. Авторитета литературного у него не было. Он сделал несколько осторожных намеков Державину — и получил отказ.

Было наивно ждать, что Державин ввяжется в борьбу партий. Считая, что «похвалы современников ненадежны и на хулу их смотреть много не для чего», он не слишком уважал критику — даже свою собственную. Если авторы добивались его мнения об их писаниях, он старался или хвалить, или высказывать мнение вполоткрыта. В журнальной полемике он не видел пользы и, написав несколько эпиграмм, их все-таки не печатал. Следуя Иисусу Сираху, держался он того взгляда, что добро есть добро, а зло скорее само загложнет, если не обращать на него внимания. Авторитетом своим не хотел ни поощрять, ни давить никого, ибо

«науки, а паче стихотворство — республика». Словом его литературное миролюбие равнялось служебному и политическому задору. К тому же Карамзина он любил, как писателя, и уважал, как человека. Еще в 1791 г., вскоре после знакомства, он воскликнул:

Пой, Карамзин! И в прозе
Глас слышен соловьин —

и с той поры не переставал Карамзину сочувствовать. Не мудрено, что после разговора с Шишковым, он писал Дмитриеву в Москву: «Я желаю Николаю Михайловичу такого же успеха в истории, как в изданных им творениях...»

* * *

Время шло. Оно не принесло Шишкову победы, но принесло известность. Правда, известность была скорей отрицательная: над Шишковым смеялись. Его идеи, его манеры, его филологические изобретения, почти всегда несуразные, даже неаристократическая супруга его — все одинаково возбуждало насмешки. Но все-таки он привлек внимание, заставил о себе говорить, — и это был уже некоторый успех. Понемногу нашлись у него сторонники — большею частью немолодые авторы, обойденные славой: сенатор Захаров, Павел Львов, Дмитрий Иванович Хвостов (по родству своему с Суворовым ставший графом); Павел Кутузов, товарищ Хвостова по изданию «Друга Просвещения»; драматург кн. Александр Александрович Шаховской; молодой поэт кн. Ширинский-Шихматов, моряк, дилетант, не лишенный способностей, автор поэмы «Петр Великий», которой Шишков восхищался неистово. Были и просто молодые люди: Казначеев, чиновник Комиссии составления законов (племянник Шишкова) и там же служивший шестнадцатилетний юноша, родом волжанин, Сергей Тимофеевич Аксаков (впрочем, он тоже писал стихи, хотя более увлекался декламацией). К ним надо прибавить еще флигель-адъютанта Кикина, который до выхода «Рассуждения о старом и новом слоге» был модным французолюбцем, но затем образумился, обратился, стал самым рьяным поклонником Александра Семеновича и на книге его написал (увы — по-французски!): «Mon Evangile»¹. Таков был состав главных славянороссов, или славянофилов, как их называли, когда не честили попросту староверами и гасильниками.

¹ Мое Евангелие (*фр.*).

Простодушный в иных делах, Шишков, как всякий ма-
ньяк, становился хитер, лишь только дело касалось его идеи.
К началу 1807 г. он придумал маневр, удавшийся как нель-
зя лучше. Зная благожелательное отношение Державина
к молодежи, он предложил устроить не то чтобы академию,
но просто еженедельные собрания, на которые бы допус-
кались и приглашались молодые писатели для чтения их
произведений. Эта цель восхитила Державина, он поддер-
жал Шишкова, за ним потянулись другие. Стали устраивать
чтения, каждую субботу, попеременно то у Шишкова, то
у Державина, у Захарова, у Хвостова. Шишков влился в эти
собрания всем кружком своим — и что ж получилось? Пред-
ставителей карамзинского направления не было — их во-
обще не было в Петербурге. Собрания состояли либо из
славянороссов, либо из людей нейтральных. Это придавало
им оттенок славяноросский — что и требовалось Шишкову.
Он, можно сказать, поставил под ружье мирное население,
и война, которая разгоралась медленно, но которой он жа-
ждал, стала как будто войной шишковистского Петербурга
против карамзинистской Москвы. Свежий человек, попадая
в собрания, выносил такое впечатление, что «из москвичей
один И. И. Дмитриев здесь в почете, да и то разве потому,
что он сенатор и кавалер, а Карамзиным восхищается один
только Гаврила Романович и стоит за него горой» *.

Первая суббота состоялась у Шишкова. Собралось на-
роду человек двадцать. Кроме славянофилов, были: Дер-
жавин, Хвостов (Александр Семенович, давнишний друг),
переводчик Галинковский, женатый на племяннице покой-
ной Пленеры, молодой переводчик Корсаков, еще кое-кто.
Это было 2 февраля. В тот день получилось известие о кро-
вопролитном сражении с Бонапартом у Прейсиш-Эйлау.
Бенигсен, недавно назначенный главнокомандующим, до-
носил, по обыкновению преувеличивая, что «неприятель
совершенно разбит». Об этом событии много говорено.
Наконец, уселись, и началось чтение. Стихотворец Жихарев
продекламировал старые стихи Державина. После того чи-
тали другие. Между прочим, Крылов, сочинитель стихов и
комедий, человек лет сорока, толстый и неопрятный, с не-
подвижным лицом и лукавым взором, прочитал свою басню
«Крестьянин и Смерть». На поприще баснописца вступил
он недавно. Читая с притворным равнодушием, он зорко
поглядывал, каково впечатление, им произведенное.

На следующих собраниях происходило в общем то же
самое. Оживления большого не было, молодежь читала не

много и не Бог весть что. Шишков огласил новую поэму Шихматова «Пожарский, Минин и Гермоген», божился, что вещь гениальная, но ему не поверили. Впрочем, на вечере у гр. Хвостова впервые явился поэт Гнедич с 7-й песнею «Илиады», отлично переведенной александрийским стихом. Хотя Галинковский заметил, что лучше переводить Гомера экзаметром, — все однако же были в восторге. Неприятно было лишь то, что переводчик, на один глаз кривой и весь какой-то нахохленный, безо всякой нужды напрыгал свой голос до крику. Казалось, того и гляди, начитает себе чахотку.

Само собою, Шишков то и дело принимался громить москвичей, но никто, в том числе и он сам, не знал толком, что делается в Москве. Там нарождались новые поэты: Мерзляков, Жуковский, кн. Вяземский (юный шурин Карамзина). Здесь о них едва слышали и ими не любопытствовали. Порою Шишков заводил любимые разговоры о слоге, высказывая суждения мелочные, придирчивые, безвкусные. Крылов, слушая, ухмылялся, Державин ворчал:

— Переливают из пустого в порожнее.

В высшем обществе прослышали о собраниях. Сенаторы, обер-прокуроры, губернаторы, генералы и камергеры стали их посещать. Шишков и Захаров радовались поощрительному сему вниманию, не замечая, что вечера утрачивают литературный характер. Державин, завидя «вельмож», не упускал говорить им резкости.

Все это время он хмурился. Затаенная мечта вновь «подняться» не покидала его три года, до самых недавних пор. В конце прошлого года и в начале нынешнего он подал государю две записки о мерах, необходимых по его мнению для обороны Империи от Наполеона. К действительным заботам о благе отечества здесь примешивалось желание о себе напомнить. Но государь мало обратил внимания на представления своего бывшего министра. Надежда рушилась, и Державин понял, что больше ему к делам не вернуться.

Бездействие, между прочим, и потому тяготило его, что Державину была ясна связь его лиры с гражданским поприщем. С самой отставки ему сдавалось, что на покой он уволен вместе с Пегасом. Лет десять тому назад, когда, после ссоры с Павлом, он временно удалился от дел, ему удалось перестроить лиру на анакреонтический лад. Но Анакреонтические песни, хоть он и продолжал их, в сущности были уже написаны, даже изданы, принесли свою долю

славы — что делать дальше? к чему обратиться? Трагедии? В глубине души он сознавал, что они ему не даются. Нескольким раз он пробовал обращаться к поэзии сельской, но находил трудным под старость *занять себя сими упражнениями*. Все же 4 мая, на последнем в ту весну литературном собрании, он сказал Жихареву:

— Лира мне больше не по силам, хочу приняться за цевницу.

Обещал на досуге описать сельскую свою жизнь.

Через несколько дней Жихарев записал в дневнике: «Г. Р. уезжает завтра и что-то очень не весел...»

* * *

Берега Волхова плоски, низменны. Лишь в одном месте, верстах в пятидесяти пяти от Новгорода, левый берег внезапно приподымается. Высоко на холме, глядясь в реку, стоит двухэтажный господский дом. Крыша над мезонином подьмется круглым куполом — от этого дом похож на обсерваторию. Передний его фасад украшен балконом о четырех столпах. Фонтан бьет на площадке перед каменной лестницею балкона. Отсюда идет к реке плавный спуск, посыпанный желтым песком. По обеим его сторонам выются розы.

Вкруг дома по склону холма раскинут сад с богатыми цветниками. За садом — службы, сараи, птичники, скотни. За службами начинаются крестьянские избы, а дальше — поля и леса обширного поместья.

Это и есть Званка. На самой заре, когда заиграет пастух, замычат вдалеке коровы и заржут кони, Державин выходит в сад. Неспешно гуляет он по дорожкам. Порой остановится и в задумчивости чертит палкою на песке рисунки воображаемых зданий.

Восстав от сна, взвожу на небо скромный взор:
Мой утренюет дух Правителю вселенной;
Благодарю, что вновь чудес, красот позор
Открыл мне в жизни толь блаженной.

Пройдя минувшую и не нашедши в ней,
Чтоб черная змея мне сердце угрызала,
О! коль доволен я, оставил что людей
И честолюбия избег от жала.

Дыша невинностью, пью воздух, влагу рос,
Зрю на багрянец зарь, на солнце восходяще,
Ищу красивых мест между лилей и роз,
Средь сада храм жезлом чертяще.

В идиллических этих стихах Державин представил себя таким, каким он хотел бы быть, но каким быть ему не вполне удавалось. Что змея совести не угрызала его — это сушая правда. Правда и то, что он рад был оставить людей, — но как раз потому, что жало честолюбия не вполне было им избегнуто. Боль обиды таилась на дне души; он старательно прятал ее от себя самого.

До отставки он любил Званку за то, что она была красивее и богаче его собственных деревень; за то, что она лежала всего в ста семидесяти верстах от Петербурга, у большой московской дороги: было легко, нехлопотно убежать сюда из столицы. Но после отставки она стала ему дорога в особенности: вынужденное бездействие само собой превращалось здесь в добровольное, отставка — в отдых. Душевная боль от этого утихала.

Хозяйство на Званке было обширное и передовое. Первоначально имение было не велико, но за десять лет хозяйничанья Дарья Алексеевна исподволь скупила прилегающие земли, так что ее владения протянулись по Волхову на девять верст и даже перешагнули на другой берег. Число душ доходило до четырехсот. На Званке возделывались поля, росли леса. Помимо водяной лесопилки, имелась диковина — паровая мельница. Паром же поднималась вода из Волхова и приводились в движение две небольшие фабрики; ткацкая и суконная. Шерсть для суконной поставлялась именьями Державина, где разводились овцы. На ткацкой выделывались холсты, полотна, салфетки, скатерти, кружева, ковры. При ней имелась своя красильня. Из Англии была выписана прядильная машина, «на которой один человек более нежели на ста веретенах может прясть». Для подготовки работников посылали крестьянских мальчиков и баб в учение на мануфактурные фабрики.

Вместе с разными огородами, пчельниками, скотнями, птичниками все это требовало забот и трудов. Но Званка принадлежала Дарье Алексеевне. Когда по утрам, после чаепития, в сопровождении старосты, являлся к ней толстый управляющий Иван Архипович Обалихин, Державин присутствовал в сих совещаниях лишь для виду. Он почти ни во что не вмешивался, и радуясь, что находится здесь не у дел хозяйственных, легче сносил пребывание не у дел государственных. Живя почти гостем на Званке, он привыкал к положению частного человека и как бы гостя в самой России. Он звал себя *отставным служивым* — яд обиды старался растворить в шутке.

Горький осадок все же отстаивался на дне души. Научившись читать по-французски (говорить он не выучился), Державин часто теперь повторял стих Вольтера: «Il est grand, il est beau de faire des ingrats»¹. Эти слова ему полюбились — втайне он применял их к себе, разумея под *неблагодарными* прежде всего трех царей, которым служил на своем веку. Быть может, он кое в чем упрекал и само отечество.

В войне с Наполеоном, конечно, желал он России победы, но чрезвычайно тревожился ходом событий и политике правительства не сочувствовал: сожалел, что Александр Павлович «заведен был окружающими его в весьма неприятные военные дела». В званской кузнице изготовлялось холодное оружие для милиции; крестьяне державинские вступали в отряды. Державин считал однако, что народу и войску приходится расхлебывать кашу, заваренную правителями бездарными иль нечестными. Свое раздражение он порою готов был переносить на правителей и вельмож всех времен и народов. В его кабинете стоял массивный красный диван, против которого на стене висела историческая карта: «Река времен, или эмблематическое изображение всемирной истории». Часто, сидя перед ней, Державин неодобрительно качал головой: мир прекрасен, но история отвратительна. Отвратительны дела тех, в чьих руках была и есть судьба человечества.

Другое дело — люди обыкновенные, маленькие. Средней руки помещик, купец, мелкий чиновник, солдат, крестьянин — равно представлялись Державину жертвами исторических великанов, пушечным мясом истории. Для этих людей все более обретал он в себе участия, снисхождения, благодати. Ворча на сильных, все более любил слабых. Благотворил без улыбки, пожалуй — без ласки, даже без добрых (и лишних) слов — зато деятельно. Дарья Алексеевна почла за благо все деньги прибрать к рукам, а Державину лишь выдавать на карманные расходы, ибо он все щедрее одарял нищих, дворовых, слуг, все легче давал займы — без отдачи. Она же стала управлять и личными его землями, потому что он *утешал* оплошных приказчиков, когда полагалось с них взыскивать. Он завел на Званке больницу для крестьян, и врач каждодневно являлся к нему с отчетом. Бедным мужикам покупал он коров, лошадей, давал хлеба, ставил новые избы.

Полевые работы занимали его только со стороны живо-

¹ «Возвышенно и прекрасно творить неблагодарных» (*фр.*).

писной. При нем не боялись лениться. (Зато стоило вдали показаться Дарье Алексеевне, как самые ленивые принимались за дело.) По праздникам из своих рук потчевал он мужичков водкою, бабам и девушкам раздавал платки, ленты, сласти. Любил их песни и хороводы. Каждое утро человек тридцать ребятишек сбегались к нему. Он учил их молитвам, потом одевал баранками, кренделями. Потом бывший министр юстиции разбирал ребячьи тяжбы и при себе заставлял мириться. Случалось — идиллия принимала иной оттенок: в жаркий день, прячась между деревьями, «от солнца, от людей под скромным осененьем», Российский Анакреон любовался «плесканьем дев», в кристальных водах реки.

* * *

Три Кондратия было на Званке: камердинер, садовник и музыкант. Однажды Державин написал комедию для детей: «Кутерьма от Кондратьев». В ней шутливо представлена званская жизнь и о самом Державине говорится: «Старик любил все попышнее, пожирнее и пошумнее».

Дарья Алексеевна была оборотиста, но не скупа. Она очень любила своих родных, людей большею частью небогатых. Дом постоянно был ими полон. Сестры Бакунины по-прежнему жили у Державиных, хотя Параша была уже замужем. Марья Алексеевна Львова, овдовев, каждое лето гостила с детьми на Званке. В 1807 году она умерла, и три ее девочки, Лиза, Вера и Параша, тоже остались на руках у тетки. Старшей было девятнадцать лет, младшей четырнадцать. Наставницею при них жила г-жа Леблер-Лебеф, француженка-эмигрантка.

Вместе с Державиными это женское общество было, так сказать, основным населением барского дома. Впрочем, надо прибавить еще двоих: доктора и письмоводителя Евстафия Михайловича Абрамова, давно ставшего членом семьи. Круг занятий его был обширен. Он ведал архивы и рукописи Державина, перебелял письма, а иногда и стихи. В случае надобности исправлял он должность домашнего архитектора, живописца и пиротехника. Тесная, хоть не бескорыстная дружба связывала его с Анисьей Сидоровной, барской барыней. Шестидесятилетняя сия дева была в свое время получена Дарьей Алексеевною в приданое. День Евстафия Михайловича начинался с того, что Анисья Сидоровна угощала его кофеем и подносила первую рюмочку, за которою с перерывами следовали другие. Когда, ровно в полдень,

за круглым столом в просторной званской столовой соби-
рались к завтраку, от Евстафия Михайловича уже крепко
пахло вином. Дарья Алексеевна просила мужа не пускать
его за стол при гостях, но Державин не соглашался:

— Ничего, душенька: делай, как будто ничего не заме-
чаешь.

Он сам вина почти не пил, зато поесть любил плотно.
К столу подавался «припас домашний, свежий, здоровый» —
но тяжелый и жирный. Аппетит Гавриила Романовича до-
ходил даже до неумеренности. Желудком он начинал при-
хварывать. Уха, куры с шампиньонами и арбузы были его
любимые кушанья. Из-за ухи возникали у него ссоры с до-
машними. Случалось, что он, встав шумно из-за стола, ухо-
дил к себе. Впрочем, разгневать его на Званке было нелегко.
Будучи недоволен, он разворчит, с укориною буркнет:
«Спасибо, милостивые государыни, подоброхотали» — и,
уйдя в кабинет, погрузится в пасьянсы. Придут к нему, ста-
нут уговаривать не сердиться — а он уж и позабыл, в чем
дело: поднимет лысую голову (только с висков разлетаются
длинные, редкие седины) и спрашивает: «За что?»

Кроме родных, которые жили при ней постоянно, бес-
численные племянники и племянницы, кузены и кузины
Дарьи Алексеевны то приезжали, то уезжали. Гости на
Званке не переводились. Съезжались и просто знакомые
петербургские, и соседи-помещики — иной раз целыми се-
мьями. Когда не хватало мест в доме, часть гостей разме-
щалась в бане. Только с одним соседом были Державины
не в ладу — с графом Алексеем Андреевичем Аракчеевым.
Заречная часть Званки граничила с аракчеевским Грузиным.
Отсюда возникла пустячная, но многолетняя тяжба, кото-
рую легко было кончить миром. По правде сказать, Аракчеев
первый делал к тому шаги. Но Державину нравилось пре-
пираться с вельможами. Ведение тяжбы он взял на себя и
длил ее из году в год с упрямством и удовольствием.

Каждый год 3 июля справлялся день его рождения, а
13-го, еще пышной, именины. Державин сиял радушием,
выказывая себя благосклонным и хлебосольным сановни-
ком, слегка, может быть, сибаритом и расточителем.

Бьет полдня час, рабы служить к столу бегут;
Идет за трапезу гостей хозяйка с хором.
Я озреваю стол — и вижу разных блюд
Цветник, поставленный узором:
Багряна ветчина, зелены щи с желтком,

Румяно-желт пирог, сыр белый, раки красны,
Что смоль, янтарь — икра, и с голубым пером
Там шука пестрая — прекрасны!

Обычно к столу подает служанка Федосья. Но на сей раз сам Кондратий Тимофеевич, камердинер, стоя за креслом хозяина, всем распоряжается. (Кондратий Тимофеевич — любимец и даже наперсник Державина; после смерти ба-рина ему обещана вольная и пятьсот рублей денег). Обедают долго. От мира, по слухам только что заключенного государем в Тильзите, нечувствительно переходит беседа ко всякой всячине. Разговор, важный в начале, делается живой.

Когда же мы донских и крымских кубки вин,
И липца, воронка и чернопенна пива
Запустим несколько в румяный лоб х м е л и н , —
Беседа за сладьми шутлива.

Наконец, подается мороженое в виде многобашенного замка или древнего храма. Его жаль рушить — так затейливы его линии, с такой красотой подобраны в нем цвета: изображение самого Гавриила Романовича тут действовало. Все в восхищении. Французских вин по случаю войны нет. Кондратий наполняет бокалы березовым или яблочным соком, приготовленным в виде шампанского:

Но молча вдруг встаем: бьет, искрами горя,
Древ русских сладкий сок до подвенечных
бревен:

За здравье с громом пьем любезного царя,
Цариц, царевичей, царевен.

Шесть чугунных небольших пушек гремят с балкона салют, и чудное званское эхо, известное всей округе, много раз его повторяет, перекатываясь за Волхов.

На Званке приятно было гостить подолгу. Каждый день сулил новые удовольствия. Устраивались прогулки — пешком, на дрожках и в лодках. Надев белый пикейный сюртук, Державин водил гостей осматривать фабрики, полевые работы, птичники, где водились лебеди и павлины. Утомясь, пили чай под сенью скирдов или на берегу реки. Бывали охоты и рыбные ловли. Под вечер, в гостиную, при звуках арфы и *тихогрома*, детьми разыгрывались комедийки, па-сторали с пением и танцами. Вились хороводы амурчиков и харит. После ужина вдруг в саду зажигалась иллюминация, сочиненная Евстафием Михайловичем. Огненные гирлянды повисали между деревьями. Сияли солнца и звезды из разноцветных шкаликов. Транспаранты светились изо-

бражениями Фелицы, иль Аполлона, иль монограммой Милены. Крепостной оркестр (мальчиков для него посылали учиться к харьковскому помещику Хлопову, знаменитому меломану) под управлением музыканта Кондратия гремел марш Безбородки. Кончалось все фейерверком, который с дымом и треском сжигался внизу, над черною водою Волхова. Всех счастливей при этом бывал сам Державин.

Когда разъезжались гости, он писал много. Часов, особо назначенных для работы, у него не было. Непоседливый и нетерпеливый, он всегда трудился зараз над несколькими предметами и в течение дня то удалялся в свой кабинет, то выходил оттуда на всякий шум и по всякому поводу. Так, отрывками, написал он и «Жизнь Званскую» — последнее из своих лучших творений. Она стройна, как ода на смерть Мещерского, задушевна, как «Бог», и как «Водопад» громка. В расточительных образах и скупых словах званская жизнь здесь запечатлена с ее тишиной и шумом, вся, полностью, от счастливых пустяков, вроде вечерней игры «в ерошки, в фараон по грошу в долг и без отдачи», до горьких раздумий полуопального государственного мужа. Слагалась «Жизнь Званская» то по утрам в саду, то на птичнике за кормлением голубей, то за пасьянсом, то в часы вечернего уединения, когда, сев на перилах балкона, Державин следил, как тихо идут по реке парусные суда и опускается на тот берег багряное солнце; когда горели заревом стекла дома и бесчисленные комары толкли мак в сырватом воздухе; когда Анилья Сидоровна удила на плоту рыбу, а Дарья Алексеевна кричала ей сверху: «Девчонка! Девчонка!» — и старуха ей откликалась: «Сейчас, сударыня!»; когда из дому доносилось девичье пение под звуки арфы; когда с грустью думалось, что неизъяснимо прекрасно все это, но все пройдет,

Разрушится сей дом, засохнет бор и сад,
Не вспомнится нигде и имя Званки;

когда старое сердце преисполнялось восторга, благоволения, мира, но в потаенной его глубине кипела обида и жгло, как пламя, сознание бессилия пред клеветой и завистью; когда этот пламень умирался лишь двумя мыслями: о Боге и о суде истории.

* * *

Державин давно мечтал о собрании своих сочинений, но дело по разным причинам не ладилось. Теперь, на покое,

он решил за него приняться как следует. Хотелось собрать воедино то, что было разбросано по журналам, брошюрам, хранилось в рукописях. Все чаще ему приходила мысль подводить итоги.

Для начала предполагалось издать четыре тома, которые содержали бы основную часть лирики и несколько драматических сочинений. Державин занялся исправлением и отделкой стихов.

Вообще писал он не медленно и не мало, но большую часть первоначально только набрасывал пьесу, а потом вновь (и не раз) возвращался к ней — продолжал, заканчивал, переделывал. Нередко работа над стихотворением длилась несколько лет. Таким образом, целый ряд пьес одновременно бывал у него в работе.

На сей раз, когда дело шло о целых четырех томах, поправки, за редкими исключениями, свелись к просодическим и грамматическим частностям. Державину смолоду указывали на его погрешности. Когда-то Дмитриев, Капнист, Львов исправляли его стихи. Теперь Дмитриев был в Москве, Львов в могиле, а с Капнистами у Державиных года четыре тому назад вышла ссора. С тех пор они не видались и не писали друг другу. (Причина ссоры осталась семейной тайной; кажется, тут замешаны были сразу дела сердечные и денежные.)

В годы поэтической молодости Державин принимал поправки и переделки довольно охотно, потому что верил в просодию и грамматику и признавал свою неосведомленность. Это в особенности касалось стихосложения. Тут он по большей части безропотно подчинялся учителям, они же действовали решительно. Державин написал «Ласточку»:

О домовитая ласточка!
О милосизая птичка!
Грудь красnobела, касаточка,
Летняя гостья, певичка!
Ты часто по кровлям щебечешь;
Над гнездышком сидя, поешь;
Крылышками движешь, трепещешь,
Колокольчиком в горлышко бьешь...

Капнист пришел в ужас от совершенных здесь беззаконий и пренаивно переложил всю пьесу *правильным* четырехстопным ямбом, *исправив* рифмы. К счастью, Державин внезапно уперся и этим спас одно из лучших своих созданий. Вообще же старался он усвоить правила, выработанные не для одной русской поэзии, освященные време-

нем и авторитетами. Всю жизнь относился он почтительно к просодическому канону и не смел на него посягать. Только органические особенности русского языка дали ему простор и возможность осуществить некоторые ритмические и фонетические вольности. Таковы обильные пиррихии и спондеи среди хореев и ямбов, введение рифмоидов, квазикакофоническая инструментовка: все, с чем при жизни Державина и после него боролись более или менее успешно и к чему в конце концов все-таки обратились: иногда лет через сто и больше.

Не так было с языком. Тут подчинялся он лишь сперва, по ученической робости; потом — только в тех случаях, когда доводы ему нравились. Постепенно он становился все менее уступчив: пожалуй, делался осмотрительней, но зато и упрямей. Понял, что учителя сами бродят в потемках. Не видел, чему и у кого можно учиться по-настоящему — и в значительной мере был прав, потому что застал русский язык в один из самых бурных и сложных периодов его вечного становления. Грамматика, всегда заметно отстающая от жизни самого языка, не успела еще понять и закрепить его навыки, отчасти неисследованные, отчасти меняющиеся. Тогдашней филологии русской это было и не по силам. У Державина не было оснований верить в существование прочной и обоснованной грамматики.

Не видя установленного закона, чувствовал он себя вправе поступать вольно, подчиняясь лишь внутреннему чутью и обычаю, но более — свободной филологической морали. Своих законов он никому не навязывал, признавая за всеми право на ту же вольность, какую сам пользовался. Поэтому-то он защищал и Карамзина.

По отношению к современной ему грамматике он стал анархистом. Но нельзя поручиться, что он не стал бы таким же по отношению ко всякой другой. Слишком еще была глубока его связь с той первобытной, почвенною, народною толщей, где происходит само зарождение и образование языка, и куда грамматист принужден спускаться для своих исследований, как геолог спускается в глубину вулкана.

Для грамматиста благо есть то, что правильно, т. е. учтено и зарегистрировано. Для Державина правильно все, что выгодно и удобно, что способствует его единственной цели — выразить мысль и чувство. Его эстетика полностью подчинена выразительности. В русский язык, не смущаясь, заносит он германизмы, как первобытный пастух тащит к себе овец из чужого стада. (Здесь опять же причина его

сочувствия Карамзину, хотя психология Карамзина, разумеется, не совпадала с его психологией.)

Он любил все «попышнее, пожирнее и пошумнее». Таков и язык его — пышный, жирный и шумный. Он хотел выразить себя полностью — и того достиг даже в языке. Однажды, когда Дмитриев и Капнист слишком пристали к нему со своими поправками, он вышел из себя и воскликнул:

— Что ж, вы хотите, чтобы я стал переживать свою жизнь по вашему?

В слове видел он материал, принадлежащий ему всецело. Нетерпеливый, упрямый и порой грубый, он и со словом обращался так же: *гнул его на колено*, по выражению Аксакова. Не мудрено, что плоть русского языка в языке державинском нередко надломлена или вывихнута. Но дух дышит мощно и глубоко. Это язык первобытный, творческий. В нем — абсолютная творческая свобода, удел дикарей и гениев.

* * *

В августе месяце рукопись всех четырех томов была сдана в типографию Шнора, что на Невском проспекте, в доме лютеранской Петропавловской церкви, а в феврале 1808 г. «Сочинения Державина» появились в продаже. Зима, таким образом, ушла на возню с корректурами, переговоры с книгопродавцем и прочие хлопоты, сопряженные с выходом книг. Державин немало суетился и волновался, но далеко не одно это дело занимало его в ту зиму. Переживал он тревогу вовсе иного рода. В его доме все чаще стали встречать Наталию Алексеевну Колтовскую, ту самую, которой Российская Империя отчасти была обязана преобразованием Сената и учреждением министерств.

Державин был очень привязан к Даше, она к нему. Но победить ее врожденное бесстрашие ему так и не удалось. Однажды к ее портрету написал он четверостишие, в котором слышно разочарование, если не досада:

Минервы и Церес, Дианы и Юноны
Ей нравились законы;
Но в дружестве с одной Цитерой не жила,
Хоть недурна была.

Что измены Державина ее все-таки мучили — в этом нет ничего удивительного. Понятно и то, что самому Державину семейные нелады становились с годами в тягость.

Довольство, здравие, согласие с женой,
Покой мне нужен — дней в останке.

Однако же, как ни старался он не колебать семейного мира, — сердечная рана, давно уже нанесенная, теперь-то вдруг и заняла сильнее.

Колтовской было лет тридцать. Красавица, модница и богачка, разойдясь с мужем, она не упускала пользоваться свободой. Будь Державин моложе, роман мог бы разыграться беззаботно и весело. Но Державину было шестьдесят четыре года, он старел и несколько робел перед нею (раньше с ним этого не случалось). Голубоглазая красавица вызывала в нем чувства мечтательные и нежные, почти молитвенные, которых она не стоила и которыми ей, быть может, забавно было играть. От этого она казалась ему еще более идеальной.

Летом она приезжала гостить на Званку. Державин не смел перед нею явиться Анакреоном. Он смотрел на нее снизу вверх и прелагал для нее сонеты Петрарки, те, в которых было наиболее меланхолии. В конце концов, во время уединенных прогулок, его воздыхания были вознаграждены: Колтовская не собиралась походить на Диану. Но чем сладостней и внезапнее было счастье, тем более мук оно в себе заключало. Державин каждый миг чувствовал всю его случайность и непрочность. Колтовская, наконец, уехала. Державин затосковал, кинулся следом за ней в Петербург, но здесь она не в пример была холоднее. Что было летом, то ни к чему не обязывало ее зимой. Державин мучился и с прощальной нежностью вспоминал блаженные те места, где

Воздух свежестью свою
Ей спешил благоухать;
Травки, смятые под нею,
Не хотели восставать;
Где я очи голубья
Небесам подобно зрел,
С коих стрелы огневья
В грудь бросал мне злобный Лель.
О места, места священные!
Хоть лишен я вас судьбой;
Но прелестны вы, волшебны
И столь милы мне собой,
Что поднесь о вас вздыхаю
И забыть никак не мог;
С жалобой напоминаю:
Мой последний слышите вздох.

Преосвященный Евгений (в миру — Евгений Болховитинов) учился некогда в московском университете и в ранней юности близок был к Новикову. Потеряв жену и детей, в 1800 г. он постригся в монахи, состоял префектом петербургской духовной академии, затем был назначен епископом старорусским и новгородским викарием. Поселившись в Хутыньском монастыре, на Волхове, верстах в сорока от Званки, он не оставлял любимых трудов по истории литературы и в частности составлял словарь русских писателей. Летом 1805 г. дошел от буквы Д и обратился к Державину за сведениями касательно его биографии. В августе он посетил Званку, где «препровел с отменным удовольствием время, целые сутки. Начитался, наговорился и получил еще надежду впредь пользоваться знакомством нашего Горация; слышать собственными ушами тысячи эх, около его живущих, и теперь только понял, что такое в его сочинениях значит *groхочет эхо*» ... Они подружились, несмотря на разницу лет (Евгению было всего тридцать восемь, Державину за шестьдесят). Державин не раз принимал Евгения у себя, не раз ездил к нему в Хутынь. Ему же он посвятил «Жизнь Званскую», для него же составил краткую свою биографию и тетрадь примечаний к стихам. С тех пор мысль изложить и то, и другое более обстоятельно уже не покидала его. Однако ж он медлил: с примечаниями — потому, что и самые стихи были еще не собраны и не изданы, а с биографией — потому, может быть, что в ту пору еще не считал ее законченной: втайне мечтал вернуться к делам государственным. Потом он этой мечты лишился, потом были изданы первые четыре тома стихов — пора было приступить к работе.

На Званке, несколько в стороне от дома, над самой рекой, высился крутой холмик; в народе звали его курганом; по преданию, под ним тлели кости древнего колдуна, оборотня, злого гения этих мест; еще называли того колдуна волхвом, от чего, будто бы, и сама река получила свое прозвание.

На холме стояла беседка. В летние месяцы 1809 и 1810 г. Державин стал ходить сюда каждый день со старшей племянницей Лизой Львовой. Он диктовал ей свои Объяснения, в том порядке, как шли стихи в книгах. Лиза писала на больших листах синей грубоватой бумаги, которую после сшивала тетрадами. О каждой пьесе Державин рассказывал, с

какими событиями и людьми она связана, из чего или ради чего возникла, какие имела следствия. Часто он этим не ограничивался и начинал объяснять отдельные строфы, стихи, даже слова. Таких примечаний порой набиралось до пятидесяти и больше к одному стихотворению. Некоторые были совсем короткие (строка, две), другие растягивались на много страниц. Они пестрели историческими и просто житейскими анекдотами, в них раскрывались имена и намеки, воскресали подробности, мелочи, которые тем любовнее сохранялись памятью, что им не нашлось места в самой поэзии.

Эти мелкие примечания Державин писал с особенным удовольствием еще потому, что восстанавливал в них не только поводы к творчеству, но отчасти и самый ход творчества — лишь в обратном порядке. Ему нравилось разоблачать бесчисленные аллегории, метафоры и другие приемы своей поэзии, в которых было заключено ее «двойное знаменование». Нередко он делал это с очаровательным простодушием, быть может — несколько и лукавым. Например, дойдя до стихов:

На сребророзовых конях,
На золотарном фэтоне —

он пояснял: «У кн. Потемкина был славный цуг сребророзовых или рыжесоловых лошадей, на которых он в раззолоченном фэтоне ездил в армии».

К величественным словам:

Не заключит меня гробница,
Средь звезд не превращусь я в прах —

он спешил приписать: «Средь звезд, или орденов совсем не сгнию так, как другие».

Вероятно, ему и впрямь хотелось блеснуть реальной обоснованностью своих гипербол и аллегорий. Но главное наслаждение заключалось не в том. Предметы реального мира некогда возносились его парящей поэзией на страшные высоты, где уж переставали быть только тем, чем были в действительности. Теперь Державину было любо возвращать их на землю, облекать прежней плотью. Для поэта былая действительность спит в его поэзии чудным сном — как бы в ледяном гробу. Державин будил ее грубовато и весело. Превращая поэзию в действительность (как некогда превращал действительность в поэзию), он совершал прежний творческий путь, лишь в обратном порядке, и как бы сызнава переживал счастье творчества. Если взглянуть со сторо-

ны — это грустный путь, и радости его горьковаты. Но он всегда греет сердце поэта, уже хладеющее.

Так, разрозненными отрывками, оживлялось перед Державиным его поэтическое и житейское прошлое. Когда работа уже подходила к концу, настала очередь стихотворению «Признание». Оно было написано два года тому назад. Державин его перечел, подумал и велел Лизе отметить его, как «объяснение на все свои сочинения»:

Не умел я притворяться,
На святого походить,
Важным саном надуваться
И философа брать вид;
Я любил чистосердечье,
Думал нравиться лишь им;
Ум и сердце человечье
Были гением моим.
Если я блистал восторгом,
С струн моих огонь летел, —
Не собой блистал я, Богом:
Вне себя я Бога пел.
Если звуки посвящались
Лиры моея царям, —
Добродетельми казались
Мне они равны богам.
Если за победы громки
Я венцы сплетал в о ж д я м , —
Думал перелить в потомки
Души их и их детям.
Если ж где вельможам властным
Смел я правду брякнуть в с л у х , —
Мнил быть сердцем беспристрастным
Им, царю, отчизне друг.
Если ж я и суетою
Сам был света оболещен, —
Признаюся, красотою
Быв плененным, пел и жен.
Словом: жег любви коль пламень,
Падал я, вставал в мой в е к , —
Брось, мудрец, на гроб мой камень,
Если ты не человек.

* * *

Просторный квадратный двор державинского владения на Фонтанке был обнесен колоннадой. За колоннами справа и слева двухэтажные флигеля шли в глубину двора, где при-

мыкали они к двухэтажному дому с аллегорическими фигурами на фронтоне. Со двора и с улицы казался дом невелик, да таков он и был, когда купили его, лет двадцать тому назад, при жизни Екатерины Яковлевны. В ту пору высился он довольно одиноко на обширном участке принадлежащей к нему земли. Однако ж, на этой земле Даша сумела хозяйничать не хуже, чем хозяйничала в деревне. Ее заботами и трудами воздвиглись сначала упомянутые два флигеля, а после и самый дом разросся в несколько раз. Два узких, длинных его крыла раскинулись вправо и влево, образуя за флигелями два боковых двора, где опять-таки появились строения, занятые людскими и службами. Затратить сразу большую сумму никак было невозможно. Поэтому делалось все без плана, в разное время, по мере возможности и смотря по надобности. Только в 1809 г. постройки были закончены и оказались немного разбросаны. Зато представляли собой целую усадьбу. Тут были конюшни, коровник, птичник, каретные и другие сараи, навесы для дров, сеновалы, ледники, кухни, прачечные и даже, наконец, небольшая бойня.

Не считая кухонь, сеней, передних, лестниц, коридоров и тому подобного, в доме и флигелях имелось до шестидесяти жилых комнат, так что часть флигелей (небольшую впрочем) Даша сдавала внаймы. В большей же части жили ее многочисленные родственники.

В левом крыле барского дома, внизу, помещалась очень большая столовая; рядом с нею — буфет и три запасные комнаты для гостей. Правое крыло было занято двусветною залой, миновав которую попадали в домашний театр с несколькими рядами кресел и ложами по бокам. Еще несколько комнат было расположено позади сцены. В средней же части дома, той, что существовала уже при Пленире, находились только швейцарская, официантская, диванная, аванзала, прежде служившая залой, ныне же примыкавшая к новой, двусветной зале, а также круглая гостиная. Здесь висел огромный портрет Державина, жестко, но выразительно писанный итальянцем Тончи, художником, музыкантом, поэтом, безбожником и красавцем, одним из тех фантастических иностранцев, которых немало в XVIII веке занесли в Россию судьба и любовь к приключениям. Поэт был изображен во весь рост, в медвежьей шубе и меховой шапке, среди снегов, освещенных северною зарей; сзади, со снежных скал, низвергается водопад. Внизу латинская подпись, сочиненная самим живописцем:

Justicia in scopulo, rutilo mens delphica in ortu
Fingitur, in alba corque fidesque nive¹.

Три стеклянные двери вели из гостиной на широкую полукруглую лестницу, по которой спускались в сад, раскинутый позади всего дома. Он украшен был лишь недавно — на деньги, вырученные от продажи «Анакреонтических песен».

В верхнем этаже сохранился от прежних времен серпантиный *диванчик*, где некогда тень Пленеры явилась Державину, где и поныне стоял ее бюст, рядом с бюстом Державина. Справа к диванчику примыкала гостиная, слева столовая, тоже в том виде, как при Екатерине Яковлевне. Далее шли: буфетная, кафешенкская, девичья. Еще в средней части верхнего этажа помещались: бильярдная (как раз над нижнею аванзалой), спальня, маленький Дашин кабинет и кабинет Державина — с венецианским окном, приходившимся в середине фасада, прямо против ворот. Посреди кабинета стоял большой письменный стол, в стороне — конторка, за которою Державин большею частию и работал. У стены высился диван, гораздо выше и шире обыкновенных, со ступеньками от полу, с полкою наверху и с двумя шкапиками по бокам. В шкапиках были ящики для хранения рукописей. На диване валялась аспидная доска с привязанным грифелем. Порою Державин ею пользовался, набрасывая стихи.

Верхний этаж правого крыла был занят вторыми светлыми залами и театром. За ними шли комнаты для прислуги. Камердинер Кондратий жил здесь. Из кабинетика Даши полукруглый коридор вел в верхний этаж бокового флигеля, в комнаты доктора, управляющего, секретаря Аврамова и в квартиры родственников. Население этих квартир все время менялось. В разные годы тут жили Бакунины, Ниловы, Львовы, Дьяковы, Ярцевы. Отсюда выходили замуж, женились, разлетались по свету и вновь сюда возвращались. Здесь всегда было шумно и весело. Шум и веселье заносились и в большой дом.

Содержание такого громоздкого хозяйства обходилось не дешево. Державины тратили в год тысяч до семидесяти, которые Даша умела выколотить из имений. Но Державину был по душе усадебный уклад жизни, который и в Петербурге напоминал ему Званку. Зимой и летом он вставал часов

¹ Правосудие изображается скалой, пророческий дух — розовым восходом, верное сердце — белизною снега (*лат.*).

в пять или в шесть утра. По утрам пил чай (кофею не любил), часа в два обедал, а в десять ужинал. Его здоровье портилось. На людях он держался бодро, даже несколько суетливо, увлекался в беседах до чрезвычайности, но возбуждение проходило — и Даше с доктором наступал черед действовать. Он нередко прихварывал — животом в особенности. По-прежнему любил поесть, но после плотных обедов случались припадки, во время которых он жаловался на одышку, раскаивался, давал зарок быть впредь воздержанней.

Выезжал он не слишком много, являясь на публике в парике с мешком, в коричневом фраке при коротких панталонах и гусарских сапожках, над которыми были видны чулки. При случае он играл в карты, но уж без прежнего увлечения и без прежней удачи; тысячи полторы в год полагалось от Даши на проигрыш. Но вечера, провождаемые дома, в *диванчике*, нравились ему все более. Даша играла на арфе, племянницы пели. Белый пудель Милорд, потомок Фелицына пуделя, погребенного в царскосельском парке под пирамидою, иногда не выдерживал — подвывал, задрал голову. Тише пуделя вел себя кот, которому, слушая музыку, Державин тихонько чесал усы. Тем временем кто-нибудь из девочек почесывал за ухом самому *мурзе*, и *мурза*, наконец, дремал.

Раз в неделю сзывались гости к обеду, который по этому случаю начинался часа в четыре, затягивался до вечера и кончался концертом. Вообще музыка в доме не переводилась. Державин больше всего любил Баха. Заслушавшись, иногда он вскакивал и ходил по комнате; потом шаги его ускорялись, он размахивал руками и исчезал в кабинете. Тогда ждали новых стихов. После концерта молодежь затевала танцы до самой полуночи, а то и позже. Державин недолго на них любовался: если не было слишком важных гостей, Дарья Алексеевна часов в одиннадцать уводила его наверх, укладывала в постель, а сама возвращалась к танцующим.

* * *

Война Петербурга с Москвой разгоралась медленно. Москва как будто не принимала славянороссов всерьез. Карамзин по-прежнему не снисходил до боя с Шишковым, предоставляя мелким своим партизанам постреливать эпиграммами. Главным застрельщиком оказался некто Василий Львович Пушкин, пухленький человек на жидких

ножках, балагур, пустоватый автор, вовсе не молодой, но донельзя преданный всему молодому. Над ним трунили в собственном лагере. Пожалуй, всего обиднее для шишковистов было то, что против них выпустили именно Пушкина.

Субботние собрания литераторов продолжались уже четвертую зиму — все такие же скучноватые. Осенью 1810 года явилась мысль сделать их публичными (все равно не одни литераторы в них бывали). Шишкову это понравилось. Он надеялся, что публичные собрания помогут распространиться его идее. В сущности, его цели всегда были общественными, а не литературными. При посредстве литераторы он только хотел укрепить в публике чувства патриотические. Поелику же сама литература его не слушалась, он был не прочь начать с другого конца: через общество воздействовать на литературу. (Может быть, для того, чтобы затем опять же воздействовать на общество через литературу: он сам как-то не мог разобраться, что чему должно здесь предшествовать.)

Державин увлекся не менее, чем Шишков. Конечно, искал он не славы. Слава у него была — полная, прочная, не поколебленная ни отставкой, ни сплетнями, ни злобной холодностью Александра, ни даже обилием врагов при дворе. От соседства с Шишковым она скорее могла пострадать — по крайней мере в глазах некоторых литераторов. Но Державин знал, что в конечном счете его не смешают с Шишковым, которого, впрочем, он уважал как человека и патриота. Затея прельщала его потому, что оживление суббот могло бы способствовать оживлению словесности. Можно было даже рассчитывать, вопреки расчетам Шишкова, что появление новых людей ослабит засилие славяно-россов. Наконец, манила Державина и сама новизна публичных собраний, их более пышный обряд, блеск, шум. Ему не терпелось. Он тотчас пожертвовал для библиотеки будущего общества на три с половиною тысячи книг, объявил, что предоставляет залу свою для собраний, и вообще взял на себя все расходы.

В декабре начали обсуждать устав общества. Решено устраивать собрания раз в месяц и к участию в чтениях допускать посторонних лиц, не иначе однако же, как рассмотрев предварительно их произведения. Для удобства в соблюдении очереди и внутреннего распорядка, весь состав членов был разбит на четыре разряда, с председателем и пятью членами в каждом. Эти двадцать четыре члена-учредителя должны были составить основное ядро общества. Помимо

них каждый разряд избирал *сотрудников* из литературной молодежи.

Вопрос о том, кому быть членом, а кому только сотрудником, в иных случаях решить было нелегко. Считаться пришлось не только с литературными заслугами, но и со служебным положением, и даже с происхождением. А как возрастом, титулами и чинами шишковисты в общем превосходили прочих, то и образовался на их стороне перевес. Нашлись и обиженные. Гнедичу (кажется, не без уловки со стороны Шишкова) предложили быть всего лишь сотрудником. В ответ на это прислал он письмо Державину, объявляя, что согласен вступить в общество только под именем члена, но не сотрудника: «если ж на это или не дадут согласия г. г. Члены, или не буду я в праве по моему чину, то в обоих случаях мне ничего не останется, кроме заслуживать еще и лучшее о себе мнение и больший чин».

В первом разряде, под председательством Шишкова, членами оказались: Оленин, Кикин, Крылов, Шихматов и кн. Дмитрий Петрович Горчаков, сатирик и ловкий автор весьма нецензурных стихотворений. Во втором разряде председателем был Державин, а членами гр. Хвостов, умный и просвещенный Иван Матвеевич Муравьев-Апостол, Лабзин (масон, историограф Мальтийского ордена), поэт Дмитрий Осипович Баранов (сенатор) и Федор Львов, тоже поэт, приятель Державина. В третьем разряде (под председательством А. С. Хвостова) сколько-нибудь выделялся один Шаховской, если не считать Петра Ивановича Соколова; то был непрременный секретарь Российской Академии, человек великого трудолюбия и скромнейших намерений; его мечты не шли дальше эпистолярного и делового слога. «Вся эта поэзия, — говаривал о н , — все эти трагедии и поэмы одна только роскошь в литературе; а нам не до роскоши». Четвертый разряд, где председательствовал неизбежный и безнадежный Захаров, сплошь состоял из людей, еще менее примечательных.

Бесцветные сотрудники дополняли этот бесцветный список, в котором чувствовалась рука Шишкова. Так и должно было выйти при упорстве Александра Семеновича и критическом благодушии Державина. Впрочем, при литературной бедности тогдашнего Петербурга, шишковскому натиску некого было противопоставить.

Список почетных членов открывался более блестящими именами Капниста, Озерова, молодого драматурга, уже загубленного завистью и безумием, и наконец — Карамзина.

Все трое, к несчастью, значились лишь по имени: Озеров был безнадежно болен, а Карамзин и Капнист не жили в Петербурге.

Избрание Карамзина было большой, но едва ли не единственной победой Державина. Однако Шишков тут же и отыгрался: в почетные члены провел он целую плеяду державинских недругов из числа вельмож: Строганова, Ростопчина, Козодавлева и даже Сперанского и Магницкого. Последние два были так же неприятны самому Шишкову, как и Державину. Но Сперанский был в силе — Шишков не осмелился обойти его. Магницкий шел за Сперанским, как за иглой нитка.

Еще четыре лица попали в число почетных литераторов. Прежде всего, должно быть, за принадлежность к прекрасному полу, — три девицы: княжна Урусова, та, которую тридцать три года тому назад сватали за Державина, Анна Петровна Бунина, болезненная особа лет тридцати шести, довольно бесталанная стихотворица, и некая Анна Волкова, немного моложе Буниной, но писавшая еще хуже. Четвертым был Николев, пятидесятидвухлетний поэт. За слепоту звали его русским Мильтоном, а также *l'aveugle clairvoyant*¹ (по выражению императора Павла, который с чего-то ему покровительствовал). Мелкие чиновники долго еще зачитывались его стишками; двадцать пять лет спустя, титулярный советник Аксентий Иванович Поприщин в любопытных записках своих восхищался сердцепипательным четверостишием Николева:

Душеньки часок не видя,
Думал, век уж не видал;
Жизнь мою возненавидя,
Льзя ли жить мне? — я сказал *.

* * *

2 января 1811 г. уязвленный Гнедич, поздравляя Капниста с новым годом, писал ему: «У нас заводится названное сначала Ликей, потом Афиней, и наконец Беседа — или общество любителей Российской словесности. Это старая Российская Академия, переходящая в новое строение; оно есть истинно прекрасная зала, выстроенная Гаврилом Ром. при доме. Уже куплен им и орган и поставлен на хорах уже и стулья расставлены где кому сидеть, и для вас есть стул; только вы не будете сначала понимать языка г. г. Членов.

¹ Ясновидящий слепец (*фр.*).

Чтобы в случае приезда вашего и посещения Беседы не прийти вам в конфузию, предуведомляю вас, что слово проза называется у них: *говор*, Билет — *значок*, Номер — *число*, Швейцар — *вестник*; других слов еще не вытвердил, ибо и сам новичок. В зале Беседы будут публичные чтения, где будут *совокупляться знатные особы обоего пола* — подлинное выражение одной статьи Устава Беседы...»

Наконец, устав был утвержден, новорожденному обществу объявлено высочайшее благоволение за «полезное намерение», и 14 марта состоялось первое собрание Беседы. Из аванзалы, отделенной колоннами желтого мрамора, гости вступали в высокую, освещенную ярко залу. Стол, покрытый зеленым сукном, стоял посредине, окруженный креслами членов. Кресла поменьше, для публики, расставлены были вдоль стен уступами. Ждали государя, Державин даже сочинил приветственный хор (сам Бортнянский его положил на музыку) — но государь не приехал.

Билеты заранее были разосланы. Съехалось до двухсот человек — мужчины в мундирах, при лентах и орденах, дамы же в бальных платьях. Явился цвет сановного Петербурга. Шишков к нему обратился с речью. «Каким средством может процветать и возвышаться словесность?» — спрашивал он. И отвечал: «Единственным: когда все вообще люди любят свой язык, говорят им, читают на нем книги; тогда только рождается в писателях ревность посвящать жизнь свою трудам и учению». Словом, он призывал общество воодушевить словесников.

Сама по себе эта речь не была, конечно, причиной литературного окостенения, которое охватило Беседу тотчас и навсегда. Но главная причина окостенения как раз в этой речи выразилась. Справедливо, что без сочувствия публики нет словесности. Но это сочувствие — отнюдь не *единственное* и даже не первое условие литературного процветания. Литература одушевляется прежде всего идеями литературными, которые в ней самой должны зародиться. У Шишкова были идеи политические, общественные и даже филологические, литературных же не было. Нападки на карамзинское направление, в общественном смысле вовсе не основательные, филологически — пусть даже отчасти справедливые, не возмещали отсутствия положительных литературных стремлений. Людям, имеющим такие стремления, возле Шишкова было бы нечего делать. Беседа оказалась так же мертва, как субботние собрания, из которых она возникла. Как на субботках (без публики), так и в Беседе

(при публике) могли заседать либо люди, никогда не имевшие собственных литературных идей, либо же люди, идеи которых уже были осуществлены в свое время. Таких оказалось в Беседе трое. Во-первых — Державин. Во-вторых — Дмитриев; назначенный министром юстиции и живший в Петербурге уже больше года, он состоял одним из четырех *попечителей* четырех беседных разрядов; прямого участия в делах эти попечители не принимали — их звание было только почетное; все четверо (Завадовский, Мордвинов, Разумовский и Дмитриев) были министры — в настоящем или в прошлом; Дмитриев попал в попечители именно в качестве министра, а не поэта: таков был дух Беседы. Третьим, наконец, был Крылов — талант огромный и лишь недавно сказавшийся; но и он не был движущею литературной силой, ибо ему было суждено лишь блестящее завершение давней басенной традиции: она с ним и умерла.

Не то в публицистике. Тильзитская политика Александра, многими осуждаемая, доживала последние дни. Уже с весны 1811 года отношения между Парижем и Петербургом стали весьма натянуты; осенью сделалось более или менее очевидно, что война вспыхнет. Поведение раздраженного Бонапарта было вызывающе; русское общество чувствовало себя оскорбленным. Тогда-то шишковская ненависть к Франции дождалась своего часа и торжества. Хоть и побаиваясь «без воли правительства возбуждать гордость народную», Шишков однако решился: он прочитал в Беседе «Рассуждение о любви к отечеству». Впечатление было разительное. Мертвым собраниям сообщилось одушевление, которого не могла в них вызвать славянорусская литература. Беседа сделалась первою вестницей, а на время и средоточием патриотического подъема.

Двенадцатый год настал. Но прежде чем началась война, должно было совершиться падение Сперанского. 17 марта оно совершилось, и вскоре Шишков был назначен государственным секретарем. Конечно, самый объем его мыслей был вовсе не тот, что был у Сперанского. Но именно за этот объем пал Сперанский. Шишков был призван не заменить его, но лишь занять его должность.

В должности этой, как составитель рескриптов и манифестов, старик оказался вдруг даже величествен. Его первой работой был манифест о рекрутском наборе. Его писания, порой неуклюжие, неотесанные, порой даже опрометчивые, почти как стихи Хвостова, были исполнены странной силы. «Они действовали электрически на целую Русь»,

Шишков «двигал духом России» *. Иные слова его сделались лозунгами Отечественной войны и остались памятниками ее. Их повторяли тогда и еще сто лет после, уже не зная, кем они были сказаны. Это и есть народная слава.

* * *

Меж тем как Россия вступала в полосу бурь и все ее помыслы были устремлены в будущее, мысль Державина обращалась к прошлому. Осенью 1811 года он приступил к писанию своей биографии. Замысловатым, с обильными завитушками почерком, почерком восемнадцатого столетия, слегка дрожащей уже рукой, он вывел на первом листе тетради: «Записки из известных всем происшествий и подлинных дел, заключающие в себе жизнь Гаврилы Романовича Державина».

Объяснения, диктованные Лизе Львовой, уже содержали немало воспоминаний. То были однако ж воспоминания отрывочные, в составе своем ограниченные (ибо так или иначе связанные с поэзией), подчиненные не хронологии, но порядку стихотворений и потому разрозненные. Записки Державин повел в форме повествования связного, плавного и последовательного. Он начал с поры своего младенчества, но его главной целью был рассказ о гражданской деятельности на разных поприщах.

Лиза Львова с год тому назад вышла замуж. Диктовать теперь было некому, да это вышло бы и громоздко. Чтобы не замедлять работы, Державин писал, положившись на память, не обращаясь за справками к своему архиву и только изредка прибегая к помощи Аврамова. Впрочем, нашелся у него род дневника, веденного во времена пугачевщины; этот дневник он просто подшил в надлежащем месте. Обдумав наперед фразу, он заносил ее на бумагу и делал не слишком много помарок. От этого своевольный и грубый слог его стал еще своевольнее и грубее. Порою фраза давалась ему с трудом, и самый смысл затемнялся. Но Державин спешил, быть может, намереваясь исправить слог в будущем, а вероятнее — не замечая его недостатков. Иные места Записок силой и меткостью удивительны; в иных не сразу добьешься толку.

Свои Объяснения Державин намерен был напечатать вскоре (хотя цензура, конечно, не пропустила бы в них очень многого). Записки писал он для будущего. Перед лицом потомства он хотел быть правдивым, и в отношении внеш-

ней стороны событий это ему удавалось. Но если он надеялся сохранить беспристрастие в их внутреннем изъяснении, то это не удавалось ему вовсе.

«Бывший статс-секретарь при Императрице Екатерине Второй, сенатор и коммерц-коллегии президент, потом при Императоре Павле член верховного совета и государственный казначей, а при Императоре Александре министр юстиции, действительный тайный советник и разных орденов кавалер, Гавриил Романович Державин родился в Казани от благородных родителей, в 1743 году июля 3 числа...» Подобно Цезарю, Державин писал о себе в третьем лице. Этот эпический прием довольно долго способствовал спокойной важности изложения. Впрочем, была и другая причина, по которой действительный тайный советник и разных орденов кавалер спокойно, даже и с удовольствием вспоминал страдания, унижения, бедность, некогда выпавшие на долю казанского гимназиста, а затем Преображенского солдата. Всю жизнь он гордился тем, что дошел до высоких степеней «из ничтожества». Чем ничтожество выходило очевиднее, тем контраст получался резче. Историю своего шулерства Державин изложил безжалостно и подробно. Он, в сущности, был благодарен людям и обстоятельствам, доведшим бедного, неопытного молодого человека до такого падения.

Вообще, несправедливости и обиды, наносимые ему лично, он прощал и в Записках так же легко, как в жизни, оттого что был очень добр и очень самолюбив. Его обманывали, обкрадывали, на него клеветали, — он не помнил зла, делал нередко вид, что не замечает его, и ни разу в жизни не отомстил никому. Но препон, поставленных его деятельности служебной или государственной, но обид, наносимых в его лице возлюбленному Закону, он не прощал и прощать не считал себя вправе. Первые столкновения такого рода произошли у него во время пугачевщины. Начиная с обороны Саратова, он и в Записках стал увлекаться изображением борьбы, в которой позже прошла его жизнь. Так как по существу он отстаивал дело правое, то и в Записках, как в жизни, пришел к уверенности в неизменной и постоянной своей правоте. Так как причина столкновения всегда лежала не в нем, то он и вообразил себя в жизни и представил в Записках чрезвычайно миролюбивым, хотя на самом деле случалось ему открывать враждебные действия и затем идти уже напролом. Единственным недостатком своим признавал он горячность, но в глубине души почитал и ее достоин-

ством и относился к ней с любовной, как бы отеческой мягкостью. При таких обстоятельствах эпический лад Записок довольно скоро перестал отвечать их внутреннему лиризму.

Настала весна 1812 года. В предстоящей войне никто уж не сомневался. 9 апреля, взяв с собой Шишкова, государь выехал в Вильну. Державин лишь краем уха прислушивался к надвигающейся грозе. Он погружен был в свои Записки — воевал с Вяземским, с Тутолминным, с Гудовичем. Перебрался на Званку — и там продолжал писание. Бонапарт перешел через Неман и вторгся в пределы России — Державин был занят Екатериной.

Всю тщетность своей многолетней борьбы он познал глубоко, но знания этого не принял. Обернись время вспять, начнись завтра все сызнова, старик действовал бы во всем точно так же, как действовал в молодости. По-прежнему был бы он резок и неуступчив, по-прежнему отвергал бы возможное ради должного, был готов сломиться, но не согнуться и с гордостью повторил бы жизненные свои ошибки — все как одну, с первой и до последней.

Не приняв житейского опыта для себя, он не принял его и для Екатерины. Составительница Наказа знала, какова должна быть Фелица, идеальная монархиня, — следовательно и должна была стать ею, хотя бы не только люди, но и самые небеса были против. Если не стала — ее вина. Правда, за последние годы Державин много думал о ней и пришел к выводу, что в ее обстоятельствах ничего не оставалось, как или погибнуть, или стать такою, какою она была. Рассудив так, он по-человечеству, снисходя к слабости человеческой, даже простил ее, но это прощение ощущал в себе тоже, как слабость и уступку. Перед лицом же *священной справедливости* он считал, что «сия мудрая и сильная Государыня в суждении строгого потомства не удержит на вечность имя Великой». Таково было его последнее заключение.

Между тем, события шли своим чередом. 7 июля русские войска стали отходить из укрепленного лагеря на Дриссе. Покинув армию, государь явился в Москве. В Успенском соборе, осажденном народными толпами, заразы ликующими и плачущими от всеобщего воспламенения чувств и сердец, епископ Антонин * приветствовал Александра достопамятными словами: «Царю! Господь с тобою: Он гласом твоим повелит бури, и станет в тишину, и умолкнут волны потопны е. — С нами Бог! разумеете, языцы, и покоряйтесь, яко с нами Бог!».

Но армия отступала. Простодушный Захаров, препровождая в подарок третье, вновь исправленное издание своего застарелого «Телемака», над которым трудился более тридцати лет, сообщал о растерянности властей и тревоге жителей: «Вся Россия накануне всеобщего траура. У кого сын, у кого брат, у кого муж: все под опасностью смерти — но важней и того — в опасности повергнуться в рабство. — Боже! Спаси!» По делам рекрутского набора Державин ездил во Псков, где «наехал довольно суматохи от близкого военного театра», потом в Новгород, уже охваченный паникой. Военные бюллетени и известия «Северной Почты» не вселяли бодрости. Настал август месяц. Многие жители покидали Петербург, вывозя имущество. Державин по этому поводу получил письмо от Леонида Львова, брата Лизы, Параши и Веры, и отвечал ему: «По неприятному от вас полученному известию ежели обстоятельства так же дурны, как вы пишете, и прочие укладываются, то должно согласиться с давшими вам совет, чтоб и нам что-либо спасти, коли можно. И для того мы пришлем к вам с лошадьми фуры, на коих и привезть к нам сюда: 1) два сундука, которые в кабинете моем, покрытые коверными чехлами; 2) сундучок плоский, который под моим бюро с бумагами; 3) сундук в новом кабинете Дарьи Алексеевны, покрытый красною кожею; 4) большой сундук в Онисьиной комнате; 5) Другие вещи, как то: трое бронзовых часов в нижних комнатах, мраморные в кабинете Дарьи Алексеевны, резную серебряную филиейную фигуру, которая стоит в нижних комнатах, буфетное серебро сложить в один ящик и отправить сюда. 6) Прикажите Павлу, чтоб положил также в один сундук все штофные занавесы и отправьте сюда же; за прочими же вещами, как то: за столовыми люстрами и мебелью, когда обстоятельства дозволят, пришлем еще лошадей, или ранжируем другим образом. Мы пришлем также Евстафья Михайловича для разбора моих бумаг, из которых по данной ему записке он возьмет сюда. Впрочем, ежели слухи и обстоятельства переменились, дай Боже, к лучшему, что спокойнее в городе стало и перестали суетиться к отправлению вещей, то и вам остановиться, кажется, должно, — и нас уведомить... Теперь явно видно, что Барклай не честный человек и неверный или глупый вождь, что впустил столь далеко врага внутрь России, дает укрепляться в Могилеве, Витебске, Бабиновичах, в Орше и далее, не действует и не сражается».

Это письмо Державин писал 12 августа еще не зная ни

о потере Смоленска, ни о том, что как раз накануне новый главнокомандующий Кутузов выехал из Петербурга к армии.

Второй, трагический период Отечественной войны начался. В тяжелые дни Бородина (где полковник Преображенского полка Воейков, жених Веры Львовой, командовал бригадой, защищавшей Шевардино), в дни отступления на Москву, Державин вернулся к Запискам. Теперь он рассказывал о душевных ранах, еще не заживших — о временах Павла и Александра, о людях, которые «привели государство в такое бедственное состояние, в котором оно ныне, то есть в 1812 году, находится». Ни высокого гнева, ни простой злобы сдержать он уже не мог. Припомнил все, действительно бывшее — и даже не вполне бывшее. То, что он только подозревал, о чем только слышал, теперь казалось ему непреложной истиной. Екатерине и ее сподвижникам он был готов простить многое — было за что. *Нынешним* он не только не прощал ничего, но даже и справедливости их не удостоивал. Одним преступлением больше, одним меньше — не все ли равно, стоит ли проверять? Вряд ли он, например, верил сам, что Сперанский был взяточник, — однако же написал и это. Желчь в нем разлилась. Забывая эпический слог, он все чаще сбивался с третьего лица на первое и почти с наслаждением перечислял подвохи, подкобы, *шиканы*, поставленные его деятельности, и обиды, нанесенные ему лично. Не вытерпев, он составил особый реестр пятнадцати главным своим заслугам, «за которые имел бы право быть вознагражденным, но напротив того претерпел разные несправедливости и гонения».

Он писал и на Званке, и позже, осенью, переехавши в Петербург. Здесь каждое утро приходил к нему Платон Зубов. Наклонясь над большою картой, следили они движение неприятеля и страдали вместе, и растревляли друг другу сердечные раны, и распаляли друг в друге злобу. Он писал и в те дни, когда горела Москва, и казалось — Россия гибла. Горе и страх терзали его, изливаясь в Записках яростью. Отплыла Москва; супостат, «таинственных числ Зверь» *, бежал из нее, оставляя кровавый след на раннем снегу чудотворной зимы; с каждым днем приходили вести о наших победах над его расстроенными полками; молодой стихотворец Жуковский (тот самый, что в детстве присутствовал на потемкинском празднике), на время оставив задумчивые элегии и романтические баллады о мертвецах, в лагере при Тарутине написал «Кубок воина», иначе — «Певца в стане

русских воинов», патриотическую песнь, которую все теперь повторяли. Русская слава воскресала в победах. Жуковский зывал к Державину:

О старец! да услышим твой
Днесь голос лебединый —

но Державин дописывал самые желчные страницы своих Записок. Когда надежды брезжили над Россией, его уделом были воспоминания. Перед Россией открывалась новая эпоха — он выводил на последней, 564-й странице рукописи: «Сие кончается 1812 годом».

Судьба Бонапарта была им предсказана совершенно точно четырнадцать лет тому назад в пророчески-косноязычных стихах:

Кто весть, что галльский витязь, Риму
Словами только вольность дав,
Надеть боялся диадиму;
Но что, гордыней обуяв,
Еще на шаг решится смелый
И как Сампсон, столпы дебелы
Сломив, падет под ними сам?

Теперь, когда судьба эта совершилась, Державин среди всеобщего ликования оставался почти равнодушен, как если б и нынешнее торжество было им пережито уже в прошлом. Он написал пространный, тяжелый, пышный «Гимн лиро-эпический на прогнание Французов», но парения прежнего в нем уже не было. Все сердца были окрылены — на душе Державина лежал камень. Тайком от людей, для себя самого, на каком-то черновике, сбоку, набросал он четверостишие:

Тебе в наследие, Жуковский,
Я ветху лиру отдаю;
А я над бездной гроба скользкой
Уж преклоня чело стою.

* * *

А все-таки было что-то необычайно прекрасное в русской весне 1813 года — что-то похожее на начало выздоровления или на утро после грозы. Ее теплое дуновение коснулось и дома Державиных. Справили свадьбу Веры с Воейковым, перебрались на Званку и стали готовиться к приятному путешествию.

Тому назад почти уже год пришло письмо от Капниста: «Любезный друг, Гаврила Романович! Я уверен, что мы друг друга любим; зачем же слишком долго представлять про-

тивные сердечным чувствам роли? — Вы стары; я весьма стареюсь; не пора ли кончить, так как начали? — У меня мало столь истинно любимых друзей, как вы: есть ли у вас хоть один, так прямо вас любящий, как я? — По совести скажу: сомневаюсь: — в столице есть много, — но столичных же друзей. — Не лучше ли опять присвоить одного, не престававшего любить вас чистосердечно? — Если я был в чем-нибудь виноват перед вами, то прошу прощения. — Всяк человек есть ложь: я мог погрешить, только не против дружества: оно было, есть и будет истинною стихиею моего сердца; оно заставляет меня к примирению нашему сделать еще новый — и не первый шаг. — Обнимем мысленно друг друга, и позабудем все прошлое, кроме чувства, более тридцати лет соединявшего наши души. — Да соединит оно их опять, прежде чем зароется в землю!..»

По получении письма решено было помириться и озаменовывать мир поездкою в Малороссию, — если только, Бог даст, все будет к хорошему концу. Дарья Алексеевна кстати тогда же дала обет в случае благоприятного окончания войны съездить в Киев на богомолье. Все, таким образом, складывалось одно к одному, и 15 июня, взяв с собой доктора и Парашу Львову, Державины выехали со Званки. Двигались медленно и только 24 числа прибыли в Москву. Белокаменную застали в прискорбном виде. Проворный Василий Львович Пушкин, как любитель сенсаций, тотчас сделался при Державине *чичероном*. Некогда, воротясь из Парижа, усердно показывал он друзьям привезенные жилеты и фраки и давал дамам обнюхивать свою голову, умащенную модной помадой; с тою же приятностью показал он Державину разоренный Кремль и Голицынскую больницу. Из Москвы тронулись дальше — на Мценск и Орел. Здесь, в доме знакомого помещика, отпраздновали день рождения Гаврилы Романовича. Путешествие совершалось все так же медленно. На остановках являлись к Державину то почитатели таланта его, то чиновники в полной форме, воображавшие, что он едет не иначе, как в качестве тайного ревизора. Наконец, добрались до Обуховки.

Державины давно известили Капнистов о том, что к ним будут, но срока нарочно не обозначили. 7 июля, после обеда, Александра Алексеевна Капнист отдыхала. Вдруг ей сказали, что какая-то бедно одетая женщина желает ее увидеть. Александра Алексеевна вышла к женщине, усадила ее и стала спрашивать, откуда она и что ей надобно. Та отвечала, что из Москвы, что лишилась всего имущества,

просит помощи — и вдруг рассмеялась. Александра Алексеевна подумала, что перед ней сумасшедшая, и испугавшись хотела уже уйти, как вдруг гостя откинула капюшон салопа. От радости с Александрой Алексеевной сделалось дурно: перед ней была Даша. Сестры не виделись двадцать лет. Слезы, объятия, поцелуи, весь дом сбежался, все кинулось на гору, где ждал в экипаже Державин с Парашей и доктором. Их привели в дом — и объятия возобновились. Сердца размягчились донельзя. Сюрприз удался на славу — однако тотчас обернулся и несколько затруднительной стороною: как раз в эти дни гостил у Капнистов сосед — Трошинский! Вот где Бог привел встретиться! Дмитрий Прокофьевич постарел изрядно, однако же сохранил осанку красавца и сердцеда. Молодежи забавно было и поучительно видеть, с каким ледяным уважением старые недруги встретились, как раскланивались по-старинному, как величали друг друга «ваше высокопревосходительство» и ни за что не хотели сесть один прежде другого. Но под июльским небом Украины лед понемногу стал таять, и прожив несколько дней под одною кровлей, враги чуть ли не подружились. Воспоминаниям и рассказам конца не было.

Державины прогостили в Обуховке дней двенадцать, предаваясь всем удовольствиям дружества и природы. Державин был весел, даже и напевал, и насвистывал, и сочинял стишки, обращаясь к птичкам, которыми дом Капнистов был полон. Как он любил все крылатое! Недаром воспел не только орла, соловья, лебедя и павлина, но и ласточку, ястреба, сокола, голубя, аиста, пеночку, зяблика, синицу, синичку, желну, чечетку, тетерева, бекаса и, наконец, даже комара... С Капнистом он вел беседы, хозяйственные, политические, литературные. С двумя барышнями-красавицами, блондинкою и брюнеткою, что в ту пору гостили в Обуховке, гулял под руку и шутил.

26 июля прибыли в Киев, провели там три дня, помолились в Лавре, осмотрели достопримечательности и поехали под Белую Церковь, в имение графини Браницкой, той самой племянницы Потемкина, на руках у которой он умер дорогою в Николаев. Перед памятью дяди графиня благоговела; в его честь был воздвигнут ею род пантеона, где бюст Державина высился среди прочих. Графа Ксаверия Петровича не случилось дома. Зато Элиза, кокетливая и быстроглазая дочка графини, в любезности не отставала от матери. Державину был оказан прием зараз торжественный и сердечный — как автору «Водопада» и старому другу. На дру-

гой день пустились в обратный путь. Москва на сей раз удивила быстрою переменою. Близилась осень, богатые жители собирались вернуться из подмосковных на старые пепелища. Везде кипела работа, стучал молоток, топор погромыхивал, неслись песни каменщиков и маляров.

26 августа, в годовщину Бородина, усталые, но довольные, Державины возвратились на Званку.

Ближайшим следствием поездки было то, что Державин определил на службу двух сыновей Капниста, Ивана и Семена. В конце года они приехали в Петербург и, разумеется, поселились в державинском доме. Им отвели во флигеле те покойчики, где ранее жили сестры Львовы. (После замужества Лизы и Веры, Параша осталась одна — ее перевели в большой дом, поближе к дяде и тетке). Один из молодых Капнистов, Семен Васильевич, пописывавший стихи, тотчас сделался любимцем Державина и отчасти секретарем — насколько ему позволяла служба.

Приток молодежи в дом не прекращался — и слава Богу: старик без нее не мог обходиться. Но окружать себя молодежью заставляла его не просто любовь к суматохе и не одна только живость характера (которая, кстати сказать, все более умерялась болезнью, упадком сил и растущей сонливостью). Была причина более важная, имевшая прямое отношение к его поэтическому самочувствию.

Отражение эпохи не есть задача поэзии, но жив только тот поэт, который дышит воздухом своего века, слышит музыку своего времени. Пусть эта музыка не отвечает его понятиям о гармонии, пусть она даже ему отвратительна — его слух должен быть ею заполнен, как легкие воздухом. Таков закон поэтической биологии. В поэзии гражданской он действует не сильнее, чем во всякой иной, и лишь очевиднее проявляется.

Отойдя от дел государственных, Державин стал как бы глухнуть — и сразу это почувствовал, чем дальше, тем явственней. События перестали в нем вызывать тот быстрый и резкий отзвук, которым была сильна его лира. Правда, сперва можно было допустить, что эпоха невдохновительна сама по себе. Державин недаром был не в ладу с нею. Но настали двенадцатый, тринадцатый, наконец — четырнадцатый год. Казалось — кому воспеть их, как не Державину? Жуковский прямо его вызывал на это. Но за тяжеловесным лиро-эпическим гимном последовали холодные, словно выужденные стихи на сражение под Люценое. Можно себе представить, что было бы, если б не Александр, а Екатерина

выиграла Кульмский бой! Но Державин на это событие даже и не откликнулся, а на торжество небывалое, неслыханное, перед которым все Очаковы и Измаилы ничто, на вступление русских войск в Париж, написал стихи не замечательнее люценских. Все величие времени он сознавал, но его музыки не улавливал. Писал по долгу патриота и поэта-историографа, потому что в его положении нельзя было не писать, — и только. Публика принимала его стихи восторженно — он сам вовсе был не в восторге.

Так было и в иных отраслях поэзии. Державин пробовал новые темы и развивал старые, искал новых приемов и прибегал к испытанным; делал это с умением, может быть, даже большим, чем прежде, но без прежнего одушевления. То был не упадок таланта, но упадок вдохновения.

Вероятно, играли тут свою роль и старость, и нездоровье, но главное — все в новом времени, и хорошее, и дурное, было Державину как-то чуждо. Все чаще среди величавых событий он испытывал неодолимую скуку. Но как, засыпая среди разговора и вдруг просыпаясь, любил он видеть вокруг молодые лица, так и в поэзии все искал молодежи, льнул к ней.

Он потрудился много, любил историю и Россию, сам стал историей и Россией — хотел теперь видеть и слышать тех, кто будет трудиться впредь. Быть может, хотелось ему кого-то усыновить, как бездетный богач усыновляет приемыша. Свой дом с любовью наполнял племянниками, а в поэзии все искал преемника, *нового Державина*, не второго, не подражателя своего, но именно нового, который в своем времени расслышит то, что Державин некогда расслышал в своем, найдет новое содержание и новую форму, принесет ту творческую новизну, которую Державин принес сорок лет тому назад.

Он когда-то мечтал, что Беседа будет способствовать появлению молодых дарований. Мечта оказалась несбыточной. Беседа все более походила на казенное учреждение. На место умершего Завадовского попечителем избрали Попова; тому назад двадцать лет не умел он грамотно прочитать Екатерине стихи Державина; с тех пор его знания не подвинулись. Среди почетных членов Сперанского заменил Новосильцев и явился архимандрит Фотий. Сам Шишков охладил к своему детищу. В 1813 году государь назначил его президентом Российской Академии. Вернувшись из-за границы, он предлагал просто слить Академию с Беседой, чтобы уж разом заседать там и здесь. Из домика

на Фурштатской переселился он в роскошную казенную квартиру напротив дворца, оставил филологические упражнения и мало интересовался литературой. Беседчики читали друг другу свои сочинения и друг друга не уважали. Хвостов Александр Семенович изводил шутками и эпиграммами Хвостова Дмитрия Ивановича — и был прав, потому что Дмитрий Иванович писал совершенную чепуху: то, завидев издали тучу, убеждался он, подошед поближе, что это всего лишь куча; то голубь зубами перегрызал у него узелки; то осел лез на рябину, цепляясь лапами; то уж становился на колени — и прочее в том же роде. Со своей стороны Дмитрий Иванович возмущался тем, что Александр Семенович председательствует в своем разряде, — и тоже был прав, ибо Александр Семенович уже лет тридцать, как перестал писать вовсе. Их фигуры могли бы отчасти служить олицетворением всей Беседы: один не писал ничего, другой писал слишком много и слишком плохо. Крылов потешался равно надо всеми: на четыре разряда Беседы написал басню «Квартет», а потом и еще обидней — «Парнас»:

Когда из Греции вон выгнали богов
И по мирянам их делить поместья стали,
Кому-то и Парнас тогда отмежевали;
Хозяин новый стал пасти на нем ослов...

Дмитрий Иванович в отместку сочинял пасквили на Крылова, называя его Обжоркиным. Державин ради приличия старался водворить мир, хотя Хвостов и его выводил из себя.

Последние года два все были поглощены войной и писали сплошь о войне. Но после взятия Парижа патриотический пыл начал ослабевать, а литературные бои разгораться. Чудак Шишков как раз в это время вздумал прекратить полемику; его непонимание литературных дел было поразительно; он, кажется, думал, что после падения Наполеона Карамзин падет уже сам собой. Теперь он молчал — зато из противного лагеря насмешки и резкости посыпались на Беседу. К Державину они никогда не относились: враги чтили в нем великого русского поэта и считали себя учениками его. Державин иногда позволял себе роскошь обижаться за своих сочленов, но втайне противники Беседы были ему любопытнее и милей, чем она сама. По привычке и потому, что всю жизнь делал все истово и не любил бросать однажды начатое, он еще занимался делами Беседы.

Но она сама мало ими занималась. К началу пятнадцатого года она была почти уже в летаргии.

* * *

Большой четырехэтажный флигель царскосельского дворца, тот, что высокою аркою соединяется с хорами пятиглавой придворной церкви, был отведен учреждению, некогда составлявшему предмет особых и нежных забот императора. То был Лицей, основанный с целью «образования юношества, особенно предназначенного к важным частям службы государственной и составленного из отличнейших воспитанников знатных фамилий». Еще с осени 1811 года тридцать мальчиков вступили в Лицей, готовясь безвыездно прожить в нем шесть лет и пройти обучение, разделенное на два трехлетия или курса. Ныне меньшей курс был окончен, и лицеисты держали экзамены при переходе в старший.

Лицей оказался на деле довольно далек от того, каким он когда-то мерещился Александру Павловичу. Учение шло беспорядочно. Однако высокая лихорадка умов и сердец, вызванная грозными и чудесными событиями Отечественной войны, передалась царскосельским затворникам. История была их воспитательницей, и не имея глубоких знаний, они развивались быстро. Нашлись между ними такие, что еще из дому занесли охоту к литературным упражнениям, и поэзия вскоре сделалась настоящею страстью многих. Из рукописных лицейских журналов произведения неопытных перьев перенеслись в печатные. На важных страницах «Вестника Европы», «Российского Музеума», «Сына Отечества», «Северного Наблюдателя» являлись стихи пятнадцатилетних поэтов. (Шишков был бы весьма опечален, когда бы узнал, что сия юная поросль чуть не сплошь состоит из завзятых карамзинистов.)

Начальство лицейское сперва поощряло авторство, потом запрещало, потом стало поощрять сызнова. Поэтому-то в программе публичного испытания из российского языка пунктом 4-м значилось: «Чтение собственных сочинений». Экзамен назначен был на 8 января, а накануне разнеслась весть, что Державин будет в числе гостей. Поэты лицейские взволновались, особенно Александр Пушкин. Он не был из числа первых учеников, но считался едва ли не первым среди тамошних стихотворцев: Илличевского, Кюхельбекера, Яковлева, барона Дельвига. Ему-то и предстояло читать стихи свои на экзамене и следственно пред самим ветераном российской поэзии.

Александр Пушкин (помянутому Василию Львовичу он приходился племянником) не был столь пламенным обожателем Державина, как например его друг барон Дельвиг. Но пьеса, им сочиненная для экзамена, посвящалась военной славе России под скиптром Екатерины и Александра; сообразуясь с высокостиею предмета, Пушкин ее написал совершенно в духе Державина, который и сам был в ней торжественно именован. Много в ней было прямых отголосков державинской лиры — начиная с заглавия «Воспоминания в Царском Селе», напоминавшего «Прогулку в Царском Селе». Теперь все это приходилось как нельзя более кстати. Однако же, возникло и важное затруднение. Пьеса кончалась обращением к Жуковскому — автору «Певца в стане русских воинов»: признавая свое бессилие, Пушкин вызывал Жуковского, как самого громкого из поэтов новой поры, воспеть Александра. В присутствии Державина такое обращение могло стать неучтивостию. Как быть? Проказливый сочинитель решил слухавить: на один только раз, ради завтрашнего чтения, заменить Жуковского Державиным. Для этого лишь в одном стихе:

Как наших дней певец, Славянской Бард
дружины, —

явный намек на Жуковского надо было превратить в намек на Державина. Тогда и все прочее становилось обращением к нему же.

Дело оказалось не так просто. Всею мешала неременная рифма на -ины. Кончилось тем, что Пушкин, отчаявшись с честью выйти из затруднения, написал:

Как древних лет певец, как лебедь стран
Еллины.

Что значит Еллина, он сам не знал; ее никогда не существовало. Если даже счесть ее за Элладу, то почему же Державин — лебедь Эллады? Допустим, это намек на анакреонтические стихи. Но кстати ли обращаться к Державину-Анакреону, когда речь идет о военных подвигах? Но выхода не было, Пушкин решил, что сойдет и так. Вся строфа была довольно туманна. Предстояло еще переписать стихи для поднесения Державину. Они были длинные, вышло восемь страниц, Пушкин над ними трудился весь вечер, писал старательно, следя больше за почерком, — и сделал много описок*.

Тот вечер в доме Державина проходил, как обычно. Да-

рья Алексеевна, должно быть, не доглядела, и Гавриил Романович за ужином опять съел лишнее. В 11 часов она проводила его наверх, уложила, ушла. Державин тотчас уснул, но спал беспокойно. В шестом часу утра, как всегда, он проснулся и кликнул Кондратия. Тот вошел со свечами и мундиром, приготовленным с вечера. Одевшись, Державин спустился в столовую, в ночном колпаке и мундире. Парика он терпеть не мог и надевал его лишь в последнюю минуту. В столовой горели канделябры. Семен Васильевич встретил дяденьку и пожелал доброго утра. Они сели пить чай. Дарья Алексеевна почивала.

На конюшне чистили лошадей, заложили, подали. Лицейский экзамен не очень был любопытен Державину, но ему всегда не сиделось, когда предстояло куда-нибудь ехать; он всюду являлся первым. Кондратий принес парик и красную ленту. Державин надел их пред зеркалом в круглой гостиной, среди обоев, расшитых рукой Пленеры. В подъезде подали ему шубу и бобровую шапку.

Было еще темно. Выехав из ворот на Фонтанку, возок свернул влево, к Московской заставе, и хоть дорога в Царское была хорошо наезжена, после заставы Державина стало укачивать. Он жалел, что перед отъездом не разбудил Максима Фомича, доктора, и не принял рвотного. Когда, уже белым днем, миновали первые дома Царского и въехали под лицейскую арку, Державину сделалось невтерпех.

Круглый, подслеповатый лицеист с белобрысой круглою головой, барон Дельвиг, заранее «вышел на лестницу, чтобы дожидаться Державина и поцеловать ему руку, руку, написавшую „Водопад“». Державин приехал. Он вошел в сени, и Дельвиг услышал, как он спросил у швейцара:

— Где, братец, здесь нужник?

Этот прозаический вопрос разочаровал Дельвига. Он отменил свое намерение, возвратился в залу, и с простодушием и веселостью рассказал Пушкину свое приключение. Зала наполнилась царскосельскою публикой, лицеистами, их родными, впрочем немногочисленными. Съехались и почетные гости: ректор С.-Петербургской духовной академии архимандрит Филарет, министр народного просвещения гр. Разумовский, попечитель учебного округа Сергей Семенович Уваров (почетный член Беседы), генерал Саблуков, которого покойный государь прогнал с караула в ночь на 12 марта. Среди них, в первом ряду кресел, усадили Державина. Начальство лицейское разместилось у стола сбоку.

Экзамен очень утомил Державина. В красном мундире, украшенном орденами, сияя бриллиантовой короной Мальтийского креста, сидел он, подперши рукою голову и расставив ноги в мягких плисовых сапогах. «Лицо его было бессмысленно, глаза мутны, губы отвислы». Он дремал все время, пока лицеистов спрашивали из латинского языка, из французского, из математики и физики. Последним начался экзамен русской словесности. «Тут он оживился: глаза заблестали, он преобразился весь. Разумеется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поминутно хвалили его стихи. Он слушал с живостию необыкновенной». Наконец, вызвали Пушкина.

Лицеист небольшого роста, в синем мундире с красным воротником, стоя в двух шагах от Державина, начал свои стихи. Никто никогда не мог бы описать состояние души его. Когда дошел он до стиха, где упоминал имя Державина, голос его отроческий зазвенел, а сердце забилося с упоительным восторгом...

Бессмертны вы вовек, о Росски Исполины,
В боях воспитанны средь бранных непогод;
О вас, сподвижники, друзья Екатерины,
Пройдет молва из рода в род.
О громкий век военных споров,
Свидетель славы Россиян!
Ты видел, как Орлов, Румянцев и Суворов,
Потомки грозные Славян,
Перуном Зевсовым победу похищали.
Их смелым подвигам страхась дивился мир;
Державин и Петров Героям песнь бряцали
Струнами громозвучных лир.

Сердце его было так полно, что самый обман, совершенный им, как бы исчез, растворился, и читая последнюю строфу, он уже воистину обращался к сидящему пред ним старцу:

О Скальд России вдохновенный,
Воспевший ратных грозный строй!
В кругу друзей твоих, с душой воспламененной
Взгреми на арфе золотой;
Да снова стройный глас Герою в честь прольется,
И струны трепетны посыплют огонь в сердца,
И ратник молодой вскипит и содрогнется
При звуках бранного певца!

И Державин вдруг встал. На глазах его были слезы, руки его поднялись над кудрявою головою мальчика, он хотел обнять его — не успел: тот уже убежал, его не было. Под

каким-то неведомым влиянием все молчали. Державин требовал Пушкина. Его искали, но не нашли.

После обеда у Разумовского, где много важного вздору было говорено, усталый Державин уже ввечеру приехал домой, достал из кармана тоненькую тетрадку, писанную летучим и острым почерком, и для памяти надписал на ней: «Пушкин на лицейском экзамене».

* * *

Дела сердечные, не литературные, заставили Жуковского покинуть Москву. Весной 1815 года переехал он в Петербург и очутился бельмом на глазу Беседы. Осенью Шаховской непристойно и грубо вывел его в своей комедии *. Несколько друзей из числа молодых литераторов и дилетантов — Александр Тургенев, Вигель, Дашков, Блудов (родня Державину) — сплотились вокруг Жуковского. Закипела полемика, или, лучше сказать, перебранка. Вигель, человек злой и умный, имея связи в обоих лагерях, усердно подливал масла в огонь. Уваров, которого не любили в Беседе, перекинулся на сторону врагов и сумел составить из них небольшое сообщество. Поэт Жихарев, беседный сотрудник, примкнул тоже. Так возник *Арзамас*. Жуковский был избран секретарем — председателя в Арзамасе не было. Собирались по четвергам у Блудова или Уварова.

Закончив восемь томов Истории, Карамзин повез рукопись в Петербург. Он прибыл 2 февраля 1816 года, захватив с собой шурина, кн. Вяземского, поэта и остроумца, молодого человека с длиннейшими ногами и маленькой головой. Василий Пушкин, конечно же, увязался за ними — ему страх хотелось сделаться арзамасцем. В Арзамасе к этому времени прибавились еще члены — и Арзамас расцвел. Не было у него ни разрядов, ни попечителей, ни публичных заседаний, но слухи о нем носились, самой замкнутостью он возбуждал любопытство, казался собранием избранных, посвященных в новейшие тайны литературы. Многие, кто, быть может, мечтал проникнуть в него, были бы очень разочарованы, узнав, что никаким откровениям романтизма в Арзамасе не учат и вообще не разговаривают на важные темы. Арзамас был затеян в противовес Беседе и не мог быть представителем романтизма хотя бы уж потому, что сама Беседа была недостойна представлять классицизм. Она была ничто, и всерьез спорить с ней было не о чем. Арзамас и не снисходил до спора. В нем умнее всего было то, что шутку признал он самым сильным и подходящим оружием против Беседы. В его собраниях потешались над бе-

седчиками не во имя нового направления, а просто во имя молодости, ума, вкуса, образования — во имя всего, что в свое время было у классицизма, но чего никогда не было у Беседы. Он стал пародией на Беседу. В каждом собрании отпевали кого-нибудь из ее живых покойников — и вышло так, что отпетую оказалась она сама, со всеми ее потугами начальствовать над словесностью, ничего не делая. Не насмехались только над Державиным и Крыловым.

Тотчас по приезде Карамзин сделал визит Гавриилу Романовичу. Жуковский и Вяземский поехали с ним, чтобы быть представленными. Им однако не повезло: Державин был нездоров, хмур и чем-то видимо озабочен. На Жуковского не обратил он особенного внимания, на Вяземского и подавно: его сердце уже было занято младшим Пушкиным. Кроме того, арзамасские погребения и другие шалости были ему, несомненно, ведомы, и он их не одобрял. Общество, занятое одной полемикой, не могло ему нравиться. Когда речь зашла о полемике Дашкова против Шишкова, старик в свое время пожуривший и самого Дашкова, заметил многозначительно, что не следует раздувать огня. Расставаясь, просил он Карамзина в один из ближайших дней к обеду — кстати уж и со спутниками. Приглашение в такой форме прозвучало небрежно.

На ту беду Карамзин в назначенный день был отозван к императрице Марии Федоровне и прислал извинение. Пришлось Вяземскому с Жуковским отправляться вдвоем. Державин встретил их в таком виде, как представил его живописец Васильевский на портрете, недавно выставленном в Академии Художеств: в белом колпаке и в малиновом бархатном халате, опущенном соболями; белый шейный платок и палевая фуфайка виднелись из-под халата.

Обед прошел вяло. Других гостей не было, молодые люди робели, и храбрясь от смущения, слишком много говорили об Арзамасе. Державин, напротив, говорил мало, рассеянно и более, кажется, занят был беленькою собачкой, сидевшей у него за пазухой, чем гостями. После обеда он показал им рисунки к своим стихам и заметил, что такой оды, как «На Коварство», ему теперь уже не написать. Побыв недолго, поэты откланялись, не весьма очарованные приемом. Державин опять был не в духе.

У него были на то причины физические и нравственные. Чтобы их объяснить, надо вернуться месяца на полтора назад.

В типографии Плавильщикова печаталась пятая часть

сочинений Державина: стихи, написанные в последние годы. Державин знал, что она слабее частей предыдущих, и тем тревожился. Но особое беспокойство в нем возбуждали тома шестой и седьмой, которые должны были выйти будущей осенью. В них заключались сочинения драматические, а также мелочи: надписи, эпитафии, послания, мадригалы. Однажды Державин признался прямо, что в этих родах поэзии не силен. Теперь, когда выход книг уже был объявлен, Державин стал мучиться. Отказаться от замысла мешали упрямство и самолюбие, но он чувствовал, что искушает славу. То и дело он перелистывал рукописи, словно пытаясь угадать их грядущую судьбу. Ему хотелось бы прочитать их чужими глазами, чтобы узнать заранее, каково будет их действие на ценителей, на потомство. Обидно было ему являться перед нынешней критикою не в полном блеске.

Тут-то он и прослышал, что существует замечательный чтец, тот молодой человек, что бывал запросто у Шишкова, некогда посещал субботние чтения, а потом и Беседу: Сергей Тимофеевич Аксаков. Случайно об эту пору не было его в Петербурге, но он должен был прибыть вскоре. Державину показалось, что само небо ему посылает Аксакова, что в чужом, но хорошем чтении он, наконец, услышит стихи свои как бы со стороны и сумеет их оценить тоже как бы со стороны. Каждый день он наведывался, не приехал ли уже Аксаков, и ждал его с болезненным нетерпением, не предвещавшим ничего доброго. Все это были признаки старости и упадка. Державину шел семьдесят третий год.

Однажды под вечер, в середине декабря, Аксаков приехал и «совершенно безумел» от счастья, когда объявили ему, что Державин требует его тотчас. Но он решил отложить посещение до утра, потому что с мороза был красен, как рак, и голос у него сел. Поутру посланный от Державина уже явился за ним, и через час Аксаков входил, трепеща, в державинский кабинет. При его появлении хозяин вскочил с дивана, отбросил в сторону грифельную доску, на которой что-то писал, и протянул руку:

— Добро пожаловать, я давно вас жду...

Затем он быстро заговорил о стихах Аксакова, о молодых поэтах, о Пушкине. Ему хотелось, чтобы Аксаков начал читать сей же час, но он сдержался. Начал расспрашивать о Казани, об Оренбурге, называл Аксакова своим земляком, — все это с беспокойною торопливостью и не без желания польстить. Наконец, все-таки, попросил читать. Гость признался, что и сам того жаждет, только боится, «чтобы

счастье читать Державину его стихи нехватило дыхания».

— Так успокойтесь, — сказал Державин, схватив его за руку и сам волнуясь еще сильнее. Он принялся выдвигать ящики своего дивана, достал две толстых тетради с сафьянными корешками: в одной были трагедии, в другой мелкие стихотворения. Но Аксаков хотел начать с оды на смерть Мещерского, и Державину пришлось согласиться. Он слушал с большим вниманием, под конец обнял декламатора со слезами на глазах и сказал тихим, растроганным голосом:

— Я услышал себя в первый раз...

И вдруг принялся расхваливать громко, преувеличенно:

— Мастер, первый мастер! Куда Яковлеву! Вы его, ба-тушка, за пояс заткнете.

Хитреца промелькнула в глазах, и он опять потянулся к тетради с трагедиями. Упоенный успехом, Аксаков согласился тут же прочесть «Ирода и Мариамну». Державин послал за Дарьей Алексеевной, Парашей и Семеном Капнистом. Чтение началось. Аксаков «был в таком лирическом настроении, что рад бы читать Державину что угодно, хоть по-арабски. В какие бы то ни было звуки хотела вылиться вскипевшая душа! В такие минуты всякие стихи, всякие слова, пожалуй, неизвестного языка — будут полны чувства и произведут сочувствие». Он читал часа полтора. Его чтение было «мало сказать неверно, несообразно с характерами и словами действующих лиц, но даже нелепо и бессмысленно». Ему казалось, что оно происходит на каком-то неведомом языке, но тем не менее и на него, и на всех присутствующих оно произвело магическое действие. Державин «решительно был похож на человека, одержимого корчами... Он не мог сидеть, часто вскакивал, руки его делали беспрестанные жесты, голова, все тело были в движении. Восхищениям, восторженным похвалам, объятиям — не было конца», а счастью Аксакова не было меры. Державин ему написал тут же стихи, и он ушел, опьянев от восторга.

С того начались у них отношения странные, даже несколько фантастические. Сперва Аксаков являлся часто, потом стал ходить каждый день. «Хозяин готов был слушать с утра до вечера, а гость — читать и день и ночь». Ни трагедии, ни мелочи Аксакову не нравились; под всяческими предлогами он от них уклонялся, сворачивая на оды. Державин и оды выслушивал с удовольствием, но при первом удобном случае заставлял возвращаться именно к мелочам и трагедиям.

Аксаков был настоящий художник декламации. В «жаре и громе» его чтения (как он сам выражался), слабые трагедии и стихи приобретали те магические, непостижимые уму свойства, без которых нет великой поэзии, но которых как раз этим трагедиям и стихам недоставало. Державин слушал — и декламаторские достоинства чтения старался относить на счет литературных достоинств читаемого (хотя, конечно, отдавал должное и таланту Аксакова). Чем его более волновало чтение, тем он более утешался и успокаивался за судьбу неудачных своих творений. Он заставил Аксакова перечитать все трагедии, даже переводные, и все надписи, эпитафии, послания, басни и прочее. Если Аксаков, случалось, читал с меньшим жаром, — очарование пропадало, Державин сердился и говорил:

— У вас все оды в голове, вы способны только чувствовать лирические порывы, а драматическую поэзию не всегда и не всю понимаете.

С каждым днем эти чтения становились Державину все более необходимы. Он к ним привык, как к лекарству, утишающему боль. Он словно пьянел от них — и они его сладостно изнуряли. В начале чтений, на святках пятнадцатого года, дважды были у Державина гости. По обычаю танцевали. Державин не отходил от Колтовской — его нежное обхождение было даже замечено — и держался бодро. Но к середине января его уже нельзя было узнать. Он осунулся, ослабел и находился в непрестанном возбуждении.

Однажды Аксаков явился в обычный час, но швейцар попросил его, не заходя к Гавриилу Романовичу, пройти к Дарье Алексеевне. Дарья Алексеевна приняла его ласково, но сказала, что муж ее нездоров, что он провел дурно ночь, что у него «сильное раздражение нерв» и что доктор приписывает это тому волнению, с которым Гавриил Романович слушает чтение. Аксаков покраснел до ушей, принялся извиняться и вдруг объявил, что и сам давно болен и доктор требует, чтоб он недели две сидел дома. Вечером он зашел к Державину, чтобы с ним на время проститься. «Гавриил Романович чуть не заплакал... Он сам был очевидно нездоров. Глаза у него были мутные и пульс бился, как в лихорадочном жару; но сам он и слышать не хотел, что он болен, и жаловался, что с некоторых пор хотя уверить его, что он хворает, а он напротив давно не чувствовал себя так бодрым и крепким». Наконец, они с болюю разлучились.

В семейных кругах Державина и Аксакова вся эта история наделала много шуток и смеха. Говорили, что Аксаков

«зачитал старика и сам зачитался». Вскоре слухи пошли по городу — с обычными украшениями. Рассказывали, что «какой-то приезжий сумасшедший декламатор и сочинитель едва не уморил старика Державина чтением своих сочинений, и что наконец принуждены были чрез полицию вывести чтеца-сочинителя из дома Державина и отдать на излечение частному лекарю».

Для Державина начался двухнедельный карантин, которым он тяготился. Вот на эти-то дни, когда уже, впрочем, карантин подходил к концу, и пришлось посещения Вяземского с Жуковским. Потому-то и был так суров оказанный им прием.

Аксаков не лгал, говоря, что тоже нуждается в лечении. Но свое нездоровье объяснял он петербургским климатом — это была неправда. Он тоже был изнурен чтениями, если не так, как Державин, то лишь потому, что ему было двадцать четыре года. По-своему он переволновался не меньше Державина. В каждом художнике заключен мучитель. Терзать душу зрителя или читателя для него наслаждение. Аксаков был упоен *корчами* Державина, как Державин — его декламацией. Другого такого слушателя у него не было ни прежде, ни после. Недаром лишь только положенный срок миновал, он тотчас явился к Державину. Сперва оба делали вид, что вовсе уж не так жаждут терзать друг друга, но сами только и ждали малейшего к тому повода. Повод представился очень скоро, и чтения возобновились, — правда, уж не столь частые и бурные: Даша теперь следила за ними. Но по-прежнему странные друзья проводили долгие часы вместе. Аксаков читал, Державин слушал, привычно поглаживая головку собачки, торчащую у него из-за пазухи. Собачка была воспоминанием доброго дела: одна бедная женщина, которой он помогал, подарила ее Державину. Звали ее Горностайка, а уменьшительно Тайка. Державин с нею не разлучался. Иногда прерывала она декламацию звонким лаем, Державин ее унимал, нахлобучивал поплотнее колпак — и чтение возобновлялось.

Полемика между Беседой и Арзамасом была ему не по душе. Он находил в ней мало возвышенного и надеялся, что Карамзин с Шишковым придержат своих сторонников, если короче узнают друг друга. Едва оправившись от болезни, он позвал их обедать. Еще некоторые беседчики должны были присутствовать. Карамзин при всех обстоятельствах умел себя держать с любезностью и достоинством. Сидя подле хозяина (по другую руку которого сидел Шишков),

он не без лукавства поглядывал на своих *смешных неприятелей*, как сам выражался, и был, пожалуй, не прочь их *шаржировать*. Он их старался забавить грамматикой, синтаксисом, этимологией. Но они хмурились и дичились. Когда пили его здоровье, он сказал, что считает себя не врагом Шишкова, а его учеником, и выразил Александру Семеновичу благодарность за умение писать, которым ему обязан. Это было, конечно, преувеличение, но Карамзин действительно находил долю правды в шишковских нападках. Шишков был смущен, насупился и, наклонясь над тарелкой, несколько раз повторял сквозь зубы: «Я ничего не сделал. Я ничего не сделал». Карамзину показался он честен, даже учтив, но туп. Как бы то ни было, Державин был очень доволен, что дело как будто идет на лад. Желая еще подвинуть его вперед, заметил он, что пора Николаю Михайловичу стать членом Российской Академии. Он сказал это в простоте сердца, но вышло весьма не кстати. В двенадцатом году, при отставке Сперанского, Шишков перебил у Карамзина место государственного секретаря; в тринадцатом, по смерти Нартова, карамзинисты считали, что за отказом Державина Карамзину подобало бы стать президентом Российской Академии, — но опять Шишков, а не Карамзин был назначен. Теперь Державин предлагал Карамзину стать простым членом этой *шишковской* Академии, как звали ее в Арзамасе. Карамзин нашелся: ответил, что до конца своей жизни не назовется членом никакой академии, — но все же от державинского обеда остался у него неприятный осадок. Вяземскому он жаловался, что ничего есть не мог — горчица и та была невозможна. Впрочем, и в самом деле он постоянно заботился о своем здоровье, в еде и питии был крайне воздержан, вареный рис и печеные яблоки были его любимые кушанья, стол же Державина был тяжелый, старозаветный.

Карамзин понимал, что Державин действовал из побуждений чистейших, и не обиделся. Но месяц спустя отомстил жестоко, хоть неумышленно. Может быть, именно для того, чтобы показать, будто не почувствовал на обеде никакой неловкости, он сам вызвался прочитать в том же обществе отрывок из своей Истории. Сам же он и назначил быть чтению 10 марта, в семь часов вечера. Державин созвал гостей, кабинет его наполнился приглашенными. «Бьет семь часов — Карамзина нет; в Державине сейчас обнаружилось нетерпение... Проходит полчаса, и нетерпение его перешло в беспокойство и волнение. Несколько раз хотел он послать

к Карамзину и спросить: будет он или нет, но Дарья Алексеевна его удерживала. Наконец, бьет восемь часов, и Державин в досаде садится писать записку... Он перемарывал слова, вычеркивал целые строки, рвал бумагу и начинал писать снова. В это самое время принесли письмо от Карамзина. Он извинялся, что его задержали, писал, что он все надеялся как-нибудь приехать и потому промешкал, и что просит Гаврилу Романовича назначить день и час для чтения, когда ему угодно, хоть послезавтра». Записка была исполнена глубокого сожаления и деликатности. Но Державин остолбенел от полученного *афронта*. Потом стал он шагать по комнате и ни с кем не говорил ни слова, но таково было выражение лица его, что «все гости в несколько минут нашлись вынужденными разъехаться».

* * *

Високосные годы — несчастные, незадачливые. Видно, вышел таков и шестнадцатый. От всей его весны, с недомоганиями, с беспокойными аксаковскими чтениями, с обидой на Карамзина, с тревогой за пятый том вышла одна докука. Петербург сделался в тягость, хотелось скорей на Званку. Державин сердился, ворчал и с самого понедельника Фоминой недели принялся за укладку рукописей и книг: собирався в путь. Наконец, они тронулись. Ехали, не считая слуг, шестером: двое Державиных, Параша Львова, Александра Николаевна Дьякова (тоже племянница Дарьи Алексеевны), неизменный Аврамов и доктор Максим Фомич. Тайка была седьмая.

30 мая, в 5 часов утра, увидели милый дом на горе, вылезли из кареты и по лестнице поднялись в сад. Чудное было утро. Волхов синел внизу, пели птицы. Сирень под окнами кабинета всех поразила пышностью. Долго ей любовались, потом пошли в комнаты, а вернувшись — ахнули: целая туча жуков, откуда-то налетев, уничтожила весь пышный цвет; листья поблекли и приняли красноватый оттенок; сирень стояла, как опаленная. Державин сказал:

— Видно сглазили!

Позавтракали. Державин с Дарьей Алексеевной пошли отдохнуть, слуги еще убивали со стола, — внезапно поднялся вихрь, Волхов вздулся и почернел, началась гроза, хлынул ливень. В пять часов управляющий пришел доложить, что у Верочкина вяза молния обожгла трех женщин, а четвертую убила. Ее внесли в дом, она вся была черная.

— Как нынешний год наш приезд несчастлив! — сказала Дарья Алексеевна.

Но уже небо расчистилось, солнце глянуло, ступени крыльца обсохли; Державин, севши на них, любовался, как парусные суда идут мимо, твердил:

— Как здесь хорошо! Не налюбуюсь на твою Званку, Дарья Алексеевна! Прекрасна, прекрасна!

И припевал вполголоса свой любимый марш Безбородки.

Жизнь званская потекла привычным порядком, с утренними прогулками по саду, с отчетами управляющего, с раздачею кренделей ребятам. Порой приезжали соседи. Порой сами катались по Волхову. Флотилия державинская теперь состояла из старого бота и маленькой лодочки; ходили они всегда неразлучно; бот Державин назвал «Гавриилом», а лодочку «Тайкой».

Только для самых мелких шрифтов Державин употреблял лупу. Однако, любил, чтобы ему читали вслух, особенно когда просто хотел убить время. Может быть, думал при этом совсем о другом — свою, особую думу. Каждый день час поутру и часа два после обеда Параша читала вслух дяде. Ей шел двадцать третий год, она стала взрослою барышней; была хороша собой, тиха, рассудительна; сестры повыходили замуж — она с замужеством не спешила; лишившись отца десяти лет, а матери четырнадцати, к Державиным была глубоко привязана и стала во многом походить на Дарью Алексеевну, только сердцем была помягче. Во время чтения Державин, сунув Тайку за пазуху, садился на красный диван пред «Рекой времен». Читали газеты, журналы, иногда — «Историю» Роллена в переводе Тредьяковского; слушая это чтение, Державин посмеивался и пожимал плечами: подумать — сколько воды утекло! Когда-то знавал он Василья Кирилыча, а нынче вот — Карамзин что делает!.. После обеда для разнообразия принимались за «Бахариану» Хераскова — довольно нелепую смесь всякой всячины из русских и не русских сказок, с привидениями, превращениями, похищениями. «Экой бред! — говорил Державин, — однако забавно...» Впрочем, больше одной песни в день не могли осилить. Когда вовсе другого чтения не было — делать нечего, выручал «Всемирный путешествователь» аббата Де ла Порта, благо было в нем двадцать семь томов.

Иногда вместо чтения Державин просто раскладывал свой пасьянс — «блокаду» или «пирамиду». Иногда, расхаживая по комнате, объяснял тексты священного писа-

ния, сличал мнения толкователей. Тогда сияли глаза его, и цвет лица оживлялся; говорил он красноречиво и ясно. Также любил вспоминать время Екатерины и то, как был ей представлен после «Фелицы», как она на него взглянула:

— Я век этого взгляда не забуду; я был молод; ее появление, величие ее окружавшее, этот царственный взгляд, все так меня поразило, что она мне показалась существом сверхъестественным. Но теперь, когда все поразмыслю, должен сознаться, что она... мастерски играла свою ролю * и знала, как людям пыль в глаза бросать.

Вздумал он продолжать «Объяснения» к своим стихам, которые некогда диктовал Лизе. Велел читать вслух пятый том, но скоро соскучился и сказал:

— Эта часть как-то скукой пахнет и напоминает то время, в которое она писана была, или, попросту сказать, оттого что я стар стал.

Часто, прельстясь хорошей погодой, они прерывали занятия. Державин садился на ступенях крыльца. Параша приносила арфу, и они с Александрой Николаевной пели дуэтом его стихи: «Вошел в шалаш мой торопливо». Песню эту он написал в ту самую пору, когда умерла Пленнира и он сватался к Даше. Далеко с высоты холма неслись звуки арфы и пения; славное званское эхо подхватывало конец куплета:

Тоскует сердце, дай мне руку;
Почувствуй пламень сей мечты.
Виновна ль я? Прерви мне муку:
Любезен, мил мне ты!

Однажды, гуляя по саду с Парашей, встретили у беседки Дарью Алексеевну. Она указала Державину, как все посаженные при них деревья хорошо принялись, так что даже и баню совсем закрыли. — Все это хорошо, прекрасно, — отвечал он, — но все это меня что-то не веселит.

Когда же Дарья Алексеевна отошла, он прибавил:

— Я стар стал и кое-как остальные деньки дотаскиваю.

* * *

Ночью на 5 июля случились у него легкие спазмы в груди, после которых сделался жар и пульс участился. День прошел как обычно. Только уже под вечер, раскладывая пасьянс, Державин вдруг изменился в лице, лег на спину и стал тереть себе грудь. От боли он громко стонал, но затем успокоился и уснул. Вечером, за бостоном, стали его

уговаривать ехать в Петербург, к известному доктору Роману Ивановичу Симпсону. Но он наотрез объявил, что ни в коем случае не поедет, а пошлет только подробное описание болезни с запросом, как поступать и что делать.

Он, однако ж, не написал и письма, потому что два дня чувствовал себя отменно, гулял, работал в кабинете, слушал Парашино чтение, жаловался, что понапрасну его морят голодом.

8 числа к ужину заказал он себе уху, ждал ее с нетерпением и съел две тарелки. Немного спустя ему сделалось дурно. Побежали за Максимом Фомичем. Державин прошел в кабинет, разделся и лег на диван. Призвав Аврамова, стал он ему диктовать письмо в Петербург, к молодому Капнисту.

«Пожалуй уведомя, братец Семен Васильевич, Романа Ивановича, что сегодня, то есть в субботу, часу по утру в седьмом, я принимал обыкновенное мое рвотное, которое подействовало очень хорошо... я думал, что болезнь моя совсем прошла; но после полудни часу в 6-м мне захотелось сильно есть. Я поел ухи... мне было очень хорошо; но через четверть часа опять поднялись пары... Когда поднимаются сии пары, то вступает жар в виски, сильно жилы бьются и я некоторое время как опьяневаю; но спасибо, все это бывает весьма коротко: я получаю прежнее положение, — кажется, здоров, но употреблять не могу пищу, и довольно строгий содержи диет. Боюсь, чтоб как не усилилась эта болезнь, хотя не очень большая, но меня, а особливо домашних много беспокоящая. А теперь почувствовал лихорадку, то есть маленький озноб, и сделались сини ногти. Расскажи ему все подробно и попроси средства, чтобы избавиться. Впрочем мы слава Богу, находимся по-прежнему в хорошем состоянии».

Далее собственною рукою приписал он: «Кланяйся всем. Покорнейший ваш Державин». И еще велел сделать постскрипtum: «Пожалуй доставь немедленно приложенную записочку Петру Ивановичу Соколову».

После диктовки начались у него сильные боли. Он стонал и по временам приговаривал:

— Ох, тяжело! ох, тошно!.. Господи, помоги мне грешному... Не знал, что будет так тяжело; так надо! Господи, помилуй меня, прости меня!.. Так надо, так надо!

Так он долго стонал и жаловался, порой с укориною прибавляя еще одно слово, которое относилось, должно быть, к съеденной ухе:

— Не послушался!

Однако, и эта боль миновалась, он перестал стонать, приободрился.

— Вы отужинали? — спросил он, — больно мне, что всех вас так взбудоражил; без меня давно бы спали.

Тут опять поднялся разговор о поездке в Петербург. Державин противился, но потом уступил и часов в одиннадцать приказал Аврамову сделать второй постскриптум:

«После сего часу в десятом вечера я почувствовал настоящую лихорадку, а в постелю ложившись напьюсь бузины; завтра же тетенька думает, коль скоро лучше того не будет, то ехать в Петербург».

В самом деле, написал он бузины и перешел из кабинета в спальню. Там вскоре страдания возобновились, и через несколько времени Аврамов уже продолжал письмо от своего имени:

«В постели после бузины сделался жар и бред. Наконец, Дарья Алексеевна приказала вам написать, что они решились завтрашний день ехать в Петербург; если же Бог даст дяденьке облегчение, и они во вторник в Петербург не будут, то тетенька вас просит прислать нарочного сюда на Званку с подробным наставлением Романа Ивановича Симпсона. Ваш покорнейший слуга *Евстафий Аврамов*».

Но странному письму и на этом не суждено было кончиться. Державин лежал без памяти, Дарья Алексеевна велела сделать еще приписку:

«P. S. Тетенька еще приказала вам написать, что дяденьке нет лучше, и просит вас, чтобы вы, или кто-нибудь из братьев ваших, по получении сего письма, поспешили приехать на Званку, как можно скорее».

В исходе второго часа, когда Дарья Алексеевна удалась на время и в спальне остались только Параша с доктором (который совсем растерялся и не знал, что делать), Державин вдруг захрипел, перестал стонать, и все смолкло. Параша долго прислушивалась, не издаст ли он еще вздоха. Действительно, вскоре он приподнялся и глубоко протяжно вздохнул. Опять наступила тишина, и Параша спросила:

— Дышит ли он еще?

— Посмотрите с а м и, — ответил Максим Фомич и протянул ей руку Державина. Пульса не было. Параша приблизила губы к его губам и уже не почувствовала дыхания.

* * *

В три часа утра, когда солнце уже вставало, и пробуждались птицы, и легкий туман еще покрывал поля, и Волхов,

казалось, остановился в своем течении, Дарья Алексеевна и Параша вошли в пустой кабинет Державина. Там, в дневном свете горела еще свеча, его рукою зажженная, лежало платье, скинутое им с вечера. Молитвенник был раскрыт на той странице, где остановилось его чтение. Параша взяла аспидную доску — на ней было начало оды:

Река времен в своем стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы!

Только это и было написано. Восемь всего стихов, но все в них величественно и прочно, как в славнейших одах Державина, и в то же время так просто, как он не писал еще никогда.

Жизнь со всеми ее утехами он всегда любил и того не стыдился. Хотел «устроить ее ко благу» — личному и общественному, ради чего и работал, не покладая рук. Но еще в ту пору, когда, при Читалагайской горе, рождалась его поэзия, он был пронзен мыслию о непрочности жизни: «О Мовтерпий, дражайший Мовтерпий, как мала есть наша жизнь!.. Лишь только ты родился, как уже рок для того влечет тебя к разрушающей ноши... Нет на свете ничего надежного, даже и самые наивеличайшие царства суть игральные непостоянства... Терзаемся беспрестанно хотением и теряемся в ничтожестве! Сей есть предел нашей жизни». Его эпоха на каждом шагу давала поводы к размышлениям такого рода. От смерти Мещерского до падения Наполеона он не переставал твердить о минутности дел человеческих. Не было, следовательно, ничего нового в первом четверостишии его предсмертных стихов. Но было кое-что новое во втором.

Он любил историю и поэзию, потому что в них видел победу над временем. В поэзии сам был отчасти историком. На будущего историка своей жизни взирал с доверием:

Не зря на колесо веселых, мрачных дней,
На возвышение, на понижение счастья,
Единой правдою меня в умах людей
Чрез Клии воскресишь согласи.

В бессмертие поэтическое верил он еще тверже и многократно высказывал эту веру, подчас даже с некоторым упреком, не без задора:

Врагов моих червь кости сглохнет,

А я пиит — и не умру...

В могиле буду я, но буду говорить...

Стихи о «Реке времен» писал он 6 июля и, вероятно, тогда не думал, что только два дня отделяют его от смерти. Но он знал, что «дотаскивает последние деньки». Время для него кончалось. Он задумался о том, что будет, когда оно вообще кончится, и Ангел, поклявшийся, что *времени больше не будет* *, вырвет трубу из Клииных рук, и сам воспевает, и лиричного голоса Мельпомены не станет слышно. История и поэзия способны побеждать время — но лишь во времени. Жерлом вечности пожрутся и они сами. Тут отказывался Державин от мечты, утешавшей его всю жизнь. Отсюда и обнаженная простота его предсмертной строфы: все прикрасы как бы совлечены с нее вместе с надеждою.

Стихи были только начаты, но их продолжение угадать нетрудно. Отказываясь от исторического бессмертия, Державин должен был обратиться к мысли о личном бессмертии — в Боге. Он начал последнюю из своих религиозных од, но ее уже не закончил.

Бог было первое слово, произнесенное им в младенчестве — еще без мысли, без разума. О Боге была его последняя мысль, для которой он уже не успел найти слов.

10 июля приехали из Петербурга племянники: Семен Капнист с Александром Николаевичем Львовым. Они-то и взяли на себя все заботы о похоронах. Замечательно, что неизменная твердость Дарьи Алексеевны на сей раз ее покинула. Кажется, она даже не имела мужества взглянуть на покойника. Во всяком случае, она не присутствовала ни на панихидах, ни при выносе. От потрясения она слегла, ее перевели на второй этаж. Племянницы находились при ней почти безотлучно.

Решено было хоронить Державина в Хутыном монастыре, который так ему нравился, куда он ездил к Евгению. 11 числа вечером привезли из Новгорода все необходимое. Тело было положено в гроб и тогда же отслужена последняя панихида.

Параша хотела проводить печальное шествие хоть до лодки, которая повезет тело в Хутынь, но Дарья Алексеевна взяла с нее обещание остаться в комнатах. Была уже полночь, когда Параша пришла с панихиды. Вдруг внизу раз-

далось похоронное пение. Гроб только что понесли, и это пение вполголоса походило скорее на протяжные стоны, которых может быть, не было бы и слышно, если бы не тишина, наступившая во всем доме. Параша бросилась запира́ть двери, чтоб Дарья Алексеевна ничего не услышала. Потом, подойдя к окну, она увидала внизу толпу людей с фонарями. Неся гроб на головах, они стали спускаться с горы. Ясно светились широкие серебряные галуны на гробе, который все удалялся и наконец донесен был до лодки. В черном Волхове отражались звезды июльского неба.

На носу поместились певчие, на корме пред налоем псаломщик читал молитвы. Малиновый гроб был поставлен на катафалке, воздвигнутом посередине лодки; черный балдахин колыхался над катафалком. По углам стояли четыре тяжелых свечи в церковных подсвечниках. Лодка шла бечевою, за ней следовала другая с провожатыми. Ночь была так тиха, что свечи горели во все время плавания.

<ПАВЕЛ I>

ПРЕДИСЛОВИЕ

Те исторические события, которые по каким-то причинам долгое время не были в должной мере раскрыты и всесторонне освещены, имеют склонность мало-помалу превращаться в легенду. Суеверия, связанные с такой легендой, едва ли не навсегда укореняются в сознании общества. Истина остается непопулярной даже тогда, когда она уже стала достоянием ученых специалистов. Широкие круги публики довольствуются легендой: они с нею сживаются и неохотно меняют однажды сложившиеся воззрения.

Личность императора Павла I давно сделалась легендарной именно в этом смысле. Слухи о его «странностях» и «жестокостях», повлекших за собой дворцовый переворот и убийство самого государя, привели к тому, что огромное большинство русского общества до сих пор считает его сумасшедшим тираном и неумолимым деспотом, «despote implacable», как однажды истерически воскликнул о нем Суворов *.

У всех еще в памяти то время, когда о жизни императора Павла и об обстоятельствах, сопровождавших его смерть, нельзя было говорить с надлежащею полнотою и ясностью. Правительство наше целое столетие ревниво оберегало память императора Александра Павловича в ущерб памяти его отца. Отрывочные и темные слухи, проникавшие в общество, принимались на веру без всякой проверки и укоренялись тем глубже, чем меньше можно было о них писать.

Все, что мы знаем о личности Павла I, основано на рассказах современников. К сожалению, интеллигенция русская запомнила из этих противоречивых свидетельств только то, что клонилось ко омрачению памяти покойного государя. Однако нужно сознаться, что особой вины ее в этом нет: большинство рассказов исходило из уст людей, стремившихся или вполне оправдать убийство императора, или хотя бы с ним примириться.

Павел пал жертвою недовольных дворян и придворных. В революции 11 марта 1801 г. и в ликованиях по поводу ее удачного совершения принимала участие вся дворянская Россия. Заговорщики действовали с молчаливого согласия того, что являлось тогда общественным мнением. Вся Россия знала о заговоре, но никто не захотел спасти Павла. Что же удивительного, если среди его современников и их ближайших потомков не нашлось людей, которые бы смело и решительно осудили это убийство? Правда, мы слышали много лицемерных негодований по поводу свершившегося кровопролития. Осуждали убийство вообще, с точки зрения христианской. Осуждали убийство священной особы монарха. Но о том, что именно Павел пал жертвой убийства, — не жалел никто. Его смерть почиталась прискорбной, но заслуженной карой.

И вот, несмотря на это, мы решаемся утверждать, что до тех пор, пока позорное клеймо тирана и изверга не будет снято с памяти императора Павла, все слова о нелицеприятном суде истории будут звучать кощунственною насмешкой. Он осужден своими убийцами. Осуждая его, они оправдывали себя.

Историческая наука XIX столетия согласилась с судом убийц. В борьбе личности с обществом (особенно когда этой личностью являлся самодержавный монарх) она считала для себя обязательным неизменно брать сторону общества. Всякая оппозиция могла безошибочно рассчитывать на сочувствие науки, так как она являлась носительницей «прогресса», этого кумира минувшего века.

Правда, стараясь быть беспристрастными, ученые-исследователи павловской эпохи особенно подчеркивали психическую ненормальность Павла Петровича и в условиях его личной жизни видели некоторые обстоятельства, как бы смягчающие его личную «вину». Таково заключение Брикнера, Шильдера, Шимана, Шумигорского *. Труды их в высокой степени добросовестны. Но взгляды, свойственные их времени, не позволили им признать, что кроме исторической правоты существует большая правота — моральная.

Допустим даже на миг, что в убийстве Павла общество было исторически право: Павел мешал ему жить так, как оно хотело. Все же высокая моральная правота была на стороне государя, и это вовсе не потому, что он был жертвой, а общество палачом: убийство было последним и сравнительно наиболее благородным приемом борьбы, разыгравшейся между подданными и их государем. Мы также не ста-

нем оправдывать убитого государя его сумасшествием, потому что в таком оправдании он не нуждается, да и не имеет оснований на него рассчитывать.

I

Самые прекрасные, самые благородные, самые героические поступки не имеют никакой цены, если они совершены сумасшедшим, если тем, кто совершил их, не руководили свободная воля и ясное сознание окружающего. С другой стороны, никакие преступления не могут быть вменены в вину сумасшедшему. Он не может быть ни награжден, ни наказан, его нельзя счесть ни преступником, ни героем. Он — ничто, нуль. История считается лишь с последствиями его безумных действий; с ним самим ей делать нечего. Она не предает его память забвению лишь потому, что ей, как лермонтовскому Демону, «забвенья не дал Бог» *.

Был ли Павел таким сумасшедшим? Должны ли мы раз навсегда отказаться от всякого суда над ним? Правы ли те, кто считает, что в жилах его текла кровь того голштинского дома, который «в течение одного столетия произвел трех сумасшедших» **, и в том числе императора Петра III, отца императора Павла? Другими словами: верно ли широко распространенное убеждение, что Павел страдал наследственным помешательством? Но разрешение этого вопроса зависит от разрешения загадки, имевшей трагическое влияние на всю жизнь Павла I: был ли он в действительности сыном того, кого принято считать его отцом? Если мы даже признаем, что сумасшествие неизбежно передается от отца к сыну, то все-таки не сможем на основании сумасшествия Петра III признать сумасшедшим и Павла. Слишком много данных говорит за то, что он вовсе и не был сыном законного своего отца.

Когда императрица Елизавета Петровна решила повенчать великого князя П[етра] Ф[едоровича], племянника своего и наследника престола, с принцессой Софией-Фредерикой-Августой Ангальт-Цербстской, впоследствии императрицей Екат[ериной] II, врачи, принимая во внимание физическую слабость великого князя, советовали отложить свадьбу¹. Однако Елизавета не последовала этим советам,

¹ Записки Штелина об императоре Петре III. «Чтения Московского общества истории и древностей», 1866, <ч. IV, с. 88—89>.

и в 1745 году свадьба была отпразднована. Между тем врачи оказались правы. Некая г-жа Крузе «захотела на следующий день (после свадьбы) расспросить новобрачных, но ее надежды оказались тщетными; и в этом положении дело оставалось в течение девяти лет без малейшего изменения»¹.

Бездетность этого брака сердила и волновала Елизавету. Недовольная и огорченная поведением своего племянника, выказывавшего все признаки если не сумасшествия, то во всяком случае крайнего слабоумия, императрица была права, мечтая о передаче престола не непосредственно Петру Федоровичу, а будущему его сыну. Неограниченная власть и отсутствие точного закона о престолонаследии давали ей возможность со временем отстранить не оправдавшего ее надежд племянника и объявить наследником ребенка, который бы должен родиться от его брака.

Для надзора за великокняжеской четой была к ней представлена чета неких Чоглоковых. Ни один шаг великого князя и великой княгини не мог укрыться от этих Аргусов, как называла их сама Екатерина. Особенно старалась г-жа Чоглокова, женщина, куда более умная и пронырливая, чем ее муж. К 1752 году императрица Елизавета начала уже терять терпение, ожидая когда же наконец Екатерина Алексеевна подарит государству наследника. Она стала упрекать Чоглокову, но та отвечала, что «дети не могут явиться без причин и что хотя Их Императорские Величества живут в браке с 1745 года, а между тем причин не было»². С этого времени Чоглокова стала весьма деятельно заботиться о продолжении царского рода. С помощью Брессана, камерлакея Петра Федоровича, она отыскала в Ораниенбауме хорошенькую вдову г-жу Грот, согласившуюся «испытать» великого князя³. Неизвестно, чем кончилось «испытание», но надо предполагать, что на сей раз Петр Федорович его не выдержал, так как вскоре последовали события, о которых сама Екатерина впоследствии рассказала следующее:

«Чоглокова, вечно занятая своими излюбленными заботами о престолонаследии, однажды отвела меня в сторону и сказала: «Послушайте, я должна поговорить с Вами очень серьезно». Я, понятно вся обратилась в слух, она с обычной своей манерой начала длинные разглагольствования о

¹ Записки Екатерины II, <с. 72>.

² Там же, <с. 332>.

³ Там же, <с. 334>.

привязанности своей к мужу, о своем благоразумии, о том, что нужно и чего не нужно для взаимной любви и для облегчения или отягощения уз супруга или супруги, а затем свернула на заявление, что бывают иногда положения, высшего порядка, которые вынуждают делать исключения из правила. Я дала ей высказать все, что она хотела, не прерывая, вовсе не ведая, куда она клонит, несколько изумленная и не зная, была ли это ловушка, которую она мне ставит, или она говорит искренно. Пока я внутренне так размышляла, она мне сказала: „Вы увидите, как я люблю свое отечество и насколько я искренна, я не сомневаюсь, чтобы вы кому-нибудь не отдали предпочтения: предоставляю Вам выбор между Сергеем Салтыковым и Львом Нарышкиным. Если не ошибаюсь, последний?" На это я воскликнула: „Нет, нет, отнюдь нет." Тогда она мне сказала: „Ну, если не он, так наверно другой". На это я не возразила ни слова, и она продолжала: „Вы увидите, что помехой вам буду не я"»¹.

Вряд ли заботливая Чоглокова действовала за свой страх. С большой вероятностью можно предположить, что между ею и императрицей состоялось совещание, на котором решено было не замечать любовного увлечения молодой великой княгини и об этом решении довести до ее сведения. Таким образом, у Екатерины были развязаны руки. Теперь она уже могла почти без всякого риска отдаться чувству, постепенно завладевавшему ею. Этим чувством была любовь к молодому, изящному и решительному придворному Сергею Салтыкову. Ободренная намеками Чоглоковой, а может быть и самой императрицей², Екатерина окончательно перестала противиться его домогательствам. Осенью 1753 г. роман перешел в связь, а через год после того, 20 сентября 1754 г. Екатерина родила ребенка, нареченного Павлом. Это и был будущий император.

Ничто не скрывается от придворных сплетников. Связь великой княгини была известна всем. Вымышленные и действительные подробности романа переходили из уст в уста. Когда же выяснилось, что Екатерина, наконец, беременна, явилась необходимость, если не положить предел всяким слухам (что было уже невозможно), то, по крайней мере, заставить в них сомневаться. Это было одинаково и в ин-

¹ Там же, <с. 338>.

² В иностранной литературе существуют на это указания. Напр.: Duchesse d'Abrantes, Catherine II, Gaillardet, Mémoires de chevalier d'Eon *.

тересах любовников, и в интересах престолонаследия, о котором так заботилась императрица и ее приближенные. Надо было хоть чем-нибудь зажать рты болтунам и одним слухам противопоставить другие, на основании которых явилась бы возможность отцом будущего ребенка считать великого князя.

Салтыков, каким-то образом сумевший втереться в дружбу с Петром Федоровичем, пока еще не было поздно пригласил к нему врачей, которым предстояла задача излечить великого князя от его физического недостатка и сделать его настоящим мужем Екатерины.

Впоследствии Петр Федорович излечился, но в описываемое время старания Салтыкова, очевидно, не увенчались успехом, так как даже три года спустя, во время второй беременности Екатерины, Петр Федорович говорил: «Бог знает, откуда берется беременность у моей жены»¹.

Салтыков не только считал себя отцом ребенка, но и позволял себе впоследствии намекать на это при иностранных дворах. После рождения Павла сочли удобным удалить его из Петербурга. Понятия о приличии, господствовавшие в XVIII веке, позволили возложить на него миссию несколько странную: он был отправлен в Швецию и Саксонию² с известием о рождении Павла. Об этом посольстве Екатерина пишет: «Я узнала, что поведение Сергея Салтыкова было очень нескромно и в Швеции, и в Дрездене, и в той и в другой стране он, кроме того, ухаживал за всеми женщинами, которых встречал»³. Из этих слов видно, что нескромность поведения Салтыкова заключалась не только в ухаживании за женщинами, а и в чем-то другом. Очевидно, речь идет о нескромности его разговоров, а весь контекст фразы позволяет с огромным вероятием предполагать, что Салтыков позволял себе откровенничать о происхождении Павла.

В русской исторической науке существует рискованная традиция в доказательство происхождения Павла Петровича от Петра III ссылаться на их физическое и нравственное сходства. Сейчас мы увидим, что основания эти шатки. Прежде всего — о сходстве физическом.

Дошедшие до нас портреты вовсе не позволяют заметить особого сходства Павла Петровича с Петром III, но много говорят о его сходстве с принцем Ангальт-Цербстским,

¹ Моран. Павел I до восшествия на престол, <с. 14>.

² А не Голландию, как говорит Моран.

³ Записки Екатерины II, <с. 377>.

его дедом *со стороны матери*, от которого унаследовал он характерные черты своего лица: некоторую одутловатость, выпуклый лоб и вздернутый нос¹.

Что касается характера Павла Петровича, склада его ума, идей, которые им господствовали, то здесь он имеет лишь самое внешнее, самое поверхностное сходство с Петром III. Подобно последнему, Павел был раздражителен, резок, вспыльчив, настроения его часто сменялись одно другим. Он, как и Петр III, чрезвычайно боялся, как бы не упрекнули его в недостатке самостоятельности. Но и другой сын Екатерины II, Алексей Бобринский, происхождение которого от Григория Орлова никогда никем не оспаривалось, обладал теми же свойствами, хотя условия его жизни давали ему на это гораздо менее права, чем Павлу.

Очевидно, для того чтобы быть раздражительным, резким и вспыльчивым, сыну Екатерины II вовсе не было необходимости быть сыном Петра III. Мы не станем доискиваться, от кого унаследовал он эти качества; может быть, они создались в нем помимо всякой наследственности. Для нас пока важно лишь то, что они несколько не подтверждают его происхождения от Петра III. Более того, впоследствии мы увидим, как велико было их внутреннее различие, как глубоко отличался Павел Петрович от глупого, грубого и ничтожного человека, которого называли его отцом, <страница утрачена. — *Ред.*> * к этому мальчику!» — восклицает Моран!²

Оставим, однако, Бобринского и возвратимся к Павлу. Мы готовы признать, что в вопросе о его происхождении много спорного и неясного. В конце концов ни те, кто считает его сыном Петра III, ни противники этого взгляда (к ним пишущий эти строки причисляет и себя) не располагают неопровержимыми доказательствами. Разрешение загадки Екатерина унесла с собою в могилу, а, может быть, и сама не знала его. Важно лишь то, что крайне основательные сомнения в законном происхождении Павла никоим обра-

¹ См. о том же у Морана. Павел I до восшествия на престол.

² Там же. Автор на основании архивных материалов французского министерства иностранных дел подтверждает давнишний слух о том, что от связи императрицы Екатерины с Григорием Орловым произошли, кроме Бобринского, еще и две дочери, девицы Алексеевы. Ими Екатерина не интересовалась вовсе. Слух этот не вполне достоверен, хотя указания на него есть и в русской печати. Если бы оказалось когда-нибудь, что он правдив, то это лишний раз подтвердило бы наше мнение: в Екатерине не было настоящих материнских чувств ни к кому из ее детей, от кого бы они ни происходили.

зом не позволяют считать, что его психическая ненормальность подтверждается ненормальностью Петра III. История раз навсегда должна перестать ссылаться на его наследственное безумие.

Следует, однако, признать, что сделав это, историческая наука должна будет испытать целый ряд затруднений, не существовавших для нее раньше. В самом деле, если Павел не унаследовал сумасшествия от своего отца, то нужно решить вопрос о том, как он сошел с ума, т[о] е[сть], когда начали в нем проявляться первые признаки безумия и в чем они выражались.

Для этого будет необходимо подвергнуть критике заявления современников Павла о его сумасшествии. Такая критика заставит историю сперва усомниться в этом сумасшествии, а потом и совсем от него отказаться. Но тут возникает вопрос большой исторической важности и еще большей трудности: каким образом возникла легенда о сумасшествии Павла, чем питалась она для своего развития и кому и зачем понадобилось ее сложить?

Такова в общих чертах задача, которую должна будет поставить себе история, если она, как и подобает ее научному достоинству, перестанет ссылаться на мифическую наследственность императора Павла I. В этом кратком труде мы не беремся окончательно разрешить эту задачу, а лишь попытаемся предложить вниманию читателя несколько догадок, которые кажутся нам верными.

II

Павел, как уже сказано, родился 20 сентября 1754 года, в царствование императрицы Елизаветы Петровны. Надо думать, императрица не обольщала себя иллюзиями о его законном происхождении. Нечего и говорить о слухах, которые должны были доходить до нее, чтобы не считать ребенка сыном Петра Федоровича, императрице достаточно было вспомнить о своих собственных, произведенных при помощи г-жи Чоглоковой хлопотах. Однако династические интересы стояли выше интересов истины: официально ребенок считался сыном Петра Федоровича, наследника престола; императрица со дня рождения Павла хотела в нем видеть прямого потомка Петра Великого — и ничего больше. Рождение этого ребенка позволяло ей осуществить свое желание об устранении от престола Петра Федоровича и его

жены, которыми она была недовольна, хоть и по разным причинам, но в одинаковой степени. Она замышляла передать корону непосредственно Павлу Петровичу, «правнуку» Петра I. Некоторые политические обстоятельства, а главное — нерешительность, составлявшая особенно в последние годы одну из отличительных черт ее характера, заставляли ее медлить с окончательным решением вопроса. Однако она не оставила ребенка на руках родителей и тотчас по рождении взяла его к себе. Не только Петр Федорович, но и Екатерина были от него решительно отстранены.

Именно поре раннего своего детства и старозаветным попечениям бабушки обязан был Павел слабостью своего здоровья. Лежа под целой коллекцией одеял, шерстяных, ватных и меховых, он был постоянно в испарине. Нянюшки и мамушки пуше всего боялись простора, света и свежего воздуха. Павел жил в полутемных, тесных и душных комнатах, которые не проветривались из боязни застудить ребенка. Болезненность Павла и его склонность к простуде Екатерина приписывала впоследствии именно этой системе воспитания и ничему больше. В эти же ранние годы детства теми же мамками обучен был Павел смутным и темным страхам, не покидавшим его уже всю жизнь. Рассказни баб обострили его впечатлительность и внушили неодолимый ужас перед всем окружающим.

Между тем Елизавета Петровна никак не могла решить принять решительные меры против своего племянника. То собиралась она оставить престол малолетнему Павлу, то вспоминала его же заключенного в крепость Иоанна Антоновича и склонна была сделать завещание в его пользу. Словом, она «заливалась слезами, жаловалась, что Бог дал ей такого наследника»¹, как Петр Федорович, но ничего не предпринимала. Так продолжалось до 25 декабря 1761 года, когда императрица скончалась и престол беспрепятственно перешел к Петру Федоровичу.

Семилетний Павел Петрович не был сделан императором. Но известные всем окружающим намерения Елизаветы Петровны создали над головой ребенка какой-то призрак короны, который впоследствии оказался для него источником бесконечных страданий. В глазах многих людей Павел, еще не умея того понимать, был уже почти императором. Имя его со дня на день могло стать лозунгом недовольных.

¹ Записки Екатерины, <с. 443>.

С этой минуты ему предстояло разделить неизбежно трагическую судьбу всех маленьких претендентов. Спасти его могла только воля матери, которой вскоре представился случай пожертвовать своей властью благополучию сына. Но Екатерина не сделала этого. Она и сама предпочла взглянуть на него, как на претендента.

Петр III недолго удержался на престоле. Все же за шесть месяцев своего царствования он успел с достаточной ясностью обнаружить свое отношение к Екатерине и ее сыну. Намерение его жениться на фрейлине Елизавете Романовне Воронцовой, объявить наследником Иоанна Антоновича¹, а жену свою и Павла заключить в крепость заставило Екатерину действовать без особенных проволочек*. Государственный переворот был решен. 29 июня 1762 года Петр III был схвачен и отвезен в Ропшу, а Екатерина провозглашена императрицей.

Общеизвестные подробности этого события для нас несущественны. Но на некоторых предшествовавших ему обстоятельствах необходимо остановиться. Имя Павла Петровича играло в них важную роль.

Незадолго до своей кончины императрица Елизавета решила изъять Павла из рук женщин. Воспитателем к нему был назначен граф Никита Иванович Панин, человек, сыгравший впоследствии роковую роль в судьбе своего воспитанника.

В числе вельмож, содействие которых Екатерине в совершении переворота было обеспечено, находился и Панин. Однако, в то время как одни из них, например Орловы и княгиня Дашкова, предполагали, возведя Екатерину на трон, вручить ей неограниченную власть, — Панин, вместе с Чернышевым и еще некоторыми лицами, считали, что переворот должен совершиться в пользу Павла Петровича; в их планах Екатерине отводилась гораздо более скромная роль регентши при малолетнем императоре.

Что касается Орловых, один из которых, Григорий, был в это время фаворитом Екатерины, то решительно нельзя сомневаться в том, почему им хотелось видеть Екатерину обладательницей верховной и нераздельной власти. Григорий Орлов понимал, что в случае удачного исхода предприятия нетрудно будет устранить Петра III окончательно. Тогда он может стать мужем самодержицы, а родившийся от

¹ Цитируемая у Морана депеша Бретейля. Это еще раз указывает ни то, что и в это время Петр не надеялся иметь детей, <с. 35>.

связи его с Екатериной в апреле того же года сын — наследником престола.

Вряд ли мы ошибемся, предположив, что не столь дерзкие, но не менее своекорыстные расчеты заставляли Панина выступить противником провозглашения Екатерины императрицей. Не политические взгляды, а личные интересы заставляли его мечтать лишь о ее регентстве: в этом случае ему, как наставнику молодого императора, предстояло играть в государстве главную роль. Замыслы Орловых представляли ему лишь второстепенную.

Итак, медведь еще не был убит, но шкуру его уже делили. Неизвестно, чем кончился бы этот дележ, если бы Панин своевременно рискнул обеспечить для Павла ту долю, которая должна была принадлежать ему. Быть может, это и удалось бы. Но Панин понимал, что, упорствуя, он может подвергнуть слишком большой опасности и своего воспитанника и, главное, — самого себя. Поэтому он предпочел остаться более зрителем, чем участником переворота. Когда же все было кончено, то оказалось, что вновь поднимать вопрос о регентстве уже поздно, Панину пришлось посадить полуодетого Павла в карету и в сопровождении пятисот присланных Екатериною гвардейских солдат отвезти перепуганного ребенка в Казанский собор, где он и произнес присягу на верность новой императрице — своей матери.

Призрак короны опять, во второй уже раз, на мгновение показался над головою Павла. Опять недовольные элементы двора и народа могли объединяться вокруг имени великого князя и тем подвергать опасности самую его жизнь.

События не заставили себя ждать. Вскоре после восшествия Екатерины на престол в народе и войске начались брожения. Граф Мерси д'Аржанто, австрийский посол, доносил своему правительству: «Кажется еще сомнительным, не сделала ли новая императрица большой ошибки в том, что возложила корону на себя, а не провозгласила своего сына, великого князя, самодержцем, а себя регентшею империи на время его несовершеннолетия»¹. Действительно, гвардия одумалась первой. Солдаты укоряли офицеров в том, что «последнюю каплю крови Петра I они продали за бочку пива»². Однажды ночью солдаты Измайловского полка взялись было даже за оружие, и офицерам стоило боль-

¹ Сборник Императорского Русского Исторического Общества, XVIII, 64, с. 464.

² Цитируемое Мораном донесение Беранже от 17 августа 1762 г., <с. 44>.

ших трудов удержать их в казармах¹. Впрочем, взгляды солдат разделялись многими офицерами. Возник заговор, но заговорщики не успели еще приступить к действиям и ограничились обсуждением вопроса, кому поручить регентство — Панину или Шувалову. Екатерине сделалось это известно, и зачинщики подверглись наказаниям².

Когда Екатерина отправилась в Москву для коронации, Павел был болен: у него замечалась лихорадка и опухоль ног. Оставить его в Петербурге императрица не решилась, однако присутствовать на торжествах он также не мог. Народ, не видя его, беспокоился. Солдаты перед дворцом кричали: «Да здравствует император Павел Петрович!»³.

Однако в дальнейшем положение обострилось еще больше. Виновником этого обострения был Григорий Орлов. Человек, положивший так много труда и энергии на то, чтобы сделать Екатерину владительницей России, человек, сознательно рисковавший для этого жизнью, наконец, человек, нераздельно владевший тогда любовью императрицы, мог рассчитывать, что ему удастся получить награды, более чем обычные. Он мечтал стать законным мужем Екатерины. Путь к этому был открыт.

Меньше чем через неделю после переворота, 5 июля 1762 года, Алексей Орлов, брат Григория, с князем Бярятинским посетил заключенного в Ропше Петра III. «Посещение» кончилось тем, что Петр III, как значилось в изданном Екатериною манифесте, «обыкновенным и прежде часто случавшимся ему припадком геморроидическим впал в престокоую колику»**. «Колика», однако, была, видимо, не совсем обыкновенная, потому что император скончался, и апартаменты, приготовлявшиеся для него в Шлиссельбурге, остались незанятыми.

Знала ли Екатерина, что с ее мужем должна случиться столь жестокая колика, или не знала, хотела ли она ее или нет — как бы то ни было, виновные вместо наказания пользовались влиянием и почетом, а спустя несколько времени, в 1763 году, императрица предложила верховному совету высказаться о предполагаемом браке ее с Григорием Орловым. При этом она ссылалась на слабое здоровье Павла и на заботы свои о будущем наследнике престола. Однако должно отдать справедливость верховному совету: члены

¹ Casterá, I, 163 *.

² Брикнер. История Екатерины II, ч. 2, с. 157.

³ Моран. Павел I до восшествия на престол, <с. 45>.

его, в особенности Панин, с подлинным мужеством восстали на этот раз против замыслов императрицы. Говорят, Панин сказал при этом: «Императрица может делать, что хочет, но госпожа Орлова никогда не будет императрицей России»¹.

На этот раз мужество Панина и его сторонников спасло Павла, ибо, согласись они на брак императрицы с Орловым, последствия этого события были бы губительны для великого князя: самодержавною властью своею Екатерина узаконила бы Алексея Бобринского, и сын Орлова был бы объявлен наследником.

Недовольство Орловым, императрицей и их сторонниками обострялось. Имя Павла, конечно, было у всех на устах. Негодованием были равно охвачены как темные массы простого народа, так и круги придворные и войска. Разными лицами владели при этом разные побуждения, но сила протеста всюду была одинакова. Дело дошло до того, что однажды солдаты Преображенского полка, ранее вполне преданные Орлову, собрались под окнами Павла и намеревались провозгласить его императором². Против Орлова и Екатерины составилась заговор, довольно, впрочем, бессильный и вскоре раскрытый.

Между тем настала весна 1764 года. Екатерина собиралась ехать в Ливонию. Чтобы не оставлять Павла, вокруг которого за время ее отсутствия могли тесно объединиться все недовольные, в Петербурге, императрица собралась взять его с собою. Для здоровья хворавшего в то время наследника путешествие могло оказаться губительным. Панин и Воронцов, государственный канцлер, настояли на том, чтобы он был оставлен в Петербурге. Рассерженная Екатерина покорилась, но перевезла сына в Царское Село, приняв самые решительные меры предосторожности. При малейших признаках волнения Павел должен был быть посажен в карету и отвезен в Ливонию. На станциях были приготовлены лошади. Многие подозрительные лица были высланы из Петербурга, а между Нарвой и Ревелем сосредоточено тридцатитысячное войско под командой Румянцева. Только после того, как все эти меры были приняты, Екатерина решилась ехать. Но здесь мы должны обратить внимание читателей на одно чрезвычайно важное событие, произошедшее за время отсутствия ее из столицы.

¹ Моран. Ук. соч., <с. 47>.

² Моран. Ук. соч., <с. 49>.

Наряду с заговорами, составлявшимися в пользу Павла Петровича, в обществе и в войсках ни на минуту не затихали брожения, связанные с именем императора Иоанна Антоновича; не только в России, но и за пределами ее он считался серьезным претендентом. В Берлине еще при жизни Петра III высказывалось мнение, что в случае переворота власть окажется в руках Иоанна Антоновича, а 28 сентября 1762 года Вольтер писал д'Аржантейлю: «Боюсь как бы Иоанн не лишил престола вашу благодетельницу».

Иоанн Антонович содержался в Шлиссельбургской крепости. Некто Мирович, молодой человек, расточительный, обремененный долгами, большой любитель картежной игры, чтобы поправить расстроенные свои дела, решил на отчаянное предприятие. Он служил в Смоленском полку и время от времени нес караульную службу в Шлиссельбургской крепости. В один из своих караульных сроков, 15(?) * июля 1764 года, он собрал своих солдат и решил, освободив Иоанна Антоновича, провозгласить его императором. Теоретически это было вовсе не так трудно: Мирович мог рассчитывать, что петербургская гвардия встанет на его сторону. Таким образом, если бы переворот удался, новый император был бы обязан престолом Мировичу. В распоряжении его было 45 человек солдат. Гарнизон Шлиссельбурга состоял всего из 33 человек, считая в том числе двух офицеров, стороживших Иоанна, и коменданта крепости. Справиться с ними было нетрудно.

«Выстроив своих солдат в три шеренги, Мирович направился к казарме, где содержался Иоанн Антонович. Началась перестрелка между командою Мировича и гарнизонными солдатами. Солдаты Мировича отступили. Он им прочел манифест и этим старался возбудить ревность, поздравляя их с государем. Потом взял с бастиона пушку, велел зарядить ее ядром и требовал выдачи арестанта Иоанна. Настала минута, предусмотренная в инструкции Чекина и Власьева (офицеров, приставленных к узнику). Видя пушку, наступление Мировича, невозможность дальнейшего сопротивления, они, чтобы не отдать арестанта, убили его... Между тем, как внутри казармы совершалось убийство Иоанна, Мирович вбежал на галерею, схватил поручика Чекина за руку и тащил в сени, спрашивая «Где государь?». Чекин сказал: «У нас государыня, а не государь». Мирович бросился в каземат Иоанна; было темно; послали за огнем, и, когда принесли, Мирович увидел на полу мертвое тело

Иоанна»¹. Видя, что план его рухнул, он сдался.

У Екатерины стало одним важным соперником меньше. Молва обвиняла ее в том, что Мирович действовал с ее согласия: Екатерине будто бы нужно было устроить так, чтобы у тюремщиков Иоанна Антоновича нашелся повод привести в исполнение данную им инструкцию. Насколько слухи эти были верны, вопрос, не имеющий для нас существенного значения. Важно лишь то, что общественное мнение после убийства Иоанна Антоновича считало, что и Павлу Петровичу придется рано или поздно испытать ту же участь. Злоба Орлова, которому не удалось его матримониальные планы, могла только укрепить опасения. Поэтому, чтобы не возбудить сторонников Павла, Екатерина и теперь при-
нуждена была оставить его на попечении Панина. Фраза, девять лет спустя сказанная ей Храповицкому: «Все думали, что, ежели не у Панина, так он пропал»², еще более характеризует то положение, в котором находились дела в 1764 году, нежели то, в каком были они тотчас после свержения Петра Федоровича.

Отношение Екатерины к Панину было чрезвычайно враждебно. Но общество смотрело на него, как на единственную сколько-нибудь прочную гарантию того, что наследника не постигнет участь Петра III и Иоанна VI.

III

Павла учили всяким премудростям: французскому и немецкому языкам, истории, арифметике, геометрии, танцам, закону Божию, рисованию и физике. Из одного перечня предметов читатель может понять, как мало было системы в этом учении. Проходить одновременно арифметику и геометрию с десятилетним мальчиком, не имеющим никакого понятия об алгебре; обучать его физике, предполагающей предварительное знакомство с тою же алгеброй, — до этого могли додуматься только в XVIII веке и, должно быть, только в России **. Большинство учителей были самыми заурядными ничтожными личностями. Только архимандрит Платон, впоследствии московский митрополит, преподававший Павлу начала религии, да учитель арифметики и

¹ Брикнер. История Екатерины II, с. 182—183.

² Дневник Храповицкого. Разговор 20 июля 1793 *.

геометрии Порошин оказали действительное и благотворное влияние на своего воспитанника *.

Но о Платоне речь будет впереди. Что же касается Порошина, то он всего один год пробыл в числе наставников Павла. Дневник, который он вел и который послужил причиной удаления его от наследника, навсегда останется не только важным историческим документом, но и вообще одной из самых очаровательных книг, какие нам доводилось читать. В ней рисуются разом два образа равно привлекательных: умного, честного и доброжелательного наставника и прекрасного, не по летам развитого ребенка, каким был Павел. Порошин любил его. Исполняя, кроме должности учителя математики, также и обязанности гувернера, он был неразлучен с великим князем по целым дням. Его беседы с маленьким наследником престола, его заботы об ограждении Павла от разных дурных влияний, которых было так много в тогдашнем порочном обществе, — все это обнаруживает, как глубоко сознавал Порошин свою ответственность перед Павлом и его будущим государством. Павел платил учителю такой же любовью. Он ласкался к нему с доверчивостью, какой уже в те детские годы не питал ко многим из окружающих, звал его братцем. Провинившись, плакал, просил прощения. Вот один из их разговоров:

«За чаем, — рассказывает Порошин, — спросил меня вдруг его высочество: «Скажи мне, братец, пожалуйста, вить ты, я чаю, на олове ешь, когда обедаешь дома?» Я доносил, что всегда почти имею честь при столе его быть и дома не обедаю. Но тем не удовольствуясь изволил продолжать: «Однако, ежели случитца, что занеможешь, или так, захочетца дома остатца, так на чем тогда ешь?» Я ответствовал, что по моим доходам на чем мне ином есть, как не на олове. Тут, поглядев на меня и ухватя за руку, изволил говорить: «не тужи, голубчик, будешь и на серебре есть»¹.

Учился Павел отлично. День за днем повторяет Порошин стереотипную фразу: «У меня очень хорошо занимался», или «Госуд^арь с обыкновенною легкостью понимал все толкования». Особенности проявлял Павел к математике, и это дало возможность Порошину записать: «Если бы Его Высочество человек был партикулярный и мог совсем только предаться одному только математическо-

¹ Записки Порошина, с. 62.

му учению, то б по остроте своей весьма удобно быть мог нашим российским Паскалем»¹.

Паскалем-то, положим, он мог и не сделаться, — но фраза эта, во всяком случае, много говорит об умственных способностях десятилетнего Павла. Следует помнить, что «математическое учение» состояло не в началах арифметики, обычно преподаваемых детям такого возраста; в это время, как видно из другой записи, о пропорциях, Павел кончил арифметику; к тому же он занимался и геометрией.

Суждения, высказываемые Павлом по разным поводам, поражают отсутствием опрометчивости, обдуманностью, верностью, а иногда и меткостью, каких казалось бы нельзя ожидать от ребенка его возраста. Вот, например, одна из порошинских записей: «Его Высочество сего дня сказать изволил: «С ответом иногда запнуться можно, а в вопросе мне кажется сбитца никак не возможно»². Влияние Порошина вообще нельзя не признать благотворным: он умел сдерживать резкие порывы своего воспитанника, он развивал его ум и сердце: он воистину пробуждал в Павле «чувства добрые».

Все же воспитание Павла имело темные стороны. Бороться с ними Порошин не мог, отчасти по отсутствию к тому возможностей, отчасти же потому, что сам по условиям своего века не понимал их опасности*.

Так, не всегда умел он вовремя остановить разговоры, которые велись при наследнике Паниным и другими лицами, — ту грубоватую и фривольную болтовню вельмож XVIII столетия, которой никак нельзя было заводить при ребенке, особенно столь впечатлительном и понятливом, каков был Павел. Не понял также Порошин, что нельзя потакать ранним сердечным волнениям Павла, что «роман» наследника с фрейлиной Чоглоковой, несмотря на всю его своеобразную прелесть, невинность и романтичность, должен быть пресечен, а не поощряем. Когда после встреч с «милой» в театре (где, к слову сказать, шли вовсе не детские пьесы) или на маскараде Павел в истоме «валился на канapé» и «мечтал» — Порошин не знал, что должно ему положить предел и мечтаниям и встречам. Когда рылся Павел в энциклопедии, ища изъяснений на слово «atomig», — надо было Порошину отнять у него лексикон, а не записывать умиленно в дневник о галантных чувствах десятилетнего

¹ Там же, с. 20.

² Там же, с. 139.

мальчика. Но таковы были воззрения века — и винить за них одного Порошина невозможно. К тому же то, что мог прекратить Порошин, — «любовь» к Чоглоковой, любовные аллегии и маскарадные «махания» (как назывались тогда ухаживания) — было очень невинно по сравнению с тем, бороться против чего Порошину было не по силам. Что мог сделать бедный учитель, когда Панин, великий поклонник женского пола, заводил с Павлом беседы о любви и когда сама Екатерина расхваливала ему в театре всем доступные прелести французской актрисы.

Как бы то ни было, пробудь Порошин при Павле дольше, его хорошее влияние принесло бы свои плоды. Но всего через полтора года после начала своей службы он был отставлен от Павла, который, таким образом, был лишен единственного человека, любившего его бескорыстно и желавшего сделать из своего воспитанника не средство к достижению собственных целей, а человека и государя. С удалением Порошина Павел был окончательно предоставлен своей необычайной судьбе. Панин отныне сделался единственным лицом, могущим влиять на Павла. Каково же было это влияние и к чему оно привело — мы сейчас увидим.

Дневник Порошина навсегда останется единственным историческим документом, позволяющим до некоторой степени ознакомиться с той обстановкой, в которой протекало детство Павла. Из порошинских записей смотрит на нас лицо ребенка, подверженного дурным влияниям, но доброго, ласкового и не по годам развитого. Однако дневник этот обнимает промежуток времени немного более года. С момента удаления Порошина и до самой женитьбы, т. е. до 1773 года, на целых восемь лет Павел как бы скрывается от наших глаз. Мы не знаем, как жил он в этот период, чем занимался, с кем сталкивался. Тучная фигура Панина заслоняет от наших глаз тщедушную фигурку подрастающего наследника. Как жил он под панинским крылышком — мы не знаем. Но нам известно, каким он оттуда вышел. Читатель весьма ошибется, предположив, что мы клоним к тому, что Панин испортил Павла. Нет, ни дурных принципов, ни дурных наклонностей Павел не вынес из панинского гнезда. Но он вынес оттуда нечто гораздо более гибельное: свое отношение к матери и свои политические воззрения*. И то, и другое в тех формах, какие они приняли, могли повести Павла лишь к бесконечной цепи страданий.

Никита Иванович Панин, человек, которого вся служба прошла на дипломатическом поприще, сам, говорят, был не

менее других удивлен, когда воля императрицы Елизаветы Петровны сделала его воспитателем юного великого князя. Оставленный в этой должности и Екатериной, Панин весьма понимал, конечно, что не педагогические его способности, а политические причины, то что «ежели не у Панина, так Павел пропал», — заставили так поступать новую императрицу. И вот он не слишком входил в подробности воспитания Павла. Ему, в конце концов, все равно было, как Павлу преподается физика и обучают ли его рисованию. Он сознавал, что главная его задача заключается в том, чтобы с Павлом не случилось чего-нибудь вроде «геморроидической колики», от которой погиб Петр III, или чтоб какому-нибудь новому Мировичу не пришлось в голову подвергнуть наследника участи Иоанна VI. Панин знал, что в глазах общества он не столько воспитатель Павла, сколько его телохранитель. Охранять *жизнь* Великого князя — вот в чем совершенно справедливо полагал он свою первейшую обязанность.

В 1763 году камер-юнкер Хрущов, прослышав о намерении императрицы вступить в брак с Григорием Орловым, составил заговор, направленный против плана вообще и против Орловых в частности. Опять между офицерами ходили слухи о готовности Панина участвовать в заговоре¹. Неизвестно, насколько такие слухи были верны. Следует думать, что они были ложны и распускались заговорщиками с целью придать своему делу известную «солидность», — во всяком случае Панин, как мы уже говорили, открыто выступил против брака императрицы с Орловым. Княгиня Дашкова в своих мемуарах пишет, что по этому поводу Панин имел объяснение непосредственно с Екатериною.

Панин, таким образом, был не только залогом возможного переворота, но и служил помехой чувствам Екатерины как женщины. Этого также она не могла простить ему. Вполне естественно, что недобрые чувства к Панину подогревал в ней и Григорий Орлов, ненавидевший Панина как человека, преградившего ему путь к престолу, и как хранителя Павла. Мог ли Орлов быть спокойным, если сын Салтыкова, Павел, рос как наследник престола под могущественной охраной Панина, а ребенок его, Орлова, был всего-навсего Алексей Бобринский, мальчик, отданный в руки лакея?

Екатерина терпела Панина как неизбежное зло, но своей нелюбви к нему она почти не скрывала. Панин <...>

¹ Брикнер. История Екатерины II, с. 158.

◀ПЛАН КНИГИ О ПАВЛЕ I▶

I. *Отношение русского общества к Павлу*: сумасшедший тиран. Причины такого отношения: слухи о его «странностях» и «жестокостях», повлекших за собой дворцовый переворот и убийство.

Слухи основаны на темных, большею частью изустных преданиях (запрещение до недавнего времени книг), которые в свою очередь не подвергались критике. Между тем, как увидим далее, такая критика была бы не только необходима теоретически, как необходима вообще проверка всякого исторического «слуха», — но и во многом оправдала бы Павла, так как о его «странностях» и «жестокостях» в подавляющем большинстве слышим от лиц, недовольных его политикой (дворяне) и лиц обиженных (придворные Екатерины). Кроме того, на счет Павла занесены и выходки его чиновников (напр., Архарова, Палена). Все это должно быть переоценено (Шумигорский) * [акции личности упали. Историки ею не заняты. Они не заботятся.]

II. Павел умер 46 лет. Разговоры о «тиранстве» относятся к его царствованию, так как к последним 5 годам его жизни. Очевидно, его ужасные склонности должны были как-нибудь проявиться и раньше. Но именно этого мы не видим. Отзывы современников о Павле — великом князе чрезвычайно благоприятны.

Каким же путем дошел он до того, чем стал? За что, почему, как возмущалась на него вся Россия до такой степени, что принуждена была с восторгом принять известие о его убиении?

III. *Жизнь Павла*. Рождение. Елизавета (слухи о завещании в пользу Павла, официально — сына Петра III, «Романова»). Петр III. Переворот 1762 г. Екатерина. Павел — шестилетний претендент, которого надо удалить дальше. Воспитание. Никита Панин. Его нелюбовь к Екатерине **. Внушение благоговения к памяти Петра III. [Гамлет. Страх не только за условия жизни, но и за самую жизнь.]

Двор Екатерины. Фавориты. Их отнош<ение> к Павлу и его к ним. Презрение к людям, к матери. Неизбежный контраст: желание жизни доблестной, справедливой. Рыцарство и романтизм Павла (Гамлет). Нервы. Прекрасные свойства и необдуманые поступки. Не должен ли был притворяться, как Гамлет, если не сумас<шедшим>, то почти таким.]. Первый брак. Затеи Нат<альи> Алек<сеевны>. Павел становится опаснее. [«Сумасшедший». Слух передан Екатерине.] Измена жены *.

2. Второй брак. Рожд<ение> Алекс<андра> и Константина>. **Народные волнения. Самозванцы. Гамлетизм.** Отнятие сына. Павел становится вдвойне «претендентом», источником возможного «бунта», в то время как он — законный государь, Е<катерина> — узурпатор, а Ал<ександ>р — воистину претендент. [Тени отца. Самозванцы], **спроважение за границу.** Попытки править австр. силой (?). Павел при дворе и в семье. (Самый тяжелый период 1781—1786). Завещание в пользу Александра. Смерть Екатерины **.

3. Император. Прежние государственные предначертания. Дворянство (чиновничество). Финансы. Первые правит<ельственные> шаги Павла. Закон о престолонаследии. *Павел-император и дворяне.* Екатерина держалась дворянами. (Олигархические планы, Импер<ский> совет.) Законы антидворянские и чем они были вызваны. Ропот и противодействие. «Провокация». Невозможность предоставить власть никому, ибо это вело к злоупотреблениям. (Архаров и т. п.) Именно *отсюда* проистекала требовательность Павла и некот<орая> мелочность его мероприятий. Сам доходил до всего ***.

4. Дворцовая и интимная жизнь. Императрица и Нелидова. Кошмар. Путаница. Партии. Нервы (?) ****

IV. Судьба. Сеть противоречий. Законы против дворянства — и защита Европы от революционных идей Франции.

Англия. Внешняя политика. Кому мешал Павел? Заговор. Пален. Панин. Рибас. Отставка Панина. Обман Палена. (Возвращ<ение> тучи офицеров и их недовольство.) Двойная игра Палена. Александр. Дверь в комнату М<арии> Ф<едоровны>. Потайной ход к Гагариной. (Не был ли *испорчен*? Что значит не успел?) История с Саблуковым и караулом. Все знали, что смерть, а не отречение. Принял кого-то впотьмах за Константина. «Как, и Вы, Ваше Высочество?» Путаница. (Темнота.) «Что так долго разгова-

ривать?» Зубовы — птенцы Екатерины. Последний маскарад: расписной труп *.

V. *Заключение*. «Все при мне будет, как при бабушке». Восторги по этому поводу. Кто восторгался и кто, м<ожет> б<ыть>, плакал. Мы слышали дворян и придворных. Народа мы не слышали. М<может> б<ыть>, будь у П<авла> истинные, (умные) друзья и честные сотрудники и не пади он жертвой *дворцовой* революции — он был бы царем, благополучно царствовавшим до «Господней» смерти и любимым «русским» *народом*. (Раскольники в Москве.) Повторить о «суде истории» **.

Когда русское общ<ество> говорит, что смерть Павла была расплатой за его притеснения, оно забывает, что он теснил тех, кто раскинулся слишком широко, тех сильных и многоправных, кто должен был быть стеснен и обуздан ради бесправных и слабых. М<ожет> б<ыть> — и это была *историч<еская>* ошибка его. Но какая в ней моральная высота!

Он любил справедливость — мы к нему несправедливы. Он был рыцарем — и убит из-за угла. Ругаем из-за угла.

<1913>

ДЕРЖАВИН

(К столетию со дня смерти)

8 июля 1816 года умер Державин. Если бы ныне, в сотую годовщину смерти своей, он воскрес и явился среди нас, — как бы он рассердился, этот ворчливый и беспокойный старик, на книгах своих писавший просто, без имени: «Сочинения Державина», ибо судил так, что «Един есть Бог, един Державин»!

Как бы он разворчался, как гневно бы запахнул халат свой, как нахлобучил бы колпак на лысое темя, видя, во что превратилась его слава, — слава, купленная годами трудов, хлопот, неурядиц, подчас унижений — и божественного, поэтического парения. С какой досадой и горечью он, этот российский Анакреон, «в мороз, у камелька», воспевавший Пламиду, Всемилу, Милену, Хлою, — мог бы сказать словами другого, позднейшего поэта:

И что за счастье, что когда-то
Укажет ритор бородатой
В тебе для школьников урок!.. *

На школьной скамье все мы учим наизусть «Бога» или «Фелицу», — учим, кажется, для того только, чтобы раз навсегда отделаться от Державина и больше уже к нему добровольно не возвращаться. Нас заставляют раз навсегда запомнить, что творения певца Фелицы — классический пример русского лжеклассицизма, т. е. чего-то по существу ложного, недолжного и неправого, чего-то такого, что слава Богу кончилось, истлело, стало «историей» — и к чему никто уже не вернется.

Тут есть великая несправедливость. Назвали: лжеклассицизм — и точно придавили могильным камнем, из-под которого и не встанешь. Меж тем, в поэзии Державина бьется и пенится родник творчества, глубоко волнующего, напряженного и живого, т. е. как раз не ложного. Поэзия Державина спаяна с жизнью прочнейшими узами.

XVIII век, особенно его Петровское начало и Екатерининское завершение, был в России веком созидательным

и победным. Державин был одним из сподвижников Екатерины не только в насаждении просвещения, но и в области устройства государственного. Во дни Екатерины эти две области были связаны между собою теснее, чем когда бы то ни было. Всякая культурная деятельность, в том числе поэтическая, являлась прямым участием в созидании государства. Необходимо было не только вылепить внешние формы России, но и вдохнуть в них живой дух культуры. Державин-поэт был таким же непосредственным строителем России, как и Державин-администратор. Поэтому можно сказать, что его стихи суть вовсе не документ эпохи, не отражение ее, а некая реальная часть ее содержания; не время Державина отразилось в его стихах, а сами они, в числе иных факторов, создали это время. В те дни победные пушки согласно перекликались с победными стихами. Державин был мирным бойцом, Суворов — военным. Делали они одно, общее дело, иногда, впрочем, меняясь оружием. Вряд ли многим известно, что не только Державин Суворову, но и Суворов Державину посвящал стихи. Зато и Державин в свое время воевал с Пугачевым. И, пожалуй, разница между победами одного и творческими достижениями другого — меньше, чем кажется с первого взгляда.

И в напряженности их труда есть общее. Памятуя, что «победителей не судят», Суворов побеждал где мог и когда мог. То как администратор, то как поэт Державин работал не покладая рук. «Прекрасное» было одним из его орудий,— и не льстивый придворный, а высокий поэт щедрой рукой разбрасывал алмазы прекрасного, мало заботясь о поводах своей щедрости. Он знал, что прекрасное всегда таким и останется. Его вдохновение воспламенялось от малой искры:

Пусты дома, пусты рощи,
Пустота у нас в сердцах.
Как среди глубокой ночи,
Дремлет тишина в лесах.
Вся природа унывает,
Мрак боязни рассеивает,
Ужас ходит по следам;
Если б ветры не звучали
И потоки не журчали,
Образ смерти зрелся б нам.

Неважно, что эти стихи писаны «На отбытие Ее Величества в Белоруссию». В пьесе они включены только механически. Подлинный ужас, подлинное и страшное ощущение

ние смерти, тайно разлитой в природе, возникли в поэте, конечно, вовсе не в связи с отсутствием государыни, к тому же благополучным и кратковременным. Важно то, что ужас этот возник, и то, с какой силой он выражен. Включить эти великолепные строки в «официальную» оду было делом поэтической щедрости Державина — и только; говорить по поводу их о какой-то «придворной» поэзии — наивно и близоруко.

Исторический комментарий вредит многим созданиям Державина, поскольку они рассматриваются, как создание художника, а не как исторические документы. Вредит не в том смысле, что принижает их в наших глазах, а в том, что отодвигает на задний план их главное и наиболее ценное содержание. Для правильного художественного восприятия часто бывает необходимо отбрасывать поводы возникновения той или иной пьесы. «Фелица» прекрасна не тем, когда и по какому случаю она написана, и не тем, что в ней изображены такие-то и такие-то исторические лица, а тем фактом, что лица эти изображены, и тем, как они изображены. Когда Державин впоследствии писал, что он первый «дерзнул в забавном русском слоге о добродетелях Фелицы возгласить», он гордился, конечно, не тем, что открыл добродетели Екатерины, а тем, что первый заговорил «забавным русским слогом». Он понимал, что его ода — первое художественное воплощение русского быта, что она — зародыш нашего романа. И, быть может, доживи «старик Державин» хотя бы до первой главы «Онегина», — он услышал бы в ней отзвуки своей оды.

Державинская лирика почти сплошь была условна. И внешний мир, и собственные свои чувства поэты изображали в их «идеальном», несколько отвлеченном, чистейшем и простейшем виде. Они не умели смешивать красок и не знали полутонов. Державин первый начал изображать мир таким, как представляется он художнику. В этом смысле первым истинным лириком был в России он.

Он был первым поэтом русским, сумевшим и, главное, захотевшим выразить свою личность такой, какова она была, — нарисовать портрет свой живым и правдивым, не искаженным условной позой и не стесненным классической драпировкой. Недаром и на иных живописных своих портретах, он, пиит и сановник, решался явиться потомству в колпаке и халате.

В жизни он был честным слугою родины и царей. Излишней приверженностью к закону, правде и прямоте он

часто бывал «неудобен». За это служебное его поприще — длинный ряд возвышений, падений и возвышений снова. Порой он страдал, но не унимался. Самому императору Павлу сказал он в гневе такое слово, которое и поныне в печати приходится заменять многоточием *. Прямоте и честности посвящены многие строки в творениях Державина. Для нас они скучноваты, ибо элементарны, — но никак невозможно не оценить их энергии. В оде «Властителям и судиям» звучит могучий глагол истинного поэта:

Воскресни, Боже, Боже правых!
И их молению внемли:
Приди, суди, карай лукавых,
И будь един Царем земли.

В «Памятнике» он гордится тем, между прочим, что «истину царям с улыбкой говорил». Он здесь недооценил себя, ибо умел говорить царям истину не только с осторожной улыбкой честного слуги, но и с гневом поэта.

Рядом с этим несколько сухим и суровым образом рисуется нам другой: образ Державина-сановника в его частной, домашней жизни, почивающего от дел, любимца Муз, хлебосола, домовитого хозяина, благосклонного господина собственных слуг, барина и слегка сибарита, умеющего забывать все на свете «среди вин, сластей и аромат». Он любит свой дом любовью истинного язычника. Не без гордости приглашает он к обеду своего друга и благодетеля. Он равно доволен и семейственным своим благополучием, и обилием стола:

Шекснинска стерлядь золотая,
Каймак и борщ уже стоят;
В графинах вина, пунш, блистая
То льдом, то искрами, манят;
С курильниц благовоньи льются,
Плоды среди корзин смеются,
Не смеют слуги и дохнуть,
Тебя стола вокруг ожидая;
Хозяйка статная, младая,
Готова руку протянуть.

Здесь, среди рощ и полей привольной и многообильной «Званки», он тревожному двору царей с блаженством предпочитает «уединение и тишину»:

Дыша невинностью, пью воздух, влагу рос,
Зрю на багрянец зорь, на солнце восходящее,
Ищу красивых мест между лилей и роз...

ческая поэзия Державина. Она восхитительна тяжеловатою своей грацией. Она принадлежит уже немолодому Державину, и в ней есть угловатая шаткость танцующего старика. В ней есть, наконец, верное и тонкое чутье к античности, к смеющейся и чуть-чуть бесстыдной эротике языка.

От державинской любви, впрочем, слегка веет холодком — наследие сладострастного, а не страстного XVIII столетия. Пафос любви трагической, всеильной и чудотворной неведом Державину. Не таинственный Эрос, а шаловливый Амур руководит им. Державин никогда ради любимой женщины не забывает окружающего мира. Напротив, нежным чувствам своим ищет он таких же изнеженных соответствий в окружающей обстановке. Знаток и любитель красоты вещественной, поклонник Тончи и Анжелики Кауфман, изваянный Рашетом, «хитрым каменосечцем», — он и для любви своей ищет красивой вещественной рамы. Своеобразен мир, в котором протекают события его любви: декорации пастушеского балета здесь сочетаются с живыми картинами северной природы; пастушек и нимф заменяет он краснощекими крепостными девушками и не без вызова вопрошает самого Анакреона:

Зрел ли ты, Певец Тииский,
Как в лугу весной бычка
Пляшут девушки Российски
Под свирелью пастушка?
Как склонясь главами ходят,
Башмаками в лад стучат,
Тихо руки, взор поводят,
И плечами говорят?..

В самом его отношении к возлюбленной столько же любования художника, сколько и сладострастия любовника. Пожалуй, любования даже больше. Его возлюбленная редко бывает одна. Чаще она является окруженная такими же резвыми и румяными подругами, как она сама. Она похожа зараз и на хрупкую пастушку XVIII века, и на прекрасную царевну Навсикаю. И есть в ней прелесть девушки русской, медлительной, светлорусой и милой.

Державин-любовник мне представляется благосклонным, веселым, находчивым стариком, окруженным девушками. Он воспел многих: Лизу, Лилу, Хлою, Парашу, Варю, Любушу, Нину, Дашу и еще многих. Его любовь пенится и шипит, как вино. Особых пристрастий у него нет: ни между

возлюбленными, ни между винами он не делает особенной разницы. Он ценит и любит всех:

Вот красно-розово вино,
За здравье выпьем жен румяных.
Как сердцу сладостно оно
Нам с поцелуем уст багряных!
Ты тож, румяна, хороша:
Так поцелуй меня, душа!

Вот черно-тинтово вино,
За здравье выпьем чернобровых.
Как сердцу сладостно оно
Нам с поцелуем уст лиловых!
Ты тож, смуглянка, хороша:
Так поцелуй меня, душа!

Вот злато-кипрское вино,
За здравье выпьем светловласых.
Как сердцу сладостно оно
Нам с поцелуем уст прекрасных!
Ты тож, белянка, хороша:
Так поцелуй меня, душа!

И так далее. Есть своеобразная и завидная мудрость в нехитрой логике этого припева. Его двоеточие восхитительно своей простотой и красноречивостью: «Ты хороша: так поцелуй же меня».

Но, смуглые и белокурые, бледные и румяные, жены и д е в ы , — все они у Державина слегка похожи одна на другую, хотя все и всегда воплощены, живы, телесны. Ни одна из них, кажется, не представляется ему недоступной, нездешней , — мечтой. Все они — только лучшие цветы его сада, в котором гуляет он, певец, хлебосол, вельможа — Гавриил Романович Державин...

И вдруг... Среди этого прочного, пышного, дышащего обилием и довольством мира, который он так любил и так умел осязать, мысль о смерти должна была быть ужасна. Правда, порой он от нее анакреонтически отмахивался, но иногда она должна была ужасать и томить старика. Как? Истлеть, исчезнуть, ничем уже не быть прикрепленным к этой прекрасной, цветущей земле? Нет, смерть должна быть побеждена, — побеждена не где-то там, «в небесах», а здесь, на той же земле. И не чьим бы то ни было, а собственным его, Державина, подвигом.

Певец — он хватался за единственное свое оружие — лиру. Она должна была снискать ему реальное бессмертие. Чудо поэтического творчества должно было восхитить

певца из косного, тленного мира. Он верил, — вослед Го-
рацию:

Необычайным я пареньем
От тленна мира отделюсь,
С душой бессмертною и пеньем,
Как лебедь, в воздух поднимусь.

.

Не заключит меня гробница,
Средь звезд не обращусь я в прах;
Но, будто некая цевница,
С небес раздамся в голосах.
И се уж кожа, зрю, перната
Вкруг стан обтягивает мой;
Пух на груди, спина крылата,
Лебяжьей лоснюсь белизной.

.

Прочь с пышным славным погребеньем,
Друзья мои! Хор Муз, не пой!
Супруга, облекись терпеньем!
Над мнимым мертвецом не вой.

Поэтическое «парение», достигающее у Державина тако-
го подъема и взмаха, как, может быть, ни у кого из прочих
русских поэтов, служит ему верным залогом грядущего
бессмертия — не только мистического, но и исторического.
И последнее для него, созидателя и обожателя земных благ,
пожалуй, ценнее первого. И «с небес» хочет он снова «раз-
даться в голосах»; хочет, чтоб слово его всегда было внятно
той самой земле, которую он так любил. Слово его должно
вечно пребыть на земле реальной частицей его существа.
Его плотская связь с землей не должна порваться.

А душа? Уже мысля душу свою окончательно отделив-
шеюся от всего земного, он сравнивает ее с ласточкой, что,
«хладея зимою, как лед», с весной опять воскресает для
жизни:

Душа моя! гостя ты мира:
Не ты ли перната сия? —
Воспой же бессмертие, лира!
Восстану, восстану и я, —
Восстану, и в бездне эфира
Увижу ль тебя я, Пленира!

Он боится вечного холода и пустоты межзвездных про-
странств. Их хочет он снова заполнить милыми образами

земли. В самом бессмертии, «в бездне эфира», жаждет он снова увидеть образ прочнейшей и глубочайшей любви своей — Пленеры, земной жены. Самая вечность если и желанна ему, то лишь для того, чтобы уже никогда не разлучаться с землею, чтобы окончательно закрепить свой давний духовный союз с нею.

Недаром и самые стихи о бессмертной душе своей он начинает словами:

О, домовитая ласточка,
О, милосизая птичка!

Бессмертный и домовитый, Державин — один из величайших поэтов русских.

1916.
Коктебель

ЖИЗНЬ ВАСИЛИЯ ТРАВНИКОВА

I

Лейб-гвардии поручик Григорий Иванович Травников немало был опечален тем, что ему не пришлось съездить в Пензу на свадьбу старшего своего брата. Отпуска он добился только через несколько месяцев, и в начале мая 1780 года, в дождливый вечер, ямская тройка подвезла его прямо к воротам родного дома. Брата, однако же, он не застал: оказалось, что с самой Пасхи Андрей Иванович с молодой женой перебрался на летнее пребывание в Лошняки, подгородное имение своего тестя.

Когда на другой день Григорий Иванович отправился в Лошняки, солнце сияло и грело. На душе у поручика было легко — он вообще отличался легким, веселым нравом. Если бы кто-нибудь сказал ему, что наступающий день будет роковым в его жизни, он засмеялся бы — всякие суеверия были ему чужды.

Встретились братья с большой сердечностью. Сердечно и просто обошелся у них и тот деловой разговор, который в нынешних обстоятельствах надо было предвидеть. Оставшись круглыми сиротами почти в детстве, Травниковы сообща владели наследством, состоявшим из трех поместий (всего было у них около двух тысяч душ). Ввиду женитьбы Андрея Ивановича, теперь было удобнее разделиться. Братья легко договорились об условиях раздела, который они и оформили в Пензе через два месяца, когда Григорию Ивановичу пришла пора возвращаться в полк.

Свидание, как сказано, произошло в имении, принадлежавшем тестю Андрея Ивановича. Таким образом, Григорий Иванович очутился гостем не столько своего брата, сколько семейства Зотовых, с которым давно был знаком, а теперь породнился.

Это семейство было невелико. Оно состояло из отставного, капитан-поручика Василия Степановича Зотова с двумя дочерьми, из которых старшая, Анна Васильевна, недавно сделалась госпожой Травниковой. Младшей, Марье

Васильевне, было всего четырнадцать лет. Она хорошо танцевала, играла на клавинох, совершенно владела французским языком и недурно итальянским. Ее последнюю гувернантку, женевскую уроженку, полуфранцузенку, полуитальянку, недавно сманил соседний помещик. Новую брать не стоило, да и доставать было трудно. Девочка росла на свободе.

Григорий Иванович привез с собой флейту, с которой не расставался. Может быть, с этой флейты, с каких-нибудь вечерних дуэтов, и начался весенний усадебный роман между веселым двадцатитрехлетним офицером и четырнадцатилетней девочкой, почти подростком. Достоверно лишь то, что в конце июня, покидая приятные Лошняки, поручик увозил в сердце легкую, несколько шутовскую влюбленность, в которой сам себе, впрочем, отдавал довольно ясный отчет. Хорошо запомнились ему также два-три мимолетных, но жарких поцелуя: он вспоминал о них много лет спустя. Машенька в день отъезда Григория Ивановича старалась казаться веселой, но спать ушла рано — и тут, в постели, пролиты были слезы.

В искушениях петербургской жизни Григорий Иванович, пожалуй, все-таки позабыл бы Машеньку. Но к следующей весне ему опять вышел отпуск, теперь уж на целый год, который он и провел в Пензе и в Лошняках. За этот год сердечные дела Травникова и Машеньки продвинулись далеко: молодые люди поклялись друг другу в вечной любви. Кончилось тем, что перед отъездом Григорий Иванович имел важный разговор с братом, а затем и с самим Василием Степановичем Зотовым. Последнее объяснение носило характер вполне драматический и решительный; влюбленные, взявшись за руки, вошли в кабинет Василия Степановича, стали на колени и просили благословения, объявив с твердостью, что «не токмо законы, но и сама смерть разлучить их уже неудобна».

Между тем, именно в законах заключалась вся трудность положения. Сам Зотов ничего не имел против того, чтобы видеть обеих своих дочерей за братьями Травниковыми. Но в силу закона два брата не могли жениться на двух сестрах — разве только с особого разрешения духовных властей. Добиться такого разрешения почти не надеялись, и действительно, все хлопоты, которые были предприняты сперва в Пензе, а потом в Петербурге, к желанному концу не привели. Окончательный отказ был получен в октябре 1783 года. При сем известии, как ни слаба была в ней на-

дежда, с Машенькой приключилась та «нервическая горячка», которой в подобных случаях хворали девушки ее века.

Ничто с такой силой не воспламеняет любви, как препятствия (так было, по крайней мере, в те времена). Григорий Иванович, не имея возможности отлучиться из Петербурга, слал отчаянные письма отцу возлюбленной, своему брату и ей самой. Машенька, перенеся болезнь, казалось, таяла у всех на глазах. Ей шел семнадцатый год. Мнения родных разделились. Старшая сестра, будучи нрава твердого (в покойную свою мать), считала, что буде иного выхода нет, то и должно Машеньке выкинуть дурь из головы. В том же мнении она укрепила и своего мужа. Очень возможно, что при других обстоятельствах она бы достигла того же и в отношении отца, но тут сыграл роль совершенно особый характер старика Зотова.

Это был человек, бесхарактерный на редкость. Довольно рано оставив военную службу, к которой не имел ни способностей, ни охоты, он женился. Жена управляла им, как хотела, и за шестнадцать лет безоблачного семейного счастья Василий Степанович размяк окончательно. Овдовев в 1776 году, он скучал нестерпимо и в особенности не мог выносить одиночества. С утра до вечера надо было сидеть с ним, разговаривать с ним, забавлять его, управлять им, потому что свобода на него действовала угнетающе и доводила порой до слез. Ему было пятьдесят три года. Он принадлежал как раз к числу тех непостижимо слезливых екатерининских бар, о которых так хорошо говорит позднейший историк *. При всей своей мягкости он отчасти был и тиран. Пугаясь разлуки, на брак старшей дочери согласился он не иначе, как под условием, чтобы она положенную (и довольно большую) часть года, с весны до глубокой осени, проводила по-прежнему в Лошняхках. На все остальное время сам он перебирался в город.

На сей раз Машенькина болезнь удержала его в деревне. Старшая дочь с мужем уехала в Пензу (Андрей Иванович состоял председателем верхнего земского суда). Василий Степанович с Машенькою остались одни. Стояло ненастье, Машенька, словно тень, бродила по дому. Она плакала постоянно — то в ожидании письма от Григория Ивановича, то над полученным письмом. Василий Степанович раскладывал пасьянсы и громко вздыхал — от жалости к дочери и от скуки. Видя, что ни о чем, кроме Григория Ивановича, Машенька говорить не может, старик сам заводил о нем речь. Так постепенно, ради того только, чтобы не молчать,

он сделался конфидентом своей юной дочери, с нею вместе ждал писем и нередко с ней вместе над ними плакал. Кончилось тем, что, в качестве классического наперсника, он сам содействовал бегству Машеньки из родного дома. Неизвестно, кому принадлежала эта сумасбродная, до последней степени легкомысленная затея, которая быстро, однако ж, была приведена в исполнение: в январе 1784 года Машенька неожиданно отбыла в Петербург с горничною Дуняшей. Там все уже было готово, положенные оглашения сделаны, кольца и свечи припасены; 4 февраля, в присутствии двух свидетелей, состоялось бракосочетание девицы Марии Васильевны Зотовой с лейб-гвардии поручиком Григорием Ивановичем Травниковым.

Супруги повели жизнь не слишком рассеянную, но и не замкнутую. Григорий Иванович умел выбрать общество, добропорядочное вполне. Машенька не принадлежала к числу ветреных модниц, но всегда одета была к лицу, была приветлива, без жеманства, умела принять гостей и вела хозяйство прилично званию. Впрочем, Травниковы принимали не часто, а выезжали, пожалуй, и того реже. По вечерам Машенька садилась за клавикорды, Григорий Иванович доставал из футляра, высланного зеленым сукном, свою флейту, и тогда музыка оглашала небольшую, но нарядную квартиру в доме сапожника Танненбаума на Вознесенском проспекте. Играли Баха, модного композитора Моцарта, но всего чаще — дуэт из Пиччиниева «Роланда». Наконец, 6 июля 1785 года, Бог дал Машеньке сына, которого назвали Василием, в честь деда. Надо заметить, что Василий Степанович, поручив управление Лошнями старшей дочери, перебрался в Петербург; столичная жизнь пришлось ему чрезвычайно по вкусу; он жил с Травниковыми; его, может быть, не столько почитали, сколько баловали; его возили в театр, ради него созывали гостей, ему составляли партии виста, с ним болтали с утра до вечера — он был счастлив, как нельзя более.

Когда, где и как собиралась гроза, — неизвестно. Повидимому, она надвинулась со стороны Пензы. Внезапное исчезновение Зотова с младшей дочерью, конечно, должно было породить толки и слухи. Вполне вероятно, что причина этого исчезновения узналась довольно скоро. Словом, последовал донос, и в начале 1788 г. возникло дело о незаконном браке. Документов не сохранилось. Известно лишь то, что Андрей Иванович ездил в Петербург, хлопотал перед государынею за брата и добился какой-то монаршей ми-

лости, после которой окончательный приговор все же остался довольно суров: брак, разумеется, был расторгнут; свидетели и священник, яко введенные в заблуждение, вовсе не понесли наказания; Григорий Иванович лишен офицерского чина, послан солдатом в армию и вскоре очутился под Очаковым; Марье Васильевне с отцом приказано было немедленно выехать из столицы и жить в деревне; все трое к тому же были подвергнуты церковному покаянию. Наконец, самая тяжкая кара постигла двухлетнего младенца Василия Травникова: он был оставлен при матери, но вычеркнут из дворянских книг и записан «выблядком без фамилии».

В Новгородской губернии, верстах в двадцати пяти от Валдая, находилось сельцо Ильинское, доставшееся Марье Васильевне от матери. По ревизии 1782 г. в нем числилось 108 душ обоего пола. Доход от имения был невелик, хозяева туда не заглядывали и, должно быть, не заглянули бы, если бы не случившееся несчастье. Ехать в Лошняки значило стать предметом любопытства со стороны всей Пензы и всей губернии. Марья Васильевна решила поселиться в Ильинском. 3 апреля 1788 г. она писала сестре: «Вчера съехали мы в родные, но неведомые места, кои зделались местом изгнания моего. Моему горю, дорогая Анюта, конца не предвижу. Коротко было мое щастие, неправое перед людьми, но правое перед Богом. Ему же все ведомо, и на милость Его конечно уповаю... Васенька при мне, слава Богу, и слава Богу здрав. Батюшка в меланхолии, которую видя еще дивлюся своей крепости...»

Холмы вокруг Ильинского поросли густым лесом. В лесу водились медведи, рыси, много было волков; по ветвям прыгали белки, и горностаи. Примерно за полверсты до усадьбы начинался подъем, ведущий к барскому дому; перед домом, как водится, полукруглый двор, окруженный службами. Другую, парадную стороной дом смотрел на обрыв, под которым синело озеро. У этого же обрыва, несколько в стороне от дома, стояла деревянная церковка во имя Ильи Пророка.

В летние месяцы, чтобы добраться в Ильинское к вечеру, надобно было выезжать из Валдая утром — и то на двухколках; дороги вокруг Валдая, родины славного колокольчика, остались непроезжими до сих пор. Зимой, разумеется, ездили скорее. Впрочем, Марье Васильевне некуда было ездить и некого ждать к себе. Что до Василия Степановича, то, не вынеся скуки, воя волков и собственной «меланхолии», следующей зимой он все-таки усакал в Лошняки.

Марья Васильевна чуть ли не радовалась его отъезду: забавлять старика уже стало ей невтерпеж. Она занялась хозяйством и воспитанием сына. Меж тем, самые тяжкие беды были еще впереди.

Григория Ивановича мы теряем из виду почти на три года, вплоть до взятия Измаила. Под Измаилом он был легко ранен; затем, восстановленный в чине по ходатайству Репнина, он немедленно вышел в отставку и летом 1791 года приехал в Ильинское. Неизвестно, была ли Марья Васильевна подготовлена к перемене, которая в нем обнаружилась (их переписка не сохранилась). Полуседой, огрубелый, жилистый, он стал молчалив и скрытен. От его легкого нрава ничего не осталось. Глядя на него, можно было подумать, что он непрестанно сдерживает в себе злобу. Порой она прорывалась наружу. В ответ на расспросы, жалобы, слезы Марьи Васильевны он просил оставить его в покое, замечая, однако, что она, Марья Васильевна, ни в чем перед ним неповинна. Вскоре он почти перестал говорить с нею и запретил входить к нему в комнату. Для нас не вполне понятно, зачем он поселился в Ильинском. По-видимому, он хотел быть ближе к сыну, которого не имел законных оснований отнять у Марьи Васильевны. С другой стороны, особой нежности не проявлял он и к мальчику.

Васеньке шел седьмой год. Он свободно уже болтал по-французски и немного по-итальянски. Местный священник учил его русской грамоте и Закону Божию. Григорий Иванович тотчас по приезде взял учение в свои руки, прогнав священника и заменив арифметикой Закон Божий. В церковь он не ходил и запретил водить туда сына. Так же раз навсегда разогнал он дворовых ребят, игравших с Васенькою в солдаты. Вообще он выказывал дерзкое неуважение к властям земным и небесным. Вскоре молва о безбожном помещике разошлась по уезду, от чего Марья Васильевна ждала новых напастей, но все обошлось благополучно. Григория Ивановича не трогали, и он никого не трогал, выражая свою мизантропию тем, что ревниво оберегал свое одиночество. Вероятно, будь он привычен к размышлениям, он стал бы одним из тех вольнодумцев, которых при Екатерине развелось много. Он даже мог далеко превзойти их, потому что к отрицанию Бога и государыни у него прибавлялось отрицание отечества: до этого в ту пору еще не доходили. В общем, насколько можно судить по отрывочным сведениям, пережитые невзгоды и несправедливости вселили в него глубокую ненависть ко всему существующему на зем-

ле порядку вещей. Но философствовать последовательно он не умел и не хотел, точно так же, как не имел особой склонности к чтению. Зато камердинер все чаще носил в его спальню подносы, уставленные графинами. Случалось, он провожал туда же дворовых девушек. Первая из них, столкнувшись однажды в сенях с Марьей Васильевной, охнула и прижалась к стене. Прочие были уже смелее. Марья Васильевна стала барскою барыней в собственном своем доме. И этот крест она понесла безропотно. Однако Богу было угодно испытать ее сильно.

Одним из немногих развлечений Григория Ивановича была псарня, которую он завел. Там разводились собаки крупной и злой породы: борзые и волкодавы. Однажды, в летний день 1793 г., Васенька бегал по двору. Две борзые, вырвавшись за решетку, помчались за ним, настигли. Он упал лицом в траву, и это отчасти спасло его: искусаны оказались только ноги. Люди сбежались, Григорий Иванович собственноручно пристрелил обеих собак и перепорол половину дворни. Послали в Валдай за лекарем. Левая нога у Васеньки зажила легко, но правая загноилась, а потом стала сохнуть. Вызывали еще докторов, возили мальчика в Новгород. Там, тайком от Григория Ивановича, Марья Васильевна служила молебны у раки св. князя Всеволода — но все было напрасно. Через год ногу пришлось отнять по колено. Девятилетний мальчик стал ходить на костыле.

Должно быть, этому обстоятельству он и обязан ранней охотой к чтению. Марья Васильевна выписала из Лошняков свою девическую библиотеку и стала выписывать книги из Петербурга. К сожалению, мы не знаем в точности, каковы были ранние чтения Васеньки. С достоверностью можно назвать лишь одну книгу: «Арфаксад, халдейская повесть в шести частях», будто бы перевод с татарского, на самом деле сочинение некоего Петра Захарьина *. У тогдашней публики она имела большой успех — Травников вспоминал ее впоследствии, как образчик глупости. Как бы то ни было, он читал много, и, конечно, как в те времена водилось, книги вовсе не детского содержания. Нужно думать, среди них было много стихов: французских, итальянских и русских, ибо попытки стихотворного авторства начались, когда Васеньке было всего двенадцать лет, как раз в ту пору, когда умерла его мать.

Григорий Иванович первое время следил за воспитанием мальчика, но вскоре забросил это занятие. Еще до кончины Марьи Васильевны (что случилось 11 октября 1797 г.), он

сделался пьяницей. После смерти жены девичья окончательно стала его гаремом. В Ильинском восстановил он *jus primae noctis*¹.

Вследствие того, что брак Марьи Васильевны с Григорием Ивановичем был расторгнут, Ильинское по закону должно было перейти к ее сестре, жене старшего из братьев Травниковых, которая, однако, не пожелала воспользоваться своим правом в ущерб малолетнему племяннику. Андрей Иванович Травников отправился в Петербург хлопотать о том, чтобы Григорию Ивановичу было разрешено усыновить Васеньку: надеялись, что таким образом мальчик получит дворянство и право наследовать своему отцу. После и Ильинское могло быть передано ему по дарственной записи.

В то время второй уже год царствовал Павел I. Зная характер этого государя, можно вполне поверить семейному преданию Травниковых, согласно которому ходатайство увенчалось успехом лишь благодаря довольно странному обстоятельству. На докладе статс-секретаря государь собрался уже положить резолюцию отрицательную. Но тут случайно взгляд его упал на дату Васенькина рождения: 6 июля 1785 г. Император Петр III был убит 6 июля 1762-го. Заметив это совпадение, Павел с приметным удовольствием отменил повеление своей матери и повелел «выблядку без фамилии» впредь быть законным сыном дворянина Григория Травникова, прибавив, однако же, на словах: «В память в Бозе почившего родителя моего и не в пример прочим».

II

Не имея возможности взять Васеньку у отца, родные покойной Марьи Васильевны посылали к нему гувернеров, которые, однако ж, не уживались с Григорием Ивановичем: сам он сыном нисколько не занимался, но никого к нему не хотел допустить. Васенька жил среди отцовского гарема. Наконец, Андрей Иванович снова явился в Ильинское, чуть не силой забрал племянника и повез в Москву.

Это было в 1800 году, Васеньке шел уже шестнадцатый год. Хотели его поместить в Университетский Благородный пансион, но его познания оказались недостаточны. Остановились поэтому на частном пансионе Владимира Васильевича Измайлова, литератора, пламенного поклонника Рус-

¹ Право первой ночи (*лат.*).

со *. Ознакомившись с поэтическими опытами нового своего питомца, Измайлов пришел в ужас от того, что Васенька в стихах изъяснялся валдайским мужицким говором; действительно, в басне «Пегий и Соловьи» он между прочим рифмовал так:

Однажды по утру Соловьи наш пришотца
Испить воды у ихнего колодца.

Однако литературные способности в молодом человеке Измайлов тотчас почувствовал. Будучи непрестанно обуреваем самыми возвышенными чувствами, он поставил себе целью быть своему воспитаннику не только руководителем, но и наперсником. Васенька платил ему благодарностью и расположением, но от вечной Измайловской экзальтации его, видимо, коробило. Уже тогда обозначились в нем те свойства, которыми он впоследствии отличался: молчаливость и замкнутость.

С помощью Измайлова молодой Травников быстро наверстал потерянное время и через год вступил в Благородный пансион, — как раз тогда, когда Жуковский оттуда вышел. Таким образом, он уже не застал в пансионе тургеневского кружка, не участвовал ни в достопамятных «поддевических» собраниях, ни в «Дружеском литературном обществе» **. Однако вскоре он очутился в самой гуще московской словесности.

Он жил у Анны Степановны Зотовой, родной сестры своего деда. Ей было лет шестьдесят пять. Весь век она провела в девичестве. В ранней молодости она влюбилась в Михайлу Михайловича Хераскова ***, не встретила взаимности, но примирилась со своим горем, а когда Херасков женился, сделалась приятельницей его жены. Возле Хераскова прошла ее жизнь — даже дом ее находился поблизости от жилища Хераскова, на Б. Хомутовке. Она была одной из тех беззаветно преданных ему женщин, которые окружали его заботами и поклонением, знали наизусть все его стихи, включая и знаменитую «Россиаду», пеклись о его славе. Едва ли не Анной Степановной было пущено в ход утвердившееся за ним прозвище русского Гомера. Теперь, когда слава Михайлы Михайловича приходила в упадок, Анна Степановна старалась поддержать жизнь в его салоне. Разумеется, она представила внучатого своего племянника патриарху московских певцов, Херасков обласкал молодого стихотворца, сказав, что его стихи «гладко писаны» — это была его обычная похвала. Впрочем, Травников понравился

ему в самом деле. Белокурый, как все Травниковы, легкий в движениях несмотря на свою деревяшку, — тонкими чертами лица, прозрачностью кожи, свойственной ему тихостью Василий Григорьевич напомнил Хераскову юного Богдановича. Автор «Душеньки» теперь доживал век в деревенском уединении — кот и петух составляли все его общество *. Некогда между ним и Херасковым вышла размолвка. Но с тех пор минуло лет тридцать пять — дурные чувства забылись. Правда, под тихостью Травникова таились такие порывы и мысли, какие кроткому Богдановичу и не снились, но Херасков о том не знал.

У Хераскова Травников встречал осанистого Дмитриева и благородного, равно ко всем благосклонного Карамзина, окруженного поклонением молодых поэтов — Жуковского, Мерзлякова, Воейкова. Тут же являлись: учитель Травникова Измайлов, молодой историк Платон Петрович Бекетов и пожилой, но болтливый стихотворец Пушкин с оравой болтливых родственников: двумя сестрицами, братом и женой брата, злой и красивой. Дамская часть салона пополнялась невесткой Хераскова и ее дочерью Александрой Петровной Хвостовой, писавшей философские и мистические сочинения. Кроме литераторов бывали университетские профессора, французские эмигранты, насадители хороших манер и хорошей кухни, и, наконец, просто знакомые — представители хлебосольной и брюзгливой московской знати. Среди этого общества Травников держался особняком. Его молчаливость приписывали смущению, а смущение — молодости, деревянной ноге и сиротству.

Херасков через год умер, Травников несколько раз появился в салоне Хвостовой, где ораторствовал Жозеф де Местр, но вскоре прекратил посещения. Не сойдясь со стариками, он в общем чуждался и молодых. Ему не нравились их взаимные восхваления, их напускная горячность: Жуковский, всеобщий любимец, казался ему неискренним ни в поэтической меланхолии, ни в слишком литературной шутливости; он не доверял учености Александра Тургенева, его раздражало тургеневское обжорство, так же, как запанибратство и влюбчивость, о которой Тургенев сам трубил направо и налево; в Воейкове Травников угадал низость души; в мальчишеских фарсах над Василием Пушкиным он не находил ничего забавного: считал, что Пушкин не стоит даже насмешек.

В 1806 г. он окончил пансион и поступил на службу по министерству юстиции. Анна Степановна Зотова умерла

около того же времени. Несмотря на свою молодость, Василий Григорьевич повел жизнь замкнутую. Из прежних знакомых он поддерживал отношения с одним Измайловым, который уговорил его напечатать несколько стихотворений в «Утренней Заре» и в «Вестнике Европы», причем Травников наотрез отказался поставить под ними хотя бы инициалы. Круг литераторов ему не нравился, в гостиных и в бальных залах московских бар ему нечего было делать. Он был небогат, не пил, не играл в карты, не танцевал. Вскоре завел он одно знакомство, странным образом решившее его участь.

* * *

На Большой Дмитровке, насупротив Георгиевского монастыря, стоял деревянный одноэтажный дом со светелкой, принадлежавший лекарю Оттону Ивановичу Гилюсу — обрусевшему шведу. То был сутулый, сумрачный человек, с лысиной во всю голову. Лысину прикрывал он черной шелковой шапочкой, а на носу носил, разумеется, очки. Практика у него была небольшая — не потому, что он плохо лечил, а потому, что имел неприятнейшую привычку говорить больным правду. Вся Москва знала его историю с помещиком Козляиновым, у которого левая сторона была разбита параличом и которому Гилюс напрямик объявил, что ему остается недели две жизни; в ответ на это больной нашел в себе силу правой ногой дать лекарю такого тумака в живот, что тот отлетел на другой конец комнаты. С тех пор ему осталось лечить только мелких чиновников, мещан, да дворовых, но и тех смущало убранство его кабинета, в котором стены были увешаны стеклянными ящиками с коллекцией бабочек и жуков, а в углу, где надо бы быть иконам, стоял скелет. Гилюс, впрочем, не слишком любил лечить — он посвящал свое время чтению и сам работал над большим сочинением, в котором намеревался доказать научно невозможность бытия Божия. В доме стоял острый запах медикаментов, книг, камфары, необходимой для сохранения бабочек, и ароматического уксуса, кипевшего в маленькой курильнице.

Неизвестно, как и с чего началось их знакомство. Во всяком случае, к 1808 г. Травников сделался в доме своим человеком. Семейство Гилюса, впрочем, было невелико. Жена сбежала от него за несколько лет до того, оставив двоих детей. Мальчику было теперь 17 лет — Гилюс отправил его учиться в Германию. Тринадцатилетняя девочка

осталась при отце, который сам был ее учителем. Ее воспитание не было похоже на обычное воспитание тогдашних девиц. Елена знала французский и немецкий языки, имела хорошие познания в истории и географии, но главное внимание отца было обращено на математику, физику и химию. Девочка присутствовала при долгих беседах отца с Травниковым. Вскоре шутивная дружба возникла меж нею и молодым человеком. Травников забавлял ее эпиграммами, главной мишенью которых был он сам. Так, например, до нас сохранилась его надпись к скелету, стоявшему в кабинете Гилюса:

Я остова сего завидую судьбе:
Он сохранил все кости при себе.

Травников учил Елену итальянскому языку и началам русской пиитики, которую, впрочем, считал устарелой. Они вместе читали Данта и переводили сонеты Петрарки. На лето Гилюс снимал небольшую дачу в подмосковном селе Всехсвятском. Елена и Травников вместе гуляли — обычным местом прогулок было кладбище и примыкавший к кладбищу бор. Елена собирала растения для своего гербария, на первом листе которого Травников написал стихи:

Прозрачные цветы в гербарии Елены
Мертвы как мумии — как мумии нетленны.
Их помертвевшие иссохшие красы
Люблю я созерцать в вечерние часы,
И мнится — надо мной дыханьем ароматным
Витают души их и ужасом приятным
Душа исполнена. Но кто владеет ей?
Дельфийский светлый бог иль мрачный бог теней?

1809, января 15.

Внутреннюю историю своих отношений с Еленой Травников утаил навсегда. Пытаться установить, как и когда возникла любовь между ними и кому принадлежала любовная инициатива, — значило бы пуститься в необоснованные психологические догадки. Достоверно лишь то, что однажды (это было в начале 1810 года) Травников спросил:

— Будете ли моей женой?

— Да, б у д у, — отвечала Е л е н а, — и никогда вам не изменю.

Последняя фраза несколько странно звучит в устах четырнадцатилетней девочки, но не следует забывать, что жиз-

ненный опыт и общее развитие у Елены были не таковы, как у ее сверстниц и современниц.

Елена и Травников не скрывали своих чувств от доктора Гилюса, у которого с дочерью раз навсегда были установлены отношения, не допускавшие тайн или умолчаний. В ответ на декларацию влюбленных доктор ответил кратко:

— Дело ваше. Через два года можете пожениться, коли не передумаете.

Елене было ровно столько же лет, сколько было матери Травникова, когда начался роман между нею и Григорием Ивановичем. В залог будущего обручения Травников и Елена обменялись кольцами из своих волос. Не знаю дальнейшей судьбы этих колец, но в 1919 г. они еще были целы. Я видел их и держал в руках. Они почти одинакового соломенного цвета и одинаковой мягкости, разве что волосы Елены немного темнее.

Весной 1810 г. Гилюсы по обыкновению переехали во Всехсвятское, а в июле месяце произошла катастрофа. Под Москвой и в самой Москве открылась эпидемия оспы. Елена заболела и на десятый день умерла. Травников видел в гробу ее лицо, обезображенное иссиня-черными струпами и застывшим гноем. Ее похоронили на том же кладбище, где недавно гуляла она с женихом. Так кончился этот роман, в котором с самого начала слишком многое напоминало о смерти и в котором вообще многое было слишком необыкновенно. Такие истории никогда не служат вступлением к семейному благополучию

Ш

Вряд ли Травников переписывался со своим пьяным отцом. Однако, потрясенный смертью Елены и не имея близких, он, видимо, написал отцу. Сохранился ответ Григория Ивановича — обширнейшее послание, написанное прыгающей рукой, по орфографии, фантастической даже для человека XVIII столетия. По существу это не письмо, а воспоминание о покойной Марии Васильевне Травниковой. В истории своего сына Григорий Иванович верно расслышал отголоски собственной драмы. Несмотря на сумбурность изложения и на то, что писавший порой пропускал то подлежащее, то сказуемое, поразительны в этом письме полнота, точность и своеобразная сила в изображении давних событий. Письмо насыщено неистовую любовью к женщине,

которую Травников свел в могилу. Замечательно, что Григорий Иванович не только не умолчал о чувственной стороне своего увлечения четырнадцатилетнею Машей Зотовой, но писал о том почти бесстыдно, с отчаянием и сладостью: «Сии поцелуи, напечатленные младенческими устами твоей матери — о, помню их! ибо ничто нас не воспламеняет, как воображение о невинности, страстями тревожимой! В брачные ночи не содержали они уже толикого пламени».

Обычных утешений в этом письме не было. Сочувствие сыновнему горю выразилось у Григория Ивановича в бурном наплыве собственных воспоминаний. Только в конце письма имеется краткое предложение приехать в Ильинское.

Василий Григорьевич решил ехать не на побывку, а навсегда. Два месяца, пока тянулись хлопоты об отставке, он редко выходил из дому и никого не принимал, кроме Измайлова, который посетил его несколько раз, встречая все более молчаливый прием. Травников почти не раскрывал рта, и Измайлов заметил, что его молчание было «подобно железу, раскаленному на морозе». Наконец, в октябре он уехал.

Встреча с отцом была лишена всякой чувствительности. Для Василия Григорьевича были открыты комнаты, в которых некогда жил он с матерью. Таким образом, отец и сын разместились на разных концах дома. Нужно думать, они встречались не часто, но этой внешнею разобщенностью лишь подчеркивалось их главное и глубокое сходство: оба несли свой крест с сосредоточенным ожесточением. Разница была только в том, что Григорий Иванович пьянствовал, а Василий Григорьевич жил, страдал и ожесточался в совершенной трезвости. Вина он никогда не пил, а теперь забросил и трубку, к которой одно время в Москве пристрастился. Бабы и девки из отцовского гарема, теперь уже, впрочем, полуупраздненного, с ним заигрывали, вероятно, в ожидании выгод, а быть может, из развратного соревнования. Однажды он не выдержал, поддался искушению, но затем изобразил происшедшее в стихах, исполненных неистового омерзения и такого же натурализма (невозможно из них привести хотя бы небольшой отрывок).

По отношению к крепостным держался он так, словно их и не было, не снисходя до деятельной жестокости, но и не вступая, когда их тиранил Григорий Иванович. В одном стихотворении, озаглавленном «Эклога» (вероятно, иронически), он говорит по этому поводу:

На сей земле, где учрежден один
Закон неумолимого¹ страданья, —
Да страждет раб, коль страждет господин!

С каждым годом жизнь в Ильинском становилась мрачнее. Она стала ужасной с 1814 года, когда у Григория Ивановича начались приступы буйного помешательства. После того, как он дважды пытался поджечь крестьянские дома, его пришлось перевести из барского дома во флигель, стоявший на берегу озера и когда-то служивший банею. Флигель заперли на замок, а единственное окно забрали железной решеткой. Флигель тотчас же превратился в хлев. Стекла в окне Григорий Иванович выбивал и летом, и зимою. Иногда целыми сутками он стоял у окна, тряс решетку и выл. Голос его доносился до самого дома. В такие дни и ночи Василий Григорьевич прекращал обычные занятия, сидел неподвижно в глубине комнаты и терпеливо ждал, когда вой кончится.

Все эти годы он писал много, но замечательно, что прямое упоминание об Елене имеется лишь в одном неоконченном стихотворении, в котором речь идет о первой части «Божественной комедии»:

Разлуки нашей минул год четвертый.
Без слез упав на камень гробовой,
Клянусь тебе словами книги той:
Amor condusse noi ad una morte².

В 1817 году Григорий Иванович умер, шестидесяти лет от роду. Василий Григорьевич остался в полном одиночестве, которое, кажется, было для него тем упоительнее, чем горше. До сих пор он изредка переписывался с Измайловым, поручая ему покупку книг. В обмен на эту любезность посылал он Измайлову свои стихи, но ни в коем случае не позволял их печатать, несмотря на постоянные просьбы Измайлова, который в эту эпоху был издателем «Вестника Европы» (между прочим, в июльской книжке 1814 года он впервые напечатал стихи юного лицеиста Александра Пушкина). После смерти отца Травников, видимо, захотел порвать последнюю связь с внешним миром. Он внезапно прекратил переписку с Измайловым, и это обстоятельство

¹ Рукопись не совсем разборчива. Может быть, следует читать «неумолимого».

² Любовь соединит нас в смерти (*um.*) *.

стало причиной трагикомического события, едва ли не беспримерного в истории литературы.

Не получая ответа на свои письма и откуда-то прослышав о смерти валдайского помещика Травникова, Измайлов вообразил, что умер не Григорий Иванович, а сам Василий Григорьевич. Не долго думая, собрал он его стихи и предложил их издать Платону Бекетову, который в ту пору занимался издательской деятельностью (в частности, только что выпустил четырехтомное собрание сочинений Богдановича). В 1818 году «Стихотворения Василия Травникова» были отпечатаны в Университетской Типографии. На заглавном листе красовалась, как было принято в этих случаях, виньетка, изображавшая пухлого гения с урною и потухшим факелом. Стихам было предпослано краткое, но чувствительное жизнеописание автора, «составленное его другом В. В. И.», т. е. Измайловым.

В сущности, такому человеку, каков был Травников, вся эта история должна была показаться комической, и в некотором смысле даже приятной. Однако, душа человеческая извилиста. Должно быть, где-то в глубине Травникова сидела досада на человечество. Словом, прочитав в «Московских Ведомостях» объявление о том, что такая-то книга выходит в свет и «будет продаваться в будущую среду», он пришел в крайнее раздражение и тотчас послал Платону Бекетову следующее письмо, воспроизводимое здесь по копии, которую Травников для себя сохранил:

«Милостивый Государь,
Платон Петрович!

Вы будете удивлены сим письмом, ибо не часто случается получать послания из полей Элизейских. Однако ж, мое удивление было не менее Вашего, когда я осведомился о выходе стихотворений покойного Василья Травникова. Имею честь почтового прозою уведомить Вас о том, что некогда Карл Орлеанский возвестил своим недругам и друзьям стихами:

Si fais à toutes gens savoir
Qu'encore est vive la souris ¹.

Человек, пожелавший оставить общество гг. сочинителей, не должен еще почитаться мертвым. Посему, сколько ни льстит мне издание Ваше, я нахожусь вынужден просить

¹ Всем людям надо знать, что мышь еще жива (фр.) *.

о незамедлительном уничтожении сей книги, сколько бы ни было ее отпечатано и где бы она ни находилась.

Честь имею быть,
Милостивый Государь!
Ваш покорный слуга
Василий Травников».

В высшей степени характерно для Травникова, что он не полюбопытствовал взглянуть на книгу и не попросил доставить ему экземпляр. Такой экземпляр, однако, нашелся впоследствии в его библиотеке. Очевидно, Измайлов и Бекетов, которых смущение не трудно себе представить, нашли нужным послать ему книгу. Несомненно, они при этом ему писали, но Травников уничтожал почти всю получаемую корреспонденцию.

* * *

Летом 1906 года я жил в имении, недалеко от станции Бологое. В одну из поездок по валдайскому уезду очутился я на довольно высоком, обрывистом холме, под которым лежало озеро. Над обрывом стояла маленькая деревянная часовня, стены которой были покрыты облупившейся синей краской. Она оказалась заколочена. Невдалеке от нее я набрел на несколько покосившихся, вросших в землю могильных памятников. На одной плите мне удалось прочесть стихотворную эпитафию, которая меня изумила:

Василий Травников лежит под камнем сим.
Прохожий! лживых слез не проливай над ним.

Обычные даты рождения и смерти отсутствовали. От бологовских жителей я ничего не узнал, кроме того, что на месте часовни стояла некогда церковь, лет двадцать тому назад сгоревшая вместе с усадьбой. Фамилию Травникова мои собеседники слышали в первый раз, так же, как и я сам.

Тринадцать лет спустя, в 1919 году, я принимал участие в московской Книжной Лавке Писателей. Однажды разговорился я с одним покупателем, который отрекомендовался инженером путей сообщения Александром Николаевичем Травниковым. Разумеется, мне тотчас вспомнилась валдайская эпитафия, и тут, к моему удивлению, оказалось: во-первых, — что Травников был поэт, а во-вторых — что мой собеседник приходится родным праправнуком его дяде Андрею Ивановичу.

Наше знакомство вскоре привело к тому, что в мое распоряжение была предоставлена часть семейного архива

Травниковых. В нем нашлись драгоценные материалы, из которых на первое место надо поставить экземпляр вышеупомянутого издания Бекетова, книжный уникум, которого нет ни в одном книгохранилище и который не обозначен в каталогах редчайших русских изданий. Далее оказалось, что анонимным историком литературы была составлена брошюра, содержащая критико-биографический очерк, а также ряд стихотворений Травникова, отчасти вошедших в бекетовское издание, отчасти неизданных. Брошюра издана в Пензе, без обозначения года, должно быть, на средства семейства Травниковых. Из нее видно, что в руках биографа был тот же архив, который позднее был предоставлен мне и в котором я нашел обширное собрание рукописей самого поэта, несколько его писем к Измайлову, а также переписку его родственников и восемь толстых тетрадей, содержащих дневники его матери. Наконец, собрание завершалось несколькими книгами из библиотеки Травникова. Просматривая все это, я тотчас убедился, что биографии, составленные Измайловым и анонимным автором в Пензе, страдают крайней неполнотой, неточностью и стремлением «облагодать» жизненную историю всей травниковской семьи. Всерьез считаться с этими работами нельзя. Между прочим, какая-то ирония судьбы преследовала Травникова в том отношении, что сперва Измайлов объявил его умершим, когда он еще был жив, а затем второй, пензенский биограф поэта, на основании семейного предания, отнес время его кончины к 1819 году. Между прочим, семейное предание, как часто бывает, оказалось ошибочно. Среди книг Травникова я нашел первое издание «Руслана и Людмилы». На обороте его титульного листа имеется карандашная надпись, сделанная рукою Травникова: «Молодой автор тратит свои дарования на низкое зубоскальство. Следствие воспитания, коему начало положено сочинениями вроде Опасного Соседа». Эта надпись, при всей несправедливости и односторонности весьма любопытная и крайне характерная для Травникова, к тому же доказывает, что в момент выхода пушкинской поэмы, т. е. в конце июля — в начале августа 1820 года, Травников был еще жив. Таким образом, он скончался не ранее осени 1820 года. О последних годах его жизни ничего не известно, кроме того, что они протекли в мрачном уединении Ильинского.

Мои занятия архивом Травникова были внезапно прерваны поспешным отъездом владельца в одну из белых армий. В моем распоряжении остались лишь выписки, сделанные в 1919 году. На основании этих выписок написан и настоящий очерк. Не имея под рукой собрания стихотворений Травникова, я лишен возможности подробнее ознакомить читателей с его поэзией. Поэтому ограничусь несколькими замечаниями.

То, что Травников умер всего 35 лет, причем никаких сведений о его болезни не сохранилось, и то, что он, видимо, сам распорядился касательно вышеприведенной надписи на своей бескрестной могиле, одно время заставляло меня думать, не покончил ли он с собой. Позже я пришел к выводу, что самоубийства не могло быть. Несомненно, жизнь его тяготила; она ему представлялась изнурительной, исполненной тайной злости. Всего яснее это ощущение им выражено в стихотворении «Ильинское». Здесь в первой строфе дано изображение душной июльской ночи (быть может, накануне Ильина дня), после чего следуют еще две строфы:

Кто их знает, у забора
 Злого духа или вора
 Окликали петухи?
 Но взошли лучи багряны,
 И на росные поляны
 Скот выводят пастухи.
 Под напевами свирели,
 Затихая, присмирели
 Холмы, рощи и поля, —
 Но обманчивая тихость
 Затаила злость и лихость
 Изнурительного дня.

Несомненно, он ждал и хотел смерти. В его черновиках я нашел наброски стихотворения, кончавшегося такими словами:

О, сердце, колос пыльный!
 К земле, костями обильной,
 Ты клонишься, дремля *.

Но приблизить конец искусственно было бы все же противно всей его жизненной и поэтической философии, основанной на том, что, не закрывая глаз на обиды, чинимые

свыше, человек из единой гордости должен вынести все до конца.

Я в том себе ищу и гордости, и чести,
Что утешение отверг с надеждой вместе,

говорит он. Отвергая надежду и утешение в жизни, в поэзии он стремился к отказу от всяческой украшенности. Конечно, с формальной стороны его творчество еще связано с XVIII веком. Но не Карамзин, не Жуковский, не Батюшков, а именно Травников начал сознательную борьбу с условностями книжного жеманства, которое было одним из наследий XVIII столетия. Впоследствии более других приближаются к Травникову Баратынский и те русские поэты, которых творчество связано с Баратынским. Быть может, те, кого принято считать учениками Баратынского, в действительности учились у Травникова?

<1936>

Приложение

**ДЕРЖАВИН В РУССКОЙ КРИТИКЕ
НАЧАЛА XX ВЕКА**

Б. А. Садовской

Г. Р. ДЕРЖАВИН

342

Б. А. Грифцов

ДЕРЖАВИН

350

Ю. И. Айхенвальд
ПАМЯТИ ДЕРЖАВИНА

365

П. М. Бицилли

ДЕРЖАВИН

371

Б. А. Садовской

Г. Р. ДЕРЖАВИН

«Кумир Державина, 1/4 золотой 3/4 свинцовый, донныне еще не оценен», — писал Пушкин Бестужеву в 1825 году *. С тех пор прошло больше восьмидесяти лет, а державинский кумир остается не оцененным и донныне. Критика русская им интересовалась мало. Один Белинский заметил, что поэзия Державина есть недоразвившаяся поэзия Пушкина, а Грот классически издал и комментировал его произведения. Но ни Белинский, ни Грот не сумели представить поэзию и личность Державина в полном историческом объеме. Первому мешала исключительность полуэстетической, полупублической точки зрения; второй в колоссальной своей работе преследовал, главным образом, чисто филологические цели. Самое издание Державина прошло незамеченным в шуме и бестолочи шестидесятых годов.

Пушкин в том же 1825 году в известном письме к Дельвигу сам попробовал бегло очертить крупную фигуру певца Фелицы. «По твоём отъезде перечел я Державина всего, и вот мое окончательное мнение. Этот чудак не знал ни русской грамоты, ни духа русского языка (вот почему он и ниже Ломоносова). Он не имел понятия ни о слоге, ни о гармонии — ни даже о правилах стихосложения. Вот почему он и должен бесить всякое разборчивое ухо. Он не только не выдерживает *оды*, но не может выдержать и строфы (исключая чего знаешь). Что же в нём? *мысли, картины и движения истинно поэтические*; читая его, кажется, читаешь дурной вольный перевод с какого-то чудесного подлинника. Ей-богу, его гений думал по-татарски, а русской грамоты не знал за недосугом. Державин, со временем переведенный, изумит Европу, а мы из гордости народной не скажем всего,

что мы знаем о нем (не говоря уж о его министерстве); у Державина должно сохранить будет од восемь да несколько отрывков, а прочее сжечь. Гений его можно сравнить с гением Суворова — жаль, что наш поэт слишком часто кричал петухом» *. В резком отзыве Пушкина далеко не все справедливо, но не забудем, что сам Пушкин был почти современником Державина. Близость исторической перспективы мешала ему воздать должное своему великому предтече. Притом Пушкину, как бывшему «арзамасцу», Державин, член «Беседы», сторонник и личный знакомый Шишкова, не мог не внушать известного ревнивого пренебрежения. Быть может, Пушкин бессознательно чувствовал в Державине единственного достойного себе соперника-поэта, которому он выступал на смену. Возможно также, что Пушкин полупрезрительно отзывался о Державине в первом упоении молодых поэтических надежд, перед которыми державинское прошлое не могло не казаться бедным и темным. Тем не менее, достоверно одно, что Пушкин никогда не любил Державина.

Но нас не должна смущать суровая резкость пушкинского приговора. Подлинная личность Державина Пушкину была совершенно неизвестна; тем более, как истые питомцы двух различных веков, по натуре они были людьми противоположными друг другу. В торжественных одах прямодушного царепоклонника вольнолюбивый Пушкин двадцатых годов видел одну грубую лесь. «С Державиным умолкнул голос лести, а как он Лытил!» ** — восклицает он в одном письме. Пушкин упрекал Державина за его министерство, за писание придворных од, но сам он в то время не был еще ни камер-юнкером, ни автором «Бородинской годовщины». А между тем Пушкина никак нельзя заподозрить в желании лстить кому бы то ни было.

Державин жил за полтора столетия до нас. В общем развитии русской жизни это такой огромный срок, такое необъятное историческое пространство, которое немислимо окинуть простым глазом: тут нужен телескоп.

Личность Державина в особенности ярко рисуется в его «Записках». В них он — весь, со всеми достоинствами и недостатками своей эпохи. При чтении этих на редкость откровенных «Записок» становится ясным, что знаменитые стихи: «За слова меня пусть гложет, за дела сатирик чтит» — не были пустой фразой. Младший современник Ломоносова, родившийся всего лет через пятнадцать по смерти Петра, выросший без всякого воспитания и образо-

вания в неприкосновенных условиях старорусского елизаветинского быта, — могли Державин смотреть на поэзию иначе, как на междудельную забаву? Из тех же «Записок» мы узнаем, что оды любимцам и вельможам ему случалось подносить не ради личных выгод, а единственно в интересах самой службы. По собственным словам, он «опасался быть причтен в число подлых и низких ласкателей, каковым никто не дает истинного вероятия», похвалы же он относил «только к Императрице и всему русскому народу». Зато в службе он, действительно, был «горяч и в правде чорт». Сама Фелица не всегда бывала довольна бескорыстным усердием своего Мурзы, а уж ей ли не пел он дифирамбов! То и дело у Державина случались опасные сшибки с Потемкиным, Вяземским и прочими «орлами», не говоря уже о ближайшем его начальстве. Он дерзал противоречиво спорить с самим грозным Императором Павлом и навлек на себя бурный его гнев¹, и наконец, был отставлен из министерств юстиции Александром за то только, что (как сказал ему Государь) «ты слишком ревностно служишь». Державин знал и любил свои служебные обязанности. В эпоху своеволия и всеобщего воровства своей честностью принося действительную пользу государству, он имел право требовать, чтобы его «чтили» за дела. Однако, заурядным чиновником Державин не был. Жизнь его полна приключений. Бедный казанский гимназист, ученик ссыльного каторжника, после измайловский рядовой, затем отважный офицер, преследующий с Бибиковым Пугачева, волею судеб превращается в важного государственного мужа. Под конец мы видим его величавым любезным старцем, министром на какое, мирно гуляющим по саду в своей Званке, в халате и колпаке, с грифельной доской в руках, с собачонкой за пазухой.

¹ Державин по той свободе, которую имел при докладах у покойной императрицы, сказал Павлу: «Не знает он, что сидеть ли ему в Совете, или стоять, то есть быть ли присутствующим, или начальником канцелярии». С сим словом вспыхнул Император; глаза его как молнии засверкали, и он, отворя двери, во весь голос закричал стоящим пред кабинетом Архарову, Трощинскому и прочим: *Слушайте: он почитает быть в Совете себя лишним, — и оборотясь к нему, — поди назад в Сенат и сиди у меня там смиренно, а не то я тебя проучу*. Державин как громом был поражен таким царским гневом и в беспамьятстве довольно громко сказал в зале стоящим: «ждите, будет от этого ...толк»*. (Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота. Издание Императорской Академии Наук. Том шестой. «Записки», стр. 705. СПб. 1871). Редкий решился бы так ответить Павлу даже «в беспамьятстве».

Как прекрасен в своей бытовой цельности этот могучий поэт, сопутствовавший блестящему веку Фелицы, этот лебедь в стае екатерининских орлов!

В одном Пушкин был прав: гений Державина не знал русской грамоты «за недосугом». Именно служебный недосуг мешал всю жизнь горячему и деятельному поэту, и только «поэту»; понятие «художник» было для того времени пустым звуком. Как бы провидя в будущем суровый отзыв потомка, он сам предоставил сатирику «глодать» его за стихи. На Державина следует смотреть просто и беспристрастно, глазами его века. Прежде всего это был усердный и прямодушный слуга отечества, только в часы отдыха бряцавший на лире.

Невыдержанность державинского стиха бросается в глаза лишь подпе Пушкина, но невозможно равнять гремящие вдохновенные дифирамбы Державина с профессорски гладким строем Ломоносова. Там, где Державин парит, Ломоносов только воспевает.

Но Пушкин заблуждался, полагая, что Державин не придавал никакого значения поэтической форме. В воспоминаниях И. И. Дмитриева рассказано, как вдумчиво прискивал Державин точные выражения и слова. Так, однажды любуясь вечерними облаками, он тут же назвал их «крае-златыми» и к поданной за ужином щуке приложил эпитет «с голубым пером». Стих его не чужд даже таких тонкостей, как звукоподражательность, аллитерация и т. п. «Ее страшит вокруг шум, бурь свист и хрупкий под ногами лист» («Водопад»). Его «Соловей во сне» по мастерству стиха бесконечно превосходит бальмонтовскую «Влагу»*: во всем, довольно длинном стихотворении ни разу не встречается буква *p*:

Я на холме спал высокою,
Слышал глас твой, соловей;
Даже в самом сне глубокою
Внятен был душе моею!
То звучал, то отдавался,
То стонал, то усмеялся
В слухе издалече о н , —
И в объятиях Калисты
Песни, вздохи, клики, свисты
Услаждали сладкий сон.

Если по моей кончине
В скучном бесконечном сне,
Ах! не будут так, как ныне,

Эти песни слышны мне,
И веселья, и забавы
Плясок, ликов, звуков славы
Не услышу больше я:
Стану ж жизнью наслаждаться,
Чаще с милой целоваться,
Слушать песни соловья.

В истории нашей литературы Державин останется вечно, как первый поэт, положивший начало развитию основного «пушкинского» периода русской поэзии. Пушкинский ямб прозвучал впервые у Державина, — яркий, сильный, но еще трепещущий и неровный, как неокрепший голос молодого лебедя на весенней заре.

Как храм ареопаг Палладе,
Нептуна презря, посвятил,
Притек к афинской лев ограде
И ревом городу грозил.

Она копья непобедима
Ко ополчению не взяла.
Противу льва неукротима
С Олимпа Гебу призвала.

Пошла — и под оливой стала,
Блестая легкою броней,
Младую Нимфу обнимала,
Сидящую в тени ветвей.

Лев шел — и под его стопю
Приморский влажный брег дрожал;
Но, встретясь вдруг со красотою,
Как солнцем пораженный, стал.

Вздыхал и пал к ногам лев сильный,
Прелестну руку лобызал,
И чувства кроткия, умильны,
В сверкающих очах являл.

Стыдлива дева улыбалась
На молодого льва смотря,
Кудрявой гривой забавлялась
Сего звериного царя.

Минерва мудрая познала
Его родящуюся страсть,
Цветочной цепью привязала
И отдала любви во власть.

Не раз потом уже случалось,
Что ум смирял и ярость львов;
Красою мужество сражалось
И побеждала все — любовь.

Вот чистый державинский ямб, в звуках которого одинаково предчувствуется и полдень Пушкина, и брюсовский закат. Это неуклюжее «как» впоследствии преобразуется в пластически-ясное «когда» («Когда ко граду Константиана»), в изысканно-музыкальное «едва» («Едва над морем рассвело»). В самом выборе классического сюжета, в манере художественного рисунка, в уклонах ритма — звучит нам с детства, заученное в «Египетских ночах», недавно перечитанное в «Правде кумиров» *. В безыскусственном, угловатом стихе — какая свежесть поэзии! Вот они, те самые «истинно поэтические движения», о которых говорил Пушкин. Сильный лев, грозящий ревом городу, заставляющий приморский берег дрожать под своей стопой, и, вздыхая, лобзающий руку Гебы; стыдливая дева, забавляющаяся кудрявой гривой звериного царя, и вся эта поэзия трех предпоследних строф, как характерно и пышно изображено это у Державина! Первоклассный изобразитель внешнего великолепия и красоты, искусный живописец, умевший, как и все люди своего века, высоко и тонко ценить обаятельность земных благ, Державин неподражаем в описании пиршеств и забав.

Шексинска стерлядь золотая,
Каймак и борщ уже стоят.
В графинах вина, пушш, блистая,
То льдом, то искрами, манят;
С курильниц благовонья льются.
Плоды среди корзин смеются,
Не смеют слуги и дохнуть,
Тебя стола вокруг ожидая;
Хозяйка статная, младая
Готова руку протянуть.

И Пушкин любил, подобно Державину, описывать тонкие кушанья и вина: сок Кометы, окровавленный roast-beaf, трюфли, страсбургский пирог и благословенное вино Мозта. И Пушкин еще в лицее полюбил легкокрылое похмелье, но ему и его друзьям уже чужд был эпикурейский пафос дедов: пламенные речи будущих декабристов мешали сварению желудка, картинно-гомерическое обжорство сменялось изящными пирами «Зеленой лампы».

Замечателен юмор у Державина. Выспренный парнасец был в то же время остроумным барином, любившим иногда сшутить жирную российскую шутку. Вот начало его шуточного «Желания зимы»¹, где, между прочим, (редкость у Державина!) встречается целый ряд областных слов, только впоследствии объясненных Далем.

На кабаке Борей
Эол ударил в нюни;
От вяхи той бледнея,
Борей вино и слюни
Из глотки источил,
Всю землю замочил.
И зря ту Осень шутку,
Их вправду драться нудит,
Подняв пред нами юбку,
Дожди, как реки, прудит,
Плеща им в рожи грязь,
Как дуракам смеясь.

В убранстве козырбацком,
Со ямщиком нахалом,
На иноходце хватском,
Под белым покрывалом, —
Бореева кума —
Катит в санях зима.

Кати, кума драгая,
В шубеночке атласной,
Чтоб Осень, баба злая,
На Астраханский красный
Не шлендала кабак
И не кутила драк.

Кати к нам, белолика,
Кати, Зима младая,
И, льясь седого трыка
И страсть к нему являя,
Эола усмири,
С Бореем помири².

Нельзя не любоваться первобытным остроумием этого державинского памфлета, брызжущего искрами неподдель-

¹ «Желание зимы. Его милости разжалованному отставному сержанту, дворянской думы копиисту, архивариусу без архива, управителю без имения стихотворцу без вкуса» (1787 г.).

² Нюни — губы; вяха — небывалый случай, чудо; козырбацкий (кизильбашский) — красный; шлендать — бродить по грязи; трык — ветреник.

ного веселья. Медвежья грация стиха так и дышит русским восемнадцатым веком. «Послание моему привратнику» и сатирические отрывки из некоторых од могут дать полное представление об этой еще неисследованной стороне в поэзии Державина.

Надо ли говорить о таких перлах, как «Фелица», «Водопад», «Осень во время осады Очакова»? Точность и яркость грандиозной живописи особенно поразительны в описательных местах державинских од. Вот, например, начало «Павлина»:

Какое гордое творенье,
Хвост пышно расширяя свой,
Чернозелены в искрах перья
Со рассыпною бахромой
Позадь чешуйной груди кажет,
Как некий круглый дивный щит.

Лазурно-сизо-бирюзовы
На каждого конце пера
Тенисты круги, волны новы
Струиста злата и серебра;
Наклонит — изумруды блещут!
Повернет — яхонты горят!

Трудно найти более картинное и верное описание павлиньих красок.

Богатая Сибирь, наклоншись над столами,
Рассыпала по ним и золото, и серебро;
Восточный, Западный, седые океаны,
Трясяся челами, держали редких рыб;
Чернокудрявый лес и беловласы степи,
Украина, Холмогор, несли тельцов и дичь;
Венчанна класами, хлеб Волга подавала,
С плодами сладкими принес кошницу Тавр;
Рифей, нагнувшись, в топазы, аметисты
Лил кубки мед златой, древ искрометный сок,
И с Дона сладкие и крымски вкусны вина;
Прекрасная Нева, прияв от Бельта с рук
В фарфоре, кристале, чужие питья, снеди
Носила по гостям, как будто бы стыдясь,
Что потчивать должна так прихоть поневоле.

Именно после Державина, а не после Батюшкова и Жуковского, надо было ждать Пушкина. Державин дожил до 1816 года, сохранив за собою первенство в поэзии — вспом-

ним, как в те времена благоговел перед ним отрок Пушкин. Правда, потом он порицал Державина за невыдержанность стиха, но и восхищение его Жуковским и Батюшковым сделалось далеко не безусловным. В поэзии Пушкина нет ничего общего с Жуковским, а к Батюшкову он отнесся впоследствии с чрезвычайной строгостью, найдя у него всего одно выдержанное стихотворение. Замечательны слова Державина, сказанные им за несколько месяцев до смерти С. Т. Аксакову: «Скоро явится свету второй Державин: это Пушкин, который уже в лице перещеголял всех писателей».

Державин угасал, а на его глазах промелькнула почти вся плеяда предшествовавших Пушкину поэтов. Чопорный Дмитрий Дмитриевич, умный стихотворец Карамзин, классики Мерзляков и Гнедич, нежный идиллик Капнист, пылкий гусар-идеалист Денис Давыдов, Жуковский, Батюшков. Громы двенадцатого года всколыхнули самодумную старозаветную Русь; древний екатерининский быт в лице Державина понемногу забывался, уходил в вечность и на краю гроба благословлял Пушкина, как вестника новой жизни. Пушкину предстояло очистить алмаз русского стиха от державинской коры.

1907

Б. А. Грифцов

ДЕРЖАВИН

Не заключит меня гробница,
Средь звезд не превращусь я в прах,
Но, будто некая цевница,
С небес раздамся в голосах.

Так Державин думал о своей посмертной судьбе. Но он ошибся. «Державин оставил после себя в казенных архивах массу официальных кляузных бумаг». «В толпе добровольных челядинцев явился Державин». «Ничего не может быть слабее художественной стороны стихотворений Державина». «В его произведениях стали оспаривать даже присутствие истинной поэзии».

«Он был дикарь с добрым от природы сердцем... Но его тщеславие было так простодушно, его ограниченность так недогадлива, что можно ему простить все его нелепости, тем больше, что они остались безвредными для государства»

по его бессилию... и поэтические его произведения не имеют ровно никакой цены, кроме разве некоторого исторического интереса. Был ли у него талант, или нет, это мы сами уже не могли бы различить, видя в его стихах одно только безвкусье»¹.

Кол за колом вколачивали в могилу Державина исследователи его поэзии и его жизни. Эти две стороны умышленно не различались, пока не соединились окончательно в приговоре Чернышевского. Один только Я. К. Грот заботливо издает и комментирует Державина, но и он, отмежевываясь от «критиков, хотевших прослыть передовыми людьми», не видит, как логично вытекло это обличительное направление из относительно-исторического метода Белинского. Если прав Белинский, говоря, что поэзия Державина есть поэтическая летопись царствования Екатерины, то прав и Чернышевский. Попытка защитить Державина², реабилитируя Екатерининский блеск, обречена на неудачу. Вновь поэзия стала бы мемуарами или публицистикой, неизвестно почему переложенными на стихи. Если в Державине искать летописца, то выяснено, что летописец он был бестолковый и недостоверный. И к чему тогда та искусственная и осложняющая правильность наблюдений стихотворная форма, которая становится случайным и мешающим придатком. Как смешно тогда признание Державина о «необычайном парении», в котором он отделяется от «тленного мира». Между тем этому признанию при нашем непосредственном отношении к нему, присуща такая самодовлеющая достоверность, что делается совершенно ненужным спрашивать, какими земными, житейскими комментариями снабдят это «парение» критики Державина и даже он сам. Его собственные «объяснения» его стихов и «записки» о его жизни дают, действительно, наихудший и наименее достоверный комментарий. Тот же возносящийся к образу чистых идей «Лебедь» снабжается комментарием самого Державина о «составленном им проекте учреждения третейского суда, не утвержденном по проискам защитников». Державину казалось, что это великолепное видение, дающее основную

¹ Статьи: Лонского «Державин в Петрозаводске». Р. Мысль 1883, кн. 10 и 11; П. П. «Кн. Платон Александрович Зубов». Р. Старина 1876, т. XVI и XVII; В. Белинского: «Сочинения Державина» 1843 г.; А. Н. Пышина в Ист. русск. литературы т. IV; Н. Г. Чернышевского «Прадедовские нравы» собр. соч. т. VI*.

² Б. Садовской. «Русская Камена». 1910.

нить его миропреобразующего воображения (лебедь — извечный символ света и поэзии — сущность поэзии Державина, пользующейся исключительно световыми обозначениями) казалось, что это только ответ на служебные дразги, на постоянные происки его служебных врагов. Это любимая и в сущности единственная тема автобиографии Державина.

Три линии жизни расходятся в разные стороны. Сухой, условный язык «Записок», почти не говорит об энергичном, грубоватом и уверенном в житейских благах бытовом его облике. Одновременное осуществление трех методов жизни создает запутанный, разноплоскостный узор. Над чиновнической и бытовой плоскостями поэзия возносится самодовлеющей постройкой, со своими законами развития и со своими первоисточками. Легко отмирают и проходят человеческие волнения, боли и всегда частичные события. Возродившиеся от них образы живут в фантастическом и себе лишь подвластном отвлечении.

Нет оснований сомневаться в боли Державина от смерти его первой жены. Но холодно регистрирует он в своих записках: «июля 15 числа 1794 года скончалась у него первая жена. Не могли быть спокойным о домашних недостатках и по службе неприятностях, чтоб от скуки не уклониться в какой разврат, женился он Генваря 31-го дня, 1795 года на другой жене, девице Д. А. Дьяковой». Нет боли также в пьесе «Ласточка», о которой помечает Державин: «сочинено в память первой жены автора». В свой мир уносится поэзия, чистая, безбольная, самодовлеющая.

О, домовитая ласточка!
О, милосизая птичка.

О ком это? О живом человеке или о том образе, который странным поводом соединился для него с живыми конкретными чувствами? Для него, но не для нас. Нам остался лишь самовольный и самоценный образ. К сравнению его с живым человеком Державин и сам не возвращается. Нет — он весь во власти самого образа, самого мифа, потому что образ ласточки у него немедленно рождает новые связи:

Ты часто во зеркале водном
Под рдяной играешь зарей,
На зыбком лазуре бездонном
Тенью мелькаешь твоей!
Ты часто, как молния, реешь
Мгновенно туды и сюды;

Сама за собой не успеешь
Невидимы видеть следы;
Но видишь там всю ты вселенну,
Как будто с высот на ковре:
Там башню, как жар позлащенну,
В чешуйчатом флот там серебре.

Полет ласточки с непривычной быстротой породил полет фантазии над миром, по-своему воспринятым. Умершая жена? Нет — реющая ласточка, для которой мир стал ковром играющих красок. И этот блеск красок служит ручательством за то, что есть «новое солнце», есть бессмертие, которое может быть изображено лишь так ослепительно. Эти самовольные образы, к которым конкретный мир имеет отношение очень далекое, как будто развиваются в своем царстве, но при законченном развитии дают вновь неожиданную душевную уверенность:

Воспой же бессмертия мира.
Восстану, восстану и я;
Восстану — и в бездне эфира
Увижу ль тебя я, Пленира? *

Логически это доказательство бессмертия непонятно. Но сложная связь жизненного случая с отдельным и приобретающим абсолютность образом и постижение бессмертия через фантастическую светопись явились свободно, произвольно, — здесь заключены все постоянные и существенные элементы поэзии Державина.

Когда мы думаем о человеке старого времени, нам представляется, что жизнь его ушла уверенным ходом среди быта и вещей. Сознание, не коснувшееся соблазна философии, для которого вещь вполне заменяет проблему вещи, ставит себе близкие и осуществимые цели. Человек законно любит земные блага и уверен в законности своих чувств, в конкретности своих желаний, не боится грубых жестов, с открытым взглядом встречает жестокости и ценит спокойствие семьи, деревенской работы, еще не утомляющей городской суеты. Такими более живущими и действующими, чем оценивающими и размышляющими, были люди XVIII века, особенно русского достаточно варварского XVIII века. Таким, наверно, был Державин в своем действительном облике. Таким отчасти он изображает себя в Записках — грубоватым, алчным и уверенным в бытии земных благ. Рассказывая о своей беспутной молодости, он не скрывает, как «упражнялся в заторных поступках и в неблагопристойной

жизни, то есть в пьянстве, карточной игре и в обхождении с непотребными ямскими девками». Особенно усмирение пугачевского бунта окружено атмосферой чувств, вполне откровенных, жестоких и уверенных.

Казалось бы, в цельном состоянии простой души, всякая работа воображения истоком своим будет иметь действительные ощущения, тем более что нет никаких оснований выходить за границы вещественно ограниченного мира. Человек ощущает себя и мир так прочно и связано. Но чем сильнее непосредственное физиологическое жизнеощущение, тем сильнее соблазн уйти в фантастический мир. Зачем? Мы не знаем. Знаем только, что простой человек не станет читать рассказов из близкой ему повседневной жизни. И потому, может быть, с таким постоянством фантазирует о мире Державин, что тяжел и верен жизненный противовес.

Державин должен был, конечно, оставить картины своей благополучной жизни. Обеды, праздники, убранство комнат, деревенские пейзажи — как изображает всю обстановку своей жизни человек наивный и — ожидали бы мы — натуралистически настроенный? Разве натурализм не ищет своей единственной опоры в простом человеческом восприятии? Но первичное восприятие вовсе не просто и совсем не наивно. Наоборот, Державин прибегает всегда к таким отвлеченным живописным приемам, которые ближе всего стоят не к передвижникам, даже не к влюбленным в вещи голландцам, а к крикливо-ярким краскам, к условным красочным узорам новой французской живописи. Державин был влюбчив и любил поест — Я. Грот не может скрыть этих его «недостатков». Но для Державина-поэта отмирают наиболее конкретные вкусовые ощущения, заменяясь отвлеченными обозначениями, лишь световыми и красочными. Обеденный стол? Нет. Это только:

Цветник, поставленный узором:
Багряна ветчина, зелены щи с желтком,
Румяно-желт пирог, сыр белый, раки красны,
Что смоль, янтарь — икра, и с голубым пером
Там щука пестрая — прекрасны.

Как реалистически-неверно это описание.

Между тем, все восхваление деревенской жизни, где, казалось бы, вещи станут близки именно своей вещностью, преследует только одну красочную цель — из жизни сделать цветник, узор.

То в масле, то в сотах зрю *злато* под ветвями,
То пурпур в ягодах, то бархат-пух грибов,
Сребро, трепещуще лещами.

Вещи открылись с иной стороны. Не они подобны отвлеченному золоту. Нет, они лишь частное проявление извечных, блистающих форм. Золото первее сот, серебро достовернее лещей. Теперь спросите, каков истинный предмет поэзии Державина? Во всяком случае, напрасно будет он сам уверять, что описывает «русский простой обед», что единственное известное ему блаженство «в здоровье и спокойстве духа», что «умеренность есть лучший пир». Он знал своеобразный и неумеренный пир красок. Вновь будет для него золотою шекснинская стерлядь и вина будут манить игрою льда и искр.

Вне световых обозначений, без игры красок невысказанно для него ни одно душевное волнение, ни один духовный образ. Исходя как будто от случайных происшествий придворной жизни или служебной карьеры, его поэзия именно таким постижением мира становится на путь мифологизации, и для него связавшиеся с частными событиями мифы — для нас живут самостоятельной, крайне интенсивной жизнью.

Но история мифа, по-видимому, всегда останется непонятной. Пусть кропотливая сравнительно-историческая критика установит твердо, какой частный случай дал толчок к созданию мифа, какая страсть или природная сила получила свое божественное бытие, — это несколько не объяснит самую божественность мифа, его настойчивость, его отделение от предмета. Нимфа, живущая у ручья, не нужна для здравого смысла, лишь усложняя своим двойственным бытием течение ручья.

Тем не менее мифы возникают. Поэзия Державина открывает в полной постепенности путь такой мифологизации. Приемы его портретной и пейзажной живописи не нужны для точного, натуралистического описания предмета. Портреты, написанные Державиным, особенно странны. В одном из самых ранних своих стихотворений он обращался к какой-то даме с просьбой:

Не сожигай меня, Пламида,
Ты тихим голубым огнем
Очей твоих.

Позже в его стихах появятся другие женские имена. Но будут ли они простыми или фантастическими, вроде Пленеры и Милены, все равно их носительницы будут из того же племени Пламид, потерявших свой сердечный, чувственный облик и лишь сохранивших отвлеченные напоминания о разнокрасочном огне.

Галерея этих женских образов очень цельна по изобразительным средствам. И еще более удивляет портрет, на котором значится обыкновенное имя. Так не представишь себе легко Лизу из стихотворения «Пчелка»:

Соты ль душиста
В желтых власах,
Роза ль огниста
В алых устах,
Сахар ли белый
Грудь у нея?

Вся наблюдательность поэта направлена на то, чтобы подметить детали в игре красок: у М. А. Львовой «снегоподобная рука», а у русских девушек, танцующих танец бычка, видно:

Как сквозь жилки голубые
Льется розовая кровь.

Одна лишь черта показалась поэту достаточной для того, чтобы дать портрет П. М. Бакуниной:

Белокурая Параша,
Среброцветное лицо.

Еще смелее «Портрет Варюши», ее сестры:

Милая заря весення,
Алым блеском покровенна,
Как встает с кристальных вод
И в небесный идет свод,
Мещет яхонтные взоры;
Тихий свет и огонь живой
Пронизает тверды горы:
Так, Варюша, образ твой.

На портретной живописи наиболее достоверно можно проследить живописные приемы. Она, казалось бы, наиболее ограничена. На человеческом лице Державин видел только голубой огонь, яхонтные взоры, огнистые розы. То же преобразование мира в огне окажется достоверным его методом, которому подчинено все его «поэтическое» изучение мира. Но что значит «поэтическое»?

Сам Державин был уверен в преобразовательных правах поэзии, в том, что если «в натуральном смысле, конечно, звезды блистают, а звуки звучат», то это необязательно для смысла «витиеватого или фигурального». Таким образом, не совсем уже случайно предоставил он возникать и укрепляться своим живописным приемам. Однако, дальше в логическом анализе смысла и ценности метафоры он не пошел, скорее считая себя реалистом по темам своей поэзии. Но нисколько не в темах обнаруживается сущность, истинный предмет его поэзии. Потерявшие для нас живой смысл и непосредственный интерес события, военные эпизоды, случаи чиновнической и придворной жизни, в моральной оценке которых мы так мало могли бы согласиться с Державиным — были только поводом для того, чтобы возникали его видения, полные блеска, значительности и для людей с совсем иным кругом житейских впечатлений. И точно так же нет дела эстетике до случайных вопросов о том, красиво и приятно ли для нас такое условное преобразование мира. Независимо от этого субъективного чувства удовольствия, оно встает перед нами настойчиво, требовательно, и остается только следить, насколько целен этот мир, так далеко вознесшийся над впечатлениями, которые по привычке мы считали естественными, хотя они не менее условны по своей структуре. Только такая точка зрения была бы достаточно свободна для того, чтобы отдаться полной освобожденности лирики Державина. Она бесспорно цельна: черты человеческого лица и обстановка дома, простой деревенский пейзаж для него были только проявлением извечных стойких форм. Эти формы — своего рода рай, еще не потерянный для человека. Недаром блеск их наиболее ясен, когда Державин задается вопросом, как можно представить себе «небесный вертоград». Сонмы блаженных «в прозрачных радужных шатрах» видит поэт, их бесплотный слух утешает своею лирою Ломоносов:

Уже, как молния, пронзает
Их светлу грудь его хвала;
Злат мед блестит в устах пунцовых,
Зари играют на щеках;
На мягких зыблющих, перловых
Они возлегши облаках,
Небесных арф и дев внимают
Поющих тихоструйный хор.

Неужели нужно настаивать, что это отрывок из стихотворения «На взятие Варшавы»? Трудно даже вспомнить,

что оказалось поводом для того, чтобы Державин так свободно унесся в мир своих идей. А когда взгляд его обратится к конкретному предмету или картине, в них также он увидит лишь осуществленное ранее в райском прототипе. Поэтому лето откроет последовательность играющих красок:

Знойное лето весна увенчала
Розовым, алым по кудрям венцом;
Липова роща, как жар, возблистала
Вкруг меда листом.
Желтые грозды, сквозь лист продираясь,
Запахом, рдянцем нимф сельских манят;
Травы и нивы, косой озаряясь,
Как волны шумят.
Стклянные реки лучем полудневым,
Жидкому злату подобно, текут.

Если так верны, так прочны природные краски, то на свете нет ничего страшного, томящего и мечтательного. Нет пределов для освещения всяческих повседневных явлений блистанием райских красок. Радость о мире придет не от мира, безразличное движение которого не видно поэту, но от настойчивости его воображения, находящего вещи в момент их наибольшего блистания или еще сосредоточивающегося на вещах блистающих. Но Державину мало природного света. Гиперболизм — сознательно принятый им метод.

В своем «Рассуждении о лирической поэзии или об оде», рассуждении, местами поражающем неожиданной эрудицией, Державин оправдывает различные особенности своих од. Он говорит здесь о воображении, которое тем пламеннее, чем народ дичее, о смелом вступлении, происходящем «от накопления мыслей, которые, подобно воде, стеснившейся при плотине или скале, вдруг прорываясь сквозь оные, с шумом начинают свое стремление», о лирическом беспорядке, означающем, «что восторженный разум не успевает чрезмерно быстротекущих мыслей расположить логически» — «лирик в пространном кругу своего светлого воображения видит вдруг тысячи мест, от которых, чрез которые и при которых достичь ему предмета, им преследуемого; но их нарочно пропускает или, так сказать, совмещает в одну совокупность, чтоб скорей до него долететь», наконец, о блестящих картинах, которые должны быть «начертаны огненною кистью» — «здесь более всего идут иперболь».

Из всей томительно-скупной, служебно повседневной прозы Державина только одна эта статья по богатству своих

мыслей может быть сопоставлена с творческой силой его лирики. И тем больше убедительность этой статьи, что она лишь резюмирует действительно им осуществленные методы. Случайно Державин дал в ней одно сравнение — потока мыслей и потока воды, которое для него больше, чем простая вольная метафора. Скорее здесь намечена та первоосновная стихия, изменения и виды которой более всего приближаются к различным состояниям души. Душа неведома и непостижима, она познается только метафорически. И весь мир не познается ли в метафорах всего адекватнее? Почему такое преобразующее поэтическое познание, являющееся в то же время всегда и созданием мира, считать необязательным, а строю понятий, в котором уже не осталось никакого воспоминания о конкретном и живом многообразии, приписывать достоверность? Державин не задается — по счастью — теоретико-познавательными задачами, и потому такой, действительно творческой и синтетической силой обладают его переживания. Разнообразным чувствам соответствуют видоизменения отвлеченной стихии. Она подобна воде, меняющей ритм своего течения, подобна стеклу, прозрачному, отражающему игру драгоценных камней. Она едина и изменчива в своей игре, в своих ритмах.

Идиллические, нежные чувства для Державина звучат при «Прогулке в Царском Селе», как шум струи, под багряным золотом неба:

За нами вслед летела
Жемчужная струя;
Кристал шумел от весел,
О, сколько с нею я
В прогулке сей был весел.
Любезная моя,
Я тут сказал: Пленира,
Тобой пленен мой дух,
Ты дар всего мне мира
Взгляни, взгляни вокруг
И виждь: красы природы
Как бы стеклись к нам вдруг:
Сребром сверкают воды,
Рубином облака,
Багряным златом кровы;
Как огненна река,
Свет ясный, пурпуровый
Объял все воды вокруг.

Медленное течение стиха разбито на строки, подобные звеньям жемчужного ожерелья, оно вносит мир и нежность

в сверкание красок, в медленное и сверкающее движение чувств. Но переход от идиллических семейных чувств к метафизическому полету есть не более, как замена водной игры в озере — бурным стремлением водопада:

Алмазно сыплется гора
С высот четырехя скалами;
Жемчугу бездна и сребра
Кипит внизу, бьет вверх буграми...
Не так ли с неба время льется,
Кипит стремление страстей,
Честь блещет, слава раздается,
Мелькает счастье наших дней?

Державинская лирика легко может теперь показаться нечеловечной. В ней совсем нет психологии, описания чувств и страстей — в том смысле, какой мы теперь считаем обязательным. Но история философии знает пример вполне параллельный. Точно так же относится современная терминология к образному языку и образному познанию досократовских философов. Следует ли только из этого, что Фалеса и Гераклита нужно переводить на наш бесцветный и отвлеченный язык? Все моральные сентенции Державина действительно бесцветны.

Но энергия просыпается вновь, как только оказывается возможным в душе и во всем мире увидеть ту игру перво-зданных стихий, которую дается связь с Богом, творящим мир в блеске красок и в игрании света. Вновь можно растеряться от непривычности державинских психологических описаний.

Все чувствует любовь.
Стрела ее средь их сердец,
Как луч меж двух холмов кристалльных.

Нужно знать предпосылки взглядов Державина, чтобы понять, откуда могли появиться эти кристалльные холмы. Если даже считать их за простое сравнение — смысл их непонятен. Однако, образы из столь же странного мира приходят к нему так часто, что в самом упорстве их звучит достоверность. Сколько раз и другие поэты говорили о поэтическом огне. И в большинстве случаев, никакой нет охоты придавать значение буквальному смыслу. Но от этой привычки, очевидно, следует отказаться при подходе к Державину.

Когда небесный возгорится
В Пиите огонь, он будет петь.

Для него это признание звучало иначе, входя в цикл рассказов о первооснове жизни. Державин мало знал классический мир, но едва ли кто другой мог с такою убежденностью в древнем мифе представить себе идею бессмертия и сказать с такою радостью:

Блеснет, и вновь под небесами
Начнет свой феникс новый круг.

Тем более не знал Державин архаическую философию, но невольно возникающее в нем представление об огненной конкретности Духа и стихийной и блистающей первооснове близки к политеистическому учению Фалеса Милетского о воде — первооснове мира, к мысли Гераклита о вечно текущем огне, образующем душу, плененную водою и землей. Целен, полон радости творческий процесс, один и тот же у Бога, творящего мир красочно, и у поэта, для которого так блестяща:

«Я здесь жив у», — но в целом мире
Крылата мысль моя парит;
«Я здесь умру», — но и в эфире
Мой глас по смерти возгремит.
О если б стихотворство знало
Брать краску солнечных лучей, —
Как ночью бы луна, сияло
Бессмертие души моей.

Откуда возникла эта конкретная и вместе с тем до полного эстетизма отвлеченная поэзия? Нет никакой прямой преемственности в лирических постижениях. Своей своеобразнейшей идеи — постигать мир стихийно и красочно — Державин не передал никому. Поэтому так опасно эту связь между вещами, одушевлением и Богом, открывшуюся Державину с такой несомненностью, сопоставлять с позднейшими понятиями о Боге. Иные апологеты Державина говорили о вечности его тем: идей Бога, бессмертия души, правды, закона и долга. Но эта похвала может быть для Державина более губительна, чем порицания его врагов, знавших в своем опыте только чиновнический быт, которого искали поэтому в его поэзии. Бесконечно далек «Бог» Державина от каких бы то ни было моралистических представлений. Мораль у него тускла, но сильна энергия его фанта-

зии, поднимающейся иногда до действительного мифа. Гимн Солнцу Державин создает неотделимо от оды Богу. И переводу Клеантова гимна Богу он предпосылает свою картину утра, наиболее восторженную, наиболее ярко преображающую, расцвечивающую мир и повседневный пейзаж. Для Клеанта, архаического певца Зевса — думал Державин — не могло быть в мире тусклых красок:

Он зрел с восторгом благолепным
От сна на восстающий мир.
Какое зрелище! Какой прекрасный пир
Открылся всей ему природы.

Игра красок возрастает по мере того, как лучи достигают земли:

Посыпались со скал
Рубины, яхонты, кристал,
И бисера перловы
Зажглися на ветвях;
Багряны тени, бирюзовы
Слилися с золотом в облаках, —
И все сияние покрыло.

Вот, кажется, предел эстетизма, далекого от чувств, сомнений, преданного только игре и блеску. Но только насладившись ими подробно, упорно и длительно, можно воспеть гимн Богу. Знаменательно и это Державиным созданное вступление к древнегреческому гимну и сделанный им перевод гимна, воспевающего «пламенную, вечную живую молнию» более, чем Зевса. Но ни в немецком переводе, которым пользовался Державин, ни в переводе точном не найти той яркости, того странного блеска, который созидает сам Державин в своих теологических одах. С большою смелостью в общеизвестной оде через звезды и солнце постигал Державин Бога:

Как искры сыплются, стремятся,
Так солнцы от тебя родятся;
Как в мразный ясный день зимой
Пылинки инея сверкают
Вратятся, зыблются, сияют
Так звезды в безднах под тобой.

Еще больше державинскую теологию мог бы выразить образ «Счастья» несущегося:

На шароводной колеснице
Хрустальной, скользкой, роковой.

Такой образ, вполне свободный от моральных и физических закономерностей, исполненный лишь игры и света, завершает мир, возникший калейдоскопическим узором. К божеству с подобными атрибутами всего естественнее обратиться с мольбою, чтобы оно даровало душу, чистую «как водный ключ», «как луч небес», более светлую,

Чем золото, жженое огнем.

Ему соответствует тот падающий с небес «ток светлых, бесперывных вод», которому можно уподобить время. Безбольно, уверенно это течение времен:

Разсекши огненной стезею
Небесный синеватый свод,
Багряной облечен зарею,
Сошел на землю Новый Год.

Над сменами сильна уверенность, что он вновь сойдет в том же пламенном великолепии. С той же закономерностью, прозрачной и блистающей, сменяют друг друга долгие периоды, возрасты.

Как перлом блестящий
По лугу ручей:
Так юности утро,
Играя, течет.

Иначе, но не изменяя основной стихии «блестит страстями» мужество и, наконец, старость подобна безбурному «стеклянному озеру».

На запад свой ясный
Он весело зрит.

Мудрость, подобная радуге, нисходит на душу —

Сиянье радужных небес,
Души чистейшее спокойство.

Это — любимейший образ Державина, «стихотворство», которого, действительно, «знало брать краску солнечных лучей». Поэтому он не старался повествовать о мучительно-долгих и скорбных путях к творчеству. От земных, душевных, подготовительных путей он отделялся так легко и безбольно.

Взглянь, Апеллес! взглянь в небеса!
В сумрачном облаке там,
Видишь, какая из лент полоса,
Огненна ткань блещет очам...
Только одно солнце лучами
В каплях дождя, в дол отразься,
Может писать сими цветами
В мраке и мгле, вечно светясь:
Умей подражать ты ему:
Лей свет в тьму.

Каждый момент державинской поэзии: пейзаж ли, прославление ли Бога или воспоминание о светском празднике, о давно забытой битве, взятой отдельно, может показаться неискренним и непонятым. Но легко гаснут эти отдельные поводы, и за ними светел и легок мир. Он первее и искреннее, чем те действительные лица и события, которые тусклому воображению кажутся пределом для познания и для творческой радости. Как бы ни уходил потом сам Державин в своих размышлениях далеко от этого мира, он оставался для поэта вечно блистающим прообразом:

Там небо всюду лучезарно
Янтарным пламенем блестит.

Один случай из последних годов жизни Державина может дать пример для различных критических точек зрения. В марте 1811 г. в доме поэта происходило открытие Беседы любителей русского слова. На первое собрание ожидали Императора Александра I, для встречи которого Державин написал гимн и дифирамб в греческом вкусе «Сретение Орфеем солнца». Затея эта оказалась праздной, потому что Император не приехал. От критика зависит, на что в этом случае обратить внимание. Можно говорить о печальной роли Беседы в истории русской культуры, или посмеяться над честолюбивым стариком, обманутым в своих ожиданиях. Но можно также спокойно признать, что, если бы и сбылись его ожидания, невыносимым для этого отдельного случая по своей напряженности оказался бы этот гимн о златокудром, вечно юном боге света. Нет случая, для которого пригодны были бы эти стихи восторженного ожидания:

Оставь багряный одр — гряди,
О, златокудрый, вечно юный
Бог света. Дев парнасских вождь
Гряди и приведи с собою
Весны и лета ясны дни

И цвето-благовонну Флору,
И в класах блещущу Цереру,
И Вакха гроздов под венцом:
Да в сретенье тебе ишедши,
Воскликнем гимн.
Вспылал румяный огонь в водах,
Вздрымились горы, засверкали!
Се зрю, се зрю — грядет, грядет
И светлое чело возносит
Из синих волн на небеса...

Конечно, Император мало был бы похож на этот невероятный образ. Но поэт, не дождавшийся своего солнца, все равно оказался Орфеем.

<1914>

Ю. И. Айхенвальд

ПАМЯТИ ДЕРЖАВИНА

Старик Державин нас заметил
И, в гроб сходя, благословил,

говорит Пушкин о первых шагах своей музыки, о знаменательной сцене на публичном экзамене в лицее, которую так описывает наш великий поэт: «Державин был очень стар. Он был в мундире и плисовых сапогах. Экзамен наш очень его утомил: он сидел, поджавши голову рукой: лицо его было бессмысленно, глаза мутны, губы отвисли... Он дремал до тех пор, пока не начался экзамен русской словесности. Тут он оживился: глаза заблестали, он преобразился весь. Разумеется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поминутно хвалили его стихи. Он слушал с живостью необыкновенною. Наконец, вызвали меня. Я прочел мои «Воспоминания в Царском Селе», стоя в двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояние души моей, когда я дошел до стиха, где упоминаю имя Державина, голос мой отрочески зазвенел, а сердце забилося с упоительным восторгом... Не помню, как я кончил чтение, не помню, куда убежал. Державин был в восхищении: он меня требовал, хотел меня обнять... Меня искали, но не нашли». А товарищ и друг Пушкина И. И. Пущин рассказывает нам: «Читал Пушкин с необыкновенным оживлением. Пока я слушал знакомые стихи, мороз по коже пробегал у меня; когда же

патриарх наших певцов в восторге, со слезами на глазах бросился целовать поэта и осенил кудрявую его голову, мы все под каким-то неведомым влиянием благоговейно молчали» *.

«Отрочески звенел» голос Пушкина; кудрявый мальчик стоял перед Державиным за год до его смерти и читал свои стихи и Державин благословил его. Это апофеоз, осуществленный самой историей, это XVIII век склоняется перед XIX-м; это «патриарх русских певцов», в гроб сходя, передает свои полномочия, свой поцелуй и надежды молодому орленку, расправляющему свои изумительные крылья. Точно в этой волнующей символической сцене на лицейском экзамене история литературы хотела показать себя въявь, разыграть себя в лицах и встречей старика и отрока наглядно отметить важный перевал на дороге нашей словесности.

Зазвеневший голос Пушкина не однажды откликнулся и потом на звуки Державина, но уже и критиковал их, расценивал и находил, что «кумир Державина — четверть золотой, три четверти свинцовый», что «читая его, кажется, читаешь дурной вольный перевод с какого-то чудесного подлинника; ей-Богу, его гений думал по-татарски, а русской грамоты не знал за недосугом».

Благословленный Державиным критик его, несомненно, прав: автор «Фелицы» в своем творчестве так же неровен и пестр, так же являет смешение свинца и золота, как и в своей человеческой личности. Много биографического сообщил он в своих произведениях, и мы знаем, что этот благоразумный эпикуреец при усмирении пугачевского бунта проявлял иногда ненужную и непомерную жестокость; что этот сатирик придворной жизни, «дворских хитростей» на недолгом поприще своем в качестве министра юстиции (1802—1803) противился либеральным начинаниям Александра I и должен был уйти в частную жизнь; что был он ненадежен, страстен, неуживчив — по его собственному выражению, «горяч и в правде чорт», говорил «истину царям» не только с улыбкой, но и гневно, разочаровывался в тех «предметах» высоких сфер, которые издали казались ему божественными, а затем предстали перед ним, как «весьма человеческие», и многое «претерпел в сей жизни, хотя и прав бы в ал», — но в то же время с обезоруживающей наивностью жалуется он в автобиографических «Записках» своих на затруднения, на «мудреные обстоятельства», в которые попал, когда, ввиду соперничества двух фаворитов

Екатерины II-й Зубова и Потемкина, он не знал, «на которую сторону искренне преклониться, ибо от обоих был ласкаем». И в стихах двойится гражданский облик Державина: иные из этих стихов создали ему репутацию чуть не якобинца, и укоризненно ставились ему на вид такие поэтические и политические вольности, как заявления, что у земных богов «покрыты мздою очеса, злодейства землю потрясают, неправда зыблет небеса», что глухие к правде «владыки света — люди те же, в них страсти, хоть на них венцы», что «напоказ хотя и Хан, но так ты чудно, странно мыслишь, что будто на себе кафтан народу подлежащим числишь», и хотя Державин говорил о коне и осле, но почему-то обиделись люди, когда прочли у него:

Калигула! Твой конь в сенате
Не мог сиять, сияя в злате;
Сияют добрые дела.
Осел останется ослом,
Хотя осыпь его звездами:
Где должно действовать умом
Он только хлопает ушами.

Однако все это не исключало у Державина ни откровенных славословий, ни грубой, ни тонкой, порою искусно прикрытой лести, и он «благоугождал» не только Богу.

В поэзии своей он тоже проявил много свинцовой тяжести; нередко сплетаются у него в трудный частокол, в какое-то словесное заграждение его грузные обороты, его несуразный синтаксис и такие предвосхищения футуризма, как «буруют бури». Правда, он любит подчинять себе язык, властвовать над его звуками, играть аллитерациями («весна венцом венчалась лета»); изгонять из стихотворения «Соловей во сне», ради соловьиности, звук «эр» но, как в полах длинного татарского халата, мурза нашей литературы, он запутывается в складках русской речи и часто не может освободиться от бремени еще тяготеющего над ним архаизма, не может приобщить себя к уже возникающей литературной личности. И, тем не менее, сквозь все эти громоздкие преграды и путы, в его счастливые моменты на высоте его достижений, прорывается у него Пушкиным оцененное и взвешенное «золото», ниспадают полнозвучные, яркие, энергичные стихи, сверкают поэтические афоризмы или попросту, как спокойная и обильная река, течет живая, свежая, естественная речь. В такие минуты Державин одер-

живает верх над самим собою, над татарской сутью своей натуры и оказывается предтечей той русской правды и простоты, которая потом впрок пошла нашей новой словесности. Читая его, с удивлением и удовольствием следишь за тем, как в его строках пышные фижмы риторики, посторонние и пустые формы сменяются чем-то родным и понятным, желанной незатейливостью красоты. Он раскрыл клады нашей звучности и в своеобразный «глагол времен, металла звон», в глагол стиха и в малиновый звон освобожденного слова облек содержание своей души.

По существу эта громкая поэзия отражает в себе как личные настроения самого Державина, так и психологию и даже физиологию блестящего века Екатерины. Ее певец, он сумел внутренне объединить на своих страницах то, что относится к ней, к ее царствованию, с тем, что составляет его именную субъективность. Свой портрет написал он на фоне историческом, сочетал лирику с летописью и поместил себя в центре живописной эпохи. Как-то вобрал он последнюю в самого себя, и уже не отделить их друг от друга. Он слишком заметно и слишком замечая жил, он слишком отпечатлевал себя в других и других в себе, чтобы не связать себя органически со своими современниками. Поэт-сосед, он всегда общался так или иначе со своим человеческим окружением далеким или близким, и Мещерского, Нарышкина, Потемкина узнаешь, когда узнаешь Державина.

Но, кроме времени и места, большую долю в его поэзии играет сверхвременное и надместное — тема вечности и вселенной. У него простое, у него и торжественное. Поэт величественного и преувеличенного, щедрый на гиперболы и роскошные краски, созерцатель великолепных образов, сын «роскоши, прохлада и нег», Державин любит, однако, с этих ослепительных высот спускаться в будничные и спокойные области, в домашнюю среду, в элементарный уголок идиллии.

Блажен, кто менее зависит от людей

.....

Не ищет при дворе ни злата ни честей.

Зачем же в Петрополь на вольну ехать страсть,

С пространства в тесноту, с свободы на затворы,

Под бремя роскоши, богатств, Сирен под власть

И пред вельможей пышны взоры?

«Цель нашей жизни — цель к покою», — заявляет он. Высокопарный сочинитель од, всегда склонный вознестись,

он, в другой грани своего творчества, — несомненный реалист; и даже его реальное переходит иногда в вульгарное, в неоскорбительную, правда, грубоватость. Неспроста прибегает он обычно к антитезам: самые писания его — антитеза, и охватывают они противоположное. Его литература — серьезна и шутивла, восхвалительна и сатирична, проникнута философской мыслью и тешит себя забавами. Художник потехи, обладатель и оценщик юмора беззаботный выученик Горация (которому он вообще усердно и удачно подражал), а потом от Горация перешагнувший и к Анакреону, шутник эротических шуток, скользящих на самой границе пристойного, откровенный любитель «шашней» и «пухового дивана», Державин очень ценит земные блага и даже земные блюда; хоть и свидетельствует о нем кн. Вяземский, что был он гораздо больше гастрономом в стихах, чем на деле *, эти стихи во всяком случае сосредоточенно заняты яствами (между ними — опозтизированной «шукой с голубым пером»), лакомка и хлебосол, наклонный к теме гостеприимства, он охотно развертывает свою скатерть-самобранку, на которой восхищает его «разных блюд цветник, поставленный узором», — и вот эти цветы, эти цвета; «багряна ветчина, зелены щи с желтком, румяно-желт пирог, сыр белый, раки красны, что смоль, янтарь — икра, шекснинска стерлядь золотая, сластей и ананасов горы, и алиатику с шампанским, и пиво русское с британским и мозель с сельтерской водой».

Тем примечательнее, что от этой фламандской школы, от этой своеобразной красочности и материальных цветников Державин нелицемерно поднимает свои взоры к небу и задумывается над последними тайнами человеческого бытия. Его знаменитая ода «Бог» полна религиозного пафоса и мудрости. Творец вселенной, «солнцев всех лампада, миров начало и конец» неизменно привлекал к себе мысль поэта. О земной жизни Христа, о Личности Его, настойчиво спрашивает он: «Кто Ты?»

О, тайн глубоких Океан!
Пучина див противоборных!
Зачем сходил Ты с звездных стран
И жил в селениях юдольных?

Державин размышляет. Он пристально вглядывается в историю, качая головой:

Иль в зеркало времен, качая головой,
На страсти, на дела зрю древних, новых веков

Не видя ничего, кроме любви одной
К себе — и драки человеков.

Пессимизм Державина питает не только история, являющая «драки человеков»: вся философия его вообще имеет меланхолический оттенок. В эпикурейскую безмятежность нашего мурзы смущающей волною вливается мысль об угасании мелеющей души, о неизбежной смерти, о «гробах и седирах дряхлеющей вселенной». Какою элегией звучат стихи о дряхлеющем собственном сердце!

Как сон, как сладкая мечта,
Исчезла и моя уж младость,
Не сильно нежит красота,
Не столько восхищает радость,
Не столько легкомыслен ум,
Не столько я благополучен <...>

В бое часов слышит он «глас смерти, двери скрип подземной». На разные лады говорит Державин о бренности земного, о том, что «надежней гроба дома нет», «начала все конец сечет», «что было, то не придет вспять, приходит что, то в миг пройдет». Жизнь рисуется ему, как обманчивая фата-моргана, как «обавательный, волшебный, магический фонарь», которым забавляется некий «волхв непостижный, в своих намерениях обширный» и нас земнородных обращающий в «тени переменны», в сновидения или в сновидцев этих сновидений. И человек, «невежда среди своих наук» часто не понимает, что вся «наша жизнь — ничто иное, как лишь мечтание пустое», и гонится за призраками счастья к большому удовольствию этих призраков и их забавника волхва.

Так, пессимистическая струйка очень заметна в творчестве Державина и когда читаешь его блистательный «Водопад», то действительно как бы низвергаются перед вами полноводные каскады жизни, для того, чтоб смениться потом унылой тишиной иссякновения. «О, горе нам, рожденным в свет!» — восклицает тонкий ценитель света, знаток и любитель существования Державин. И последние стихи его, дошедшие до нас, торжественным аккордом печали завершают его поэзию:

Река времен в своем стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.

В общем Державин элементами своего юмора, своей сатиры, своего трезвого духа не только разрядил то искусственное напряжение обязательной приподнятости, которое привил нашей литературе Ломоносов, но и, с другой стороны, спустившись на землю, на русскую землю, он не отказался от искренних дум о великом и вечном, от действительной серьезности и важности, от глубоких размышлений. И пусть он сам, вызвав потом известное возражение Пушкина *, завещал потомству: «за слова меня пусть гложет, за дела сатирик чтит», Россия с благодарностью вспоминает его не за то, что он делал, а за то, что он говорил. Есть в этом старике нашей словесности что-то молодое, что-то и нам современное, и в столетний день его смерти хочется отдать поклон его литературной жизни и тому, что осталось от нее живого.

<1916>

П. М. Бицилли

ДЕРЖАВИН

Недавно вышла биография Державина, написанная В. Ходасевичем, печатавшаяся с сокращениями в «Современных записках». Мне она представляется одной из самых содержательных, полезных и нужных книг по русской литературе, какие только были изданы за последнее время. Автор интенсивно использовал мемуары и исследования, мало кому доступные и воссоздал с необыкновенной правдивостью, проникновенностью и наглядностью образ одного из значительнейших и привлекательнейших русских людей. Прибавлю притом, что это *первая* литературно-обработанная биография Державина.

Книга Ходасевича вышла в издаваемой «Современными записками» серии «художественных биографий». Однако это, слава богу, не «*biographie romancée*». Автор ее писатель слишком серьезный и независимый, чтобы подчинять себя шаблону этого модного, становящегося уже несносным жанра. Если Ходасевич не выделил в отдельную главу литературной деятельности Державина, если он только *касается* последней в связи с повествованием о *жизни* п о э т а, — то это у него не имеет ничего общего с «приемом» тех составителей «художественных биографий», которые ухит-

ряются, рассказывая о «человеке», умолчать о том, что составляло его «дело» — нелепая, бессмысленная, профессионально-литературная реакция против привычного «приема» прежних биографов, состоявшего в том, что сначала писали о «человеке», затем о его «деле» (*l'homme et l'oeuvre*). У Ходасевича Державин-поэт не отделяется от Державина-«человека», солдата, офицера, губернатора, министра, супруга «Плениры» и «Милень». Это свидетельствует о такте автора и об его историческом понимании. Форма, избранная Ходасевичем, вполне *адекватна материалу*, т. е. тому конкретному человеку, о котором он написал свою книгу. Думается, что было бы насилием над материалом писать так о любом великом художнике позднейшего времени. Но было бы фальшью, непониманием *главного* в изображаемом предмете писать о Державине отдельно как о тамбовском губернаторе и отдельно как о «певце Фелицы».

Рассказывая как писалась ода «Бог», Ходасевич сравнивает повествование Державина о своем духовном напряжении, об охватившем его порыве творчества с тем, что писал Бенвенуто Челлини о своем экстазе при отливке «Персея». Это сопоставление как нельзя более метко, и его стоило бы развить и обобщить. Державин и Бенвенуто Челлини две родственные натуры. У обоих одинаковая горячность, искренность, первобытная «варварская» жизненная мощь, бешеный нрав и доброта, одинаковая обращенность на дело, творчество. Подобно Челлини, подобно людям итальянского Ренессанса вообще, Державин весь, целиком в деле, в деятельности, и притом так, что, чему бы он ни отдавался, он всегда остается одним и тем же. Державин просто не понял бы, что означают слова Моцарта Пушкина о счастливых праздных, пренебрегающих презренной пользой, единого Прекрасного жрецах; не понял бы, как это можно служить «Прекрасному», будучи «праздным», в чем «Прекрасное» исключает «пользу» и почему «польза» «презренна» и заслуживает пренебрежения. Глубоко правильно замечание Ходасевича, что для Державина поэзия была продолжением государственной службы. «Карьера» Державина была вместе и его творческим путем.

С редким мастерством прослежен у автора этот путь в связи с повествованием о жизни Державина, т. е. о его *службе*. Ибо службою для Державина почти исчерпывалась жизнь; поэзия же была творческим осмыслением жизни, не — средством *спасти* от нее «себя», свое «я», как для огромного большинства поэтов. Замечательно, как мало гово-

рит Державин в своей автобиографии и в письмах о своих занятиях поэзией. Его «Записки» — типичный образец весьма распространенного в XVIII в. вида интимной — не «литературы», а «письменности»: мемуаров служилого человека. На склоне жизни служилый человек, с тем сознанием ответственности, какое отличало лучших из них (служба в тогдашних условиях требовала громадной инициативы и потому воспитывала чувство ответственности очень интенсивно) считал своим долгом отчитаться перед самим собою и перед Россией во всем, что было им сделано. Мемуары Ив. Ив. Неплюева, кн. Я. Шаховского, Д. Б. Мертваго и ряда других выросли из отчета по службе *. Некоторые (Державин в том числе) прямо включают в свои мемуары разного рода «оправдательные документы», рапорты по начальству и проч. Писаны эти мемуары тогдашним «форменным», «канцелярским слогом», шершавым, неуклюжим, грузным. И тем не менее, так заразительна жизненная сила писавших, так неотразимы их простодушие и их поглощенность своим делом, «презренной пользой», столь внушительно у каждого самосознание человека, нашедшего в жизни «свое место», что мемуары эти составляют исключительно увлекательное чтение. Все в этих людях: их быт, вкусы, представления, интересы — до такой степени, казалось бы, чуждо нам, «отжито», а между тем, при чтении, они становятся как-то ближе, понятнее, роднее, нежели иные «аристократы духа», которых мы считаем нашими учителями и духовными вождями. У великого гения есть право сказать себе: «Ты Царь, живи один». Но этим самым он обрекает себя на одиночество и *заставляет* «чернь» испытывать к нему, как человеку, некоторую холодность и равнодушие. Державин «человечнее» Пушкина и в каком-то «чисто-человеческом» отношении *ценнее*.

Тем, что Державин был, прежде всего, «служилым человеком», с ранней молодости и почти до гробовой доски, обусловлены и сила, и слабость Державина, как поэта. Начать с того, что он был *безграмотен* (известен отзыв Пушкина о нем, как о «варваре», не знавшем родного языка). Опять напрашивается сравнение с Бенвенуто Челлини. Знаменитый филолог Фосслер говорит, что бесчисленные и грубейшие «ошибки» Челлини против грамматики составляют секрет неподражаемой силы, выразительности, индивидуальности его прозы **. В сущности, то же самое говорит Ходасевич о поэтическом языке Державина. Пушкин утверждал, что Державина следовало бы перевести на какой-ни-

будь иностранный язык: тогда бы выяснилось его истинное достоинство как поэта *. В этом Пушкин был неправ. *Благодаря* своей безграмотности Державин и создал *свой собственный*, единственный, неподражаемый по дикости, но и по могучей выразительности поэтический стиль. Во времена Державина уже существовала русская литература, как особая организованная сфера культурной деятельности, слагался общий литературный язык, уже существовали литераторы, для которых литература если не была профессией, то была главным жизненным делом. Существовали литературные школы и направления. Державин был «дикий». Если односторонне и преувеличенно мнение Пушкина, что он не знал родного языка (к *простонародной* языковой стихии он был, во всяком случае, столь же близок, как Челлини), то он не знал того языка, под воздействием которого тогда формировался русский литературный, — французского. Он грубо и дерзко ломал слагавшиеся каноны литературной речи. Он был признан современниками как величайший поэт, но его поэзия оставалась как-то «вне литературы». Державин не примыкал ни к какой школе и сам не создал школы. Его творчество было все в «пиитическом восторге». Элемент «художества», мастерства, артистичности отсутствовал в нем совершенно.

Очень тонко, с большим знанием дела и с такую же глубиной сочувственного понимания, с каким изобразил он отношения Державина к Фелице, к обеим женам и друзьям, характеризует Ходасевич тогдашних литераторов, литературные направления и благодушно нейтральное отношение к ним Державина.

Я позволю себе лишь одно, несущественное, критическое замечание. Мне кажется, что автор не вполне справедлив к Шишкову. Все, что он говорит о «старце», совершенно верно, но он не сказал всего. Шишков был невеждой в истории языка, путал славянский с русским, сочинял курьезнейшие этимологии, но вместе с тем он был замечательным *семасиологом*. Его замечания о перерождениях смысла слов, его словарные сопоставления различных языков с этой точки зрения подчас необыкновенно удачны и ценны. Семантика, как наука, тогда еще отсутствовала, и в этой области Шишков далеко опередил свое время.

ПРИМЕЧАНИЯ

В настоящее издание вошли работы В. Ф. Ходасевича, посвященные «допушкинскому» периоду русской истории и литературы. За пределами книги остались статьи Ходасевича «Дмитриев» («Возрождение», 1937, № 4103), «Капнист» («Возрождение», 1934, № 3298), «Богданович» («Возрождение», 1939, № 4164). Последняя является переработкой раннего предисловия поэта к изданию «Душеньки» И. Ф. Богдановича (М., 1912). Кроме того, в качестве приложений публикуются также основные работы о Державине русской критики начала XX в. и лучшая из рецензий на книгу Ходасевича, принадлежащая перу П. М. Бицилли.

Составитель считает своим приятным долгом принести глубокую благодарность Н. А. Богомолу и Р. Д. Тименчику, оказавшим ему неоценимую помощь в работе.

ДЕРЖАВИН

К работе над «Державиным» Ходасевич приступил 21 января 1929 г., а завершил ее в январе 1931 г. Небольшие фрагменты книги печатались в газете «Возрождение» (1929, №№ 1433, 1591; 1930, №№ 1680, 1745, 1836). В обширных выдержках «Державин» был напечатан в «Современных записках» 1929—1930 гг. (ч. XXVIII—XLIII). Отдельное издание книги вышло в 1931 г. в Париже в изд. «Современных записок» и было встречено доброжелательными рецензиями П. Муратова («Возрождение», 1931, № 2137), А. Кизеветтера («Руль», 1931, № 3150), Р. Слоцова («Последние новости», 1931, № 3662), П. Бицилли, М. Алданова («Современные записки», 1931, № 46), А. Левинсона (Je suis partout, 1931, Mai 30).

В 1975 г. репринт «Державина» был издан в Мюнхене с содержательным предисловием Дж. Малмстеда «The Historical sense and Hodasevic's Derzhavin» («Чувство истории и „Державин“ Ходасевича»). В СССР небольшие отрывки были изданы в журнале «Наука и жизнь» (1987, № 9—10).

По обстоятельствам работы Ходасевича круг источников, находившихся в его распоряжении, был крайне ограничен. Основным подспорьем служили биографу, естественно, девятитомные «Сочинения Державина» (СПб, 1864—1883), прежде всего, «Записки» поэта (т. VI), его двусторонняя переписка (т. V—VI), «Объяснения» на свои стихотворения (т. III) и сами стихотворения (т. I—III). Подавляющее большинство цитат и данных из других источников заимствовано Ходасевичем из «Жизни Державина» Я. К. Грота (Соч., т. VIII). Для характеристики отдельных

этапов биографии своего героя Ходасевич также использовал мемуары: «Взгляд на мою жизнь» И. И. Дмитриева (М., 1866), «Записки» С. П. Жихарева (М., 1890), «Семейная хроника и воспоминания» С. Т. Аксакова (Пб., 1870), «Историю Пугачева» А. С. Пушкина, труды Н. К. Шильдера «Император Павел Первый» (Пб., 1901) и «Император Александр I» (т. II—III, Пб., 1897), Я. К. Грота «Пушкин, его лицейские товарищи и наставники» (Пб., 1899).

«Мы <...> не делаем сносок, так как иначе пришлось бы делать их едва ли не к каждой строке», — писал Ходасевич, предваряя издание. Учитывая ограниченный объем примечаний, комментатор также, за несколькими исключениями, не указывает источников цитат, которые могут быть отысканы в одном из вышеперечисленных изданий и без труда прослежены до первоисточника. Цель нижеследующих примечаний — исправить некоторые незначительные неточности, допущенные автором, и уточнить отдельные факты, им сообщаемые.

с. 46. * Прозаический перевод «Телемака» Ф. Фенелона («Похождение Телемаково, сына Улисса», ч. I—II, Пб., 1747) был выполнен А. Ф. Хрущевым, «Аргенида» Дж. Баркляя (ч. I—II, Пб., 1751) была переведена В. К. Тредьяковский, «Приключения маркиза Г*» А. Ф. Прево (ч. I—IV, Пб., 1756—1758) — И. П. Елагиным. Пятая и шестая части «Приключений...» были изданы позднее в переводе В. И. Лукина.

** Строки из стихотворения «Идиллия» середины 1770-х гг. Опыты Державина 60-х гг. не сохранились.

с. 50. * Цит. манифест Екатерины II от 7.VII.1762.

с. 52. * «Меропа» Вольтера в переводе В. И. Майкова вышла в свет только в 1775 г. «Записки» Державина не позволяют установить, какая именно трагедия читалась в тот вечер и был ли ее автором В. И. Майков или Ф. А. Козловский.

с. 54. * О размере, которым написаны «Стансы» к Наташе, в «Записках» не говорится. Во всяком случае, по жанровым правилам XVIII в. они не могли быть написаны александрийским стихом.

с. 55. * О знакомстве Державина с Тредьяковский в доме Осокина Ходасевич прочел в воспоминаниях И. И. Дмитриева «Взгляд на мою жизнь». Но то, что Тредьяковский «угадал дарование» Державина, — домысел автора.

с. 60. * В июне 1768 г. в г. Умань гайдамаки во главе с Железняком и И. Гонтой истребили большую часть еврейского и польского населения и провозгласили Железняка гетманом.

с. 65. * В «Записках» сообщается только, что Державин жил в доме господина Удолова. Фамилия его возлюбленной — домысел Ходасевича.

с. 75. * Конъектура в угловых скобках принадлежит Я. К. Гроту.

с. 88. * Этот эпизод рассказан в «Истории Пугачева» А. С. Пушкиным со слов И. И. Дмитриева.

с. 96. * Пугачеву в 1774 г. было 32 или 34 года.

с. 100. * Об имени Мовтерпий см. с. 122.

с. 101. * В оде перечислены государственные деятели, подвергшиеся превратностям судьбы: флорентинский приор Козимо Медичи старший, арестованный в 1433 г., английский король Карл I, казненный в 1649 г.,

римский полководец Велизарий, подвергшийся в конце жизни опале и разорению.

с. 103. * Профессор Казанского университета Н. Н. Булич, перелавший этот раритет Я. К. Гроту.

с. 119. * Чуть переделанная автохарактеристика В. Петрова из письма жене 1797 г. («Исторический вестник, 1885, № 11, с. 404»). Ниже при описании литературной обстановки Ходасевич допускает мелкие неточности: первое произведение Петрова «Ода на великолепный карусель» появилось в 1766 г., после смерти Ломоносова. «Душенька» И. Богдановича вышла только в 1783 г.

с. 120. * Из первых публикаций Державина стихотворной была только «Ода на бракосочетание великого князя Павла Петровича...» (1773). Ироида Овидия «Вивлида к Кавну» в сб. «Старина и новизна» (1773) была переведена им с немецкого прозой.

с. 135. * О своей работе над статуей Персея скульптор рассказал в автобиографии «Жизнь Бенвенуто Челлини» (ч. II, гл. XXII—XXVIII).

с. 138. * В действительности Державин прибыл в Петрозаводск б середине сентября (см. Эпштейн Е. М., Теплинский М. В. Обзор материалов о пребывании Державина в Карелии.— Изв. Карело-финского филиала АН СССР, 1951, № 2).

с. 140. * Слова тверского наместника Я. Е. Сиверса.

с. 145. * «Поденная записка» А. Грибовского и Эмина о путешествии по Карелии создавалась под руководством и при участии Державина. Опубликована в кн.: Эпштейн Е. М. Державин в Карелии. Петрозаводск, 1987.

с. 147. * Объяснение механизма истории с медведем дал сам Молчин, утверждавший, что дело затеяно «не для какой иной причины, как только для того, чтобы привязать имя губернатора» (М. Теплинский, Е. Эпштейн. Державин в Петрозаводске. На рубеже, 1951, № 5, с. 65).

с. 151. * Цит. поэма М. Ю. Лермонтова «Гамбовская казначейша». Последняя строка — коньектура, сделанная со слов А. П. Шан-Гирея П. А. Висковатовым на месте цензурной купюры в тексте поэмы. В современных изданиях в основном тексте не печатается.

с. 164. * Встреча Карамзина и Державина состоялась в конце июля — начале августа 1790 г. О ее обстоятельствах см.: Лотман Ю. М. Сотворение Карамзина. М., 1987, с. 204—205.

** Камер-юнгфера Екатерины II, одна из самых близких к ней лиц.

с. 166. * Цит. статья «Потемкинский праздник из рукописи современника», фрагменты которой были приведены Я. К. Гротом в примечаниях к «Описанию потемкинского праздника» Державина.

** По воспоминаниям В. А. Жуковского, строка «Гром победы раздавайся» стала «выражением века Екатерины» (Русск. архив, 1866, с. 1635).

с. 181. * Эта песня («Разлука») была написана Державиным еще до женитьбы, в 1776 г., и лишь опубликована в 1792. При одной из переработок стихотворения он действительно собирался связать его с памятью первой жены, но потом отказался от этого намерения.

с. 182. * Как свидетельствуют обнаруженные позднее документы, в львовском кружке второй брак Державина вызвал резкое осуждение. «Ты утешаешь его стихами о потере Катер<ины> Яков<левны>, несрав-

ненной сея жены: потому что он говорит, я не хочу учиться... и для того Дарья Алексеевна хочет иттить за него замуж. Ну-ка, кто скажи, что действительнее?» — писал Н. А. Львов В. В. Капнисту 28.XI.1794 («Письма русских писателей XVIII века», Л., 1980, с. 390).

с. 192. * Здесь и ниже цитируются «Записки» А. С. Шишкова (Берлин, 1870), «Записки» А. М. Тургенева («Русская старина», 1885, ч. XLVII), «Mémoires secrets sur la Russie» («Секретные записки о России») (П., 1803) франц. мемуариста Ш. Ф. Массона. Их все Ходасевич нашел в книге Н. К. Шильдера «Император Павел Первый» (Пб., 1901, с. 293—297).

с. 196. * Слово, которое Я. К. Грот по цензурным соображениям заменил многоточием, — «царя». Купюра была восстановлена только в 1984 г. П. Г. Паламарчуком (Державин Г. Р. Избранная проза. М., 1984, с. 185). Таким образом, многочисленные домыслы об этом ответе Державина Павлу — следствие недоразумения.

с. 202. * Речь идет о стихотворении «Невесте» (1778).

с. 206. * В бумагах Державина сохранились подготовленные к его собранию сочинений эмблематические рисунки — заставки и виньетки к каждому стихотворению. Рисунки сопровождалась пояснительными надписями — «программами». Впервые изданы Гротом (Соч. т. I—III. См. также: Державин Г. Р. «Анакреонтические песни». М., 1986).

с. 212. * Цитата из «Записок» А. С. Шишкова.

с. 217. * Предположения Ходасевича подтверждаются неизвестными ему строками Державина, купированными в гrotовском издании «Записок»: «ужасный их (преступников. — А. З.) подвиг, впрочем, непростительный, предпринят был единственно для спасения отечества от такого самовластного и крутого Государя, который приводил его своим нравом к гибели». (Державин Г. Р. Избранная проза. М., 1984, с. 207).

с. 218. * Фраза зафиксирована в «Дневнике» А. С. Пушкина от 9.VIII.1934 (Полн. собр. соч., т. XII, с. 322).

с. 223. * Взгляды историков на сущность «державинской конституции» чрезвычайно противоречивы. Их обзор см.: Державин Г. Р. Соч., т. VIII. с. 791—796. См. также новейшую работу: Сафонов М. М. Конституционный проект П. А. Зубова, Г. Р. Державина (Вспомогательные исторические дисциплины, т. X, Л., 1978).

с. 227. * Н. К. Шильдер, приводящий данное высказывание (Император Александр I, т. II, с. 286), не сообщает имени этого агента, который также указывает, что Державин «как говорят, хороший поэт, но поэт-министр не может быть ни Сюлли, ни Шепталем».

с. 236. * Цит. «Записки» С. П. Жихарева.

с. 257. * Ходасевич приводит первое четверостишие «Песни» (1798) Н. Николаева по «Запискам сумасшедшего» («Потом переписал очень хорошие стихи <...> Должно быть Пушкина сочинение» Гоголь Н. В. ПСС, ч. III. М., 1938, с. 197). У Николаева вторая строка читается «Думал год уж не видал», а четвертая — «Жизнь прости навек — сказал».

с. 260. * Цит. очерк С. Т. Аксакова «Знакомство с Александром Семеновичем Шишковым».

с. 262. * Имя московского архиепископа, произнесшего эту речь, было Августин (Шильдер. Император Александр I, т. III, с. 90).

с. 264. * Подсчетами, указывавшими на воплощение в Наполеоне Апокалиптического Зверя, занимался и сам Державин.

с. 272. * О переписанном автором экземпляре «Воспоминаний в Царском селе» и его особенностях сообщил Я. К. Грот, обнаруживший его в державинских бумагах. Установлено, что рукопись была отослана Пушкиным Державину на следующий день после экзамена.

с. 275. * Речь идет о комедии «Липецкие воды», где Жуковский выведен под именем поэта Фиалкина.

с. 284. * Словами «мастерски играла свою роль» Я. К. Грот заменил по цензурным соображениям подлинный отзыв Державина о Екатерине: «Была она большая комедиянка» (См. Зорин А. Две заметки к биографии Г. Р. Державина // Известия АН СССР. Сер. лит.-ры и языка, 1986, № 1).

с. 288. * Апокалипсис, 10, 6.

<ПАВЕЛ I>

О времени и обстоятельствах работы Ходасевича над жизнеописанием Павла см. вступ. статью.

Начало XX века — время резкого подъема интереса исследователей, писателей и издателей к павловской теме, стимулированного снятием цензурных запретов с публикаций о перевороте 1801 г. — частичного в 1901 г. и полного после революции 1905 г. В это время выходят в свет такие работы отечественных и иностранных ученых, как Шильдер Н. К. «Император Павел Первый» (Пб., 1901), Шумигорский Е. С. «Император Павел I» (Пб., 1907), Брикнер А. Г. «Смерть Павла I» (Пб., 1907 с предисловием М. Н. Семевского), Шиман Т., Брикнер А. Г. «Смерть Павла I» (М., 1909), Моран П. «Павел I до восшествия на престол» (М., 1912) и др., появляется подцензурная публикация русского перевода «Записок Екатерины II» (Пб., 1907). Кроме перечисленных изданий, Ходасевич использовал в своей работе книги Д. Ф. Кобеко «Цесаревич Павел Петрович» (Пб., 1887), А. Г. Брикнера «История Екатерины II» (ч. I—V, Пб., 1885), «Записки» С. Порошина (Пб., 1881) и «Памятник прошедших времен, или Краткие исторические записки» А. Г. Болотова (Пб., 1875). Основным источником для повествования о жизни Павла — наследника престола была для Ходасевича книга Д. Ф. Кобеко, о жизни и смерти Павла-императора — книга Е. С. Шумигорского. Особая тема — сопоставление замысла Ходасевича с пьесой Д. С. Мережковского «Павел I» (1908).

Текст работы Ходасевича публикуется по рукописи: ЦГАЛИ ф. 537, оп. 1, ед. хр. 31, текст плана — ЦГАЛИ, оп. 1, ед. хр. 30, л. 17—19¹. По-видимому, композиция «Плана» вызывала у Ходасевича сомнения, и он начал в его тексте карандашную правку, зачеркнув и вписав несколько фраз. Правка эта не была проведена до конца, поэтому мы сочли необходимым воспроизвести все слои текста. Вычеркнутое карандашом печатается

¹ Когда настоящее издание находилось в печати, нам стало известно, что текст <Павла I> подготовлен к публикации также Евг. Бенем для журнала «Наше наследие».

в квадратных скобках, вписанное карандашом — жирным шрифтом. Для полной реконструкции замысла Ходасевича было бы полезно прокомментировать каждую фразу <Плана> соответствующими цитатами из использованных им исследований, однако по соображениям объема мы были вынуждены ограничиться лишь воссозданием событийной канвы, намеченной автором, и разъяснением некоторых его намеков.

с. 290. * Подлинные слова Суворова «prince adorable, despote implacable» («восхитительный князь, неумолимый деспот») отражают более сложное отношение к личности Павла до его восшествия на престол.

с. 291. * На версии о психической ненормальности Павла настаивают Т. Шиман, А. Г. Брикнер и М. И. Семевский в предисловии к отдельному изданию книги Брикнера. Н. Шильдер, при резко антипавловской направленности его книги, не разрабатывает тему безумия, а Е. Шумигорский, хотя и говорит о «болезненной нервной организации» императора (с. 6), склонен отвергнуть мысль о его болезни и вообще относится к Павлу скорее сочувственно.

с. 292. * Лермонтов М. Ю. Демон, ч. I, разд. IX.

** Неточная цитата из письма Екатерины II г-же Бьелке (Кобеко, с. 66).

с. 294. * Речь идет о кн.: Абрантес Л. де (Abrantes L. de) «Екатерина II» (Paris, 1834) и изданных Фр. Гайардэ (Gaillardet), «Записках шевалье Бона де Бомонта» (Paris, 1836).

с. 296. * На недошедшей до нас странице из рукописи речь должна была идти, по-видимому, о сходстве Павла с сыном Екатерины от Орлова Алексеем Бобринским и равнодушии Екатерины к обоим. «С какой легкостью освободила она себя из цепей, приковывавших ее к этому мальчику», — пишет об императрице и Бобринском П. Моран (с. 305) в приведенном Ходасевичем высказывании.

с. 299. * П. Моран указывает на намерение Петра III провозгласить своим наследником Иоанна Антоновича, но не жениться на Ел. Воронцовой. Последнее — домысел Ходасевича.

с. 301. * Речь идет о сочинении франц. мемуариста Кастера де Дезирэ (Casterà) «Жизнь Екатерины II» (Paris, 1800).

** См. примеч. к с. 50.

с. 303. * Вопросительный знак, вероятно, отражал неуверенность Ходасевича в дате. Бунт Мировича произошел в ночь с 4 на 5 июля.

с. 304. * Храповицкий А. В. Дневник. Пб., 1874, с. 434—435 (Кобеко, с. 12).

** Здесь Ходасевич вычеркнул фразу: «Среди учителей, как водится, были два немца, один танцмейстер-француз, один пьяница-русский».

с. 305. * Здесь вычеркнута фраза: «Платон сумел в ранние годы детства поселить в Павле живое религиозное чувство — то, чего совершенно лишен был двор Екатерины и, прежде всего, она сама».

с. 306. * Здесь вычеркнут абзац: «Что в самом деле мог сделать Порошин, если Павел лишен был главного: у него не было матери. Екатерина выдана за сына два-три раза в неделю, всегда почти при других, весьма кратковременно, и по большей части свидания носили характер официальный или полуофициальный. Мать была для великого князя только императрицей и никем больше».

с. 307. * Здесь вычеркнут абзац: «Для Павла было бы в тысячу раз лучше, если бы Панин захотел развратить его. Сделай Панин из Павла ловкого придворного льстеца, тихоню, человека «себе на уме», умеющего скрывать свои мысли и исподтишка составлять заговоры — судьба Павла была бы иная. Возможно, что она была бы лучше».

<ПЛАН КНИГИ О ПАВЛЕ I>

с. 309. * «До последнего времени <...> занимались, главным образом, освещением отрицательных сторон царствования императора Павла или казавшихся таковыми <...> Читая некоторые исследования об императоре Павле, мы как бы переживаем впечатления и слушаем отзывы самых пристрастных и только пристрастных его современников» (Шумигорский, с. 3—4).

** До этого места доведено изложение в основном тексте работы.

с. 310. * Этот раздел завязывал первый «гамлетовский узел» судьбы Павла; жизнь при дворе матери, связанной с убийцами отца, предательство самых близких людей. Речь в ненаписанной части должна была идти о враждебных отношениях Павла с фаворитами Екатерины Г. Орловым и Г. Потемкиным, его, принимавшем маниакальный характер, страхе быть отравленным, женитьбе в 1773 г. и связи его жены Натальи Алексеевны с его лучшим другом князем А. Разумовским, о которой Павел узнал после смерти жены от родов в 1776 г. Вероятно, под *затейми* Натальи Алексеевны имеются в виду также тлевшие планы заговоров с целью возведения Павла на престол, душой которых была великая княгиня.

** Переноса в этот раздел, вопреки хронологии (слухи о восстании Пугачева пришли во время празднеств по поводу первой женитьбы Павла), тему «народных волнений и самозванцев», Ходасевич усиливает «гамлетовские мотивы». Пугачев, принявший имя Петра III и повторявший, что ожидает великого князя в своем лагере, становился для Павла как бы призраком отца. Старший сын Павла Александр, родившийся в 1777 г., был сразу же отнят от родителей Екатериной, стремившейся воспитать наследника по своим понятиям и передать ему трон в обход Павла. Следствием хитроумной интриги Екатерины была и заграничная поездка Павла и его второй жены Марии Федоровны в 1781—1782 гг. Поездка эта началась с вынужденно длительного пребывания великокняжеской четы в Австрии, союзом с которой, противоречащим прусским симпатиям Павла, стремилась Екатерина упрочить международное положение России.

*** В рассказе о государственных установлениях Павла Ходасевич следует в основном анализу Шумигорского (с. 106—107). Речь здесь идет о таких его мерах, как отмена установленного Петром права царя выбирать себе наследника и введение прямого престолонаследия по мужской линии, облегчение налоговых тягот крестьян и ряд антидворянских указов, прежде всего, отставка екатерининских приближенных и призыв на службу всех дворян, находившихся в отпуску. Глубокое общественное недовольство вызвали также меры Павла по регламентации одежды дворян, на основании которых, по приказу военного губернатора Петербурга Н. П. Архарова, жители города, одетые неположным образом, подвергались полицейским

преследованиям прямо на улицах. По мнению некоторых современников, абсурдная исполнительность Архарова имела прямой целью вызвать ропот.

**** В этом разделе речь должна была пойти о платоническом романе Павла с фрейлиной Е. И. Нелидовой, ее конфликте и примирении с императрицей и удалении Нелидовой от двора с помощью ловкой интриги противной ей партии. Слово «кошмар», возможно, отсылает к более раннему видению Павла, которому явилась гигантская фигура Петра I, обратившись к нему со словами: «Бедный Павел, бедный князь».

с. 311. * Этот раздел должен был быть посвящен истории переворота 11 марта 1801 г. По некоторым свидетельствам, заговорщики финансировались английским правительством, опасавшимся намечавшегося сближения Павла с наполеоновской Францией. П. А. Пален, И. де Рибас и Н. И. Панин были основными действующими лицами заговора, а отставка Панина побудила их ускорить выступление. По инициативе Палена ранее уволенным офицерам было разрешено возвратиться в службу, но за недостатком мест многие из них, прибыв в Петербург, не получили назначений, таким образом столица оказалась наводнена недовольной офицерской массой. Глава заговорщиков Пален одновременно разыгрывал перед Павлом, знавшим о заговоре, роль человека, внедрившегося в его ряды, чтобы разоблачить его. Выступление 11 марта было санкционировано Александром I, давшим, однако, формальное согласие только на отречение отца, но не на его убийство. Также по совету Палена была заделана дверь, соединявшая спальни Павла и императрицы Марии Федоровны. Потайной лестницей к своей фаворитке княгине А. П. Гагариной Павел не успел воспользоваться. В ночь переворота Павел сам удалил от своих дверей верный ему конногвардейский караул во главе с полковником Саблуковым. Во главе убийц Павла стояли братья Платон и Николай Зубовы. После убийства изуродованный труп Павла был обработан для показа войскам лейб-медиком Вилие.

** «*Все при мне будет, как при бабушке*» — первая фраза Александра I в роли императора. Московские раскольники преподнесли вскоре после кончины Павла вдовствующей императрице икону с библейской цитатой: «Хорошо ли было Симрию, задушившему своего господина».

ДЕРЖАВИН

(к столетию со дня смерти)

Впервые газета «Утро России» 1916, 9 июля, № 190. Перепечатано в журнале «Северные записки» 1916, 10, затем в книге Ходасевича «Статьи о русской поэзии» (Пб., 1922).

с. 312. * Источник цитаты установить не удалось.

с. 315. * См. примеч. к с. 196.

ЖИЗНЬ ВАСИЛИЯ ТРАВНИКОВА

Впервые в газете «Возрождение» 1936, №№ 3907, 3914, 3921 (13, 20, 27 февраля). Перепечатано Г. Поляком в сборнике «Часть речи», N. Y., 1981. В СССР — в журнале «Аврора», 1987, № 7. О характере повести и ее восприятии современниками см. вступ. статью.

с. 323. * В. О. Ключевский в статье «Евгений Онегин и его предки» (Соч. М., 1959, т. VII).

с. 327. * «Арфаксад, халдейская повесть. Издание козловского однодворца Петра Захарина. Иждивением издателя». Ч. I—IV. М., 1793—1795.

с. 329. * Частный пансион В. Измайлова был открыт только в 1805 г.

** Речь идет о собраниях в доме А. Ф. Воейкова у Новодевичьего монастыря, перешедших потом в деятельность Дружеского литературного общества. В «поддевиченских» собраниях и в обществе участвовали Жуковский, А. Ф. Мерзляков, Воейков, братья Тургеневы и др.

*** Хераскова в действительности звали Михаил Матвеевич.

с. 330. * Эта легенда была создана К. Н. Батюшковым в статье «Нечто о поэте и поэзии». Богданович жил в это время в Курске.

с. 335. * Данте. Божественная комедия. Ад, песня V, ст. 106.

с. 336. * Цит. VII баллада фр. поэта герцога Карла Орлеанского (1394—1485) «Nouvelles ont courgu en France», касающейся распространенных слухов о смерти поэта.

с. 339. * Д. Б. Волчек любезно прислал комментатору стихотворение Муни, откуда заимствованы эти строки (см. вступ. статью), опубликованное уже после смерти Муни в газете «Понедельник» (1918, № 14, 3 июня): «Шмелей медовый голос / Гудит, гудит в полях / О сердце! Ты боролось, / Теперь ты спелый колос / Зовет тебя земля. // Вдоль по дороге пыльной / Крутится зыбкий прах. / О сердце, колос пыльный, / К земле костями обильной, / Ты клонишься, дремля».

ПРИЛОЖЕНИЕ

Б. А. Садовской. Державин. — Опубликована в книге Садовского «Русская Камена» (М., 1910), где датирована 1907 г. Борис Александрович Садовской (1881—1952) — писатель и литературный критик, один из первых исследователей творчества Фета, автор сборников критических статей «Озимь» (1915), «Ледоход» (1916), многочисленных стихотворных сборников, исторических романов, в т. ч. о русском XVIII веке, которым Садовской горячо увлекался. Ходасевич высоко ценил ум и критическое чутье Садовского, в меньшей степени его литературный дар. Переписка писателей опубликована И. Андреевой (Садовской Б. А. Ходасевич В. Ф. Переписка. Ann-Argbog, 1983); фрагменты из нее — также Евг. Бенем (Вопросы литературы, 1987, № 9). Ошибочные слухи о смерти Садовского побудили Ходасевича посвятить ему некролог «Памяти Б. А. Садовского» (Последние новости, 1925, 3 мая. Перепечатано в кн.: Ходасевич В. Ф. Избранная проза в двух томах, т. 1. Белый коридор. N. Y., 1982).

с. 342. * Письмо от конца мая — начала июня 1825 г. (ПСС, т. XIII, с. 178—179).

с. 343. * Письмо от начала июня 1825 г. (ПСС, т. XIII, с. 180—181).

** Письмо А. Бестужеву (ПСС, т. XIII, с. 179).

с. 344. * См. примеч. к с. 196.

с. 345. * «Влага» (1899), стихотворение К. Бальмонта, где в 12 строках 43 раза встречается звук «л».

с. 347. * *Когда ко граду Константина* — из стих. А. С. Пушкина «Олегов чит»; *Едва над морем рассвело* — из стих. В. Брюсова «После

пира» (1904—1905); *Правда вечная кумиров* — цикл стих. Брюсова из сборника «Stephanos».

Б. А. Грифцов. Державин. — Опубликовано в журнале «София», 1914, № 1. Борис Александрович Грифцов (1885—1950) — литературовед и переводчик. Автор книг «Три мыслителя. В. Розанов, Д. Мережковский, Л. Шестов», М., 1911), «Рим» (М., 1916), «Теория романа» (М., 1927), «Как работал Бальзак» (М., 1958 посм.). Переводил франц. и итал. писателей. Его статья о Державине произвела впечатление в литературном мире новизной подхода к творчеству поэта. «Очень хорошей» назвал ее В. Я. Брюсов (Лит. наследство, т. 85. М., 1976, с. 768), «очень современной и далеко не шаблонной» — Б. М. Эйхенбаум (Эйхенбаум Б. М. «О литературе». М., 1987, с. 304). Ходасевич был связан с Грифцовым через П. Муратова. Они вместе путешествовали в 1911 г. по Италии. Однако работы Грифцова о Баратынском вызвали у Ходасевича критическое отношение.

с. 351. * Приклонский С. А. (Лонский) Рус. мысль, 1883, № 10, с. 185. П. П. Рус. старина, 1816, № 8, с. 601; Белинский В. Г. Собр. соч. в 9 т., т. VI, М., 1981, с. 15; Пыпин А. И. История русской литературы, т. IV. Пб., 1903, с. 90. Чернышевский Н. Г. ПСС, т. VIII, с. 326.

с. 353. * Стихотворение «Ласточка» было написано Державиным а 1792 г., еще до смерти Екатерины Яковлевны. С ее памятью Державин связал стихотворение, приписав к нему две последние строки.

Ю. И. Айхенвальд. Памяти Державина. — Опубликовано в газете «Речь», 1916, № 185, 8 июля, к столетию смерти Державина. Юлий Исаевич Айхенвальд (1872—1928) — литературный критик. Автор книг «Силуэты русских писателей» (вып. 1—3, 1906—1910), «Пушкин» (1908) и др. В 1922 г. выслан за границу. Импрессионистская критика Айхенвальда вызвала полемические отклики Ходасевича, относившегося к нему, однако, с глубоким уважением. На гибель Айхенвальда Ходасевич откликнулся некрологом «Желтый конверт» (Возрождение, 1928, 27 декабря).

с. 366. * Пущин И. И. Заметки о Пушкине. («Пушкин в воспоминаниях современников», т. 1. М., 1985, с. 82 с мелкими разночтениями).

с. 369. * Вяземский П. А. Старая записная книжка. М.-Л., 1963, с. 211.

с. 371. * Известная фраза Пушкина: «слова поэта суть уже его дела» — приведена Гоголем в его статье «Что такое слово» (ПСС, т. VIII, с. 229).

П. М. Бицилли. Державин. — Опубликовано в газете «Россия и славянство», 1931, 18 апреля. Бицилли Петр Михайлович (1879—1953) — историк, философ. С 1920 г. в эмиграции, с 1924 жил и преподавал в Софии. Автор книг: «Введение в изучение новой и новейшей истории» (1933), «Место Ренессанса в истории культур» (1933), «Эпюды о русской поэзии» (1934), статей о Достоевском, Чехове и др. Державину частично посвящена его статья «Державин — Пушкин — Тютчев и русская государственность». — Сборник статей, посвященных П. Н. Милыкову, Прага, 1929. «Из всего, что мне приходилось писать о Вас, Вы, конечно, знаете, что я вообще очень высоко ценю Ваше мнение», — писал Ходасевич Бицилли.

с. 373. * Речь идет об изд. Неплюев И. И. «Записки». Пб., 1810; Шаховской Я. П. «Записки», Пб. 1872; Мертваго Д. Б. «Записки». М., 1867.

** Фосслер К. (Vossler). Стиль Бенвенуто Челлини в его «Жизни». Опыт психологического описания стиля. Halle, 1899.

с. 374. * См. примеч. к с. 343.